

А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ

ТВОРЦЫ  
ИТАЛЬЯНСКОГО  
ВОЗРОЖДЕНИЯ



А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ

# ТВОРЦЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

---

Книга вторая

**ТЕРРА**

МОСКВА  
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ  
Издательство «Республика»  
1998

УДК 00  
ББК ~~71+63.3~~  
Д41

Общая редакция и составление  
доктора филологических наук *Р. Хлодовского*

На переплете иллюстрация  
Микеланджело. Роспись потолка  
Сикстинской капеллы. Фрагмент

**Дживелегов А. К.**

Д41 Творцы итальянского Возрождения: В 2 кн. Кн. 2 /  
Общ. ред. и сост. Р. Хлодовского. — М.: ТЕРРА—Книжный  
клуб; Республика, 1998. — 352 с.

ISBN 5-300-02050-8 (кн. 2)

ISBN 5-300-02048-6

В этом издании собраны основные работы о культуре эпохи Возрождения одного из виднейших отечественных историков, А. К. Дживелегова (1875–1952). С подлинным писательским мастерством он воссоздает яркие образы выдающихся мастеров мировой культуры, красочные картины исторической обстановки эпохи Возрождения.

Во второй книге публикуются получившие широкую известность «Очерки итальянского Возрождения» и литературные портреты Леонардо да Винчи, П. Браччолини, А. Фиренцуолы, Н. Макиавелли, Ф. Гвичардини, Д. Вазари.

УДК 00  
ББК 71+63.3

ISBN 5-300-02050-8 (кн. 2)  
ISBN 5-300-02048-6

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1998  
© Издательство «Республика», 1998

## ПОДЖО БРАЧЧОЛИНИ И ЕГО "ФАЦЕТИИ"\*

Среди гуманистов первой половины Кватроченто Поджо — самая яркая фигура. Есть между ними мыслители и ученые более крупные, например Лоренцо Валла. Есть всеобъемлющие гении, как Леон Баттиста Альберти. Но нет никого, кто бы так полно отражал свой век, не опережая его и не отставая от него, как Поджо Браччолини.

Культура Кватроченто обрела в нем великолепный рупор. Он постиг ее вплоть до самых сокровенных изгибов. Он разгадал все ее тайны. Он раскрыл все нити, связующие в одно целое различные ее элементы. Он обнажил ее корни. И всем своим наблюдениям, характеристикам, размышлениям нашел формулы — иногда точные, иногда увертливые, иногда явно фальшивые, но всегда поучительные, всегда в искреннем и в лживом что-нибудь объясняющие. Читая его латинские писания, современники любовались его стилем и восторгались его мудростью. Когда пробегаем их мы, перед нами кусок за куском разворачивается картина итальянской культуры первой половины XV века.

Из этих произведений одно доступно и понятно людям нашего времени в такой же полной мере, как и современникам, — "Фацетии".

### I

Когда Поджо Браччолини семнадцати-восемнадцатилетним юношей пришел во Флоренцию\*\*, он нашел там крепкую буржуазную организацию и все усиливающийся интерес к гуманистическим занятиям. Еще несколько лет назад тот общественный и политический строй, который теперь был так прочен, сотрясаясь от могучих ударов снизу, и одно время казалось, что крупной буржуазии придется если не расстаться с властью, то поделиться ею с широкими кругами ремесленного класса. Но опасность миновала. Пролетарская революция — восстание чомпи в 1378

\* Текст печатается по изданию Поджо Браччолини "Фацетии", Academia. М.—Л., 1934. (Ред.)

\*\* Родился в 1380 году.

году — была подавлена, а господство мелкой буржуазии длилось очень недолго. С 1382 года власть снова находилась в руках богачей. Мазо дельи Альбицци фактически распоряжался судьбами города как доверенное лицо своего класса. Старый канцлер Колуччо Салутати, который еще недавно припечатывал городской печатью декреты рабочего правительства, теперь вновь вернул себе внутреннее спокойствие, не мучая себя сомнениями, не лицемеря, как при чомпи, а от души управляя делопроизводством буржуазного правительства, которое считал лучшим и которое помогало ему понемногу прикупать земли и богатеть. Салутати был центральной фигурой флорентийского гуманизма. Когда образованная буржуазия собиралась на вилле Антонио дельи Альберти, он вдохновлял и вел проходившие там собеседования. Когда ученые и жаждавшие знаний люди собирались в монастыре Сан-Спирито по ту сторону Арно вокруг монаха-эрудита Луиджи Марсильи, он постепенно затмил его своим красноречием и своей образованностью. Колуччо делал все, чтобы поддерживать у молодежи любовь к знанию и открывать всем желающим путь к образованию. Он уже раньше поставил на ноги Леонардо Бруни. Теперь он пригласил Поджо.

Юноша был преисполнен пыла. Но средства его были скудными, а у отца, неудачливого аптекаря, кочевавшего с места на место, дела были из рук вон плохи. Чтобы иметь заработок, Поджо выдержал экзамен на нотариуса (1402 г.) и был принят в цех юристов. Вооруженный дипломом, с цеховым матрикулом в руках, Поджо стал пробиваться и самым естественным образом попал переписчиком — у него был красивый почерк — в канцелярию Салутати. Старик быстро разглядел, что у нового писца есть достоинства получше, чем почерк, и ввел его в свой кружок. Карьера Поджо после этого сразу пошла хорошо. Он стал гуманистом. Луиджи Марсильи умер (1394 г.) до его появления во Флоренции, и никто уже не оспаривал у Колуччо центрального места среди флорентийских гуманистов. Все, что было живого и талантливого, все, что жаждало знаний, теснилось вокруг старого канцлера. Во Флоренции появлялись время от времени учителя. Несколько лет Джованни Мальпагини учил латинскому языку. Потом Мануил Хризолор учил греческому. У обоих было много слушателей. Но Studio, университет, давал только механические знания, которых было недостаточно. Время требовало большего. Кружок Салутати дополнял Studio. Там люди привыкали любить древность, поклоняться античному идеалу красоты и проникаться живым патриотическим чувством, изучая величественную судьбу Древнего Рима.

В кружке Салутати юный Браччолини нашел и своих лучших друзей: Леонардо Бруни, который был старше его почти на десять лет, Никколо Никколи, который был старше на пятнадцать. Поджо был вообще младшим из всех и, конечно, первое

время больше слушал, чем говорил. Но он не потерял времени даром. Все, что он приобрел во Флоренции, очень пригодилось ему потом\*.

Единственно, чего не могла дать ему Флоренция — ни Салутати и ни кто другой, — это прочного положения. Заработки были скудные и случайные, а аппетиты все росли, и вкусы становились все более изысканными. Чтобы стать на ноги, Поджо собрался с духом и по совету Бруни отправился искать счастья в Рим (1403 г.). Флорентийские рекомендации открыли ему многие двери, и Поджо вскоре вступил в папскую канцелярию на должность апостолического писца. Это было незадолго до того, как умер папа Бонифаций IX (1404 г.) и с новой силой обострился великий церковный раскол. Один за другим появились трое пап: Григорий XII, Бенедикт XIII, Александр V. У каждого из них было свое сторонничество, каждый без передышки предавал анафеме двух других, каждый поочередно должен был бежать с одного места в другое, чтобы спастись от многочисленных врагов. Служащие папской канцелярии потеряли голову. Они переходили от одного папы к другому, повинуюсь то соображениям выгоды, то приказам властей родного города. Поджо сначала был у Григория, от него ушел к Александру, а после его смерти остался у его преемника, Иоанна XXIII. Иоанн сделал его апостолическим секретарем и повез с собой на собор в Констанц, где должна была решиться судьба западной церкви и его собственная участь (1414 г.).

Констанцкий собор низложил всех трех пап и выбрал нового. Это был римский патриций Оддо Колонна, который стал главой западного христианства под именем Мартина V (1418 г.). Поджо не был утвержден им в своей должности. Он решил, что новый понтификат не сулит ему ничего хорошего, и принял приглашение кардинала Бюфора, звавшего его в Англию. В Англии он пробыл четыре года, и, когда возвратился в Рим (1422 г.), папа вновь дал ему должность секретаря. Поджо остался при курии надолго: конец понтификата Мартина V, весь понтификат Евгения IV (1431—1447 гг.) и перебрался канцлером во Флоренцию в предпоследний год (1453 г.) понтификата своего друга и покровителя Николая V (1447—1454 гг.). За год до смерти, в 1458 году, он сложил флорентийскую должность и удалился к себе в родную Терранову, небольшой городок в Вальдарно. Умер 30 октября 1459 года, "сытый годами", немного не дотянув до восьмидесяти.

---

\* По-видимому, систематического образования во флорентийском Studio Поджо, вопреки прежнему мнению, не получил. Он, наверное, не слушал Хризостора и, быть может, не слушал даже Мальпагини. В его латинском языке враги-пуристы — вроде Филельфо и Валлы — до конца находили налет средневековщины, а чтобы мало-мальски одолеть греческий, ему приходилось очень много работать в зрелые годы.

Деятельность Поджо, таким образом, почти до самого конца протекала вне Флоренции, но, работая в Констанце, в Англии и в Риме, Поджо не порывал теснейшей связи с флорентийскими друзьями. В его огромной переписке письма, адресованные им, составляют большинство. Никколо Никколи, Леонардо Бруни, Карло Марсуппини, члены семьи Медичи — его главные корреспонденты. Наоборот, нефлорентийские гуманисты, за малыми исключениями — Лоски, Чинчо Романо, Гуарино, Франческо Барбаро, — от него далеки, и он от них далек. Некоторым он резко враждебен. С Филельфо и Валлою он подолгу ссорился, обменивался разнузданными инвективами и эпитаграммами. В своем собственном сознании и в представлении потомства Поджо — флорентийский гуманист. Он так себя и называет: *Poggius Florentinus*, хотя родился не во Флоренции, а в Терранове.

Та группа, к которой Поджо принадлежит, — группа Никколо Никколи: Бруни, Траверсари, Марсуппини, Манетти и некоторые другие. Что характеризует эту группу и какое она занимает место в эволюции гуманистического движения?

Салутати и его ближайший кружок — Роберто деи Росси, Якопо да Скарпериа — закончили первый период гуманизма, ранний в тесном смысле этого слова, начавшийся с Петрарки, Боккаччо и их друзей. Вся эта группа, от Петрарки до Салутати, вела борьбу с представителями схоластики и других средневековых дисциплин, но сама была пропитана средневековыми аскетическими реминисценциями, от которых наиболее смелые, как Боккаччо, только-только начинали отходить. Они терзались мучительным раздвоением, боялись крепко стать обеими ногами на почву новой культуры, к которой их тянуло. Древность представляла для них интерес не столько научный, сколько эстетико-патриотический. Аргументы, которые они для обоснования своего мироощущения заимствовали у древних, вели в их душе трудную борьбу с аргументами христианскими, и Августин побеждал Цицерона с Сенекою, быть может, потому, что их классический багаж был невелик. Они не знали греческого языка, и в их распоряжении было мало латинских рукописей.

Группа Никколи поэтому прежде всего ставит себе задачу расширить базу нового мировоззрения. Она учится по-гречески и планомерно собирает рукописи. Она ищет и списывает надписи. Она коллекционирует предметы быта и искусства не только как украшение, но и как подспорье для научной работы. Она деятельно переводит греческих классиков. Она начинает углубленную критическую работу в области филологии, литературы и истории. И она знает, чего она хочет. Если Никколи вождь и вдохновитель этой группы, то Поджо ее самый энергичный и самый даровитый представитель. Уже в самом начале своей деятельности в полемике со своим учителем Салутати он очень определенно выяснил наиболее серьезные расхождения между двумя поколения-

ми гуманистов. Это было в 1405—1406 годах, перед самой смертью старого канцлера. Предметом полемики был Петрарка. Салутати ставил Петрарку как поэта и ученого выше древних, ибо, говорил он, ему раскрылось откровение христианской веры и он имел возможность кроме классиков изучать еще и отцов церкви. Молодое поколение стояло на совершенно иной почве. Салутати был свободен от средневековых пережитков. В нем не умерли аскетические настроения. Отцы церкви были для него вместительным живым правды. А научный его багаж был скуден. Молодые знали (кто лучше, кто хуже) греческий и были способны научно сопоставить язык древних с языком средневековых латинских классиков, так сильно окрасивших стиль Петрарки. Для них не было никакого вопроса, чья латынь лучше — Цицерона или Августина. И латынь Петрарки они не были склонны ставить высоко. Эта аргументация и легла в основу ответа Поджо. Он подчеркивал, что нельзя доказывать литературное превосходство аргументами религии и считать, что христианин выше язычника, каковы бы ни были критически взвешенные достоинства того и другого. Поэтому если даже признать, что Петрарка первый писатель своего времени, то его все-таки нельзя сравнивать как поэта с Вергилием, как оратора — с Цицероном, как моралиста — с Варроном\*.

Смысл этой полемики тот, что у гуманистов молодого поколения на место абсолютных критериев Салутати стали исторические: каждого писателя нужно судить и ценить, помня о той обстановке, в которой он жил. Новые критерии были более приспособлены к научной работе. Вопрос сводился в дальнейшем к тому, сумеют ли накопить гуманисты достаточно материала, чтобы, прилагая к нему новые методы, двигать науку. Поджо это прекрасно понимал, и никто из гуманистов не сделал больше, чем он, для того, чтобы собрать столь необходимый для дальнейшей научной работы материал. Его экскурсии в поисках за рукописями, систематические и основанные на тщательной предварительной разведке издали, пополнили каталог известных в то время классиков рядом чрезвычайно важных произведений, среди которых несколько речей Цицерона, несколько комедий Плавта, Валерий Флакк, Квинтилиан, Аммиан Марцеллин, Силий Италик, весь Лукреций, весь Стаций, Колумела. Не нужно быть знатоком римской литературы, чтобы понять, насколько богаче и шире стал материал для научной обработки наследия римской древности. Но Поджо не ограничивался рукописями. Он собирал надписи и часть того, что ему удалось списать, вместе с некоторыми, известными раньше, издал в виде сборника. Это его "Sylloge", от которой ведет начало римская эпиграфика. Коллекционировал Поджо и скульптуры, но на этом поприще другие сделали больше, особенно Чириако д'Анкона.

---

\* Не нужно забывать, что речь все время идет о Петрарке не как об авторе итальянских стихов, а как о латинском поэте и латинском прозаике.



У Поджо было ясное представление, чем должна быть античная культура для современности. Это представление было совершенно чуждо романтики, какой, например, был весь переполненный тот же Чириако, нещадно за это высмеиваемый Поджо. Сентиментальные ламентации Чириако о том, что случилось большое несчастье и пала Римская империя, сокрушения и восторги, осанна и слеза были не для Поджо. Человек он был трезвый. Древности он придавал огромное значение, любил и ценил ее, как драгоценный клад, и делал все, чтобы наиболее полно приготовить для научной работы ее остатки. Но границы использования античного наследия для него тоже были вполне ясны. Древность не должна была подсказывать ему никаких существенных формул, определяющих его отношение к миру, к обществу и к человеку. Эти формулы Поджо брал из жизни, присматриваясь к окружающему и стараясь уловить смысл процессов, происходивших вокруг него.

Так же свободен был от рабского преклонения перед древним и латинский язык Поджо. Он почувствовал то, чего не могли почувствовать не только такие гуманисты, как Гаспарино Барцицца, начетчики и школьные учителя, но и такие, как сам Валла, ученые филологи: что латинский язык, изучаемый на классиках и остающийся строго в пределах лексических и стилистических форм, которые освещены авторитетом Цицерона и Квинтилиана, — мертвый язык. Он нужен немногим. А жить и развиваться способен только такой латинский, который, не нарушая правил, выработанных грамматикой, стилистикой и риторикой древности, будет приспособляться к нуждам текущей жизни. Когда будет речь о "Фацетиях", мы увидим, какое огромное значение имела инициатива Поджо в области реформы латинского языка и освобождения его от "обезьянства" Цицерону.

### III

Из гуманистов Кватроченто, быть может, только один Валла был способен столь же последовательно, как Поджо, проводить точку зрения историзма и критицизма по отношению к древности. Даже Бруни, человек со спокойным анализирующим умом, находился во власти античных форм и формул. Его учение о добродетели, центральная часть его моральной философии — не более как сколок с римских перепевов стоицизма. Даже тогда, когда, как в "Истории Флоренции" и в греческом трактате о флорентийской конституции, Бруни соприкасается вплотную с живыми современными вопросами, он одевает в античные ризы не только изложение, но и выводы. Это, конечно, не значит, что учение Бруни не имело влияния. Педагогическая доктрина Бруни, например, в большой мере определила развитие не только теоретической, но и практической педагогики Возрождения и, косвенно, школы нового времени. Это понятно. Организация город-

ской культуры предъявляла спрос на новые идеи. Их легче было находить в сочинениях древних, чем додумываться самим, ибо греки и римляне жили в таких хозяйственных условиях, в которые уже вступала Италия, и приспособили к своей экономике сложный комплекс культурных представлений. Развитие новой идеологии шло по линии наименьшего сопротивления. Разница между Бруни и Поджо была в том, что для Бруни авторитет древних и пример древних имели значение решающее, а для Поджо — древность лишь подкрепляла и санкционировала то, что он сам считал важным и нужным, исходя из анализа действительности. Классики шлифовали его мысль, не формировали ее.

Беглое сопоставление трактатов Поджо с трактатами других гуманистов не обнаружит между ними большого различия. Темы у Поджо — обычные гуманистические темы: "О скупости", "О лицемерии", "Об изменчивости судьбы", "О знатности", "О несчастии государей" и т. д., — те же, что и у других гуманистов, начиная от Петрарки. Но за исключением, быть может, первого трактата — "De avaritia" — содержание их совершенно иное. Задача обычного гуманистического трактата — собрать побольше цитат из классиков для иллюстрации того или иного тезиса моральной философии. Написать такое упражнение не представляло никаких трудностей. Цицерон и Сенека, великие эклектики древности, давали основной материал. К ним подсыпалось кое-что из других писателей, римских, реже греческих, вся эта груда цитат облекалась в диалогическое обрамление, довольно неуклюжее и с содержанием не связанное, — и трактат был готов.

Сочинения Поджо сохраняют от этого шаблона две вещи: диалогическую форму, столь же беспомощную, как у других, и цитатный материал. Но цитаты у него уже не имеют самодовлеющего характера. Они не самоцель. Они лишь иллюстрация. Содержание трактатов совсем иное, и — что еще важнее — иной в них метод рассуждения. Вот, например, "De nobilitate". Тема, общая всем гуманистам, источник истинного благородства, не происхождение, а личные достоинства. Едва ли был гуманист, который бы не затронул в своих сочинениях этой темы. Для каждого из них это и обязательная декларация, и апология собственного социального статуса: гуманисты выходили почти сплошь из городских, чаще низших городских, кругов. Но несмотря на то что гуманисты были кровно заинтересованы в максимальной практической убедительности своих выводов, они обычно не выходили из круга цитат, именно практической убедительностью не обладавших. Как поступает Поджо? Он начинает диалог широкий не лишенной и сейчас документального исторического интереса картиной положения дворянства в крупных и мелких государствах Италии, в важнейших европейских странах, в Византии, в Египте, у турок. Характеристика сопровождается реальным деловым анализом, и лишь потом выступают на сцену Цицерон и Сенека, Аристотель и Платон. То же в диалоге "De varietate fortunae". Начинается он как будто по вульгар-

но-гуманистическому шаблону. Поджо и друг его Лоски глядят с Тарпейской скалы на развалины Рима и рассуждают об изменчивости судьбы. Развертывается великолепное описание римских руин — его до сих пор цитируют все археологи, — и начинается беседа. Но это вступление не имеет ничего общего с гуманистическими мотивами. Сквозь лирическую дымку описания мы отчетливо чувствуем, что говорит археолог, то есть человек, который смотрит на развалины как на научный материал и если сокрушается о чем-нибудь, то не о том, что пала Римская империя, а о том, что от Древнего Рима мало сохранилось памятников. И этот мотив настолько заслоняет главную тему об изменчивости судьбы, что когда собеседники вспоминают о ней, то разговор идет уже не о Риме, а о... Тамерлане. И после этого уже не покидает современной почвы. В гуманистическом трактате мелькают очень негуманистические имена Жака Бурбона, Ричарда II английского, Карла VI французского, Висконти миланских, Скалиджери веронских, Гуиниджи лукканских, пап — Урбана VI, Иоанна XXIII, Григория XII. Дальнейшее распадается на две части: первая представляет, в сущности, кусок мемуаров о бурном и богатом переменах разных судеб понтификате только что умершего Евгения IV, а вторая — почти не связанная с основной темой — рассказ о странствованиях по Востоку кьоджанского купца Никколо Конти. О нем еще будет речь. То же и в диалоге "De infelicitate principum", который представляет собой злободневную защиту республиканского строя и филиппику против монархии, построенную на материале из недавней итальянской действительности. То же во второй части "Historia tripartita", где под видом рассуждения о сравнительных преимуществах права и медицины Поджо развертывает вполне современную политическую доктрину. То же в письмах. То же во всем вообще, что Поджо писал.

Поджо всегда отправляется от живого, от современного, от того, чем он сам живет и дышит. По-настоящему только это его интересует. Древность важна и нужна, потому что древние раньше нас думали о том же, о чем думаем теперь и мы, и могут помочь нам найти необходимую формулу. В этом ее великая ценность. Но и только. Что же представляет собою мировоззрение Поджо, формирующееся под диктовку жизни?

#### IV

Поджо меньше, чем других гуманистов, волновали вопросы моральной философии. Он не любил брать их темой для трактатов. Но когда друзья или враги вызывали его на декларацию по той или иной проблеме моральной философии, он не уклонялся. Из его писем мы можем узнать взгляды его на цель человеческой жизни, на идеал человека, на сильные и слабые стороны человеческой природы. Эти взгляды менялись. Формировались

они у него смолоду на патристической литературе, которую он изучал в годы английского отшельничества, и на классиках, но, по мере того как он созревал, идеи классиков и отцов церкви бледнели больше и больше. Источником мировоззрения становилась жизнь.

Целью культурного человека Поджо неизменно выставлял спокойную простую жизнь, далекую от сутолоки, от вакханалии стяжательства, от борьбы страстей. Вдали от жизненного шума, один с самим собой и с книгами, погруженный в созерцание и в науку, в постоянном общении с древними, которое делает облик человека полнее и богаче, пусть живет каждый. Это — идеал культурной мирской аскезы, идеал *vita solitaria* Петрарки. Но Поджо не умеет удержаться на абсолютных формулах отца гуманизма. Он обставляет их оговорками. Уединенная жизнь, конечно! Но нельзя окончательно пренебрегать богатством и почестями. Они нужны для полноты жизненных ощущений образованного человека. Им лишь не следует давать воли над собой. Ибо нет ничего легче, как позволить соблазнам и прельщениям жизни увлечь себя, и тогда пороки, из которых самый большой и самый ужасный — скупость, завладеют человеком и изуродуют его душу. В таких рассуждениях ясно ощущается, что Поджо говорит об этих вещах нехотя, без темперамента, словно желая отделаться от докучливой тяготы. Ибо свои моральные формулы, даже с обильными оговорками, как максимы практической жизни он отнюдь не считает для себя обязательными. Для собственного употребления у него были другие правила, свободные, не имеющие ничего общего ни с какой аскезой — ни с христианской, ни с мирской. Он предпочитал жить в центре самых острых соблазнов, в Риме, при папской курии, ловил деньги и почести, не считаясь ни с какими мерками, не только не избегал наслаждений, но тонко их культивировал, грешил всеми грехами и отнюдь не был свободен, особенно к старости, от того, который был в его глазах самым большим и самым страшным, — скупости.

Поджо был человек широкий. Наслаждения его, конечно, не ограничивались хмельными пирушками в кругу друзей, веселыми похождениями с мастерицами любовного дела, римскими куртизанками, короткими набегами в зеленые окрестности Рима или родные уголки Тосканы, где, отдыхая, он обслуживал себя сам, ходил на рынок и учился трудному искусству покупать дыни согласно ученым указаниям своего приятеля, толстого и жизнерадостного объедалы Цуккаро. Конечно, его занятия давали ему наслаждения не менее острые, чем эскапады с жрицами любви и возлияния Вакху. Конечно, его экскурсии за рукописями и охота за надписями заставляли работать его нервы и темперамент, и удача вызывала бурное торжество. Конечно, находка какого-нибудь античного бюста приводила его в экстаз, потому что она заставляла ликовать в нем и чувство красоты, и любовь к древности, и самолюбие археолога. Конечно, его женитьба (очень поздняя: ему было пятьдесят шесть лет) открыла перед

ним мир совершенно новых радостей, в которых хотя и отсутствовал острый аромат греха, но зато были бесконечные моменты спокойного блаженства около молодой жены и среди многочисленного потомства.

Огромная трудоспособность, неискоренимый оптимизм и прекрасное здоровье помогали ему пользоваться всеми этими благами жизни. Маленький, круглый, с блестящими глазами и пышной шевелюрой, завитки которой, рано начавшие белеть, падали ему на лоб, Поджо был душою общества и в папской курии, и в кружке Никколи во Флоренции, и в степенном доме Медичи, и в чопорном кругу жениной родни, Буондельмонти, и среди римских прелестниц.

Он любил жизнь. Мирской дух, который был особенностью всего гуманистического движения, имел в нем пламенного пророка. Культуре мирского духа не мешало у Поджо ничего. И прежде всего не мешала его религия. Поджо любят представлять человеком глубоко религиозным и приводят много подтверждений такому взгляду. Но все этого рода доказательства не утраивают одного решающего факта: полного противоречия его жизни и его быта с самым снисходительным представлением о глубокой религиозности, особенно по понятиям XV века.

Поджо не был, разумеется, атеистом. Поджо был верующим человеком. Но его вера не была похожа на трепетную веру Амброджо Траверсари или Джаноццо Манетти. Его вере не хватало пафоса. В ней не было ни малейшего лирического подъема. Она была беспорывная и спокойная. Нам говорят, что изучение отцов церкви в Англии придало ей глубину и захват. Этого нигде не чувствуется. Поджо читал сочинения отцов так, как читал сочинения классиков, — с научной целью. Он не научился у них мистическому экстазу, и они не приохотили его к богословским тонкостям. Выставлять напоказ равнодушие к религии он, конечно, не мог. Не только при аскетически настроенном, постоянно подзуживаемом монахами Евгении IV, но и при гуманисте Николае V — индифферентного в вопросах веры папского секретаря курия бы не потерпела. Но вера не должна была мешать ему наслаждаться жизнью и грешить. Это было его собственное к ней требование, и в такие дела курия уже не вмешивалась. Была в вере Поджо еще и наивность, которая сказывалась в том, что он мог быть суеверным, как последний погонщик мулов, и признавать реальность всякого сорта нечистой силы. Но это была уже мелочь. Важно то, что вера папского секретаря и знатока отцов церкви Поджо Браччолини не мешала тому, что было в нем самым типичным и самым ярким, — культуре мирского духа.

Мироощущение Поджо-гуманиста было именно культурой мирского духа, облагороженной и утонченной изучением древнего мира. Любовь к живой жизни смягчала некоторую сухость и рационалистичность, сквозящую в его взглядах на древность, а античные интересы несколько не препятствовали широте его отношений к миру — дальнему и близкому.

Ничто человеческое не было чуждо Поджо. С жадным любопытством искал он новых источников знания, которые могли расширить его знакомство не только с миром античным, но и с миром современным. Когда во Флоренцию, где в то время был собор и находился папа Евгений, приехал человек с лицом, сожженным солнцем, в экзотичном одеянии и стал просить папу отпустить ему великий грех, отречение от христианства, совершенный им где-то на берегах Красного моря под угрозой кривого меча фанатиков-мусульман, Поджо немедленно завладел субъектом и подверг его самому настоящему интервью. Еще бы! Человек побывал в Сирии, в Индии, на Яве и еще бог знает где. Это и был Никколо Конти, купец из Кьоджи. Дантов образ Одиссея, непревзойденное в мировой литературе воплощение пытливого духа, мужества и энергии в поисках за новым миром, засверкал для Поджо всеми гранями в этом странном человеке, заблудившемся среди интригующих и переругивающихся монахов Флорентийского собора. Из рассказов Конти перед настоящим человеком, алчной фантазией Поджо встал чудесный мираж, где природа, животные и люди дразнили своей диковинностью. Бродяжнические инстинкты молодости проснулись с новой силой, и какими неинтересными стали казаться ему вдруг его собственные былые странствования по шаблонным странам старой Европы! Та часть "De varietate fortunae", где рассказана эпопея Конти, пополненная сообщениями двух других путешественников, один из которых посетил Китай, другой — Абиссинию, — оба они зачем-то тоже вертелись около собора, — написаны с непривычным для Поджо подъемом. Недаром когда эти страницы попали через некоторое время в руки Паоло Тосканелли, то рассказ, в котором вылилось лучшее, что было в Поджо, его пытливая любовь к миру, вдохновил вещи предвидения Христофора Колумба.

Если интересы Поджо к далекому миру способны были будить в его душе лирические чувства, то интерес к миру близкому вызывал оценки вполне реалистические.

Мы видели, что между идеалом человеческого счастья, который проповедовал Поджо, и практическим его осуществлением — целая бездна. Говорится одно. Жизнь устраивается по-другому. То, что говорится, окрашено и в цвета стоицизма, и в цвета аскетизма. То, что делается, пропитано красками эпикурейства.

Это противоречие — очень обычное у гуманистов. У большинства из них одна философия — для человечества, другая — для себя. Люди великолепно знают о своем душевном раздвоении. Лучшие из них, которые не хотят, чтобы оно стало видно другим, не пишут. Таков Никколи. Не пишут и те, у которых — бывают такие редкие исключения — раздвоения нет. Эти предпочитают скромно и молча делать свое дело в жизни. Таков Витторино да Фельтре, педагог. А проповедники всевозможных

добродетелей, которые в жизни весело попирают их ногами, не стесняются и пишут. Таковы очень многие. Таков и Поджо. Это — свойство эпохи переходной и полной безостановочного брожения.

Противоречие, которое сказывается с особенной яркостью в сфере вопросов морали, проникает и в другие области. Способствует этому одна формальная особенность гуманистической литературы, которая недаром культивировалась так усиленно: диалогическая форма их трактатов. Когда нужно высказываться начистоту, диалог не годится. Честная публицистика, искренняя проповедь с диалогом несовместимы. Нельзя представить себе "Principe" Макиавелли написанным в форме диалога. В диалоге есть что-то принципиально беспринципное. Оттого он так популярен среди людей, которые не любят прямых высказываний. Ведь когда сейчас пытаются уловить истинную точку зрения того или иного гуманиста, сколько возникает споров! Который из собеседников, выведенных в диалоге, — их бывает несколько — выражает взгляды автора? Может быть — этот, а может быть — тот. А может быть — ни один.

Поэтому, когда Поджо говорит что-нибудь в письмах, все более или менее ясно. Когда он говорит в диалоге, все более или менее темно. С этими оговорками можно попытаться приступить к характеристике его общественно-политических взглядов, где мы найдем то же противоречие между заявлениями и действиями.

Во времена Поджо Флоренция переживала важный этап внутренней эволюции. Республика давно утвердилась. Буржуазия победила и растворила в себе дворян. Буржуазия победила и сокрушила рабочих как политическую группу. В обоих этих столкновениях мелкая буржуазия — ремесленники — в решительный момент была на стороне крупной — купцов, фабрикантов, банкиров, которой принадлежало руководство, и помогла ей одержать обе победы. Но после того как были побеждены рабочие (1378 г.), крупная буржуазия очень скоро лишила всякого политического влияния и ремесленников (1382 г.). В следующие десятилетия крупная буржуазия — суконные и шерстяные магнаты — пользовалась своей победой и проводила политику своего класса, политику экспансии, завоевания новых рынков. Она покорила Пизу (1407 г.) и, получив таким образом морской порт, старалась раздвигать территорию Флоренции на юг и на запад. Но, обогащая фабрикантов, эта политика истощала казну, разоряла ремесленников и сильно ударяла по банковскому капиталу. Поэтому банковская крупная буржуазия, опираясь на ремесленников, объявила войну войне, то есть политике крупной промышленной буржуазии. Началась борьба, и в ней впервые появилась одна особенность, которой не было или почти не было в прежних классовых столкновениях во Флоренции. Вожди оппозиции, Медичи, обвиняли вождей правящей группы, Альбици, в стремлении к тирании. Альбици говорили то же про Медичи. Обе

стороны были правы, хотя видимых признаков тирании, так хорошо знакомых Италии по другим городам, во Флоренции как будто не замечалось. Но уже в первой четверти XV века стали показываться и признаки. Их стало больше, когда Альбицци удалось (1433 г.) изгнать Медичи. Они сложились в очень определенную картину, когда Медичи вернулись, были изгнаны Альбицци и Козимо захватил власть (1434 г.).

Осторожная тирания Козимо очень бережно относилась к республиканским этикетам и даже к республиканским учреждениям. Медичи, как и Альбицци, не покушались на республиканскую форму. Наоборот, они очень любили, когда флорентийские публицисты прославляли республиканскую свободу Флоренции и сопоставляли ее с деспотизмом, царившим, например, в Милане. Существа их власти гуманические разговоры не затрагивали, а полезного шума и рекламы получалось довольно много.

Поджо твердо стоит на республиканской точке зрения. Против монархического принципа он мечет грома в трактате "De infelicitat principum", в письме к Филиппо Мария Висконти он восхваляет республику, а в любопытном споре с Гуарино и Ауриспою о том, кто выше из двух героев римской древности — Сципион или Цезарь, со всей решительностью высказывается за Сципиона: он ничем не запятнал любви к родине и служил ей бескорыстно, в то время как Цезарь погубил республику. Мало того, Поджо одобряет Брута и Кассия, убийц Цезаря: продолжается тираноборческая традиция флорентийских гуманистов, идущая от Боккаччо — ему принадлежит афоризм: "Нет жертвы, более угодной богу, чем кровь тирана" — и Салутати.

Поджо совершенно не смущает — и не смущало до конца, — что друг его Козимо Медичи — монарх самый настоящий, что папы, которым он служил, такие же государи, как и ломбардские тираны. Но он не чувствует необходимости, — как Гуарино, который жил при дворе д'Эсте, где были все внешние атрибуты монархии, — защищать единоличную власть. Наоборот, он пользуется широкой свободой слова, царившей при папской курии, чтобы поносить монархию, которая и в Риме, и во Флоренции фактически существовала и с существованием которой было связано его собственное благополучие.

И организацию того государства, которое давало ему приют и устраивало его дела с большими удобствами, Поджо разблачал довольно откровенно. Но, конечно, на практике не предпринимал против нее ничего и, наоборот, сердито огрызался на тех, кто в жизни хотел следовать тем принципам, которые он проповедовал в своих писаниях.

В рассуждении о сравнительных достоинствах профессий врача и юриста, в "Historia tripartita", он довольно много места посвящает анализу понятия "закон", которому служат юристы. Законы, говорит он, всегда вводились вопреки желанию народа, и в древнейшие времена нужно было ссылаться на божественную



санкцию, чтобы заставить людей мириться с законами. И сейчас законы обуздывают и устрашают лишь низшие классы (*plebesula et inferiores urbis*), а сильные и власть имущие с ними не считаются. Никогда короли или властитель не подчиняются законам. Власть добывается попиранием закона и насилием. Насилием и несправедливостью создается все великое и достопамятное. Сильные люди законы презирают и топчут ногами. Законы существуют лишь для тех, кто слаб: для живущих заработной платой (*mercennarii*), для рабочих (*orifices*), для бедных (*qui sensu tenui sunt*), для ремесленников (*quaestuarii*).

Такие рассуждения, в которых нетрудно увидеть зачатки новейших теорий о том, что конституция соответствует реальному соотношению общественных сил, не были новостью для флорентийцев. Там, где идет такая упорная классовая борьба, какая кипела во Флоренции XIV века, афоризмы, которые строил Поджо, давно стали аксиомами. Даже такой нехитрый человек, как новеллист Франко Саккетти, умерший между 1400 и 1410 годами и бывший свидетелем классовых боев во Флоренции, говорит (Nov. 40): "По отношению к бедным и слабым правосудие, и личное и имущественное (т. е. условные кары и имущественное умаление), совершается быстро. По отношению к богатым и сильным — редко. Ибо жалка участь маленького человека (*perchè tristo chi puoco si puote*)". Неудивительно, что Поджо приходили в голову такие мысли и что он включил их в гуманистический диалог.

Но и защита республики, и громы против монархии, и критика классового правосудия и классового законодательства буржуазного государства — не более как литературный манифест. Все эти заявления лишней раз показывают, что темы свои Поджо берет из жизни, а не ищет их в классиках. Хотя у него фигурируют и Цезарь, и Сципион, и Александр Македонский, и персы, но не классики подсказали ему его темы, а врывавшаяся в его рабочую комнату жизнь. Поджо чувствует, что по этим вопросам необходимо высказаться. Он ведь считается лидером флорентийского гуманизма. Но высказаться нужно так, чтобы это не противоречило интересам власти. Есть ли необходимость разоблачать деспотизм Козимо и говорить, что во Флоренции царит тирания? Или требовать преобразования классовой организации государства? Ни в какой мере. Говорить нужно то, что велит социальный заказ, а жить нужно так, как выгодно, удобно и приятно.

Публичные высказывания гуманистов по политическим вопросам представляют собой официальную публицистику, которая оплачивается налоговыми снисхождениями, почестями и денежными наградами. Капитал умел организовать обслуживание идеологического фронта. Кондотьеры нужны были ему не только на поле брани. Они были нужны и в литературе.

Чей же заказ исполнял Поджо? До переворота 1434 года он служил Альбицци и при папской курии, в их интересах, возглавлял вместе с Бартоломео деи Барди флорентийскую партию. Но Альбицци он служил неохотно. Их политика разоряла не только ремесленников, которых истощение казны и обеднение средних классов лишало работы, но и интеллигенцию, которая изнемогала под тяжестью растущих налогов. Поджо, несмотря на многие льготы, ощущал налоговое бремя очень остро — настолько, что даже поднимал разговор — едва ли искренний — о переезде в Сиену. Но флорентийское гражданство представляло столько выгод, что он не только не порывал с родным городом, а, наоборот, привязывался к нему больше и больше. Он постоянно умножал свою недвижимость на флорентийской территории, волей-неволей копил облигации принудительных займов, приносящие кое-какой доход, и делал все, что от него требовалось, во имя интересов флорентийской правящей группы. Когда к власти пришли Медичи, исчезли и последние колебания Поджо. Медичи были его личные друзья, от которых зависело дальнейшее облегчение его налогового бремени и открытие ему дальнейших путей к обогащению. Служение его флорентийскому правительству стало несравненно усерднее. Едва ли для Альбицци сделал бы он то, что сделал в 1440 году в интересах Медичи, когда он — как можно, по-видимому, считать установленным — подделал папский приказ об аресте всесильного папского полководца кардинала Вителлески. И публицистическая его деятельность после захвата власти Козимо сделалась несравненно оживленнее.

Тут сказывалось еще одно. Этот человек, такой яркий по уму и темпераменту, такой скользкий в высказываниях, умеющий так горячо увлекаться и так ловко устраивать свои дела, нашел власть, которая вполне отвечала его собственным классовым интересам.

Изгнания, конфискации и налоговые махинации, к которым партия Медичи прибегала после своей победы, изменили состав крупной буржуазии. Шерстяные и суконные магнаты вместе с людьми, вращавшимися в их орбите, были вышиблены из колеи. Обновлялся мало-помалу прежний состав крупного купечества и крупных промышленников. Ремесленники, даже очень зажиточные, едва ли переходили в старшие цехи в сколько-нибудь заметном количестве. Они были довольны тем, что мирная политика Медичи, их меценатство и заказы новых богачей обеспечивали их работой. К власти они не стремились, и никто не собирался допускать их к власти. Ряды крупной буржуазии, поредевшие в годы, непосредственно следовавшие за переворотом 1434 года, постепенно пополнялись новыми людьми, которых выдвигало благоволение Козимо. Банковский капитал создавал свою соб-

ственную крупную буржуазию. В ее рядах оказался и Поджо Браччолини\*.

Экономическую конструкцию Флоренции Поджо считал очень здоровой. Крепкая промышленность составляла основу солидной, лишенной всякого авантюризма торговли. Капитал торговый, промышленный и кредитный был обеспечен большими комплексами земли, находившейся во владении купцов. Это было совсем не то, что он видел в Генуе и в Венеции, где торговля была лишена связей с промышленностью и тех ресурсов, которые флорентийская экономика имела в земле.

Поджо захотел стать одним из звеньев этой великолепной организации. Как флорентийский нотариус, прошедший испытания, он был — мы знаем — членом цеха юристов и нотариусов (*giudici e notai*), первого среди семи старших. Положение его было, в смысле гражданском, вполне обеспеченное. Но со своим нотариатом — мы это тоже знаем — он порвал очень рано и очень основательно, а те заработки, которые давала ему курия и изредка литературная работа, он вкладывал в землю и в бумаги, приносящие доход. Количество купленных им участков и размеры их дошли до очень внушительных цифр, а в подсчете процентов, приносимых ему бумагами, он постоянно сбивался сам. К этому присоединялись еще бенефиции, которые доставались ему и его сыновьям от папских щедрот. Поджо стал богатым человеком. И очень типично, как он представлял себе карьеру своих пяти сыновей. Одного он решил пустить по своим стопам и сделать гуманистом; другого — по церковной части. Трех остальных он предназначал для купеческой карьеры. Старик считал, что этот путь проще и надежнее. И когда его старший, Пьетро-Паоло, вступил в одно суконное предприятие (1455 г.), Поджо нашел, что самое лучшее, что может сделать он, — это записаться с четырьмя (без монаха) сыновьями в цех суконной промышленности (*arte di Lana*). Lana вместе с другим старшим цехом, Calimala, была самой мощной организацией флорентийской крупной буржуазии. Еще недавно и политическая власть в городе фактически принадлежала ей. Победа над чомпи (1378 г.) и над ремесленниками (1382 г.) была делом его рук. Альбицци были ее ставленниками. При Медичи политическое значение Lana рухнуло, экономическое — уменьшилось, ибо изгнание членов крупных фамилий (Альбицци, Строцци и др.) и конфискации унесли значительную часть ее капиталов. Но и сейчас еще она делала прекрасные дела и была далека от упадка. Поджо, таким образом, вступал в состав флорентийской крупной буржуазии сообразно своему имущественному положению. Карьера гуманиста и папского секретаря, нищим пришедшего во Флоренцию,

---

\* Не все гуманисты группы Никколи были на стороне Медичи. Джаноццо Манетти был приверженец Альбицци. За это он и поплатился. Медичейская партия задавила его налогами и вынудила эмигрировать.

завершилась великолепным финалом. Поджо был канцлером Флоренции и членом *arte di Lana*.

Его общественные взгляды давно, по мере того как он скупал земли и богател, настраивались соответственно. Складывалось настроение типично буржуазное, притом флорентийско-буржуазное, то есть отражающее классовые отношения города с большой промышленностью и большим крестьянским *Hinterland*'ом. Отношения были трудные и во многом путаные.

В среду крупной буржуазии Поджо был принят, конечно, главным образом за свои научные и общественные заслуги, как пятьдесят лет назад был принят его учитель Салутати. Но была все-таки разница. Салутати был включен в члены *Lana*, так сказать, *honoris causa*, без его об этом просьбы. Он стал почетным членом корпорации флорентийской крупной буржуазии, притом в такой момент, когда *Lana* находилась на вершине своего политического могущества. Поджо пожелал вступить в *Lana* сам, на правах рядового купца, который в лице одного из сыновей будет заниматься промышленным делом. Как ни был он богат и как ни обеднели члены *Lana* за двадцать лет медичейского господства, они все-таки смотрели на Поджо-купца как на выскочку. Старик это чувствовал. Классовая гармония была, бытовая не налаживалась. Получалась нескладница в самочувствии, ибо отношения к другим классам флорентийского общества у Поджо были совершенно те же, что у других членов *Lana*, пребывавших в этом цехе в течение многих поколений.

К дворянам — некоторые члены флорентийского патрициата еще не забыли тех времен, когда их предки были имперскими рыцарями и владели вооруженными отрядами и крепкими замками в окрестностях города — отношение Поджо определялось выводами его диалога "*De nobilitate*". Он их не любил как представитель трудовой профессии, как член "республики знаний", как выходец из низов, хотя понимал, что крутой режим Козимо делает их в классовом отношении безопасными.

С крестьянами Поджо-помещик не ладил в своих многочисленных имениях и не скрывал этого в своих писаниях. Одни крестьянские типы "Фацетий" показывают это с полной определенностью. Но Поджо высказывался и более прямо. Когда в 1425 году флорентийский отряд под начальством кондотьера Пиччинино был уничтожен в горных теснинах крестьянами Вальдиламоне под командою Гвидантанно Манфреди, синьора Фанцы, Поджо был очень обижен и писал: "Жалею, что нас побеждает враг глупейший (*doleo nos superari ab hoste insulsissimo*)". Ему трудно было любить крестьян.

И отношения к рабочим были соответствующие его новой классовой природе. Правда, Поджо не было на свете в момент самого острого столкновения буржуазии и пролетариата во Флоренции, при восстании чомпи (1378 г.). Правда, медичейская полиция в его время ручалась за то, что никаких вспышек, подобных той, больше не будет. Рабочие в эти годы были совер-

шенно скованы полицейскими мерами. Поэтому у него нет к ним той острой ненависти, какая была у Салутати, и того настороженного и пропитанного классовыми страхами отвращения, каким дышат посвященные восстанию чомпи страницы "Истории Флоренции" Бруни. А все-таки, когда Поджо в собственной "Истории Флоренции", продолжившей Бруниеву, пришлось упомянуть о восстании чомпи, не называя его, он писал так: "В это время\* редко бывало, чтобы не случалось во Флоренции раздоров в народе. Но четыре года\*\* больше, чем другие, были временем, когда государство испытало большие потрясения вследствие смерти и изгнания многих граждан. Виновниками этого были то дворяне, то низшие классы (*infima plebe*)\*\*\*, то ремесленники, то самое подлое в городе людское отродье (*la piu vile generatione d'uomini della terra*). "Самое подлое отродье" — это чомпи, неквалифицированные рабочие флорентийской шерстяной промышленности. В то время, как писалась "История Флоренции", Поджо был членом Лапа, и отношение к рабочим было отношением подлинного классового врага.

Поджо был типичным представителем крупной буржуазии, и то, что он был не купцом или банкиром, а интеллигентом, делало его мироощущение сложнее и богаче, но не делало его менее определенным. Его классовая природа сказалась и в "Фацетиях".

## VII

"Фацетии"\*\*\*\*, взятые отдельно от других произведений Поджо, конечно, не дают представления о нем ни как о писателе, ни как о человеке. Но "Фацетии" — та его книга, которая способствовала известности его у потомства больше всего. Вернее, "Фацетии" — единственное сочинение Поджо, которое не забыто само и не дало забыть имя своего автора. Только специалисты знают, что Поджо написал "De nobilitate", "De varietate", "Historia tripartita", "Историю Флоренции". Всякий образованный человек знает, что Поджо написал "Фацетии", если даже не знает самих "Фацетий". Когда Поджо собирал свои "рассказики" и потом публиковал их, он был очень далек от мысли, что именно они принесут ему бессмертие. Совершенно так же Петрарка, уповая на "Африку" и на латинские рассуждения, не думал, что его неувыдаемая слава будет связана с его итальянскими "Rime". "Фацетии", конечно, нельзя сравнивать со стихотворениями Петрарки. Но и "Фацетии" стали классической книгой.

\* Во время войны с папою Григорием XI (1375—1378 гг.).

\*\* Годы революции, диктатуры пролетариата и владычества младших цехов (1378—1382 гг.).

\*\*\* Цитирую по итальянскому переводу сына Поджо — Якопо Браччолини (Флоренция, 1598 г.).

\*\*\*\* *Facetia* — значит шутка, шуточка, насмешка, острое слово, остроумная выходка. Эта многосмысленность слова и мешает перевести его в заглавии.

Они переведены на все языки — и неоднократно. Они продолжают переиздаваться, переводиться и комментироваться до сих пор.

Чем это объясняется? Тем, что в книге много непристойностей? Конечно нет. В мировой литературе есть десятки и сотни книг, по сравнению с которыми "Фацетии" — собрание невинных рассказов. А много ли раз переведен "Гермафродит" Антонио Бекаделли? Или "Алоизия Сигеа" Шорье? Или сочинения Форберга? Или "Raggionamenti" Аретино? Очень немного. Объясняется это просто. Перечисленные вещи имеют определенную эротическую цель. У Поджо она отсутствует, как отсутствует в "Декамероне", в новеллах Франко Саккетти или Мазуччо. "Гермафродит", написанный на потеху сиенским куртизанкам и, подобно новеллам Джентиле Сермини, ярко отражающий насыщенную чувственностью атмосферу Сиены, вышел в свет до "Фацетий", и Поджо высказал свое мнение о нем. Это мнение определяет его взгляд на "Фацетии". Поджо очень нравятся чудесные латинские стихи Бекаделли и искусство, с каким тот величайшим непристойностям умеет придавать красивую форму. Но все-таки советует ему бросить этот вид поэзии. И когда, дружески полемизируя с замечаниями Поджо, Бекаделли сослался на древних авторов и на современных проповедников, он имел в виду, очевидно, Бернардина Сиенского и его учеников-обсервантов. Поджо в ответ подчеркнул, что у древних непристойности имели всегда одну цель — возбуждение смеха, а не возбуждение похоти.

Эти слова могут быть поставлены эпиграфом к "Фацетиям". Даже в наши дни, когда вкусы и взгляды совершенно ины, чем были в XV веке, и когда понятия о смешном так сильно изменились, непристойности "Фацетий" кажутся гораздо более смешными, чем всякие так называемые "забавные ответы" и "остроумные замечания", которыми полна книга.

Но, конечно, и смех "Фацетий" не есть то главное, что заставляет людей XX века читать их так же охотно, как читали люди XV века. Смех "Фацетий" — не смех Рабле. "Фацетии" читаются потому, что эта пригоршня миниатюр дает такую живую, такую яркую, такую пеструю картину быта и нравов XV века, как ни одна другая книга. Картина, правда, мозаична. Она неполна. Подбор материала в ней очень случаен. Но в ней клокочет жизнь — здоровая, полнокровная, радостная. В ней, как в зеркале, отражается быт всех классов общества сверху донизу. И так чудесно фонарь Поджиевой сатиры расцветивает то мягким, то резким светом лица, типы и положения, так весело мелькают в причудливом греховодном хороводе куртки, рясы и сутаны, перепутавшиеся с юбками всех цветов, так ярко человеческая глупость, похотливость и лицемерие предаются посмешищу, что эта книга, написанная четыреста лет назад, кажется написанной вчера. Написанной вчера казалась она и все те четыреста лет, которые она живет.

Как попали под перо Поджо его сюжеты? Он об этом рассказывает в "Заключении" к "Фацетиям". В курии, когда секретарям, апостолическим писцам и прочему служилому люду делать было нечего — при папе Мартине V это случалось частенько, — они собирались в одном из отдаленных уголков папского дворца, в комнате, окрещенной "Вральней", "il Bugiale", и рассказывали друг другу анекдоты. Занятие старое и вечно юное, которое обожает всякая холостая компания, хотя бы каждый из ее членов был семи пядей во лбу и имел в кармане по диплому на монтионовскую премию за добродетель. Папский двор представлял собою нетолченую трубу. Кто только там не бывал! Кто там не сплетничал, не приносил туда новостей, кто не старался поставлять свеженькие анекдоты, чтобы развлечь влиятельных папских служащих, духовных и светских! Француз нес услышанный в дороге пересказ старого фавль, немец тащил свой грубоватый шванк. Недаром среди "Фацетий" мы находим немалое количество "рассказиков", сюжеты которых заимствованы из фавль и шванков\*. Это указывает не только на мигрирующие мотивы новеллистической литературы, но и на международный характер бесед на эти темы при папском дворе. "Вральня", словом, никогда не оставалась без материала для "вранья". Поджо кое-что запомнил, кое-что записал. К основному ядру, которое накопилось во "Вральне", потом понемногу прибавлялось еще, и так мало-помалу создалась книжка. Первое упоминание о ней в письмах Поджо относится к 1438 году, но еще в 1451 году он кое-что к ней прибавлял, а последняя датированная фацетия (Фац. 249) относится к марту 1453 года. Анекдоты из Bugiale и дальнейшие постепенно сложились в книгу "рассказиков" (confabulationes). Так родилось первое литературно обработанное собрание анекдотов. Литературный анекдот ведет свое начало от "Фацетий".

## VIII

С этой веселой и беспритязательной книжкой связано несколько интересных вопросов. И первый из них — вопрос о связи "Фацетий" с эволюцией новеллистического сюжета в Италии.

Типичный буржуа, Поджо должен был особенно остро ощущать жизненность новеллистического сюжета как специфического городского жанра. Ведь начиная с конца XIII века новелла была неизменной развлекательницей итальянского горожанина. А еще раньше развлекал горожанина тот же новеллистический сюжет, но в устной передаче жонглера. Жонглер приходил на городскую площадь в пестром костюме, с обезьяной, с попугаем,

---

\* Таких сюжетов насчитывают добрых полтора десятка. В их числе такие, как завещание собачки, исподни минорита, упрямая жена, которую муж ищет вверх по течению, и др.

с собакой, с гитарой, расталкивал толпу, влезал на пустую бочку, откашливался, сплевывал в сторону, прикрыв эту операцию рукою, как подобало человеку, знающему приличия, проводил пальцами по струнам и начинал рассказывать. Горожане слушали, то затаив дыхание, то хохоча во все горло, а потом щедро сыпали мелкие деньги в шляпу рассказчика, которую обносила по рядам ученая обезьяна, волоча по земле пестрые перья. В конце XIII века сюжеты были впервые записаны. Это был анонимный сборник "Novellino", или "Cento novelle antiche".

От "Novellino" через целый ряд сборников, среди которых и "Декамерон" и книга Франко Саккетти, создавалась традиция и наметились некоторые особенности этого уже вполне литературного жанра.

Самая яркая особенность новеллистической литературы — реализм. Горожанин — сам реалист. Ему не нужно никаких чудесных рассказов, которыми увлекаются рыцари. Он не признает действующих лиц, как в романах Круглого стола. Там — лики. Ему нужны лица настоящие, как в жизни. Фантастические новеллы, правда, существуют, но их немного, и в фантастику этих новелл вкраплены многочисленные реалистические штрихи, дающие иной тон всему. Слушатель или читатель сейчас же понимает, что фантастика — просто литературный прием. Она отличается от фантастики рыцарского романа тем, что в нее не верят ни автор, ни его аудитория.

И действующие лица в этих реалистических рассказах занимают такое место, какое им принадлежит в жизни города. Вот женщина. В догородской литературе женщина — не реальная женщина, чувствующая, радующаяся, страдающая, наслаждающаяся. Она окутана идеализирующим нимбом. Она не живая, а выдуманная. Женщину феодального рыцарского общества нелегко было наблюдать, а в общественном строю она была незаметна. В городе женщина прежде всего равноправна. Городское право уравнило женщину с мужчиной. В феодальном обществе земля — единственный капитал, единственный титул на социальную власть и политическое влияние. Поэтому землю при наследовании делить нельзя. Отсюда — единое наследие в виде майората или минората, из которого женщина исключена. В городе капитал — деньги. Деньги делить можно, иногда выгодно. И устранять женщину от наследования нет оснований. Наоборот, бывает так, что замужество дочери создает очень удобную хозяйственную комбинацию, например в цехе выдача дочери за подмастерье. Женщина в городе равноправна экономически. А экономическое равноправие не только находит отражение в праве, но определяет быт. В таком именно виде, свободную и равноправную, знает женщину городская литература, в частности новелла. В ней женщина живой человек, резко индивидуализированный, с бесконечно разнообразной характеристикой.

А когда дело идет о представителях сословия или класса, однообразное отношение к ним литературы подсказывается чрез-



вычайно остро социальными мотивами. Например, рыцарь. В эпоху первоначального накопления рыцарь горожанину всегда враждебен. По разным причинам. Во-первых, рыцарь как раз в это время переживает первую пору упадка, психологически самую тяжелую, и старается грабежом уравновесить потери, которыми награждает его экономическая конъюнктура. Объект грабежа — всегда купец. А затем рыцарь имеет обыкновение, которое горожанину тоже очень не нравится: он крепко следит за тем, чтобы его крепостные крестьяне, которые тем ему нужнее, чем хуже идут у него дела, не убежали в город. А городу, опять-таки в это время, особенно нужны люди: он колонизируется, привлекает к себе всяких людей. И не просто привлекает, а приманивает. В городе крестьянина прячут от розысков его помещика, и если в течение года с днем помещик его не найдет, он становится свободным: "городской воздух делает свободным". А рыцарь своего крепостного ловит, ищет, устраивает неприятности городу, который подозревает в укрывательстве. Вот почему горожанин не любит рыцаря, и вот почему рыцаря не любит городская литература. Крестьянин, когда он оседает в городе, ускользнув от помещика, перестает быть крестьянином, а когда он обрабатывает на оброке свой участок, принадлежащий помещику, он — враг. Крестьянин снабжает город хлебом, вином, мясом, фруктами и т. д. Ежедневно, а потом и ежедневно он везет на городской рынок свой товар. И, естественно, дорожится. Горожанам это не нравится. Городская литература, угождая вкусам своих потребителей, открывает в крестьянине то глупость, то мошеннические наклонности, то обжорство, то жадность — порою по несколько из этих непохвальных вещей зараз. Крестьянин почти всегда высмеян, и высмеян жестоко.

Духовенство тоже не пользуется симпатиями в городе. С белым духовенством, представителем казенно-церковной точки зрения, горожанин, который очень рано начал искать свою собственную религию, независимую от ортодоксальной, был не в ладах очень давно. Духовные наставления священника его совсем не удовлетворяли. Поэтому плата за требы, которую тот с него взыскивал, представлялась чрезвычайной и раздражала. Сложнее были отношения с монахами. Несколько десятилетий после Франциска Ассизского между миноритами и горожанами отношения были хорошие. Францисканство пришло в город как легальная смена ересям и само было так густо пропитано элементами ереси, что горожане, искавшие в ересях исход свободному и религиозному чувству, радостно его приветствовали. Но как раз к тому времени, когда составляется первый новеллистический сборник в Италии, "Novellino", гармония между горожанами и францисканством кончилась. Францисканские монахи забыли к этому времени заветы своего патрона. Обмирщение производило опустошительные набеги в их рядах. Земные помыслы, земные прельщения овладели ими. Нищенствующие монахи превратились в "волков", которые не только нарушали чрезвычайно

неприятным образом бытовую семейную гармонию, но и наносили прямой материальный ущерб своим надувательством. Про других монахов нечего и говорить. Они гораздо раньше, чем нищенствующие, потеряли у горожан всякий кредит и лишились последних симпатий. Кроме этих причин вражды к монахам была и другая. В городах не умерли еще воспоминания о тех временах, когда сеньором города был епископ, когда он при помощи своего клира, своей рати белого и черного духовенства, управлял городом и старался высасывать соки из горожан. Одних этих воспоминаний было бы достаточно, чтобы поселить вражду к представителям духовной власти.

Если говорить об общей житейской философии, которая проводится в новеллах, то ее можно формулировать как прославление удачи. Удача дается энергией, умом, ловкостью, изворотливостью. Удачи никогда не бывает там, где вместо всех этих качеств лень, глупость, ротозейство. Эту житейскую философию создал город, то есть коллектив людей, обладающих всеми необходимыми качествами для удачи. И в рассказах о животных, где прославляется хитроумный Ренар-Лис, и в новеллах, полных насмешки над обманутыми мужьями, над обойденными простаками, — всюду мы встречаем одни и те же максимы, которые в совокупности становятся чем-то вроде системы моральной философии. Это очень реалистическая мораль. Ее категорический императив совсем не похож на кантовский. Десять заповедей и иные канонические системы морали забыты или отрицаются. При охоте за удачей рекомендуется средствами не стесняться. Средства все хороши, лишь бы цель была достигнута. А тот, кто зевает или плохо думает и становится из-за этого жертвой какого-нибудь ловкача, тот виноват сам, и так, значит, ему и нужно.

В итальянском городе XIV—XV веков не могло быть другой житейской философии, и она достойно завершает ту идеологию, которую мы находим в новелле.

## IX

Таковы сюжеты и социальные тенденции новеллы как типичного городского жанра. Поджо усвоил себе и то и другое, потому что сам был типичный горожанин. Но он внес туда и свое. Тут второй вопрос, который возникает при изучении "Фацетий". В чем заключалось то новое, что внес Поджо в городской рассказ? Это была форма. Поджо в двух отношениях отошел от установившейся формы новеллы. Он писал не по-итальянски, а по-латыни и при композиции стремился к предельной краткости.

Предисловие к "Фацетиям" объясняет, почему Поджо избрал латинский язык. Он хотел попробовать, можно ли поднять городской жанр — его сюжетом он считал "низменные вещи", ges

infimae, — до той ступени важности, чтобы он не дисгармонировал с латинским языком. И еще, можно ли латинскому языку сообщить такую гибкость, чтобы он оказался способным передавать вульгарную уличную сценку в народном квартале маленького городка, перебранку женщин легкого поведения, эпизоды, связанные с отправлением самых грязных функций организма, — словом, все, что с такой красочностью воспроизводили итальянские новеллы. Поджо чувствовал, что латинский язык эту операцию выдержит, не впадая в пошлость. Именно Поджо, который был чужд идолопоклонства перед античным миром и который при всех своих гуманистических увлечениях не забывал, что довлеет дневи злоба его, который не был ни буквоедом, ни доктринером, мог это почувствовать. Через Поджо итальянская литература попробовала дать толчок к развитию латинского языка, и то, что начали "Фацетии", продолжалось в романе Энеа Сильвио Пикколомини ("Historia de Eurialo et Lucretia"), в стихотворениях Джовиано Понтано, в сочинениях Полициано. Латинский язык, сохраняя всю свою элегантность и лишь отбрасывая преувеличенную риторическую красоту, сделался гибок и эластичен настолько, что стал совершенно свободно говорить о самых современных вещах, о таких, которых римляне не могли даже предчувствовать. Полициано подробно описывал по-латыни часовой механизм.

Латинский язык отчасти сделал обязательной и иную композицию новеллистического материала. Как латинская книга, "Фацетии" были опытом. Опыт требовал сдержанности и осторожности. Латинский язык вынуждал на некоторое хотя бы равенство по античной литературной традиции ("Апофтегмы" Плутарха, сборник Валерия Максима). Отсюда краткость "Фацетий". На краткость тем более было легко решиться, что она имела образцы и в итальянской новеллистике. "Cento novelle antiche" большей частью коротенькие. Среди новелл Саккетти имеются сборные, составленные из нескольких остроумных ответов одного и того же лица (напр., Nov. 41), которые, если разложить их на отдельные эпизоды, как это делает у себя Поджо, превратятся в такие же крошечные "рассказики", как и в "Фацетиях". Во всяком случае, для "Фацетий" краткость типична. Сюжет развертывается с молниеносной быстротой. Действующие лица в большинстве случаев — если это не исторические персонажи — не удосуживаются получить даже имени, а так и остаются: муж, жена, монах, лодочник, купец. В рассказах нет ничего, кроме самого необходимого для расстановки сюжетных вех. После тех великолепных образцов художественной новеллы, которые дал "Декамерон", где типы психологически разработаны, где ситуации выяснены до конца путем диалогов, где логика душевных движений, приводящая к трагическим или комическим исходам, захватывает, Поджо свел новеллу к миниатюре, скупой, подчас почти афористичной. Он вытряхнул из нее романтизм, смыл краски и расцветку, оставил один только динамический сгусток

сюжета. По сравнению с новеллой — фацетия то же, что острая, с карикатурным уклоном графика по сравнению с колоритной акварелью. Психологическая обрисовка действующих лиц отсутствует. Ее заменяет шаблонный, упорно и бесцветно повторяющийся эпитет — глупый, бестолковый, рассудительный, мудрый, осторожный, милый, монотонность которого разнообразится время от времени превосходной степенью. Диалог лаконичен до пределов лаконичности: он не всегда успевает принять форму прямой речи и часто остается в рамках неразвернутого конъюнктива косвенной. Было бы очень интересно провести параллель между однородными по сюжету новеллами Боккаччо или Саккетти и "Фацетиями". Например, фацетией о флорентийке с двумя любовниками и новеллой о Ламбертуччо ("Декамерон", VII, 6), фацетиями о Ридольфо ди Камерино и многочисленными новеллами Саккетти, посвященными тому же мудрому кондотьеру\*.

Рядом с композиционными и стилистическими особенностями в "Фацетиях" бросается в глаза обилие в них, по сравнению с новеллами, всяких сверхъестественных вещей. Несклько фацетий посвящены чудесам, причем старательно подчеркивается, что передают эти рассказы люди, заслуживающие полного доверия. Автор верит не только всем выдумкам о том, что веретено приросло к пальцам девушки, ругнувшей святого, или что косцы, выпедившие на работу в праздник, не могли уйти с поля и были вынуждены мучиться словно в чистилище, но принимает за чистую монету рассказ явного мистификатора, мошенника, уверявшего и, кажется, уверившего всех, в том числе и "неверного" Поджо, что он два года живет без пищи и питья. И нечистая сила играет в "Фацетиях" роль, какой ей не дают новеллы. Тут черти и простые и квалифицированные: оборотни, суккубы и морские чудовища, пожирающие детей, но погибающие в бою с воинственными далматскими прачками. Тут призраки покойников, гуляющие по лесам и поднимающиеся как ни в чем не бывало на воздух, и много вообще всяких несообразностей. Совершенно ясно, что этого рода сюжеты, так резко выпадающие из обычного новеллистического репертуара, обязаны своим возникновением месту: специфически клерикальным настроениям папской курии, где подбирали, особенно при Евгении IV, который верил всем этим небылицам первый, всевозможные чудесные выдумки. Город эти сюжеты отметал, куриалы коллекционировали. А Поджо потом заносил их в свое собрание, чтобы иметь несколько лишних рассказов. Иной характер носят, разумеется, басни о животных, исконная часть городской литературы. Тут никто не выдает

---

\* Работа, которая еще не сделана и которая, несомненно, даст много любопытных наблюдений для теории композиции. "Новеллы" Саккетти и "Фацетии" интересно сопоставить и целиком. Некоторые анекдоты о Ридольфо у Саккетти и у Поджо совпадают почти буквально. Возможно, что в руках у Поджо был список новелл Саккетти. "Декамерон" же он, наверное, хорошо знал.

за чудо, что лисица или петух разговаривают по-человечески, и все понимают, что это не более как литературный прием.

Разойдясь с новеллой во взглядах на чудесное и сверхъестественное, Поджо не пошел по ее стопам и в области анекдотов, относящихся к историческим лицам недавнего прошлого. Их у него довольно много. Среди фигур исторических есть такие, которых он любит. Есть такие, которых он терпеть не может, например кардинал Анджелотто Фоски или Фуско, как он называл себя, недостойный любимец папы Евгения IV, или другой кардинал, кондотьер Джованни Вителлески, в трагической судьбе которого Поджо сыграл такую темную роль. Постоянно мелькают и имена живых людей. Это чаще всего друзья: Лоски, Чинчо, Рацелло, Цуккаро, Никколи. Поэтому при них — хвалебные эпитеты, которым превосходная степень не мешает быть однообразными и надоедливими. Но иногда это и враги, вроде Филельфо. Тогда эпитеты выбираются противоположного характера, превосходная степень начинает свирепствовать еще более неудержимо и про людей рассказываются без стеснения всевозможные гадости. Эта черта уже чисто гуманистическая. Новелла не знает ее. Она, правда, иногда смеется над живыми людьми. Но пасквилей на них не сочиняет. Гуманисту, привыкшему при перестрелке инвективами не стесняться решительно ничем, кажется вполне естественным приемы пасквиля перенести и в новеллу. Наряду с чудесами это — вторая черта "Фацетий", уклоняющаяся от традиций типично городского жанра. Та обязана своим происхождением куриальной обстановке, эта — гуманистическим литературным приемам.

Несмотря на все недочеты сюжетного и композиционного характера, "Фацетии" в целом нисколько не компрометируют городской литературы. Ни краткость, ни своеобразие латинской формы, ни шаблонность эпитетов не мешают самому главному. В "Фацетиях" и типы и образы резко запоминаются. Выпуклость их создается не эпитетом, а либо диалогом, который при всей лаконичности дает представление об особенностях человека, либо выразительностью эпического приема. Поджо умеет рассказать эпизод так, что всякие эпитеты, особенно отрицательные, становятся излишни, и, если бы он был настоящим художником, он бы это понял. Но Поджо не художник. Он стилист. Это определяет своеобразие "Фацетий". Поджо вовсе не собирается протягивать руку к лавровому венку Боккаччо. Он пробует новый стиль, сообразно той особой задаче, которую он себе поставил. У него цель вполне определенная. Он хочет забавлять. Он насмехается над пороками и недостатками, и хотя у многих фацетий имеется морализирующая концовка, представляющая иногда изящный латинский афоризм, но всегда шаблонная и скучная по содержанию и часто совершенно ненужная, стремится он не исправлять нравы, а смешить. Этой цели он достигает вполне, ибо в эту точку бьет у него все — и типы, и ситуации, и диалог.

Жертвы его сатиры — те же персонажи, что и в новелле, представители классов и профессий, которые враждебны или неприятны буржуазии: рыцари, крестьяне, чиновники и духовенство. Но коллекция духовных лиц у Поджо гораздо богаче, чем в новелле. Кроме монахов всех орденов и священников папский секретарь сделал предметом смеха многих высших представителей церкви. Епископы и кардиналы, антипапы и папы — если, конечно, папа уже умер — так же остроумно и порою беспощадно высмеиваются, как последний крестьянин. И самая вера католическая, которой служит вся эта разноцветная рать "лицемеров", подвергается поношению без всякой сдержки. Обряды и таинства церкви, над которыми гримасничают, не ощущая никакого благоговения, божье имя, все упоминаемое, явные насмешки над богом, у которого "мало друзей", глумление над реликвиями и их происхождением никак не вяжутся с представлением о Поджо как о человеке глубоко и искренне религиозном. Недаром в эпоху католической реакции "Фацетии" в числе других книг, "вредных" по содержанию, обновили папский Индекс. И недаром даже за границей через сто лет после "Фацетий" имя их автора в устах защитников католической религии было синонимом безбожника\*. Инквизиторы понимали в этих вещах толк. Лишь почти неограниченная свобода слова, царившая при широком и просвещенном папе Николае V, дала возможность "Фацетиям" получить распространение и завоевать популярность. Папа и сам охотно читал книгу своего друга, весело над ней смеялся и не находил в ней ничего предосудительного. И читали ее все современники, знавшие по-латыни, — а кто тогда не знал латыни в кругах сколько-нибудь зажиточной буржуазии! И читали в подлиннике или в переводах люди следующих поколений. И читают сейчас. И будут читать\*\*.

---

\* В эпоху религиозных войн во Франции в 1549 году монах из монастыря Фонтверро, Габриэль де Пюи Эрбо, один из публицистов воинствующего католицизма, обвинял Боккаччо, Поджо, Полициано, Помпоньо Лето, Клемана Маро и Рабле в том, что они хотели восстановить язычество.

\*\* К сожалению, я совершенно лишен возможности сколько-нибудь обстоятельно коснуться интереснейшего вопроса о литературном наследии "Фацетий". Влияние книги сказалоcь очень быстро. Уже немного лет спустя Мазуччо превратил в новеллу фацетию "Исподни минорита", и можно сказать с уверенностью, что не было с тех пор в литературе Ренессанса ни одного сборника новелл или фацетий, которые не использовали бы материала Поджо. И в Италии, например в "Дневнике" Полициано, приписывавшемся раньше Лодовико Доменико, и за Альпами, например в "Фацетиях" Генриха Бебеля, и где угодно — всюду фигурируют понемногу сюжеты и персонажи Поджо. Даже в Россию дошли через Польшу отклики нашей веселой книжки. О них могли бы рассказать многие исследователи русской беллетристики XVI—XVII веков. И потом, сколько раз сюжеты Поджо превращаются из материала, художественно обработанного крупнейшими мастерами (Рабле, Лафонтен), в беззаботно мигрирующий фольклор. И возвращаются в литературу обратно. Вопрос, который тоже ждет своего исследователя.

В заключение несколько слов о переводе. Переводчик ни в чем не старался сгладить стилистическую монотонность "Фацетий" там, где она есть. Бесконечное, надоедливое повторение эпитетов осталось в неприкосновенном виде. Неуклюже сопровождающие диалог глаголы: "сказал", "говорил", "говорит", "начал", "стал" — нетронуты. Читатель будет постоянно на них спотыкаться. Но что делать! Это — Поджо.

Сглаживать и смягчать поневоле пришлось в другом. Эротические места иногда совершенно непередаваемы. Ведь есть фацетии, где главное действующее лицо — анатомический термин. И таких несколько. Эту голую анатомию пришлось одевать настолько, чтобы придать ей по крайней мере вид двусмысленности или вуалировать так, чтобы отнять у нее ее драстическую ясность. Там, где анатомические герои и героини не принимают непосредственного участия, дело казалось проще и смягчение, думается, достигалось легче. В XV веке все эти вещи, не моргнув, проглатывали как папы, так и молодые девушки, потому что все относилось к ним просто. Теперь от них приходится ограждать человечество без различия пола, возраста и профессии. Времена меняются.

Но главное, конечно, было не в этом. Главное заключалось в том, чтобы передать дух латыни Поджо. Ведь несмотря на заявление о том, что риторические украшения не годятся для "низменных" сюжетов, гуманистические привычки взяли свое и риторика в "Фацетиях" оказалось сколько угодно. Длинными цитероновскими периодами с обильными, замысловато подчиненными и соподчиненными придаточными предложениями Поджо любит начинать фацетию, если она не очень коротенькая. Но и в середине иной раз в нем вспыхивает темперамент стилиста и начинает плавно литься цветистая закругленная речь. Если же ему нужно ускорить рассказ, он уснащает его стремительно скачущими одно за другим предложениями в *praesens historicum*, и это дает (например, в фацетии "Исподни минорита") великолепный "ораторский" эффект.

И чередование мест простых по стилю с местами, где идет стиль "украшенный", создает своеобразный затейливый ритм, порою очень заметный. А иногда сугубо упрощенный народный стиль, в котором старик Плавт помогает разговаривать феррарским прачкам и придорожным трактирщикам из Романьи, врывается неожиданно, чтобы произвести особый эффект.

Всем этим вещам переводчик старался найти на русском языке адекватное выражение, и не ему судить, насколько это ему удалось.

Так как настоящий перевод представляет собою первую попытку, то переводчик надеется, что к недочетам его работы, которых, конечно, наберется немало, отношение будет не чрезмерно строгое.

## ЛЕОНАРДО И ВОЗРОЖДЕНИЕ\*

Среди титанов Возрождения Леонардо был, быть может, самым крупным. И, несомненно, был самым разносторонним. Вазари, резюмировавший живую еще традицию, не знает, какой подобрать для него эпитет попышнее, и называет его то небесным, то божественным. Если бы не боязнь набросить этими хвалами тень на Микеланджело, который был для Вазари самой недостижимой вершиной, он, вероятно, поднял бы тон и выше. Но все его эпитеты характеризуют не дела Леонардо, а его одаренность. Дела его казались тогда ничтожными по сравнению с тем, что он мог совершить. Для современников Леонардо был очень большой художник с бесконечными и непонятными причудами, который готов был бросить кисть по всякому, иной раз совершенно пустому поводу и творчество которого дало поэтому чрезвычайно скудные плоды. Леонардо всем импонировал, но доволен им не был никто. Богатырские силы его духа бросались в глаза, возбуждали ожидания, вызывали искательство.

### I

Мы теперь знаем очень хорошо, что культура Возрождения подбирала свои элементы не случайно, а очень закономерно и что такие формулы, как "открытие мира и человека", лишь очень суммарно выражают ее сущность. Культура Возрождения была культурой итальянской коммуны. Она складывалась исподволь, по мере того, как росла и развертывалась жизнь в коммуне, по мере того, как классовые противоположности в ней разрешались в виде определенных социальных результатов. Культура Возрождения была культурой верхних слоев итальянской буржуазии, ответом на ее запросы. "Открытие мира и человека" — формула недиалектичная, отвлеченная: в ней ничем не отразился эволюционный момент. Культура не есть нечто такое, что создается сразу одним коллективным усилием. Она создается постепенно, путем длительных усилий, длительной классовой борьбы. Каж-

---

\* Текст печатается по изданию Леонардо да Винчи "Избранные сочинения", Academia. М.—Л., 1935. (Ред.)



дый момент этой борьбы дает культуре что-нибудь такое, что отвечает реальному соотношению общественных сил в данный момент. Поэтому так изменчив облик культуры одного и того же общества в разные периоды его истории. Поэтому и культура итальянской коммуны в разные периоды ее истории изменялась очень заметно. Какую ее стадию застал Леонардо?

Из родной тосканской деревни он попал во Флоренцию в самую блестящую ее пору, еще до смерти Пьеро Медичи и передачи кормила власти Лоренцо: раньше 1466 года. Не было никаких признаков упадка. Торговый капитал царил безраздельно. Все ему подчинялось. Торговля, промышленность, кредитное дело процветали. Росла свободная наличность в кассах у крупной буржуазии, и от избытка своих барышей она отдавала немало на украшение своих жилищ, общественных зданий и жизни вообще. Никогда празднества не были так пышны и не длились так долго. Именно к этому времени относится процессия, изображавшая поклонение волхвов, о которой рассказывает Макиавелли и которая служила зрелищем народу целый месяц.

Буржуазия могла спокойно наслаждаться своими богатствами. Острые классовые бои были позади. Государственный строй надежно защищали купеческие капиталы. Ощущение спокойного довольства накладывало свою печать на общее мироощущение буржуазии.

Гуманистические идеалы, которые еще не так давно, при старом Козимо, казались последним словом мудрости, уже перестали удовлетворять безоговорочно. Обычные темы диалогов — добродетель, благородство, изменчивость судьбы, лицемерие, скупость и проч. — начинали представляться пресными и неувлекательными. Из Рима доносилась смелая проповедь наслаждения — учение Лоренцо Валлы. Вопросы хозяйства и права, которые уже Поджо Браччолини пробовал затронуть в латинских рассуждениях, ставились теперь шире и реалистичнее в трактатах на итальянском языке, чтобы всякий мог прочесть и понять их. Леон Баттиста Альберти с каждым сочинением притягивал в литературу новые и свежие проблемы: повседневной жизни, искусства, науки. Все становилось предметом обсуждения, и условные рамки гуманистической доктрины рассыпались повсюду.

В этом процессе была большая закономерность. Не случайно раздвинулась гуманистическая литературная программа. Не случайно рядом с гуманистом — типичным филологом, который нужно не нужно рядил в новые одежды темы Цицерона и Сенеки, чтобы поучать образованную буржуазию, — стал ученый с более широкими запросами. Этого требовала жизнь, то есть в конечном счете развитие производительных сил.

Уже тот же Поджо Браччолини, самый живой из плеяды гуманистов, окружавшей Козимо Медичи, дал место в одном из своих латинских рассуждений рассказу некоего кьоджанского купца, совершившего большое путешествие по восточным странам. Географические вопросы стали вопросами актуальными,

потому что надо было искать новых рынков: добывать сырье, пристраивать готовую продукцию, искать работу для незанятых капиталов. Старая Европа была насыщена. Там шевелилось что-то похожее на конкуренцию, а в Босфоре, в Дарданеллах и в сирийских портах засели турки, контрагент далеко не такой покладистый, как старая, хилая Византия. И во Флоренции география самым естественным образом сделалась предметом научного изучения. Среди ее географов был один ученый первой величины, прекрасно понимавший значение науки для жизни и стремившийся оплодотворить ее данными космографии и астрономии, — Паоло Тосканелли. А у ног Тосканелли скоро сядет внимательным учеником юный генуэзец, по имени Христофор Колумб.

Но Тосканелли был не только географом и астрономом. Он был еще врачом и математиком. Славу математика он делил с другим видным современником, Бенедетто дель Аббако, — название тогдашнего счетного прибора заменило ему навсегда фамильное прозвище — автором целого ряда трактатов (по которым тосканцы учились арифметике) и которого поэт-гуманист Уголино Верино воспевал в латинских стихах. Близок к Тосканелли был еще один географ и астроном, Карло Мармочки. Они обсуждали вместе с другими учеными, разделявшими их интересы, вопросы астрономии, механики, математики. Наиболее типичной фигурой своего времени был, однако, не Тосканелли, а тот же Леон Баттиста Альберти, поэт, гуманист, теоретик искусства, экономист, механик, физик — тип "человека всеобъемлющего", homo universale, явившийся словно нарочно, чтобы всей своей деятельностью демонстрировать наступление нового момента в истории культуры. Нужны были очень серьезные причины, чтобы в круг интересов гуманистической науки вошли одновременно экономика и механика, чтобы гуманистические трактаты, писавшиеся раньше по-латыни и рассуждавшие о благородстве и добродетели, стали писаться по-итальянски и рассуждать о выгодности и невыгодности той или другой отрасли хозяйства, о физических явлениях, о технических нововведениях. Все эти вопросы и многие другие фигурируют в сочинениях Альберти.

Почему следом за географией людей стали интересовать экономика и техника? Потому что надо было рационализировать хозяйствование, и прежде всего промышленность. В течение благополучного, свободного от серьезных потрясений столетия между восстанием чомпи (1378) и заговором Пацци (1478) промышленность, торговля и банковское дело во Флоренции процветали, как никогда. Господство Альбицци, потом Козимо и Пьеро Медичи было золотым веком флорентийского торгового капитала. Дела шли, можно сказать, сами собой, барыши плыли широким потоком. Не нужно было искать рынков: не хватало товаров, было изобилие сырья. Удача сопровождала всюду красную флорентийскую лилию. Но уже кое-какие тучи плыли по ясному еще

небу. Сначала Венеция, теснимая турками на Архипелаге, двинулась на завоевание восточной Ломбардии и воздвигла заставы в восточных альпийских проходах, а в 1453 году турки взяли Константинополь и закупорили пути к левантским рынкам. Приходилось бояться худшего, и нужно было принимать меры. Отсюда интерес не только к географии, но и к экономике и технике. География должна была помогать торговле, экономика и техника должны были рационализировать промышленность: флорентийские купцы были люди предусмотрительные. А интеллигенция сейчас же восприняла новый социальный заказ. Нужно было бросить рассуждения о лицемерии и добродетели — они годились для спокойных и безоблачных времен и совсем неплохо наполняли в ту пору досуги образованных кушцов. Теперь надо было писать о вещах практически нужных: о том, как усовершенствовать прядильные и ткацкие приборы, как поднимать урожай, как вести хозяйство в обширных загородных имениях, чтобы оно давало больше дохода.

Поэтому светила гуманистической науки, как Леон Баттиста Альберти, — кстати, сам принадлежавший к семье промышленников — переключились на другие темы. Поэтому Тосканелли и его кружок с таким увлечением рассуждали о механике и математике.

Леонардо, по-видимому, не был знаком с Альберти. Но к кружку Тосканелли он был несомненно близок с юных лет.

## II

В западной литературе последнего времени много усилий посвящено доказательству того, что итальянцы XV и XVI веков в своих научных и научно-технических построениях были неоригинальны, а лишь повторяли то, что задолго до них, еще в XIV веке, было установлено парижскими схоластиками, принадлежавшими к школе Оккама. В числе повторявших оккамистов очутился и Леонардо.

Леонардо и его предшественникам, конечно, были знакомы трактаты таких оккамистов, как Альберт Саксонский, популяризовавший опыт крупнейших представителей этого течения: Никола Отрекура, Жана Мирекура, Буридана, Оресма и других. Но разве это отнимает значение у того факта, что итальянская наука именно после середины XV века начинает решительно перестраиваться и с филологических путей переходит на географические, экономические, технические, математические?

Отрекуром и Мирекуром наука заинтересовалась только тогда, когда были прочитаны записи Леонардо. До этого времени писания их проглядывались наскоро невнимательным глазом и забывались сейчас же. А Буридан был славен только своим ослон\*. Занятия схоластиков не выходили из монастырских ке-

---

\* К тому же еще мало кто помнил, что притча об осле, который находится между двумя вязанками сена и умирает с голоду, потому что не может решить,

лий ученых уединений. Они не стали звеньями в эволюции европейской науки, потому что были слабо связаны с жизнью. Новые интересы итальянцев подсказывались жизнью непосредственно. Они отнюдь не были игрою ума. Они были практически нужны. Они поэтому расширяли и обогащали мировоззрение эпохи. И это было не местным флорентийским явлением, а точно повторялось во всех крупных торговых и промышленных центрах Италии. Ибо всюду оно вызывалось одинаковой причиной: развитием производительных сил и необходимостью принять меры на случай возможных кризисов в торговле и промышленности.

Было очень естественно, что юный ученик Верроккьо, живописца и скульптора, не удовлетворялся ни тем профессиональным обучением, которое он получал в мастерской учителя, ни теми искрами науки, которые он мог хватать там на лету, а как человек с пытливым умом тянулся туда, где наука культивировалась по-настоящему, — к Госканелли и к его кружку. Столь же естественно за пятьдесят лет до этого скульптор Лоренцо Гиберти тянулся к гуманистическому кружку Леонардо Бруни, за столет художник Орканья тянулся к литературному кружку Боккаччо, а за полтора столетия живописец Джотто — к Данте Алигьери. В каждый данный момент люди искусства искали общения с представителями господствовавших научных интересов.

Флорентийское искусство шестидесятых и семидесятых годов XV века было типичным порождением буржуазной культуры. Его главным направлением был реализм, любовно копирующий природу, воспроизводивший во всех деталях быт, — искусство, процветавшее во всех мастерских последователей Мазаччо, наиболее ярко выразившееся в фресках Гирландайо. Но, оставаясь искусством, служившим целям и вкусам буржуазии, оно начинало в разных боттегах показывать особенности, отражавшие отдельные моменты эволюции буржуазии как общественной группы. Живопись Боттичелли приспосаблилась к требованиям рафинированной, пропитанной литературными изысками полупридворной медичейской среды. Живопись и скульптура Верроккьо, руководящего художника этой поры, искали научных принципов, позволяющих в технике искусства перейти от случайной эмпирии к более твердым принципам и тем рационализировать работу, множившуюся вследствие увеличения частных заказов. Это сближало художников с учеными.

Искусство становилось наукой. Таково было требование профессиональной техники. Для Флоренции, города разнообразной и сложной промышленной техники, это было очень естественно. Во Флоренции никому не нужно было доказывать, какое большое значение имеет техника в любом производственном процессе, как ускоряет и совершенствует производство хорошая техника. Во

---

какую ему нужно начать есть раньше, была аргументом в полемике о свободе воли: она ходила как вульгарный анекдот.

Флоренции не было человека, который бы не знал, что такое "секреты производства". Каждый мог рассказать там про такие эпизоды из истории флорентийской индустрии, как расцвет шелковой промышленности. Вначале она не могла выдержать конкуренции с луккской шелковой промышленностью, но, когда социальная борьба в Лукке выбросила из города сотни семей и часть их, нашедшая убежище во Флоренции, принесла туда секреты шелкового производства, Флоренция и в этой области стала бить Лукку. Художники понимали значение техники не хуже других.

Боттеги крупных художников и прежде были не чужды научных интересов. Многие живописцы и скульпторы, углубляя изучение приемов своего мастерства, естественным образом доходили до постановки научных вопросов, в частности вопросов, связанных с геометрией и с оптикой, с математикой вообще. Вазари рассказывает, как Паоло Учелло просиживал ночи над решением перспективных задач и как настоящие жены не могли его от них оторвать. Учелло не оставил записок. Некоторые из его собратьев оставили. В "Комментариях" Лоренцо Гиберти оптике посвящена почти целиком вся третья часть. В писаниях Франческо ди Джорджо Мартини и Пьеро делла Франчески, особенно последнего, вопросы математики играют огромную роль: от него пошел Лука Пачоли. Но все эти научные вылазки художников были в конце концов своеобразной ученой кустарщиной. Они показывают, как высока была квалификация некоторых представителей итальянского искусства, но они не создавали ничего принципиально нового в культуре Возрождения. Это принципиально новое появилось только тогда, когда научная работа сосредоточилась в руках настоящих специалистов, особенно таких, как Пачоли. А к специалистам она перешла, когда стала не побочным предметом, а главным, когда того потребовал изменившийся и расширившийся к ней интерес буржуазии.

Леонардо было мало той науки, которая культивировалась в мастерской Верроккьо, и он пошел к флорентийским математикам-специалистам. Правда, есть указание, что и гуманистическая наука не была окончательно чужда интересам Леонардо. В его записях мелькнуло однажды имя Аргиропула. Это был знаменитый эллинист, очень популярный профессор греческого языка, тесно связанный с Марсилио Фичино и платоновской Академией, живой кладезь сведений о древнегреческой и византийской науке. Он пользовался громкой известностью, и Гирландайо увековечил его черты на одной из своих византийских фресок. Но имя Аргиропула именно мелькнуло — и только. Это указывает лишь на широту горизонтов Леонардо и ни в коей мере не является определяющим для его мировоззрения. И сам Винчи не причислял себя к гуманистам. "Хорошо знаю, — говорит он, — что некоторым гордецам, так как я не начитан (*non essere io letterato*), покажется, что они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования. Глупцы! Не понимают они, что я мог бы ответить им, как Марий ответил римским патрици-

ям: "Вы украсили себя чужими трудами, а за мною не хотите признать моих собственных". Этими словами Леонардо очень точно выразил мысль, вполне характеризующую его положение в обществе: он не гуманист, но он принадлежит к интеллигенции.

Художник во Флоренции был ведь ремесленником только по своему социальному статусу. Крупнейшие с самых ранних времен были на положении интеллигентов и по интересам, и по ближайшему окружению.

Интерес Леонардо к науке объясняется легко. Таков был момент, выдвигавший науку и технику на положение существеннейших элементов культуры, и такова была умственная направленность юного художника, для которого вопросы науки и вопросы искусства оказались — и навсегда — неразрывно связанными, стали двумя сторонами его творчества, которые одинаково строились на опыте как на некоей необходимой основе.

Если для предшественников Леонардо искусство становилось наукой, то для него оно стало наукой вполне: настолько, что он сам не сумел бы, вероятно, сказать, где в его художественных интересах и в его художественном творчестве кончается искусство и где начинается наука, и наоборот.

### III

По разным причинам Леонардо не сумел прочно устроиться во Флоренции и в 1482 году перебрался на службу к Лодовико Моро, сыну Франческо Сфорца, фактическому правителю Милана\*. Леонардо предшествовала слава крупного художника и великого искусника в самых разнообразных областях.

Сам Леонардо был очень уверен в своих силах. Ему уже перевалило за тридцать, и он не терял времени во Флоренции. Правда, его продукция как художника была ничтожна, но знаний и умения он накопил очень много. Вероятно, немалое уже количество тех тетрадей, которые были завещаны потом Франческо Мельци, привез он с собою в Милан, полных художественных набросков, чертежей, схем, всевозможных рисунков и записей справа налево, которые можно было читать только при помощи зеркала.

В первый же год пребывания Леонардо в Милане Моро пришлось готовиться к войне с Венецией и Леонардо в гордом письме к правителю предлагал ему свои услуги. "Я обращаюсь к вашей светлости, открываю перед вами свои секреты и выражаю готовность, если вы пожелаете, в подходящий срок осуществить все то, что в кратких словах частью изложено ниже". "Ниже" следуют пункты.

---

\* Законным герцогом был юный Джан Галеаццо Сфорца, сын старшего брата Лодовико, Галеаццо Мариа. Но Лодовико не пускал племянника к делам управления, искусно потворствуя его страсти к охоте и пирам.

В них — в настоящей книге письмо переведено полностью — перечисляется почти исключительно то, что Леонардо может сделать на случай войны оборонительной и наступательной. Тут — мосты всех видов, лестницы, мины, танки, орудия, метательные машины, способы отвода воды из осажденного города, способы морской войны и прочее. И, очевидно, лишь просто для того, чтобы не показалось, что он может быть полезен только на случай войны, Леонардо прибавил, что в мирное время он не хуже всякого другого может строить здания, общественные и частные, проводить воду из одного места в другое, а также ваять статуи из любого материала и писать картины. Мирные его предложения не носили такого детализированного характера, потому что нужно было говорить главным образом о войне, о военной технике. Но у Моро планы были широкие. Ему были нужны инженеры всякого рода. И Леонардо был включен в целую коллегию *ingegneri ducali*, в которой оказался рядом с такими людьми, как Браманте, Дольчебуоно, Джованни Батаджо, Джованни ди Бусто и др.

Если судить по запискам Леонардо, которые носят до известной степени характер дневника, его в первое время заставляли заниматься вопросами городского строительства, фортификационными и разного рода архитектурными задачами в Милане и в Павии. Потом он с увлечением отдался заботам об орошении Ломеллины, бесплодной области поблизости от Милана, где находились поместья Моро. И много времени отдавал художественному творчеству: лепил "Коня", то есть конную статую Франческо Сфорца, писал "Тайную вечерю", портреты и алтарные образа, в том числе "Мадонну в гроте", руководил внешним оформлением всех придворных празднеств. А больше всего занимался разработкой научных проблем, выдвигавшихся каждой отдельной его работой. Записные его книги пухли и множились. Знаний у него становилось больше. Они накопились путем усиленного чтения, наблюдений, опытов, размышлений и долгих бесед с друзьями, среди которых были Кардано-отец и Лука Пачоли, великий математик. Леонардо начинал подумывать о том, чтобы изложить результаты своих научных занятий в ряде трактатов.

Миланский период был, по всей вероятности, счастливейшим в жизни Леонардо. Жил он хотя и не в изобилии, но без нужды, занимался тем, что его увлекало: в технике, в науке, в искусстве. Кругом него были ученики, вращался он в придворном обществе, в котором кроме красивых женщин и изящных кавалеров были собраты по исканиям и дерзаниям, а с ними можно было делиться сокровенными мыслями, как бы они ни были сложны. Моро относился к нему не только благосклонно, но и почтительно, что, правда, не мешало ему подолгу задерживать выплату жалованья предмету своего почитания.

Все это кончилось вместе с французским нашествием 1499 года. Леонардо уехал в Венецию вместе с Лукой Пачоли, чтобы

дождаться лучших времен. Но лучшие времена не наступили. Моро, вернувшийся с помощью швейцарцев, был ими же выдан французам. Леонардо решил возвратиться во Флоренцию (1500).

Там уже шесть лет была республика. Медичи были изгнаны. Царила свобода. Леонардо немедленно засыпал художественными заказами: слава о "Тайной вечерне" гремела по всей Италии. Но он едва удосужился сделать картон "Св. Анны" да написать портрет Джиневры Бенчи и с головою погрузился в вопросы канализования и шлюзования Арно и создал еще безумно смелый проект поднятия Баптистерия на такую высоту, чтобы его своеобразная архитектура выиграла еще больше. Попутно он давал еще разъяснения по поводу оползней на горе Сан-Сальваторе. Словом, был занят и здесь главным образом техническими вопросами. Тщетно просила его через своих агентов Изабелла д'Эсте, герцогиня Мантуанская, дать ей картины. Тщетно предлагала ему Синьория высечь статую из большой глыбы мрамора, той, из которой Микеланджело сделал потом своего "Давида". Тщетно со всех сторон просили его о картинах. Он неизменно уклонялся и предложил — в строжайшем секрете — свои услуги в качестве инженера и архитектора Цезарю Борджа (весна 1502 года). Тот принял предложение немедленно, послал его сначала в Пьомбино осмотреть укрепления, потом вызвал в Урбино — тоже для инспекции городских стен и городского кремля, потом отправил в Чезену, чтобы соединить город при помощи канала с морем и расширить порт Чезенатико; то и другое Леонардо, по-видимому, выполнил, хотя, может быть, и не до конца: помешало восстание против Цезаря его кондотьеров, заставившее Леонардо бежать в Имолу, под крыло полководца. Возможно, что он сопровождал Цезаря в его походе на Сенегалию, где были захвачены заговорщики, потом в Сиену, потом в Рим. Здесь он расстался с Цезарем и вернулся во Флоренцию (начало марта 1503 года). Если бы Цезарь был менее беспокойным государем, Леонардо мог бы быть вполне удовлетворен работой. Каналы, порт, гидравлические работы — все это было то, что Леонардо любил. Но он не любил тревог.

Во Флоренции только что (1502) избранный пожизненным гонфалоньером Пьеро Содерини после долгих настояний уговорил его взять на себя роспись одной из стен залы Большого совета в Palazzo Vecchio. Сюжетом должна была служить ему битва при Ангиари в 1446 году; другую стену брался расписать Микеланджело. Леонардо отвели под мастерскую большое помещение в монастыре Санта Мариа Новелла, и он принялся за картон. Но одновременно с большим увлечением погрузился он в исследование возможностей отвода русла Арно от Пизы, осажденной тогда флорентийцами. А когда этот проект был оставлен, увлекся другим, канализованием Арно под Флоренцией, и составил подробный план с детальными объяснениями. Тем временем выяснилось, что изготовленные им масляные краски не держатся на известке, наложенной на стену, и "Битва при Ангиари"



должна так же неминуемо разрушиться, как и "Тайная вечеря". Леонардо бросил фреску и занялся аэростатикой и аэродинамикой. Но вскоре с величайшим увлечением вернулся к живописи: его увлек портрет Монны Лизы Джоконды, который он стал писать в это же время.

Пребывание Леонардо во Флоренции было прервано приглашением в Милан, полученным от Шарля д'Амбуаза де Шомона, французского губернатора Миланского герцогства. Содерини отпустил его на три месяца, но потом сначала Шомон, затем сам король Людовик XII просили Синьорию отсрочить ему отпуск. Он вернулся во Флоренцию на очень короткое время в 1508 году и прожил в Милане вплоть до того момента, когда французы вынуждены были очистить герцогство (1512). Он приобрел там много новых друзей, в том числе Джироламо Мельци из Ваприо, сын которого, Франческо, вскоре сделался его любимым учеником. Он написал там несколько портретов, устраивал придворные празднества, но главным его занятием были работы по канализации и по орошению отдельных частей Ломбардии. Когда он гостил в Ваприо, он больше всего занимался анатомией, готовя особый трактат.

После французов оставаться в Милане Леонардо не мог. Тем временем папой стал (1513) Джованни Медичи — Лев X, и в Рим потянулись со всех концов Италии в чаянии найти работу артисты. Папа был сыном Лоренцо Великолепного. Одно это, казалось, было ручательством, что для даровитых людей настает золотой век. Направил свои стопы в Рим и Леонардо. Он присоединился к свите папского брата Джулиано. Слава его была велика, но заказы, которыми его по обыкновению заваливали, были исключительно живописного характера. Леонардо нехотя писал картины и усерднейшим образом занимался анатомированием трупов в одной больнице, опытами по акустике во рвах замка св. Ангела и научными экспериментами, которые в описании Вазари превратились не то в какую-то игру, не то просто в блажь ученого человека. Лев X отнесся к нему холодно, и, когда при вести о приближении нового французского короля Франциска I папа отправил Джулиано, бывшего главнокомандующего церковными силами, для наблюдения за французской армией, Леонардо, хотя старый и немощный, поехал вместе с ним. Когда Франциск разбил швейцарцев при Мариниано (1515), папа вступил с ним в переговоры. В Болонье было назначено свидание, и в конце 1515 года почти одновременно с папой прибыл туда и Леонардо. Знакомство с Франциском повело к тому, что художник получил приглашение переселиться во Францию и работать там для короля. Подумав, Леонардо согласился и последние три года жизни провел в замке Клу близ Амбуаза. Там он написал несколько картин, в том числе Иоанна Крестителя, а большую часть времени занимался работами по орошению окрестностей Амбуаза и приводил в порядок свои научные записи.

Он умер в августе 1519 года.

Интересы Леонардо сложились вполне во Флоренции, до 1482 года. Ему было больше тридцати лет, когда он отправился в Милан, и мы знаем, что не гуманистическая среда сформировала Леонардо, а те научные интересы, которые создавались под влиянием хозяйственных предвидений и опасений в атмосфере большого центра текстильной индустрии. Такие интересы и настроения носились в воздухе, и люди чуткие их улавливали.

Леонардо был одним из самых чутких. У него уклон в практическую науку, в механику и в технику появился очень скоро и сделался неодолимой тенденцией всего его научного и художнического склада. К этой практической науке он пришел незаметно для самого себя, черпая импульсы к занятиям ею от всего, с чем соприкасался, и прежде всего от практики искусства. Живопись выдвигала перед ним оптические проблемы, скульптура — анатомические, архитектура — технические.

Во Флоренции не только сложились основные его интересы. Во Флоренции были накоплены и большие знания. Иначе Леонардо не решился бы написать свое знаменитое письмо к Моро. В Милане за те пятнадцать лет, которые он пробыл при дворе Сфорца, Леонардо начал применять свои теории и свои знания на практике. Но в Милане конъюнктура была не та, что во Флоренции. Ни торговля, ни промышленность в Милане не были на той высоте, на какой они находились во Флоренции. И там не ощущалась необходимость заблаговременной подготовки для встречи возможного кризиса. Не ощущалась, во всяком случае, так остро, как во Флоренции. Запросы к науке и технике со стороны хозяйства не были так настоятельны. И мы видели, что в Милане к Леонардо обращались больше всего в трех случаях: когда его консультация была необходима в делах военных и фортификационных, когда он нужен был как незаменимый организатор важнейших придворных празднеств и когда хотели поручить ему какой-нибудь художественный заказ: в живописи, в скульптуре, в архитектуре. Технические его знания были использованы гораздо меньше, чем было можно и чем, вероятно, хотел он сам: оросительные работы, канализование рек, переброска воды в засушливые районы, постройки — вот почти все, что Леонардо делал в технической области. У Цезаря Борджа он работал исключительно как военный инженер. Во Флоренции при Содерини он сам рвался к техническим работам, в то время как его заставляли писать картины. И вообще, чем дальше, тем практическая деятельность Леонардо в области техники сокращается все больше, а, наоборот, накаплиются теоретические исследования. Во Франции они заполняют почти все его время; правда, этому способствовала и болезнь, парализовавшая на продолжительное время его правую руку. Чем все это объясняется?

Техника — в спросе и может развиваться только при поднимающейся хозяйственной конъюнктуре, особенно когда глав-

ным элементом экономического подъема является промышленность. При падающей конъюнктуре техника прогрессирует редко. Интересы Леонардо, в частности интерес к технике, зародились во Флоренции, городе цветущей текстильной индустрии, в пору высшего ее хозяйственного расцвета, когда дела были великолепны, доходы не сокращались, богатства не убывали и когда лишь чрезмерная осторожность крупных капиталистов заставляла с некоторой тревогой смотреть на будущее. И Леонардо отдавал много внимания чисто техническим вопросам. Иначе — это нужно помнить все время — было бы непонятно его письмо к Моро, рассказывающее, как много он может сделать в одной только военной области: у него было припасено, очевидно, немало всяких изобретений и не военного характера, кроме тех, о которых он сказал в письме. Он жаждал применить свои познания во Флоренции, где была для этого возможность. Иначе зачем было ему копить знания и ломать голову над изобретениями? Но во Флоренции, несмотря на все его обаяние, он не пользовался доверием той группы, которая одна могла дать ему возможность приложить свои знания к практическому делу, — доверием крупной буржуазии. Вероятно, кушцов останавливала перспектива больших затрат без крайней необходимости. Флорентийская промышленность, хотя и находилась в зените развития, переживала еще мануфактурно-ремесленный период, когда машина играет второстепенную роль по сравнению с разделением труда. Именно поэтому она не восприняла знаний и гениальных выдумок Леонардо и в момент своего расцвета: его проекты ткацких, стригальных, прядильных аппаратов, которыми пестрят его тетради, — в их числе механическая прялка, по сравнению с которой прялка Иоргена, изобретенная в 1530 году и служившая текстильной промышленности до конца XVIII века, кажется грубой и непродуктивной, — никогда не были применены к делу.

В Милан Леонардо перебрался в такой момент, когда во Флоренции дела были очень хороши. В Милане они не были хуже. С Венецией у Сфорца отношения были напряженные: вспыхивали военные действия. Положение самого Моро было пока что двусмысленное: не то он был правителем, заменяющим несовершеннолетнего племянника, наследника его старшего брата, не то узурпатором, который не пускает к делам законного государя, уже достаточно взрослого, и кует против него замыслы еще более преступные. У деловых людей не было настоящей уверенности. Они опасались, что либо внутренние, либо внешние события взорвут их непрочный покой. А без такой уверенности деловые люди работать не любят и придерживают свои капиталы. Конъюнктура для прогресса техники была малоблагоприятная. И мы знаем, как мало применял свое техническое мастерство и изобретательский гений Леонардо.

А начиная с 1494 года, с года французского нашествия, и общегосударственная хозяйственная конъюнктура пошла книзу. С этих

пор бывали только временные улучшения: общая линия все время была падающая. Это были годы борьбы с наступавшей феодальной реакцией. Она надвигалась медленно, но неустанно. Тоскана и Венеция были — даже они — захвачены этим процессом. Дела страдали прежде всего от почти непрерывных войн. В 1494—1495 годах воевали с Карлом VIII. Когда его прогнали, на юге появились испанцы. В 1499 году Милан заняли войска Людовика XII, а потом начался поединок между Францией и Испанией из-за Неаполя. Первый его этап кончился победой Испании при Гарильяно (1503). В 1501—1502 годах Романья и Марки сделались ареной завоевательных подвигов Цезаря Борджа. С 1494 по 1509 год флорентийцы безуспешно покоряли отложившуюся Пизу. В 1501 году они воевали с взбунтовавшимся Ареццо. До 1509 года папа Юлий II продолжал дело Цезаря Борджа — покорение Романьи. В 1509 году он создал против Венеции союз (Камбрейская лига), и Венеция была разгромлена при Аньяделло. Сокрушив Венецию, Юлий обратил свое оружие против Франции и, чтобы действовать наверняка, составил новую коалицию (Священная лига, 1511). Французы разбили ее при Равенне, но не сумели использовать победу: побежденные ими испанцы и швейцарцы выгнали их из Милана. В том же 1512 году испанцы взяли приступом Прато и уничтожили республику во Флоренции. Несколько лет спустя папа Лев X выгнал из Урбино законного герцога, чтобы передать его государство своему племяннику Лоренцо Медичи. В 1515 году при Мариньяно Франциск разбил швейцарцев и вновь завоевал Милан. Возвращаясь во Францию после свидания с папой в Болонье, он, как мы уже знаем, взял с собой Леонардо.

Одних этих войн, походов, сражений, осад без всего другого — а другого тоже было немало — было с лихвой достаточно, чтобы испортить всякую хозяйственную конъюнктуру. Технической мысли, изобретательства нигде было разгуляться. Поэтому Леонардо мог искать практического осуществления для своих технических идей либо в военных делах, либо в гидротехнических сооружениях, необходимых и для промышленности, и для земледелия, то есть и для буржуазии, и для феодального хозяйства: недаром и во Франции его практическое изобретательство нашло применение только в тех же гидротехнических рамках.

Надвигающаяся феодальная реакция убила возможность применения Леонардова технического изобретательства. Но она не убила научной мысли, которая питала его техническое изобретательство.

## V

”Современное естествознание, как и вся новейшая история, ведет свое начало от той мощной эпохи, которую мы, немцы, зовем, по случившемуся тогда с нами национальному несчастью, Реформацией, французы — Ренессансом, а итальянцы — Чинк-

веченто... Это эпоха, начинающаяся со второй половины XV века” — так говорит Энгельс, объясняющий вслед за этими словами, почему естествознание должно было пробудиться именно в эту пору. И вспоминает Леонардо. “Это был, — продолжает он, — величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством; время, которому нужны были исполины и которое порождало исполинов по силе мысли, по страсти и по характеру, по многосторонности и по учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были меньше всего буржуазно ограниченными. Наоборот, они в большей или меньшей мере были овеяны духом эпохи, насыщенным дерзаниями (*abenteuerende Charakter der Zeit*). Почти не было тогда ни одного крупного человека, который не пускался бы в далекие странствования, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал во многих профессиях. Леонардо да Винчи был не только художник, но также и великий математик, механик и инженер, обогативший важными открытиями самые различные отрасли физики...”

”Люди, основавшие современное господство буржуазии...” В Италии господство буржуазии подходило уже к концу. В остальной Европе оно постепенно утверждалось — где больше, где меньше. Но всюду на рубеже XV и XVI веков буржуазия предъявляла свои требования культуре. Господство над природой было одним из этих требований, ибо без господства над природой невозможен прогресс капитализма. А для того чтобы подчинить себе силы природы, их нужно было сначала изучить. Это и есть та общая предпосылка, которая обуславливала интерес к естествознанию Альберта Саксонского, Николая Коперника, Николая Кузанского, Леона Баттиста Альберти и итальянского Ренессанса вообще.

Но в системе мировоззрения итальянского Ренессанса тот этап, который связан с интересом к естествознанию, составляет целый поворот. Ренессанс в Италии как некий идеологический комплекс есть функция классовых интересов верхушки буржуазии итальянского города. Идеология Ренессанса — мы уже знаем — росла органически, в точности следуя за ростом идейных запросов этого класса. Идеологические отклики на запросы реальной жизни в Италии давно стали потребностью, не всегда ясно сознаваемой, но настоятельной. Мировоззрение Ренессанса приобрело характер канона, постепенно пополнявшего свое содержание под давлением живого процесса, роста социальных отношений. При Петрарке и Боккаччо канон один, при Салутати — другой, при Бруни — опять иной, при Поджо, при Альберти, при Полициано — все новое. Потому что жизнь не стоит, потому что общество растет, в нем происходит борьба классов и каждый новый поворот влечет за собой необходимость пересмотра канона, иной раз насильственной его ломки. Поэтому появление в ренессансном каноне в определенный момент интереса к естествознанию было вполне закономерно.

Леонардо — наиболее яркий выразитель этого поворота. В его увлечениях тесно слились воедино интерес к практическим

вопросам, к технике, для которого в жизни и хозяйстве не оказалось достаточного простора, и интерес к теоретическим вопросам, разрешением которых он хотел оплодотворить свое художественное творчество и свои технические планы. То, что все это стало органической частью ренессансного канона, видно из того, что научные выкладки Леонардо во многих пунктах тесно соприкасаются с другими частями этого канона — как установленными раньше, так и наслоившимися одновременно.

В "Трактате о живописи" есть у Леонардо похвальное слово человеческому глазу, а "глаз" (occhio) в этой осанне олицетворяет человеческую мысль, могучую личность человеческую, ту самую, хвалой которой полны все рассуждения гуманистов и которой пропел такой страстный гимн Пико делла Мирандола в рассуждении "О достоинстве человека". "Неужели не видишь ты, — восклицает Леонардо, — что глаз объемлет красоту всего мира... Он направляет и исправляет все искусства человеческие, двигает человека в разные части света. Он — начало математики. Способности его несомненнейшие. Он измерил высоту и величину звезд. Он нашел элементы и их место... Он породил архитектуру и перспективу, он породил божественную живопись. О превосходнейшее из всех вещей, созданных богом! Какие хвалы в силах изобразить твое благородство! Какие народы, языки сумеют хотя бы отчасти описать истинное твое действие!"

Эта тирада звучит совсем, казалось бы, гуманистически. Но в ней есть одно коренное отличие от гуманистических славословий человеку. За что превозносят человека и силы человеческого духа гуманисты? За способность к бесконечному моральному совершенствованию. Пико восклицает: "Если он [человек] последует за разумом, вырастет из него небесное существо, если начнет развивать духовные свои силы, станет ангелом и сыном божим". А за что восхваляет человека и его "глаз" Леонардо? За то, что он создал науки и искусства. Пико и Леонардо — современники. Пико даже моложе Леонардо. Но его мысль вдохновлялась платоновской Академией, а мысль Леонардо — представлением о высокой культурной ценности науки. И, конечно, точка зрения Леонардо прогрессивнее и исторически свежее, чем точка зрения Пико, ибо у Пико, как вообще у гуманистов, господствует мотив чисто индивидуальный, а у Леонардо подчеркивается мотив социальный: создание наук и искусств.

То же и в другой области. Ренессансный канон был враждебен вере в авторитет как догмату феодально-церковной культуры. Но вере в авторитет он противопоставлял критическую мощь свободного духа, силы человеческого ума, перед которыми должны раскрыться все тайны познания мира. У Леонардо было совсем иное. Силы человеческого ума для него не гарантия. Ему важен метод. Только при помощи надлежащего метода познается мир. И метод этот — опыт. "Если ты скажешь, что науки, которые начинаются и кончаются в уме, обладают истиной, с этим нельзя согласиться. Это неверно по многим причинам, и прежде всего

потому, что в таких умственных рассуждениях (*discorsi mentali*) не участвует опыт, без которого ничто не может утверждаться с достоверностью". Леонардо не только отрицает авторитеты, он считает недостаточным и голое, не опирающееся на опыт умозрение, хотя бы самое гениальное.

Но Леонардо не избежал влияния современной идеалистической идеологии: через флорентийских академиков он заимствовал кое-что от Платоновой философии. В его записях находят отголоски Платонова учения о любви и кое-какие еще идеологические мотивы. Даже его представление об опыте, которое играет такую руководящую роль во всем его мирозерцании, не вполне чуждо элементам платонизма.

В изображении современной итальянской критики, уже фашистской, на центральное место мировоззрения Леонардо выдвигаются именно эти его идеалистические элементы. Значение их сугубо подчеркивается. А этим совершенно искажается роль Леонардо. Что не идеалистические элементы были руководящими у Леонардо, видно лучше всего из того, как он относился к церкви и религии. К духовенству, "к монахам, то есть к фарисеям", церковному культу, к торговле индульгенциями\* Леонардо горел величайшим негодованием. По поводу католической религии и ее догматов высказывался он то с тонкой иронией, то с большой резкостью. Об "увенчанных бумагах", то есть о священном писании, он предпочитал вовсе не говорить. Рассуждая о душевных свойствах человека, он ограничивался только познаваемой областью, а такие вопросы, как бессмертие души, охотно "предоставлял выяснять монахам, отцам народа, которым в силу благодати ведомы все тайны". Отношение его к богу граничило с издевательством: "Я послушен тебе, господи, во-первых, во имя любви, которую я должен к тебе питать на разумном основании, а во-вторых, потому, что ты умеешь сокращать и удлинять человеческую жизнь". В этом чувстве природы могли быть платоновские мотивы, но основное было совсем не платоновское, а коперниковское и галилеевское. Пантеистическое восприятие мира Леонардо наполняло его не ощущением благодати, не мистическим созерцанием, а пафосом научного исследования, не подавляло мысль верою, а возбуждало ее любознательностью, рождало не сладкую потребность молитвы, а трезвое, здоровое стремление познать мир наблюдением и проверить наблюдение опытом. Он был первым, кто почувствовал по-настоящему необходимость пропитать научными критериями общее мировосприятие, то есть то, что стало позднее основой философии Телезио и Джордано Бруно.

Леонардо был в числе тех, кто обогатил мировоззрение Ренессанса идеей ценности науки. Рядом с этическими интересами он

---

\* "Бесконечное множество людей будет публично и невозбранно продавать вещи величайшей ценности без разрешения их хозяина и которые никогда не принадлежали им и не находились в их владении. И правосудие человеческое не будет принимать против них мер".

ставил научные. Его роль была в этом отношении вполне аналогична с ролью Макиавелли. Тот включил в круг интересов общества социологию и политику, Леонардо — математику и естествознание. То и другое было необходимо, ибо обострение и усложнение классовых противоречий властно этого требовало.

Винчи и Макиавелли были созданы всей предыдущей конъюнктурой итальянской коммуны. Но, более чуткие и прозорливые, они поняли, какие новые задачи ставит время этой старой культуры, и каждый по-своему ломал с этой целью канон.

## VI

В центре научных конструкций Винчи — математика. "Никакое человеческое исследование не может претендовать на название истинной науки, если оно не пользуется математическими доказательствами". "Нет никакой достоверности там, где не находят приложения одна из математических наук, или там, где применяются науки, не связанные с математическими".

Не случайно Леонардо тянулся к математикам во Флоренции и в Милане. Не случайно не хотел разлучаться с Пачоли даже в тревожные моменты бегства в Венецию. Не случайно наполнял он свои тетради математическими формулами и вычислениями. Не случайно пел гимны математике и механике. Никто не почувал острее, чем Леонардо, ту роль, которую пришлось сыграть в Италии математике в те десятилетия, которые протекли между его смертью и окончательным торжеством математических методов в работе Галилея.

Италия почти совсем одна положила начало возрождению математики в XVI веке. И возрождение математики было — это нужно твердо признать — еще одной гранью Ренессанса. В нем сказались плоды еще одной полосы усилий итальянской буржуазии. То, что она первая заинтересовалась математикой, объясняется теми же причинами, которые обуславливали ее поворот к естествознанию и экономике. Нужно было добиться господства над природой; для этого требовалось изучить ее, а изучить ее — это выяснялось все больше и больше — по-настоящему можно было лишь с помощью математики. Цепь фактов, иллюстрирующих эту эволюцию, идет от Альберти и Пьеро делла Франчески к Тосканелли и его кружку, к Леонардо, к Пачоли и безостановочно продолжается через Кардано, Тарталью, Бруно, Феррари, Бомбелли и их последователей вплоть до Галилея. Когда феодальная реакция окончательно задушила творческие порывы итальянской буржуазии, инквизиция сожгла Бруно и заставила отречься Галилея. Начинания итальянцев были тогда подхвачены другими нациями, где буржуазия находилась в поднимающейся конъюнктуре, а инквизиция либо не была так сильна, либо совсем отсутствовала. Декарт, Лейбниц, Ньютон стали продолжателями Галилея.



В те самые годы, когда Пьетро Аретино высмеивал эпигонов гуманизма и непочтительно обзывал гуманистов педантами, в церквях Венеции и венецианских владениях на континенте стали впервые читаться лекции по математике, а распря Кардано и Феррари с Тартальей вызывала такой же интерес, как сто лет назад certame согопogio, состязание о поэтическом венке во Флоренции. А в годы, когда Вазари строил свою историю итальянского искусства, в которой видел некий итог эволюции если не завершившейся, то завершающейся, Тарталья выпускал свою математическую энциклопедию, которая, по его мнению, должна была стать настольной книгой для людей, имеющих дело с применением математики в практической жизни.

И это было все тем же Ренессансом. Ибо Ренессанс не кончился ни после разгрома Рима в 1527 году, ни после сокрушения Флорентийской республики в 1530 году. Буржуазия, выбитая из господствующих экономических, социальных и политических позиций, продолжала свою культурную работу еще долго после того, как феодальная реакция одержала обе свои победы. И эта работа получила свое направление в классовом интересе буржуазии. Новые хозяева политической жизни старались воспользоваться ее плодами в своих целях. Эти новые интересы формально осуществлялись в рамках старых ренессансных традиций: формальные толчки для новых исследований давались древними. Только вместо Цицерона и Платона обращались к Архимеду и Эвклиду, позднее к Диофанту. И идеи, почерпнутые у древних, разрабатывались применительно к тем потребностям, которые выдвигала жизнь. Пути этого приспособления к жизни легко проследить по первому большому сочинению того же Тартальи "Quesiti et envenzioni diversi", которое недаром ведь возникло на территории Венецианской республики, единственного буржуазного государства, не павшего под ударами феодальной реакции. Но плодами социального заказа буржуазии пользовались и другие классы. В этом отношении удивительно характерна сцена, увековеченная Тартальей и рисующая, как Франческо Мариа делла Ровере выпытывал у него математическое объяснение полета ядра и как великий математик безуспешно старался объяснить тугому на понимание кондотьеру, что такое траектория и что такое касательная. Научное построение законов математики было одним из завещаний побежденной временно буржуазии, а представители восстановленной феодальной власти интересовались только тем, что непосредственно их касалось.

Леонардо — самый яркий предвестник и выразитель этого нового поворота. Он лучше всех предчувствовал, как велик будет его охват. И многие из задач, которые этому математическому направлению суждено было решить, были уже им поставлены.

Это тоже было его вкладом в культуру Возрождения. Он не умел найти настоящим образом применение тому новому методу, основы которого он ясно формулировал и великую теоретическую ценность которого отчетливо себе представлял. Но одно

то, что тетради Леонардо, попавшие в руки Кардано, оплодотворили его искания и дали ему толчок для дальнейших исследований, обеспечивает Леонардо почетное место в той цепи имен, которая ведет к Галилею.

## VII

Леонардо и сам как человек и гражданин был подлинным детищем культуры Возрождения. Культура ведь была сложная и во многом противоречивая, и детища ее часто очень непохожи друг на друга. Но в них всегда было что-то общее.

Если мы сопоставим Леонардо с другим художником, который был больше чем на сорок лет моложе его, с Бенвенуто Челлини, это будет сейчас же видно. Трудно подыскать двух людей более разных, чем Леонардо и Бенвенуто. Леонардо был весь рефлекс, бесконечная углубленность в мысль. Когда ему нужно было что-нибудь делать, он колебался без конца, нерешительно мялся, бросал, едва успевши начать, охотнее всего уничтожал начатое. А Бенвенуто действовал, не удосуживаясь подумать, подчиняясь страсти и инстинкту, минутному порыву, никогда не жалея о сделанном, хотя бы то были кровавые или некрасивые поступки, и не видел в них ничего плохого. Воля в нем была, как стальная пружина, аффект — как взрывчатое вещество. У Леонардо воля была вялая, а аффекты подавлены. Поэтому и в искусстве своем он был великий медлитель. Сколько времени и с какими причудами писал он хотя бы портрет Монны Лизы! А как Бенвенуто отливал Персея? Это была дикая горячка, смена одного неистовства другим, головокружительное — сокрушительное и созидательное одновременно — творчество: мебель дробилась и летала в печь, серебро, сколько было в доме, сыпалось в плавку, тревога душила, захватывала дух.

И обоим с трудом находилось место в обществе итальянского Ренессанса. Один эмигрировал потому, что не умел брать там, где все давалось, стоило лишь сделать небольшое усилие; другой — потому, что хотел брать и там, где ему вовсе не предлагалось, и притом с применением некоторого насилия.

Что у них общего? То, что было общим у всей итальянской интеллигенции на рубеже XV и XVI веков. Творческий энтузиазм к искусству у Челлини, к науке и искусству у Винчи, то, что Энгельс называл отсутствием буржуазной ограниченности у людей, создававших современное господство буржуазии. В разбойничьей душе Бенвенуто этот энтузиазм был внедрен так же крепко, как и в душе Леонардо, мыслителя, спокойно поднимавшегося на никому не доступные вершины научного созерцания, как и в душе любого яркого представителя интеллигенции. Интересы буржуазии требовали непрерывных всплесков этого творческого энтузиазма, ибо он был необходимым условием создания некоторых особенных факторов, служивших ей в ее классовой

борьбе. Мы видели, почему одним из таких особенных факторов стала наука. По другим причинам таким же фактором было искусство.

Но в творчестве Леонардо была одна черта, которая создала ему в том самом буржуазном обществе Ренессанса, которого он был лучшим украшением, какое-то совсем отдельное от других положение.

Вскормленный Флоренцией при закатных огнях буржуазного великолепия, приемыш Милана, где политическая обстановка еще ярче вскрывала непрочность буржуазной культуры, Леонардо не сумел стать для нее своим, необходимым, занять в ней какое-то неотъемлемое место. Во Флоренции Лоренцо относился к нему с опаской, в Милане Моро перед ним преклонялся, но не верил ему вполне. И потому ни тут, ни там, да и нигде, пока был в Италии, он не видел себе такой награды, на какую считал себя вправе рассчитывать: настоящим достатком он не пользовался в Италии никогда и нигде, не так, как Тициан, Рафаэль, Микеланджело или даже такой скромный в сравнении с ним художник, как Джулио Романо. А подчас он по-настоящему чувствовал себя в Италии лишним. Его трагедией было ощущение непризнанности, культурное одиночество.

Он принимал культуру своего общества с каким-то величественным и спокойным равнодушием, любил ее блеск и не опьянялся им, видел ее гниль и не чувствовал к ней отвращения. Он лишь спокойно отмечал иногда то, что считал в ней уродливым. Но обращал внимание далеко не на все. Прежде всего он не любил судить ни о чем, подчиняясь какому-нибудь моральному критерию. Подобно тому как его младший современник Макиавелли отбрасывает моральные критерии в вопросах политики, Леонардо отбрасывает их в вопросе бытовых оценок. Он незаметно выбрал себе позицию по ту сторону добра и зла. Его критерий вполне личный: эгоцентризм. "Зло, которое мне не вредит, — все равно что добро, которое не приносит мне пользы". А если зло вредит другим, это его не касается. Для него не существует пороков, которые не были бы в каком-то отношении благодетельны. "Похоть служит продолжению рода. Прожорливость поддерживает жизнь. Страх или боязливость удлиняют жизнь. Боль спасает орган".

Его мысль, чтобы прийти к выводу о недопустимости преступления, должна предварительно впитать в себя аргументы научные или эстетические или те и другие вместе. Почему, например, осуждается убийство? "О ты, знакомящийся по моему труду с чудесными творениями природы, если ты признаешь, что будет грехом (*cosa nefanda*) ее разрушение, то подумай, что грехом тягчайшим будет лишение жизни человека. Если его сложение представляется тебе удивительным произведением искусства (*maraviglioso artificio*), то подумай, что оно ничто по сравнению с душой, которая живет в таком обиталище..." Убийство не есть для Леонардо противообщественный акт, преступление, разруша-

ющее основы общежития, а просто непонимание научных и эстетических истин. В таких заявлениях Леонардо очень далеко уходит от ренессансного канона. Но, даже когда он высказывается в духе ренессансного канона, он обставляет свои высказывания кучей всяких оговорок. Про добродетель, например, Леонардо мог говорить раз-другой совсем по канону: без этого было нельзя. "Добродетель — наше истинное благо, истинное счастье (premio) того, кто ею обладает". "Кто сеет добродетель, пожинает славу". Но научный анализ торопится нейтрализовать такую декларацию скептическим замечанием: "Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не смог существовать (tu no saperesti) в этом мире". "Требования добродетели" должны уступить перед требованиями биологическими, то есть стать вполне факультативными. Поэтому Леонардо и не очень полагается на моральные качества людей. Он не говорит, как Макиавелли, что люди по природе склонны к злу, но и не считает их особенно склонными к добру: "Память о добрых делах хрупка перед неблагодарностью".

Вообще нормы социального поведения интересуют его не очень. Но в конструкции своего общества он находит немало зла. И любопытно, что одна из самых резких его записей касается того, что было основой буржуазной культуры, — денег, власти капитала. Деньги осуждаются как элемент разложения и порчи того общества, в котором Леонардо вращается сам и которое снабжает его самого таким количеством денег, что он может без большой нужды жить со всеми своими домочадцами и учениками. Еще совсем недавно Леон Баттиста Альберти пел гимны капиталу, а Макиавелли старался вскрыть его общественное значение, признавая интерес важнейшим стимулом человеческой деятельности. А вот какую красноречивую, почти дантовскую филиппику против денег набросал Леонардо однажды по поводу золота — чудовища, которое "выползет из темных и мрачных пещер, повергнет род человеческий в великие горести, опасности и приведет к гибели!". "О зверь чудовищный, — восклицает он, — насколько было бы лучше для людей, если бы ты вернулся обратно в ад!" Жажда богатства приводит к бесчисленным бедствиям. "Кто хочет разбогатеть в один день, попадет на виселицу в течение одного года". И издевается над такими бытовыми явлениями, в которых деньги играют дикую, по его мнению, роль, например над приданым\*.

Критика его, однако, на этом не останавливается.

Богатство портит человека. Человек портит природу. Это так. Но дальше начинаются резкие оттенки. У Леонардо очень раз-

---

\* "Там, где раньше молодость женщины не находила защиты против похоти и насилий мужчин ни в охране родных, ни в крепких стенах, там со временем будет необходимо, чтобы отец или родные платили большие деньги мужчинам для того, чтобы они согласились спать с девушками, хотя бы те были богаты, знатны и красивы".

личается человек и человек. Одно дело — человек, "глазу" которого поется осанна, человек-творец, человек, способный на взлеты. Другое — человек, способный только все губить и портить, тот, которого почему-то "называют царем животных, когда скорее его нужно назвать царем скотов, потому что он самый большой из них". С такими людьми Леонардо не церемонится. Он их презирает. Вот как характеризует он их в одной записи: "Их следует именовать не иначе как проходками пищи (*transito di cibo*), умножителями говна (*aumentatori di sterco*) и поставщиками нужников, ибо от них, кроме полных нужников, не остается ничего". Где же проходит эта демаркационная линия между человеком—"глазом" и человеком—поставщиком отхожих мест? Прямо об этом в записях Леонардо не говорится, но, сопоставляя его отдельные мысли, нетрудно прийти к заключению, что эта демаркационная линия у Леонардо как-то очень точно совпадает с социальной демаркационной линией. Высшие классы особо. Для них в новых, в хорошо устроенных городах должны быть особо проложенные высокие улицы, а бедный должен довольствоваться какими-то низкими, темными, смрадными проходками. Леонардо ни в какой мере не интересуется этими низшими социальными группами. Он их просто не замечает. Это высокомерное пренебрежение к низшим классам, свойственное почти всем без исключения представителям гуманистической интеллигенции, у Леонардо гармонирует со всем его существом, очень склонным к аристократизму и легко усваивающим привычки и внешний тон дворянского придворного общества. Недаром ведь он был отпрыском того буржуазного общества, которое было уже обвеяно первыми порывами холодного дуновения феодальной реакции, и недаром, чем дольше, тем лучше он чувствовал себя в обстановке не буржуазного общества, а аристократического, придворного. Ибо отношение Леонардо к тиранам отнюдь не враждебное, а скорее дружественное. Обвинение в политической беспринципности, которое так часто раздается по его адресу, опирается больше всего на его отношение к княжеским дворам.

Поводы к таким обвинениям, конечно, имеются. Леонардо сам говорил: "Я служу тем, кто мне платит" ("*Io servo chi mi pago*"), — буквально слова Челлини в ответ на обвинение, что он прославляет тиранию Медичи (в 1537 году). Леонардо всегда предпочитал придворную службу свободному занятию своим искусством, которое неизбежным и неприятным спутником своим имело профессиональный риск. Леонардо не мог остаться без заказов. Репутация гениального художника установилась за ним очень рано. Но он не хотел работать кистью или резцом. Его прельщала жизнь, позволяющая ему заниматься каждый данный момент тем, чем ему хотелось. Дворы давали ему эту возможность.

Но служба при дворах имела то неудобство, что при ней совершенно утрачивалась свобода, а работать приходилось иной раз над такими вещами, что ему становилось по-настоящему

тошно. И все-таки, когда в 1500 году он попал во Флоренцию — город почти ему родной, город свободный, город богатый, где его готовы были завалить заказами, — он очень скоро сбежал... к Цезарю Борджа, и не в Рим, а, можно сказать, в военный лагерь. Он словно сам лез в придворную петлю, ибо признавал свободу "высшим благом" и знал, что именно этого высшего блага при любом дворе он будет лишен по преимуществу. И платился, конечно, за это.

Быть может, источник Леонардова пессимизма именно в том, что вне придворной обстановки он существовать не мог, а при дворах он всегда чувствовал себя в оковах, не находил ни в чем удовлетворения, не мог отдаться работе непринужденно и радостно, в светлом сознании, что владеет всеми своими способностями. Ощущение какой-то вымученности в этой работе на заказ сопровождало его всегда. Мысль и творчество тормозились и возвращали себе свободу только тогда, когда от работы на заказ Леонардо переходил к молчаливому размышлению вдвоем с тетрадью, которая наполнялась набросками всякого рода и заветливыми записями справа налево.

## VIII

Как очень чуткий человек, Леонардо почувствовал перемены в экономике и в социальных отношениях гораздо раньше, чем они по-настоящему наступили. Когда через пятьдесят лет под действие этих перемен попал Челлини, их чувствовали уже все — невозможно было их не чувствовать. Когда приближение перемен и их будущую роль стал ощущать Леонардо, их угадывали лишь очень немногие, особенно проницательные или особенно заинтересованные, такие, как он, или такие, как Лоренцо Медичи. Лоренцо Медичи принимал меры чисто хозяйственного характера, чтобы приближающийся кризис не подхватил и не смёл его богатства и его власти. Леонардо упорно думал об одном: что идут времена, которые нужно встречать во всеоружии науки, а не только в украшениях искусства. Он нигде не говорил этого такими именно словами, но мысль его была вполне ясна. Уклонения от заказов на картины и статуи, углубление в дебри различных дисциплин все более и более настойчивое, лихорадочное перескакивание от одной научной отрасли к другой, словно он хотел в кратчайшее время наметить хотя бы основы самых главных, практически наиболее нужных, — все это формулировало невысказанную мысль: что Возрождение должно перестроить свой канон, перенести центр своих интересов с гуманитарных дисциплин на математические и природоведческие, на науку.

Но так как предвидения Леонардо не были доступны большинству, так как кризис в первые годы XVI века еще не наступил и в крупных центрах торговли и промышленности держались еще prosperity, то ему не внимали; Леонардо старался тащить за

собой свой век всеми усилиями своего гения, а век его этого не замечал. От него требовали картин то с кокетливой настойчивостью, как Изабелла д'Эсте, то с купеческой грубоватой неотвязностью, как Содерини. Удивлялись, что он зарывает в землю свой художественный гений, а занимается "пустяками". А ему как раз тогда больше хотелось заниматься не картинами, а другим. Когда выяснилось, что Леонардо пребывает в своей "блажи" упорно и принципиально, ему стали отказывать в признании. Моро еще позволял ему "чудить" и не мешал его занятиям. У Цезаря Борджа он мог целиком отдаться — ненадолго — строительству и фортификации. Но Содерини, Лев X и все высшее общество, флорентийское и римское, разводили руками и в конце концов почти перестали им интересоваться.

Леонардо боролся с общественными настроениями, которые мешали ему занять достойное его место в культуре итальянской коммуны и делать то, что он считал нужным. Но он боролся по-своему, как делал по-своему все. Борьба его была какая-то пассивная, апатичная, бестемпераментная. Он хотел, чтобы ему не мешали работать так, как было нужно по его мнению, а не по чужому решению. И хотел, чтобы за ним признавалось право сторониться, иной раз даже с некоторой брезгливостью, людей, которых он же считал обязанными признавать и вознаграждать себя. Он хотел пользоваться благами буржуазной культуры, стоя одной ногой вне ее. Но так как объективные отношения крепко связывали его именно с этой культурой, то он никуда не мог от нее уйти и должен был исполнять социальный заказ того самого общества, которому эта культура принадлежала. А за свой бунт против общества был наказан тем, что все-таки не нашел в ней своего места по-настоящему и стал изгоем.

Итальянская буржуазия уже не могла, как в XV веке, давать работу всем своим художникам. Дела на рубеже XVI века уже были не столь блестящи. И буржуазия выбирала тех, которые стояли на культурной почве своего времени обеими ногами, твердо, без капризов и колебаний. Как Рафаэль, как Браманте. Их она осыпала золотом и почестями. А таким, как Леонардо, цедила блага по каплям.

Поэтому он чувствовал себя таким одиноким. И, ощущая одиночество очень болезненно, пытался доказать, что одиночество — здоровое чувство и что, в частности, оно — необходимое условие творчества художника.

"Если ты будешь один, ты будешь целиком принадлежать себе. А если у тебя будет хотя бы один товарищ, ты будешь принадлежать себе наполовину, и тем меньше, чем больше будет нескромность твоего товарища". "Живописец должен быть одиноким и созерцать то, что он видит, и разговаривать с собою, выбирая лучшее из того, что он видит. И должен быть как зеркало, которое меняет столько цветов, сколько их у вещей, поставленных перед ним. Если он будет поступать так, ему будет казаться, что он поступает согласно природе".

Леонардо не очень любил общество. Это правда. Но нелюди-  
мым, букую он тоже не был никогда. Когда он хотел, он мог  
быть центром и душой любого собрания людей, и это делалось  
у него без всякого надрыва, а легко и как-то само собою.  
Поэтому и кажется, что в его совете художнику уединиться скрыт  
горький протест против того общества, которое не захотело его  
признать и подвергло его преследованиям; что одиночества ему  
искать не приходилось, а, наоборот, он не знал, как от него  
избавиться, ибо оно стало его трагедией. И разве не кажется, если  
вчитаться в только что выписанные строки повнимательнее, что  
сентенции, в них выраженные, придуманы для самоутешения,  
а писались со стиснутыми зубами?



# ОЧЕРКИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ\*

Кастильоне  
Аретино  
Челлини

## Предисловие

У этой книги двойная цель: во-первых, осветить темную историю дебютов современной интеллигенции, во-вторых, осветить ее при помощи социального анализа. Думаю, что в литературе первое сделано недостаточно, второе — не сделано совсем. Думаю также, что только при таком методе изучения Чинквеченто факты и идеи того времени могут быть связаны с нашей современностью.

Статьи о Кастильоне и об Аретино раньше были напечатаны в журналах, теперь совершенно переработаны.

Москва,  
марта 1929

## Интеллигенция в Италии XVI века

Чинквеченто — шестнадцатый век в Италии — представляет в развитии культуры особый этап. Чинквеченто — закат Возрождения. Это уже давно подмечено, описано, но еще не нашло исчерпывающего объяснения. Что XVI век отличается от предыдущего, всем ясно, но почему получилась разница, далеко не ясно. И пока не будут обнажены социальные корни этого различия, до тех пор и самое различие не будет понятно до конца.

### I

Культура Кватроченто — культура городов с высоким развитием торговли и промышленности, культура растущего капитализма. Культура Чинквеченто — культура падающего капитализма. Начиная с середины XV века итальянская хозяйственная мощь пережила целый ряд ударов, которые если не разрушили ее окончательно, то в значительной степени ее подорвали. Завоевание Константинополя турками внесло много неожиданных трудностей в левантскую торговлю Италии. Открытие Америки

---

\* Текст печатается по изданию "Очерки итальянского Возрождения". "Федерация". М., 1929. Совр. Бальдассаре Кастильоне, Аретин. (Ред.)

и морского пути в Индию отдало дело снабжения европейских рынков пряностями в руки португальцев, испанцев, а потом и немцев: большие немецкие фирмы, вроде Фуггеров и Вельзеров, основали конторы в Испании, стремясь монополизировать эту отрасль торговли. Войны, начавшиеся итальянским походом Карла VIII и кончившиеся отторжением Королевства обеих Сицилий и Ломбардии, внесли разорение в страну. Две наиболее мощные капиталистические державы Италии, Флоренция и Венеция, лишившиеся значительной части рынков для своего промышленного экспорта, потеряли принадлежавшее им до той поры руководящее значение в системе европейского капитализма.

В Италии началась феодальная реакция. Она шла, все усиливаясь, двумя путями. Во-первых, стала сокращаться область приложения капитала. Промышленность и банковское дело должны были свертываться. Сжимался капитал и в торговле, где место частных торговых фирм, особенно в мелких государствах, стремилась занять казна. Сначала — в Неаполе, где Ферранте Арагонский превратил в государственную монополию торговлю всем, что можно было вывозить из территории Королевства обеих Сицилий, позднее в Ферраре, в Мантуе, в Савойе. В каждом из этих государств казенная монополия захватила торговлю теми продуктами, которые добывались в нем: мясом, рыбой, солью, маслом и пр. Капитал не мог сопротивляться создавшейся конъюнктуре. Вытесненный с внешних рынков, он постепенно терял внутренние и начал все в больших размерах эмигрировать за границу, чтобы там оплодотворить хозяйство более молодых стран.

Органы торгового капитала, могущественные корпорации, которые под названием старших цехов создали в Италии кредитное дело и промышленность, либо умирали естественной смертью, либо погибали в борьбе с полицейскими мерами государства. Еще хуже обстояло дело в областях, захваченных Испанией: в Ломбардии и на юге. Там наместники испанского короля фискальными (порча монеты), податными, таможенными мерами искусственно сокращали роль торговли и промышленности, следуя в этом отношении принципам экономической политики самой Испании. Таков был один путь.

Другой заключался в том, что начало подниматься экономическое значение землевладения, которое в XV веке играло такую ничтожную роль в общем балансе итальянской экономики. Руководящую роль при этом играли опять-таки завоеванные области, Ломбардия и Королевство обеих Сицилий. Юг Италии с его феодальными традициями, тянувшимися еще от анжуйцев и далеко не заглушенными при арагонской династии, представлял вообще благоприятную почву для феодальной реакции, и испанским наместникам не стоило большого труда найти среди потомков прежних анжуйских баронов элементы, готовые всячески поддерживать диктуемые из Испании меры. Но и в Ломбардии, области, имевшей прочные промышленные традиции, испанцы захо-

тели восстановить значение землевладения и земледельческого капитализма. Культура земли всячески поощрялась. Налоги, одолевавшие буржуазию, щадили помещиков. Ломбардская знать радостно приветствовала новые принципы экономической политики и часть освобождавшихся капиталов вкладывала в землю, округляя родовые имения. Медици в Тоскане, папы в Риме, вынужденные считаться с Испанией и подчиняться давлению факторов экономической эволюции, понемногу втягивались на те же пути хозяйствования, и, например, герцог Козимо прямо заставлял старые промышленные семьи Флоренции бросать привычные дела и обращать капиталы на покупку земли.

Словом, по всей Италии, за исключением ее северо-восточного угла, параллельно захирению промышленности и упадку города, поднималось, как во времена Барбароссы, село, а в селе, как всегда при таких условиях, помещичьи доходы получались путем жестокой эксплуатации крестьянства. Крестьяне были целиком отданы во власть помещикам. В XIII веке крестьян освобождала от крепостного состояния буржуазия, царившая в городах, потому что, во-первых, она нуждалась в рабочих для своих мастерских, а во-вторых, стремилась сокрушить социальную силу дворянства в деревне. В XIV и XV веках эта тенденция продолжала городами поддерживаться. Теперь город, в котором промышленность была разрушена, в рабочих не нуждался, и крестьяне могли находить работу только в немногих больших портах — в Венеции, в Генуе, в Неаполе — в качестве грузчиков (*fachini*). Но и там рабочий рынок неудержимо сокращался вследствие конкуренции местного пролетариата, угнетаемого растущей безработицей\*.

Деваться крестьянам было некуда. Они были прикованы к поместьям если не социальными, как при крепостном праве, то экономическими узами и должны были принимать такие условия работы, какие помещикам угодно было им диктовать.

Лишь одна Венеция, сохранившая свою самостоятельность и остатки старой капиталистической мощи, энергично боролась против феодальной реакции, но она была одна, и общая хозяйственная конъюнктура парализовала усилия венецианской буржуазии. Венеция сохраняла еще экономические связи с Европой и с Востоком благодаря тому, что в ее руках были восточные альпийские проходы и большой флот, остатки могущественной когда-то армады, царившей на Средиземном море. Гораздо более важные центральные альпийские проходы находились вместе с Миланом во власти Испании, которая перегородила их запретительным барьером, жестоко затруднявшим экономические связи между Италией и заальпийской Европой. Это был поворот огромного значения. Вся внешняя политика Флоренции и Венеции в эпоху наибольшего расцвета их экономической мощи направ-

---

\*Этот факт, как известно, нашел отражение в литературе и в театре, особенно в *Commedia dell'arte*, где создавалась богатая коллекция отрицательных крестьянских типов.

дьялась одним соображением: водворить в Милане такую власть, которая была бы настроена к ним дружественно и которая не мешала бы провозу через центральные проходы продуктов флорентийской и венецианской промышленности. Теперь испанские рогатки надолго закрыли эти проходы. Тоскана уже не протестовала, а Венеция хотя и протестовала, но была слишком слаба, чтобы чем-нибудь поддержать свой протест.

Новая экономика создала новую политику. Абсолютизм в Италии вступил в ту полосу, в какую он вошел кое-где и за Альпами и какую должен был пройти всюду: полосу союза с землевладельческим дворянством, которое отказалось от политических притязаний, чтобы беспрепятственно развивать и укреплять свои социальные привилегии. Казалось, что пропала даром титаническая работа итальянских городов в XII—XV веках, искоренявшая феодальные порядки и создававшая своеобразную политическую форму — тиранию с буржуазным социальным базисом\*.

Совершенно ясно, что перелом в экономике и политике не мог остаться без влияния на культуру. Испания, завладевшая севером и югом, командовала кроме того в Тоскане и в Папской области, и нити культурной политики плелись в Мадриде по соглашению с Римом. И опять, как и в экономике, одна Венеция делала, что могла, для того, чтобы разорвать ткани тяжелого черного покрова, который папство и Испания общими силами набросили на культуру Италии, еще так недавно сверкавшую яркими солнечными красками.

## II

Феодальной реакции отвечала католическая реакция. Надзор испанской инквизиции и папской цензуры, полицейское ярмо всех видов и систем без устали работали во всех мелких государствах, переживших политический катаклизм 20-х и 30-х гг., и держали в тисках культурную жизнь. Наука, литература, искусство, философия, религия — все подчинялось железной указке. Противодействие этой указке подавлялось с беспощадной суровостью. Люди свободной религии, как Аонио Палеарио и Пьетро Карнесекки, люди свободной мысли, как Джордано Бруно, отправлялись на костры. Людей свободной науки, как Галилей, заставляли отрекаться от того, к чему они пришли путем эксперимента и анализа. Папский "Индекс запрещенных книг" осуждал на истребле-

---

\* Любопытно, что в последнее время фашистское правительство современной Италии возвращается к той же мысли, пытаясь путем рурализма, то есть перенесения центра тяжести хозяйственной жизни из города в деревню, от промышленности к агрикультуре, — победить экономический кризис. Это тоже своего рода феодальная реакция, только в более развитой капиталистической обстановке, в обстановке не торгового капитала, как в XVI веке, а промышленного и финансового.

ние труды лучших умов Италии. Искусство и его представители стояли особняком, за малыми исключениями. Архитектура и скульптура барокко и живопись мастеров Болонской школы отдали себя целиком служению церкви. Художникам, среди которых редки были идейные люди, вроде Микеланджело, и спрос на которых все же был больше, чем спрос на интеллигентов, ибо они содействовали внешней пышности, вообще было легче приспособиться, чем людям умственного труда. А артистическая богема мало думала о принципах и шла всюду, где ей платили. Зато итальянской интеллигенции приходилось переживать мучительно-трудную полосу.

Когда новая культура вышла из стадии бессознательного процесса и стала отливаться в четкие формулы, появление людей, целиком отдавших себя пропаганде новых идей, стало необходимостью. Интеллигенция была явлением совершенно новым. Этого вида общественного служения не знали средние века. Средние века знали рыцаря, который был призван защищать общество, знали духовное лицо, обремененное заботами о душе, а иногда и о теле человечества. Но светского ученого, светского проповедника, светского учителя не знали. Он явился вместе с новой культурой, чтобы служить ей и ее пропагандировать. Это был гуманист, и несладко было на первых порах его существование, ибо ему приходилось на своем хребте выносить тяжесть первой борьбы за право на интеллигентский труд. Только сверхъестественная способность приспособляться, только гибкость, доходившая порой до морального безразличия, помогли гуманистам выполнить свою историческую миссию, и они ее выполнили. Унижаясь перед королями, князьями, вельможами, попрошайничая у пап и прелатов, пресмыкаясь везде, где звенело золото, гуманисты вбивали в сознание имущих и командующих, а через них и всего общества идею важности и великого значения интеллигентского труда. Их усилия увенчались успехом. Власть имущие не раз имели случай испытать и моральную силу, и практическую мощь главного ремесла гуманистов, литературы, одинаково искусно умевшей заклеить и превознести, разразиться инвективной и пропеть панегирик. Они поняли, что золото, не очень щедро расходуемое на гуманистов, отнюдь не пропадает даром, что эти издержки приносят не только славу мецената, но и прямую выгоду.

Так, постепенно интеллигенция начала становиться на ноги. Ее представителей, которых вначале склонны были третировать, стали серьезно побаиваться, особенно с тех пор, как подоспело на подмогу интеллигенции и стало быстро получать распространение книгопечатание. Но в Италии вследствие условий, о которых только что говорилось, первые десятилетия Чинквеченто стали началом глубокого кризиса для интеллигенции. Окруженная со всех сторон рогатками и указками, потерявшая способность свободно разбираться в требованиях времени, она утратила творческий порыв. Гуманисты, которые в XV веке чувствовали себя

общественно-необходимой группой на службе у свободных республик или у культурных тираний, никому больше не были нужны. Чем дальше, тем этот кризис становился острее, потому что в первые десятилетия XVI века свободных республик не стало совсем, а количество дворов сделалось значительно меньше. Сначала железная метла Цезаря Борджа, очистившая Романию от бесконечного множества тираний, потом наступление Испании и папства, сокрушившее последние республики — Сиена пала в 1555 г., — и тоже на малое количество мелких монархий, сильно ослабили спрос на интеллигентский труд. Интеллигенция привыкла быть там, где власть и богатство, привыкла работать по определенному заказу, за наличный расчет. Всего этого теперь почти не осталось. Стояла еще на своей лагуне Венеция, и там интеллигенция могла еще жить и работать, но Венеция была одна. Папство после Сассо 1527 г. и особенно после смерти Климента VII, увлеченное контрреформационной борьбой, прокляло меценатство, из-за которого Лев X проглядел Лютера. Медичи в Тоскане укрепляли свою новую власть, вице-король Неаполитанский и наместник Ломбардии, как истые испанцы, ничего не понимали в деле покровительства науке и литературе.

Правда, еще сохраняли самостоятельность три мелкие тираннии, блиставшие в первые три десятилетия XVI века как притягательные центры для интеллигенции: Феррара, Мантуя, Урбино. Но, по мере укрепления католической реакции, меценатство падало и в них. Урбино после Елизаветы (Элизабетты. — *Ред.*) Гонзага, Мантуя после Изабеллы д'Эсте не привлекают уже никого. Феррара дольше сохраняла старые традиции. В Ферраре герцогиня Рената пробовала давать приют не только Клеману Маро, но и Кальвину. На феррарский двор упали еще поздние отблески изящного таланта Гуарини и бурного, нездорового гения Торквато Тассо. Но культура, там царившая, была уже иная, чем раньше. Двор Лоренцо Великолепного, двор папы Льва X, двор Лодовико Моро жили буржуазной культурой. При Елизавете Гонзага и при Франческо Мария и Урбино Кастильоне, как чуткий писатель и классовым образом заинтересованный человек, предчувствовал иные влияния, а двор Эрколе II в Ферраре жил уже самой настоящей феодальной культурой. И поскольку культура не умерла при других дворах, всюду было то же. Иначе не могло быть. И, кроме Венеции, нигде не было достаточно мощных и достаточно культурных общественных классов, для которых интеллигентский труд явился бы необходимостью и которые могли бы сколько-нибудь длительно поддерживать спрос на культурную работу и на работников культуры.

Было совершенно естественно, что деятельность гуманистов пришла в упадок. Университеты попали под подозрение и заглохли, и если их не закрывали окончательно, то только потому, что они не имели уже никакого влияния. Исконная область блестящих успехов итальянской гуманистической науки, филология,

в которой Италия была учительницей Европы, почти перестала разрабатываться. Центры занятий классическими науками переместились за Альпы, и не стало в Италии никого, кто бы мог равняться с такими учеными, как Рейхлин и Эразм в Германии, как Гагэн и Бюде во Франции, как Гросин и Колет в Англии. В философии итальянцы вплоть до Джордано Бруно не создали ничего оригинального и пережевывали только мотивы старой полемики между платонизмом и аристотелизмом. И даже такой мыслитель, как Пьетро Помпонатто, больше прославился тем, что за ним охотилась инквизиция, чем живым творчеством в области мысли. Процветали только такие дисциплины, которые имели практическое значение, напр. история, ибо она вдвойне имела в то время практический смысл: как способ путем панегириков и нужного власти имущим освещения сделать карьеру — "золотое перо Джовио" — и как наука, заключающая в себе много ценных указаний для политики. Поэтому так много представителей интеллигенции посвящают себя историческим трудам: Джовио, Веттори, Брут, Питти, Нарди, Варки, чтобы назвать только крупных, и самый крупный в этой плеяде после Макиавелли — Франческо Гвиччардини, трезвый реалист, безыдейный, часто до цинизма практик\*. Общий уровень знаний, который стоял так высоко у старой итальянской буржуазии и у итальянской интеллигенции, теперь часто не выдерживал сравнения с тем, что было на севере. Если, например, взять географию, область, где итальянцы сделали от Марко Поло до Колумба столько великих открытий, то она пробаивалась жалким лепетом и детскими фантазиями в то время, как на севере уже привыкали к большой научной точности. Сравните хотя бы уровень географических знаний в двух современных поэмах: в "Неистовом Роланде" и в "Пантагрюэле". Рабле, ученый-естественник, заставляет путешествовать своего героя, строго следя по точной карте за каждым его этапом. А герои Ариосто переносятся с одного конца света на другой, безжалостно коверкая географию, путаясь между востоком и западом, между землей и луной, подчиняясь только необузданной фантазии поэта.

Понижение уровня знаний, понижение идейного уровня, понижение научной продуктивности — вот что характеризует ярче всего состояние итальянской интеллигенции в первой половине XVI века. Нет ничего удивительного, что гуманист, еще не так давно пользовавшийся значительным социальным весом и огромным почетом, стал подвергаться осмеянию в комедиях, где он зачастую чрезвычайно непочтительно зовется педантом. Гуманистов клеймили за утопическую — наыворот — мысль:

---

\* О морали интеллигенции Ренессанса, в частности Чинквеченто, где безыдейность и беспринципность прикрывались громкими фразами о *virtù*, здесь говорить не приходится, ибо это было явлением, свойственным не одной только интеллигенции.

сохранить господство в литературе за латинским и греческим словом, за высокомерное гонение на *volgare* в момент победного расцвета именно итальянской литературы. Еще более жалкая судьба постигла доктора прав, болонского юриста, который два века назад был так нужен, чтобы снабжать четкими юридическими формулами порожденную экономикой область хозяйственного права. Им завладела Комедия масок, которая начала его трепать по подмосткам всех европейских сцен.

### III

Все это сделалось, конечно, не сразу. Интеллигенция еще долго боролась за свое бывшее положение, но так как средоточий науки и литературы осталось мало, то сопротивление, оказываемое интеллигенцией надвигающемуся варварству, стало разбиваться и расплываться. А то, что от нее осталось, вместе с художниками уныло потянулось за победной колесницей феодальной и католической реакции.

И несмотря на все это, именно XVI век и именно в Италии положил начало некоторым наиболее типичным полосам в истории развития европейской интеллигенции. Для выяснения этих полос недостаточно общего анализа. Приходится брать типичные образы и на них изучать отдельные моменты в настроениях и взглядах интеллигенции Чинквеченто.

Три фигуры, с которыми познакомится читатель на этих страницах, по-разному иллюстрируют этот переходный момент. Кастильоне, рыцарь и помещик и в то же время яркий представитель гуманистического образования, пытался сочетать старые интеллигентские идеалы с классовой природой грядущего героя феодальной реакции, землевладельца. Аретино, писатель, как бы усыновленный свободной Венецией, поставленный ею глашатаем интересов буржуазии, наоборот, объявил войну силам надвигающейся реакции и призывал всю интеллигенцию идти в этой борьбе с ним, не стесняясь, как он, никакими средствами, во имя прав "свободного человека божьей милостью". А Челлини — пример гениального художника, который упрямо хочет сохранить свое лицо и которого поэтому, несмотря на все разнообразные таланты, судьба бросает из города в город, перекидывает через Альпы и под конец превращает в обыкновенного ремесленника-пролетария, едва успевающего на свои заработки прокормить семью.

Все трое представляют собой не только типичные фигуры, но и характеризуют необыкновенно вышукло как культуру Чинквеченто во многих наиболее ярких ее проявлениях, так и ее экономический и социальный фундамент, столь слабо освещенный в литературе.



# Бальдессар Кастильоне

## I

...Guidubaldo torna dalla fossa  
A tener corte, e tornano a tenzone  
Il Bembo e Baldassare Castiglione,  
Giuliano de'Medici e il Canossa.  
Ascolta Elisabetta da Gonzaga  
A fianco dell'esangue Montefeltro  
Poetar Serafino, il nuovo Orfeo...  
*G. D'Annunzio*

...Гвидубальдо встанет из могилы  
Чтобы держать свой двор, и начнут генцову  
Бембо и Бальдассаре Кастильоне,  
Джулиано Медичи и Каносса.  
Будет слушать Элизабетта Гонзага  
В окружении семейства Монтефельтро  
Поэта Серафино нового Орфея... (Ред.)  
*Г. Д'Аннунцио*

К концу XV века Урбино сделалось одной из наиболее крупных тираний средней Италии. Федерико Монтефельтро, который правил маленьким государством почти сорок лет (1444—1482), благодаря своим военным дарованиям укрепил положение Урбино среди соседей, расширил его пределы, добился у папы Сикста IV герцогского сана, выстроил знаменитый урбинский дворец, собрал замечательную библиотеку, в которую принципиально не хотел принять ни одной печатной книги, и оставил своему сыну Гвидубальдо крепкий престол в такое время, когда крепких престолов\* в Италии было так мало.

Гвидубальдо унаследовал от отца и военные дарования, и любовь к литературе. Он уже являл более культурный тип тирана, чем Федерико, который все-таки был кондотьером прежде всего. В нем спокойный облик государя рисовался яснее и бурные страсти война не вырывались наружу, как у его отца или у старого врага Урбино Сиджисмондо Малатеста, тирана Римини. Но Гвидубальдо смолodu был болен подагрой в очень тяжелой форме, и болезнь мешала ему показать всю меру его дарований. Она не дала ему сделаться выдающимся полководцем; она парализовала его дипломатическую дальновидность, которая была так необходима в то тревожное время; она отравила ему семейные радости.

Гвидубальдо был женат на Елизавете, сестре маркиза Мантуанского Франческо Гонзага, одной из самых замечательных итальянских женщин своего времени. Были на мелких и крупных престолах Италии женщины более блестящие, чем Елизавета: Беатриче д'Эсте, жена Лодовико Моро, Ипполита Сфорца, супруга Альфонсо, герцога Калабрийского, Лукреция Борджа, герцогиня Феррарская, особенно Изабелла д'Эсте, маркиза Мантуанская, жена брата Елизаветы и ее верный друг. Но не было ни одной, вокруг кого было бы разлито чувство такого почтительного, такого благоговейного поклонения. Елизавета была хороша, хотя не принадлежала к числу прославленных красавиц свое-

\* См. F. Ugolini, Storia dei conti e duchi d'Urbino, особ. II, 3 и след., и новейшую работу R. de la Sizeranno, F. da Montefeltro, le bon condottiere (1927).

го времени, была образованна, хотя не поражала эрудицией, как многие из ее сверстниц. Ее притягательную силу составляла какая-то удивительная, пропитанная грустью мягкость, никогда не покидающая ее томная печаль. Она не была счастлива. Гвидубальдо был ей мужем только в первые годы; потом она жила "с ним рядом, как вдовица"\* . И хотя была окружена поклонниками, страстно добивавшимися ее благосклонности, осталась чиста перед мужем при жизни его и перед его памятью после его смерти. Она перенесла много горя. У нее рано умерла любимая сестра Магдалена. Потом Цезарь Борджа отнял Урбино у Гвидубальдо, и Елизавета с мужем вынуждены были два года скитаться на чужбине, прежде чем им удалось вернуть свою прекрасную вотчину. Вскоре больной герцог умер, и Елизавета стала вдовой. И хотя новый владелец Урбино, Франческо Мария делла Ровере, и его жена Леонора Гонзага, дочь Франческо и Изабеллы д'Эсте, окружали вдовствующую герцогиню величайшим вниманием и почетом, но счастья оставалось все меньше. На склоне лет Елизавете пришлось еще раз перенести изгнание: папа Лев X отнял Урбино у его герцога, чтобы подарить его своему племяннику, Лоренцо Медичи, и снова прошло несколько лет, пока явилась возможность вернуться. Эти непрерывные удары судьбы и сделали то, что Елизавета почти всегда была печальна. Только временами чувство подавленности покидало ее. Она могла быть наружно веселой, могла смеяться островам придворных, буффонадам шута-монаха фра Серафино. Внутри всегда царила скорбь, полная изящества, одухотворенная поэзией ее мягкой души. Она вся была как нежная элегия.

Самым блестящим временем Елизаветы и Гвидубальдо было пятилетие между возвращением их в Урбино, освобожденное от Борджа, и смертью герцога (1503—1508). Болезнь Гвидубальдо не давала поводов для серьезной тревоги, сама Елизавета была в своих лучших годах\*\*. Политический горизонт был ясен, потому что железная десница папы Юлия II, друга и родственника Гвидубальдо, служила самой надежной ему защитой. Среди окружающих герцога и герцогиню был цвет интеллигенции и аристократии. Правда, уже несколько лет не было в живых старого Джованни Санти, который у герцога Федерико и в первые годы Гвидубальдо исполнял должность министра двора, просвещения и искусств. Но от времени до времени появлялся сын его Рафаэль, после смерти отца учившийся в Перудже у Пьетро Перуджино. Юношу, прекрасного и богато одаренного, любили и баловали все, особенно герцогиня. Ей и урбинскому двору Рафаэль обязан был тем светским лоском, который так помогал ему в жизни и которого так не хватало суровому и угловатому республиканцу Микеланджело\*\*\*.

\* Il libro del Cortegiano, изд. Sonzogno, с. 213

\*\* Родилась в 1471 г.

\*\*\* См. Strzygowsky, Das Werden des Barock bei Raphael und Corregio, 1898, с.

Более видную роль при дворе играли не урбинцы, а славные гости.

Их много. Джулиано Медичи, меньшой сын Лоренцо Великолепного и брат будущего папы Льва X. Его семья изгнана из Флоренции со времен Савонаролы, и урбинский двор приютил его у себя. Отцы, Лоренцо и Федерико, были врагами, и Федерико был даже причастен к заговору Пацци. Но Джулиано и Гвидубальдо были друзья. Тут два племянника Гвидубальдо, Оттавиано и Федерико Фрегосо, из которых первый будет потом дожем Генуи, а второй — архиепископом Салернским. Тут знаменитый кондотьер Алессандро Тривульцио, соратник Гастона де Фуа и Баярда. Тут один из самых блестящих дипломатов своего времени — граф Лодовико да Каносса, тоже верный друг французов, впоследствии епископ Байе и папский нунций во Франции, и его тезка Лодовико Пио да Карпи, брат мадонны Эмилии. Тут два молодых ломбардских аристократа: жизнерадостный и остроумный Чезаре Гонзага, поэт, воспевавший вместе с Кастильоне герцогиню, и Гаспаро Паллавичино, двадцатидвухлетний диалектик, своим скептицизмом и своими бесконечными спорами больше всех вносивший оживление в беседы. Тут, наконец, крупные представители литературы и прежде всего два будущих кардинала: Пьетро Бембо, обедневший венецианский патриций, и Бернардо Довици да Биббиена. Бембо явился в Урбино из Феррары, воздух которой стал вреден для него: герцог Альфонсо заметил благосклонность к поэту герцогини и начал ревновать. Бембо пришел, "имея в кармане всего сорок дукатов, и прожил в Урбино шесть лет". Когда венецианские друзья упрекали его в том, что он живет за счет герцогини, он беспечно указывал им на "Великолепного" Джулиано и отказывался сокрушаться \*. Правда, и теперь и впоследствии, когда пришли слава, богатство и высокий сан, Бембо крепко и по-хорошему помнил, чем был для него урбинский двор и чем была Елизавета. Другой знаменитый писатель, Биббиена "il bel Bernardo", — один из самых обаятельных и самых остроумных людей своего времени, близкий человек кардинала Медичи, автор комедии "Calandria". Поэты: Бернардо, Аккольти, по прозвищу Unico Aretino, бесподобный импровизатор, Винченцо Кальмета и веселый Антонио Мария Терпандро — были тоже частыми гостями урбинского двора. Молодой гуманист Филиппо Бераальдо в своих скитаниях никог-

18. "К обществу Рафаэлева Sposalizio, -- говорит Стжиговский, -- и к отдельным его фигурам хочется, всячески признавая отдельные флорентийские влияния, подойти поближе с Cortegiano графа Кастильоне в руках, а в главных ролях невесты и стоящей за ней старшей дамы хочется видеть две наиболее значительные женские фигуры двора Муз в Урбино: герцогиню Елизавету и синьору Эмилию Пиа". Адольфо Вентури идет дальше. Он определенно утверждает, что влияние Урбино распространялось и на искусство Рафаэля: "Идеал Cortegiano, урбинский идеал человеческого совершенства, воплощается в светлом искусстве (arte serena) Рафаэля" (L'arte italiana. Disegno storico, 1924).

\* Julia Cartwright (mrs Ady), Count Baldassare Castiglione, the perfect Courtier, Lond., 1908, т. I, 197—198.

да не забывал Урбино. Долгим гостем был знаменитый скульптор Джан Кристофоро Романо. И, наконец, самый преданный друг герцогини, Бальдессар Кастильоне, ученый-гуманист, испытанный воин и вообще всячески одаренный человек, будущий Гомер урбинского двора.

В кругу придворных дам блистала Эмилия Пиа, жена незаконного сына герцога Федерико, Антонио Монтефельтро, умершего в 1500 г., одна из самых образованных женщин своего времени, изящная, красивая, самая верная, самая преданная подруга Елизаветы. Синьора Эмилия не только была лучшей жемчужиной урбинского двора. Среди женщин позднего Возрождения немного таких, кто так серьезно был бы проникнут основным идейным устремлением времени — свободой мысли. Она обладала большим скептическим умом. Ее живой характер и язвительное остроумие не оставляли в покое ничего. Она была неверующей, и не только неверующей, — показной атеизм был вещью в то время обыкновенной, — но имела мужество умереть без исповеди. Ее поклонники недаром в шутку звали ее *Emilia Impia\**. Елизавета платила за ее привязанность нежной любовью, и Эмилия была ей как сестра. Ее медаль дает ей эпитет *castissima*, что, быть может, делало ее еще более дорогой для герцогини. Другие придворные дамы: Маргарита и Ипполита Гонзага, родственницы Елизаветы, Констанца Фрегозо, сестра Оттавиано и Федерико, мадонна Рафаэла — не были фигурами такими яркими, как Эмилия.

Двор по необходимости группировался вокруг герцогини и ее дам. Картинка, набросанная в приведенном выше сонете Д'Аннуцио, не совсем отвечает действительности. Тенег сорте приходилось не Гвидубальдо, а его супруге. Герцога так изнуряла его болезнь, что почти сейчас же после обеда он удалялся к себе отдохнуть, и придворные кавалеры понемногу собирались там, где была герцогиня, а с нею неразлучная Эмилия. Там начинались разговоры, изобретались комнатные забавы, выдумывались пикники, поездки, экскурсии. Каждый старался показать себя во всем блеске, а синьора Эмилия, как говорит Кастильоне, *pareva la maestra di tutti* (казалось, поучала всех. — *Ред.*).

Жизнь была полна веселья. Хотя недаром в самый разгар придворного веселья не разглаживались складки заботы на прекрасном челе герцогини. И она, и Гвидубальдо, и всякий вообще чуткий человек понимали, какое то было горькое веселье. Ибо веселиться можно было, только закрыв глаза. Люди должны были искусственно отгораживаться от всего, что вселяло тревогу. Как будто этим могли быть устранены причины тревоги.

Над Италией сгущались тучи. То утихая, то усиливаясь, но уже не прекращаясь, ревела буря. Почти непрерывно где-нибудь на севере, на юге звенело оружие и лилась итальянская кровь.

---

\* Об Эмилии Пиа см. А. Luzio — R. Renier, Mantova e Urbino. Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche, Torino-Roma, 1893, оsob. с. 88 и 283.

Неотвратимо и неуклонно развертывался свиток великой социальной и политической трагедии итальянской земли. Народ в деревне и городе погибал от меча, от голода, от болезней. Бытие любого из итальянских государств было поставлено на карту. Макиавелли во Флоренции исчерпывал все ресурсы своего гения, чтобы найти средство против национальной беды своей родины. Микеланджело оплакивал судьбу Италии в потрясающих образах Сикстинского плафона.

В Урбино, при дворе, предпочитали об этих вещах забывать. Будущее надвигалось мрачное, но текущий миг был прекрасен. Окружающие Урбино холмы мягко рисовались своими линиями на чистом вечернем небе. Дворец Лаураны стоял незыблемо и гостеприимно открывал свои просторные покои гостям Елизаветы. Казна герцогская была богата, а папа Юлий был герцогу другом. Пока все это было так, нужно было наслаждаться и не думать о завтрашнем дне. Воскресало, словом, настроение карнавальнх песен Лоренцо Медичи, в которых буйный задор так жутко и красиво был пропитан злыми предчувствиями.

Di doman non c'è certezza...\*

Только теперь задору было меньше, а злых предчувствий больше. И само настроение сейчас оправдывалось еще больше, чем в дни Великолепного. Но чем безрадостнее было кругом, тем мучительнее хотелось жить и веселиться в Урбино.

Старая придворная аристократия справляла по себе тризну. И справляла, нужно признать, на славу, при деятельном участии представителей интеллигенции.

Празднства устраивались по всякому поводу. Герцогиня не жалела на них расходов, а поэты щеголяли друг перед другом остроумной выдумкой и талантом. То Кастильоне и Чезаре Гонзага сочиняли в честь Елизаветы звучные стихи, которые декламировали всенародно, то Бембо и Оттавиано Фрегозо наряжались в фантастические костюмы посланцев Венеры и приходили от имени богини жаловаться — тоже в стихах — насчет того, что у владетельниц здешних мест сердца из стали и адаманта, непроницаемые для стрел Купидона, умоляли герцогиню и ее подругу, *crudel e ria*, смягчиться и не отвергать более утех любви. То затевали "сиенскую игру", *giuoco senese*, которая заключалась в том, что сосед соседке должен был шепотом сказать фразу, а та немедленно ответить громко. Бембо, который в своих ухаживаниях проявлял настойчивость, достойную будущего кардинала, пробовал хоть этим способом проложить дорогу к сердцу Елизаветы. Он шепнул ей однажды, будучи ее соседом: "Io ardo" — "я горю", но немедленно получил ответ: "Non io". И очень огорчился — ненадолго. То общими силами сооружали балет, где отличались дамы и Роберто да Бари, самый изящный и ловкий

\* В день грядущий веры нет... Пер. Е. Солоновича (Ред.).

танцор компании, который отдавался танцам с таким увлечением, что часто не замечал, что потерял туфлю и короткий плащ. Веселее всего справляли, конечно, карнавал. Устраивали какое-нибудь представление, потом в масках разбредались по городу. А юный Prefettino\*, наследник престола, Франческо Мария делла Ровере, упрасивал Кастильоне и Гонзага, неразлучных и в своих ночных странствованиях, взять его с собой.

Придворные нравы в Урбино были безупречны по масштабу того времени. Личные свойства герцогини, окружавшее ее благоговейное поклонение, болезнь герцога, ручавшаяся за его целомудрие, делали урбинский двор непохожим на большинство итальянских дворов того времени. В нравах была пристойность, и Урбино славилось, как некие поля блаженных.

Конечно, не следует преувеличивать. Не у всех дам герцогини были сердца адамантовые. Маргарита Гонзага, которая отвергла много блестящих женихов, в том числе римского банкира Агостино Киджи, Ротшильда своего времени, не могла устоять перед юной грацией Бироальдо. Мадонна Рафаэла была очень нежна к Кастильоне, а мадонна Ипполита старалась заставить Бембо забыть прекрасную герцогиню Феррарскую и утешить его в неудаче с Елизаветой, причем Бембо еще ревновал ее к Тривульцио. Что касается до Великолепного Джулиано, то его роман с мадонной Пачификой Брандано кончился тем, что в Урбино родился новый отпрыск Медичи, хорошенький черноглазый мальчик — будущий кардинал Ипполито, который позднее был отравлен своим племянником, герцогом Алессандро. Герцогиня, вероятно, знала о шалостях дам и кавалеров, но так как все боялись оскорбить целомудренную чувствительность Елизаветы, то секреты любви соблюдались строго и все оставалось прилично. Только одна история вышла наружу, потому что кончилась кровавой драмой.

Вместе с Prefettino при урбинском дворе жила его сестра, кокетливая молодая вдова Мария Варано, по мужу родственница Камеринского владетельного дома. Она влюбилась в приближенного герцога, Джованни Андреа, кавалера, превосходившего всех красотой, храбростью и изяществом, но незнатного происхождения. Связь длилась год, когда о ней стало известно Франческо Мария. Ему было тогда восемнадцать лет, но он был уже мастером в делах вероломства. Он не показал никому, что он что-то знает, а как-то просто предложил Джованни Андреа прийти к нему пофехтовать. И когда они стояли друг против друга со шпагами в руках, слуги Prefettino схватили несчастного за руки, а тот погрузил ему в грудь свое оружие. Франческо сейчас же ускакал в свою вотчину Синигалию, велел своим клеветам

---

\* Он был сыном брата папы Юлия II, Джованни делла Ровере, бывшего римского префекта, и сестры герцога; герцогом был усыновлен. Основанная им вторая и последняя династия в Урбино оказалась тоже очень короткой. Она пресеклась с его внуком.

прикончить свою жертву и умертвить слугу сестры, носившего от нее письма к возлюбленному. Герцогиня долго не могла прийти в себя от ужаса. Герцог был в ярости. Но Франческо Мария был племянник папы Юлия и наследник престола. Его вскоре простили.

Такие случаи, к счастью, были исключением. В общем, жизнь шла без трагедий. Люди, составлявшие двор герцога и герцогини, старались больше о том, чтобы доставлять себе и другим удовольствие.

Почти всех членов этой блестящей компании Кастильоне сделал действующими лицами своих диалогов о придворной жизни, одного из самых важных памятников культуры итальянского Возрождения. Книга, озаглавленная "Il libro del Cortegiano", столько же, сколько мировоззрение и жизнь ее автора, объясняет некоторые существенные особенности Чинквеченто, которые иначе остались бы необъяснимыми.

Займемся сначала книгой.

## II

Кастильоне приурочивает свои диалоги к 1507 году. Это дает ему удобный повод не включать себя в число действующих лиц: он в это время находился в Англии, куда был послан, чтобы отвезти подарок, Рафаэлева "Св. Георгия"\* и принять знаки ордена Подвязки, пожалованного королем герцогу Гвидубальдо. Остальные все налицо; есть кое-кто и еще, не принадлежащий к обычному придворному кругу герцога и герцогини. Дело в том, что незадолго перед тем, как происходила беседа, давшая книге содержание, в Урбино останавливался проездом из Болоньи в Рим папа Юлий и некоторые из его придворных были так очарованы приемом, что остались еще на несколько дней после того, как папа поехал дальше. Кастильоне и им дал роли в своем диалоге.

Как литературное произведение Cortegiano — один из шедевров итальянской прозы XVI века. Кастильоне — несомненно крупный писатель. В этом отношении установившийся взгляд на него вполне правильный. Выпуклые характеристики действующих лиц, огромное искусство пересыпать живыми жанровыми сценками, острой пикировкой, непринужденной светской болтовней развитие основной темы — все это дает книге легкость и грацию настоящего художественного диалога. Порой даже забывается, что в ней есть дидактическое задание и что автор ни на минуту не упускает из виду главной нити разговоров. К самой теме он подходит естественно, без всякой книжной принужденности. Так не умели строить свои латинские диалоги гуманисты Кватроченто.

---

\*Ныне в нашем Эрмитаже. (С 1937 г. находится в Национальной галерее в Вашингтоне. — *Ред.*)

”На другой день после отъезда папы, когда общество в обычный час собралось в своем постоянном месте, после обмена приятными разговорами (*piacevoli ragionamenti*) герцогиня пожелала, чтобы синьора Эмилия начала игры”.

Эмилия стала приказывать каждому по очереди предложить свой проект. Когда очередь дошла до Федерико Фрегозо, он предложил ”игру”: ”создать словами законченного придворного (*formar con parole un perfetto Cortegiano*), объяснив все условия и особые качества, которые требуются от того, кто достоин этого имени”. Синьора Эмилия сейчас же ухватилась за эту идею.

Граф начал излагать свой взгляд на то, чем, по его мнению, должен быть хороший придворный. Его много раз прерывали, больше всех Гаспаро Паллавичино. Иногда Биббиена вставлял какую-нибудь шутку, а Чезаре Гонзага пытался состязаться с ним в остроумии.

Но такие перерывы не заставляли графа Лодовико терять нить своего рассуждения. Он мало-помалу почти довел его до конца. Было уже очень поздно, когда он заканчивал набросок образа идеального придворного, в это время снаружи ”послышался топот ног и громкий говор. Все обернулись, в дверях горели факелы, и в комнату вошел с многочисленной и блестящей свитой синьор префект”.

Франческо Мария в это время не был тем мрачным бородастым воином, каким мы его знаем по великолепному тичиановскому портрету. То был шестнадцатилетний юноша, красивый и нежный, с длинными каштановыми кудрями, как он стоит в одной из групп ”Афинской школы” Рафаэля. Никто еще не предчувствовал в нем вероломства, свирепости и рассчитанной жестокости, которая должна была сказаться через год в убийстве Дж. Андреа. Никто бы не сказал, что из него выработается буйный, не знающий удержку своей ярости солдат. Но и солдат он был особенный. В нем не было лучшего украшения воина — личной храбрости, и потому, хотя его и будут считать хорошим полководцем, он никогда не сумеет снискать себе на боевом поприще славы Сиджисмондо Малатеста, Федерико Монтефельтро или Франческо Гонзага. Живя при урбинском дворе с детства, он обожал Елизавету, как мать. Он стал просить продолжать беседу, но граф Лодовико заявил, что он очень устал, а Джулиано Медичи предложил разойтись, с тем чтобы на следующий день собраться снова и побеседовать о том, как должен придворный пользоваться теми своими качествами, которых требовал от него граф Лодовико.

На следующий день сначала Федерико Фрегозо говорил о том, что было предложено накануне, а потом Бернардо Биббиена долго и пространно излагал свой взгляд на шутки, остроты и смешные проделки всякого рода, дозволенные и недозволенные с точки зрения придворного хорошего тона.

К вечеру Джулиано Медичи, *il Magnifico*, предложил, чтобы кто-нибудь так же охарактеризовал идеальную придворную да-



му, как граф Лодовико и мессер Федерико охарактеризовали идеального придворного. Третий день на это и уходит. Джулиано поет гимн женщине и перечисляет те качества, которые требуются от идеальной придворной дамы. Когда же он, усталый, умолкает, роль защитника женщин принимает Чезаре Гонзага. И еще остается некоторое время для Бернардо Аккольти. Он делится с собранием взглядами на то, что должен делать придворный, чтобы заставить женщину полюбить себя. Синьор Гаспаро и во время речи Чезаре Гонзага, и во время рассуждений Унико Аретино не унимается и не перестает сопровождать шутками и язвительными замечаниями всякую похвалу по адресу женщин. А Оттавиано Фрегозо, заикнувшийся о том, что, говоря о женщинах, восхваляя и порицая их, общество зря теряет время, которое можно было бы отвести на пополнение характеристики идеального придворного и идеальной придворной дамы, немедленно изловлен на слове синьорой Эмилией и получает приказ заняться этим на следующий день. Тема была трудная, и Оттавиано готовился к ней основательно. По крайней мере, днем его почти не было видно. Когда вечером четвертого дня все собрались по обыкновению у герцогини, синьора Оттавиано не было. Решили, что он и не придет, и стали налаживаться провести вечер без рассуждений о придворном. Дамы затеяли танцы и вообще занимались кто чем хотел. В это время вошел неожиданно синьор Оттавиано. Он увидел, что Чезаре Гонзага и Гаспаро Паллавичино танцуют, поклонился герцогине и сказал смеясь:

— Я думал, что и в этот вечер мне придется слышать, как синьор Гаспаро будет говорить что-нибудь дурное о женщинах. Но, видя, что он танцует с одной из них, я думаю, что он заключил мир со всеми. И мне приятно, что спор или, лучше сказать, разговор о придворном кончился таким образом.

Но герцогиня скоро приводит синьора Оттавиано к повинновению, и он начинает длинное рассуждение об отношениях между придворным и государем. С этой темы он переходит на другую, более широкую: о наилучшей форме правления. Здесь, защищая монархию, он сталкивается со взглядами венецианца Бембо, сторонника республики. Тот же Бембо заканчивает четвертый день и с ним вместе книгу Кастильоне восторженным гимном чистой любви в духе платоновской философии.

''Каков же будет, о, Амур святейший, тот смертный язык, который в состоянии достойным образом воздать тебе хвалу! Ты — прекраснейший, добрейший, мудрейший! Ты приходишь от красоты, от добра, от мудрости божественной: в ней пребываешь, к ней, через нее, как в некий круг, возвращаешься. Ты, сладчайшая цепь мира, связь между небесным и земным, мягко склоняешь высшие добродетели к управлению низшими и, обращая дух смертных к его Началу, соединяешь его с ним. Ты собираешь воедино элементы согласия. Ты побуждаешь природу творить, а то, что рождается, — развиваться в жизни. Вещи разъединенные связуешь, несовершенным даешь совершенство, несходным

— сходство, враждебным — дружбу, земле — плоды, морю — покой, небу — свет жизненный. Ты — отец истинных наслаждений, изящества, мира, кротости, доброжелательства, враг грубой дикости, невежества, в целом начало и конец всякого блага. И так как ты любишь обитать в цветке прекрасного тела и в душе прекрасной и отсюда иногда показываться немного глазам и умам тех, которые достойны тебя видеть, то я думаю, что сейчас, здесь, среди нас — твоя светлица. Поэтому соблаговоли, Господин, услышать наши молитвы, влейся в наши сердца, блеском твоего священного огня освети наши потемки и, как надежный проводник, в этом слепом лабиринте укажи нам истинный путь. Исправь обманчивость наших чувств и после долгого бреда дай нам истинное и твердое благо. Дай нам почувствовать те духовные благоухания, которые оживляют добродетели ума. Дай нам услышать небесную гармонию, столь созвучную, чтобы в нас не осталось больше места ни для какого раздора страстей. Опьяни нас в том неиссякаемом источнике довольства, который дает радость постоянную и не пресыщает никогда, который тому, кто пьет его живительную и чистую влагу, вливает ощущение истинного блаженства. Очисти лучами света твоего глаза наши от мрака невежества, чтобы впредь не преклонялись мы перед красотой преходящей, чтобы мы познали, что вещи, которые они как будто бы видят, не существуют, а те, которых не видят, существуют. Прими души наши, которые сами отдаются тебе в жертву. Испепели их в том живительном пламени, которое сжигает всякую материальную грубость, чтобы, во всем отделенные от тела, вечной и сладчайшей связью соединились они с красотой божественной. И чтобы мы, отделенные от самих себя, как истинные влюбленные, в предмет любви нашей могли превратиться и вознестись над землею и чтобы мы могли быть допущены к пиру ангелов. Так дай нам напиток амброзией и нектаром бессмертным и в заключение умереть смертью счастливейшей и живой, как уже умерли те древние отцы, души которых ты пламенной силой созерцания похитил из тел и соединил с богом”.

”Бембо говорил с таким увлечением, что казался совершенно невменяемым (*astratto*) и вне себя. Он сидел, безмолвный и неподвижный, с глазами, устремленными на небо, как полоумный. Синьора Эмилия, которая вместе с другими слушала с величайшим вниманием его рассуждения, взяла его за складки одежды и, слегка его расталкивая, тихо сказала:

— Смотрите, мессер Пьетро, как бы от этих мыслей у вас у самого душа не рассталась с телом.

— Синьора, — ответил мессер Пьетро, — это было бы не первым чудом, которое сотворит во мне любовь”.

Беседа готова была завязаться вновь, но герцогиня сказала:

— Так как спор между вами может затянуться надолго, лучше будет отложить его до завтра.

— И даже до сегодняшнего вечера, — заметил Чезаре Гонзага.

— Как до сегодняшнего! — воскликнула герцогиня.

— Очень просто: потому что день уже настал.

И он показал на свет, начинавший проникать в комнату через оконные щели. Все встали с мест в великом удивлении, ибо никто не думал, что беседа длилась дольше обычного. Но так как ее начали позднее, чем всегда, и так как она была очень интересна, то общество забылось и не заметило, как летели часы. "И никто не чувствовал в веках своих тяжести сна, которая появляется всегда, когда привычные для сна часы проходят в бодрствовании. Открыли окна с той стороны дворца, которая выходит на высокую вершину горы Катри. На востоке родилась уже чудесная заря цвета роз и погасли все звезды, кроме нежной правительницы небес, Венеры, которая стоит на грани и ночи и дня. Казалось, что от нее веет сладостный ветерок, наполняющий воздух острой свежестью и начинающий будить, в шумных лесах по соседним холмам, звонкое пение порхающих птичек...

Тогда все почтительно простились с синьорой герцогиней и направились в свои комнаты, уже не нуждаясь в свете факелов: довольно было дневного света".

### III

Таково обрамление книги, характеризующее литературные приемы и отчасти литературные вкусы Чинквеченто. Содержание ее гораздо значительнее.

Основная задача книги, как ее понимал сам Кастильоне, одна, хотя в ней много отступлений, — нарисовать идеальный тип придворного.

Кастильоне не один пытался ее разрешить. Его книга написана между 1514 и 1518 годами. В 1551 году появился "Galateo" Джованни Делла Казы, настоящий кодекс хорошего тона, уже без обязательного применения к придворной жизни. Да и "Asolani" Пьетро Бембо, экзальтированного проповедника платонической любви в "Cortegiano", вышедшие в свет до книги Кастильоне, являются руководством поведения для влюбленных разных общественных категорий: знатных дам и куртизанок, прелатов и ученых. "Il libro del Cortegiano" полнее и шире ставит свою задачу.

Когда граф Лодовико Каносса еще далеко не кончил перечислять качества хорошего придворного, Лодовико Пио замечает ему\*: "Не думаю, чтобы во всем мире возможно было найти сосуд такой обширный, чтобы он оказался способен вместить все вещи, какие вы хотите видеть в своем придворном". И чем дальше подвигается накопление этих вещей, тем больше увеличивается скептицизм. После того как граф и мессер Федерико Фрегозо перечисляют все качества, которыми должен обладать

---

\* Il libro del Cortegiano, изд. Sonzogno, с. 74.

придворный, Джулиано Медичи говорит\*:"Придворный, которого создали своим красноречием граф и мессер Федерико, не существовал никогда и, вероятно, не может существовать". Но Кастильоне этому не верит. Он не боится перегрузить своего придворного такими качествами, которые трудно соединить в одном лице, ибо убежден, что такое соединение все-таки возможно. Какие же это качества?

Придворный должен быть благородного происхождения. Это первое и необходимое условие. И не только просто родовитым человеком, его "порода" (*come si dice, un sangue*) должна сказываться в его внешности: в осанке, в выражении лица, в изяществе\*\*. Главной профессией придворного должна быть профессия воина, но воин-придворный не должен быть грубым солдатом: он должен быть храбр с неприятелем, но сдержан, скромн, лишен хвастливости в обычное время. И противоположной крайностью не должен страдать придворный: в нем не должно быть изнеженности и женственных манер, которыми щеголяют некоторые. Одеваться он должен не с чрезмерной изысканностью — как большинство воспитанных людей, не более. Но нравиться и производить впечатление ему нужно; в нем должна быть красота; рост его не должен быть ни чрезмерно высок, ни чрезмерно мал: то и другое возбуждает смех. Он должен быть хорошо сложен и ловок во всех телесных упражнениях: должен отлично знать верховую езду, хорошо биться на копьях, на шпагах, на кинжалах и даже выступать на бое быков. В делах чести, раз вопрос не может разрешиться мирно, должен твердо идти до конца и не поступать так, как делают иные: выбирают оружие, которое не колет и не рубит. Должен быть искушен во всех видах спорта: хорошо бегать, прыгать, плавать, метать камни, играть в мяч.

Затем идут все более мирные требования. Придворному нужно любить все игры и удовольствия, которые подобают человеку хорошего общества: танцы, верховую езду и особенно охоту, настоящую забаву вельможи. Ему нужно уметь поддерживать разговор, шутить, быть остроумным. Во всем этом он должен стараться отличиться перед другими. Но двух вещей он не должен забывать никогда. Во-первых, быть изящным во всем — это неременное требование для того, кто хочет успеха. Кто изящен, тот имеет успех, *chi ha la grazia, quello è grato*. Кому природа не дала изящества, тот должен выработать его в себе воспитанием, подражанием. "Подобно тому как пчелка, летая по зеленым лугам, ищет цветы среди трав, так и наш придворный должен красть изящество у всякого, у кого оно есть". И если оно у него не врожденное, а выработанное, это не должно быть заметно. "Настоящее искусство то, которое не кажется искусством: *quella esser*

\* Cortegiano, с. 169.

\*\* Это требование — чтобы придворный был знатным, скрывающее в себе социальную апологию дворянства, у Кастильоне имеет принципиальное значение, и мы вернемся позднее к его анализу.

*vera arte ché non appare esser arte*". Второе требование, чтобы была непринужденность, *sprezzatura*, но непринужденность естественная и не переходящая в рисовку. Когда человек всячески старается показать, что он не думает о том, что делает, это значит, что он думает об этом чересчур много. Когда непринужденность переходит известные, средние границы, она становится аффектированной. Простота и естественность нужны во всем: в музыке, в живописи, в повседневном обиходе. "Иной не побыл и года вне дома, а, вернувшись, начинает говорить на романьольском диалекте, по-испански, по-французски и еще бог знает как, а это все происходит от желания показать, что он много знает".

Но этого мало. Придворный должен быть широко и многосторонне образованным человеком. "В литературе он должен быть образован более чем посредственно, по меньшей мере в тех науках, которые мы зовем гуманитарными (*d'umanità*); знать он должен не только латинский язык, но и греческий, ибо по-гречески божественно изложено много различных вещей. Должен он быть начитан в поэтах и не меньше в ораторах и историках, а сверх того искусен в писании прозой и стихами, больше всего на нашем родном итальянском *volgare*, что кроме удовольствия, которое принесет ему самому, доставит ему возможность занимать приятными беседами дам, которые обыкновенно любят эти вещи". Разумеется, придворному нужно знать еще и современные иностранные языки.

Когда возникает вопрос, соединима ли профессия воина, которая должна быть у придворного главной, с большим литературным образованием, оратор горячо отвечает: "Я должен упрекнуть французов, которые думают, что литературное образование вредит профессии воина. Я считаю, что никому так не идет быть литературно образованным, как воину. Я хочу, чтобы эти две сцепленные между собой (*concatenate*) и одна другую дополняющие профессии были и в нашем придворном".

Однако и это еще не все. Придворный должен уметь играть на нескольких инструментах и петь. "Потому что, если подумать хорошенько, никакой отдых от трудов, никакое лекарство для слабой души не может быть более благородным и приятным, чем музыка. Особенно при дворах, где музыка не только всякого заставляет забывать неприятности. Там ведь многое делается, чтобы доставить удовольствие дамам, а в их души, мягкие и нежные, легко проникает музыкальная гармония и наполняет их сладостью". Напрасно Гаспаро Паллавичино протестует против этого требования, говоря, что "музыка вместе со многими другими глупостями (*con molte altre vanità*) — дело женское", "придворному вовсе не нужно быть музыкантом". Он опять остается одинок в своем протесте. Несколько больше аргументов требуется, чтобы доказать, что придворному нужно уметь рисовать и писать красками. "Не удивляйтесь, — говорит оратор, — что я хочу и этого искусства, которое кажется, быть может, в настоящее время чересчур ремесленным (*meccanica*) и недостой-

ным дворянина". И после неизбежных примеров древности идет длинное доказательство практической пользы умения рисовать, "особенно на войне", где нужно зарисовывать местность, реки, мосты, снимать планы. Потом выясняется ценность искусства для души.

#### IV

Портрет "совершенного придворного", нарисованный Кастильоне, знаменует собой целый самостоятельный этап в эволюции индивидуализма. Все, что представлялось отдаленным, лишь теоретически мыслимым идеалом людям Кватроченто, теперь предъясняется как практическое требование.

Педагоги XV века робко мечтали о том, чтобы при воспитании физическая сторона не забывалась из-за умственной. И когда об этом писал Леонардо Бруни, когда этого требовал Гуарино, когда это начинал осуществлять в своей мантуанской школе Витторино да Фельтре — это было революцией. Теперь Кастильоне требует от своего *cortegiano* сразу так много, что предполагается колоссальнейшее напряжение средств педагогики, как нечто безусловно необходимое предварительно. В его книге почти не говорится, как и где должен получить все свои знания, навыки, искусства "придворный", но несомненно, что самоучкой он быть не может. В XV веке Леон Баттиста Альберти, гениальнейший самородок, писатель, художник, архитектор, музыкант, искусный во всех упражнениях, был объявлен uomo universale, всесторонним человеком; на него смотрели как на единственного. Теперь Кастильоне хочет, чтобы любой из его "придворных" мог равняться с таким uomo universale. Исключение он хочет сделать правилом. В XV веке гимн человеку в речи "De dignitate humana" Пико делла Мирандола был идеалистической, даже больше — полумистической мечтой. Кастильоне сводит на землю эту страстную осанку во славу личности. Другими словами, Кастильоне настолько верит в мощь человеческого духа, что человеку на ответственном посту ставит категорический императив: будь таким, чтобы ты все умел, все знал, все мог. И требование это формулирует, как нечто практически достижимое.

В этом и заключается огромная разница между "Cortegiano" и хотя бы книгой Делла Казы. "Galateo" — руководство хорошего тона и ничего больше. Так, смотреть и на диалог Кастильоне — значит не понять его совсем\*. Хороший тон — у Кастильоне совсем не главное, если судить о нем с историко-культурной точки зрения. Как на руководство хорошего тона смотрело на

---

\*Этого взгляда держится, между прочим, Henry Cochin, автор статьи, посвященной диалогу Кастильоне в книге Vossace, *Etudes italiennes*, Paris, 1890 г., с. 175 и след. Гораздо осторожнее и правильнее определяет значение книги Реймонт (Gesch. d. Stadt Rom, III, 2, 330: "ein Jesetzbuch feiner Sitte und ehrenwerter Gesinnung" — "правила добропорядочного поведения и благородного образа мыслей". — *Ред.*).

книгу в Италии и вне Италии большинство современников, хотя и не все\*. История ищет в ней другого\*\*.

Кастильоне делает своего uomo universale придворным. Почему? Были у него для этого объективные основания? Представлял итальянский двор начала XVI века среду, в которой мог произрасти uomo universale, среду, сколько-нибудь благоприятную для культивирования "совершенного придворного", им нарисованного?

Послушаем прежде всего, что рассказывает нам про придворную жизнь трезвый реалист Пьетро Аретино. Вот какие требования к придворному предъявляются, по словам одного из действующих лиц его комедии "La Cortigiana"\*\*\*: "Главное дело, чтобы придворный умел богохульствовать, умел быть игроком, завистником, блудником, еретиком, льстецом, злословцем, неблагодарным, невежественным, ослом; чтобы он умел молоть языком, изображать собою нимфу, быть лицом активным и пассивным"\*\*\*\*.

Вот уже в пяти строках целый букет таких качеств, о которых не вспомнил ни один из собеседников книги Кастильоне. Добрая герцогиня Елизавета упала бы в обморок, если бы малая часть того, что говорят у Аретино, пришла в голову неугомонному Гаспаро Паллавичино. Но действующие лица комедии Аретино этим не ограничиваются. В другом месте бывалый старый придворный отговаривает от его намерения некоего старика, желающего отдать сына ко двору\*\*\*\*\*. Он изображает ему нищенские условия, в которых живут придворные: прежде чем быть допущенным к общему столу, нужно "рай поставить вверх дном"; спать не на чем — приходится покупать свои постели, самому платить прачке и цирюльнику; лошадь околет, если не кормить ее на свой счет; чтобы одеваться прилично, нужно продать собственный дом; если кому случится заболеть, его везут в госпиталь. "Свободные бенефиции достаются тому, кто никогда не был при дворе, либо делятся на столько частей, что каждому приходится по дукату, и мы считали себя счастливее папы, если не приходилось добиваться этого дуката по десяти лет. У нас не только никто не платит учителям, у которых нужно научиться тому, что придает блеск человеку, но и того, кто учится на свой счет, преследуют как врага, потому что государи не любят около себя людей более ученых, чем они сами. Мы поедом ели друг

\* О переводах Cortegiano и, в частности, о его влиянии в Англии см. Christopher Hara, *The most illustrious ladies of the Italian Renaissance*, Lond., 1904 г., с. 337—338 и 347.

\*\* Treverret (*L'Italie au XVI siècle, I serie*, с. 279) сопоставляет его как практическое руководство с книгой Макиавелли: "Il Cortegiano devient comme le Prince un bréviaire sans cesse feuilleté par quiconque ambitionne un certain genre de succes" ("Придворный" становится как "Князь" настольной книгой, которую неустanno перелистывают все, кто стремится ко всякого рода успеху". — *Ред.*).

\*\*\* Акт 1, сц. 22.

\*\*\*\* Far la ninfa et essere agente e paziente: в самом непристойном смысле.

\*\*\*\*\* Там же, акт II, сц. 6.

друга и ненавидели один другого так, обедая за одним столом, как никогда изгнанники не ненавидят того, кто не дает им вернуться на родину". Другой персонаж Аретино восклицает: "Corte morte! (Двор мертв! — *Ред.*)\* "В письмах Аретино рассказывает про одного проповедника, который, чтобы не распространяться долго о том, что такое двор, развернул перед своими слушателями картину преисподней\*\*. Аретино был не единственным из современных писателей, кто изображал придворную жизнь в таких черных красках\*\*\*. Его мнения разделяли очень многие. Правда, было в Италии несколько дворов, которые считались как бы исключением из общего правила. Но оговорки по поводу этих исключений были таковы, что очень приближали их к правилу. Когда у Аретино старый придворный останавливается в своей филиппике, чтобы перевести дух, его собеседник, задумавшись, замечает как бы про себя: "А ведь рассказывают чудеса про Медичи". И Аретино великодушно позволяет ненавистнику придворной жизни ответить: "Una fronda non fa primavera", — "один лист не делает весны". И несмотря на то что похвальный отзыв по адресу Медичи остался тут без вознагражений, мы отлично знаем, какие "чудеса" происходят при флорентийском дворе между 1512 и 1527 годами, когда оба представителя семьи Медичи, сначала кардинал Джованни, потом кардинал Джулио, смотрели больше в Рим, где их одного за другим ждала тиара: Флоренция была оставлена распутному Лоренцо, сыну Пьеро, изгнанного Савонаролой, а когда он умер — двум незаконнорожденным отпрыскам семьи, от имени которых правила прокураторы. Деспотизм был тем более злой и неприкрытый, что Медичи не были уверены в прочности своей власти и всегда жили в страхе революции, которая заставит их бежать.

Остаются дворы Мантуи, Феррары и Урбино, которые считались лучшими в Италии. В Мантуе, правда, маркиза Изабелла д'Эсте не позволяла открытых безобразий, но тот же Аретино, отлично знавший мантуанский двор, в другой своей комедии\*\*\*\* рассказывает вещи весьма недвусмысленные: "Весь двор ненави-

---

\* "Ragionamento delle corti", где собраны едва ли не самые большие обвинения против дворов, в частности против папской курии.

\*\* Lettere, I, 199.

\*\*\* Целый ряд характеристик придворной жизни в этом духе собран у А г т т у г о Г г а ф, Attraverso il Cinquecento, с. 111 и след. Один называет двор "sepoltura e prigion dell'uomo vivo" (темницей и гробницей живого человека. *Ред.*) и поясняет: "...proprio è la corte come una puttana, che par bella di fuori e poscia dentro parte non ha, che si ritrovi sana" "(поистине двор подобен шлюхе, которая внешне выглядит красивой, но внутри у нее не найдешь здорового места.

*Ред.*) Другой говорит: "...io rassomiglio gentiluomo in corte a gentildonna che vive in bordello" (я уподоблю благородного придворного знатной даме, живущей в борделе. — *Ред.*). Нужно заметить, что первые инвективы против придворной жизни появились еще в XV веке, и автор их был будущий папа, Энеа Сильвиео Пикколомини (см. Rossi, il Quattrocento, 87).

\*\*\*\* II Marescalco, акт II, сц. 4 и 11.



дит женщин..."; "Мантуя полна гермафродитами..."; "Эти наглые молодые люди, эти женоподобные ганимеды..." и т. д. А придворный штат Изабеллы состоял исключительно из очень красивых дам, которые, когда им было нужно, умели наилучшим образом пленить самого неприступного прелата, самого чопорного дипломата\*. Весной 1511 года, когда итальянская коалиция под командой папы Юлия вела войну против Франции и ее родной Феррары, Изабелла добилась, что совещание послов императора, Франции, Испании и Англии состоялось в Мантуе, и епископ Матвей Ланг, посол Максимилиана, будущий кардинал и свирепый противник восставших крестьян в Зальцбурге (1525), много развлекался с придворными мантуанскими дамами\*\*. В конце 1513 года Изабелла повезла своих дам в Рим, чтобы обворожить новых вершителей судеб Италии, явившихся вместе с новым папой Львом X. И много позднее, на болонском свидании 1529 г., когда по зову папы Климента VII и Карла V в скромный город в Романье собралось все, что было блестящего в Италии, дамы Изабеллы — уже другие: те состарились — пользовались большим успехом *ad majorem gloriam Mantuae*\*\*\*.

Относительно Феррары оговорок еще больше. Что за тип был законодатель придворного тона кардинал Ипполито д'Эсте — жестокий, распутный, невежественный, мы знаем очень хорошо. По его приказу выкололи глаза его брату Джулио, и Альфонсо оставил это преступление безнаказанным. Герцогиня, знаменитая Лукреция Борджа, хотя и неповинная во многом из того, в чем ее обвиняли современники, отнюдь не напоминала своим поведением римскую Лукрецию. Ее связь с Бембо была притчей во языцех\*\*\*\*. Когда герцог Альфонсо стал хмуриться, Бембо собрал свои пожитки и уехал в Урбино. Другой поэт, Эрколе Строцци, который тоже был поклонником Лукреции, не был так предусмотрителен и однажды утром был найден на улице мертвым с двадцатью двумя ранами на теле. Все знали, что он убит по приказанию Альфонсо, только расходились в определении мотивов убийства\*\*\*\*\*. Лодовико Ариосто, который именно в Ферраре знакомился с придворной жизнью и на горьком опыте узнал ее темные стороны, говорит в "Furioso" (песнь 35):

---

\*Luzio-Renier, Mantova e Urbino, с. 198, 203, 258 и *passim*. Одна из них, Альда Боярда, родственница автора Влюбленного Роланда, была любовницей Биббиены. За чересчур шумное поведение герцога в конце концов велел отправить ее домой в Феррару. Другая, la Brogna, была любовницей юного Федерико и вообще умела кружить головы старому и молодому. Кастильоне в письмах к Изабелле из Испании никогда не забывал передавать нежные приветы Бронье.

\*\*Mrs. Cartwright, т. I, с. 295.

\*\*\*J. A. Symonds, Renaissance in Italy, т. VI (Catholic Reaction, изд. 1909 г.), с. 32.

\*\*\*\*Ф. Грегоровиус (Lucrezia Borgia, с. 249—250) отрицает эту связь, но без доказательств.

\*\*\*\*\*Gregorovius, там же, 266, 267.

Laggiù ruffiani adulatori,  
Buffon, cinedi, accusatori e quelli  
Che vivono alle corti e che vi sono  
Più grati assai che l'virtuoso e buono  
E son chiamati cortigian gentili  
Perché sanno imitar l'asino e ciacco

Лыстецы, шуты и ганимеды,  
Доносчиков и плутов сонм  
Обласканы и празднуют победы,  
Когда достойный оттеснен.  
И хоть осел с свиньей им брат,  
Двор честью осыпает их рад.

В сатирах Ариосто говорит о придворной жизни еще более резко.

Об Урбино мы уже знаем, что там было все несколько по-другому, тоже не совсем благополучно, но все-таки лучше, чем в Мантуе и Ферраре — сравнительно тихих дворах. Болезненность герцога Гвидубальдо, безупречное поведение герцогини Елизаветы и ее ближней дамы, мадонны Эмилии, делали то, что при дворе царили нравы, незнакомые остальной Италии. Но, может быть, тут именно есть основание сказать то, что без всякого основания говорит старый придворный у Аретино относительно Медичи: "Один лист не делает весны". Другими словами, исключительные особенности урбинского двора создавали внешне правдоподобную рамку для индивидуалистического идеала Кастильоне, давали субъективное оправдание тому, что этот идеал строится в декорациях придворной жизни. Объективно говоря, конечно, всех добродетелей герцогини и мадонны Эмилии было недостаточно, чтобы сообщить убедительность попытке Кастильоне. В чем же тут дело?

Уже Буркхардт\* подметил, что, несмотря на все сообщенные ему достоинства, cortegiano у Кастильоне — плохой придворный. Самое дорогое в нем — не служба герцогу, а его собственное внутреннее "я", его собственное достоинство, которое иногда даже противоречит придворному долгу. Едва ли очень многие из итальянских государей легко примирились бы с теми положениями, которые развивает во второй день мессер Федерико Фрегозо. Он требует, чтобы придворный не терял голову от тех почестей, которыми может его осыпать государь, чтобы он не был ими опьянен и не забывал, "что делать с руками и ногами"\*\*. "Я хочу, чтобы он любил почести, но чтобы он не ценил их настолько, чтобы казалось, что он не может без них обойтись". Несколько дальше на вопрос Лодовико Пио, обязан ли придворный повиноваться государю во всем, что государь приказывает, хотя бы то были вещи бесчестные и достойные порицания, мессер Федерико отвечает: "В делах бесчестных мы не обязаны повиноваться никому", — и продолжает в ответ на новый вопрос: "Вы

\* Die Kultur d. Renaissance in Italien, 8 изд., т. II, с. 106.

\*\* Cortegiano, с. 103.

должны повиноваться вашему господину во всем, что ему приносит пользу и почет, но не в том, что приносит ему ущерб и позор. Поэтому, если он приказывает вам свершить предательство, вы не только не обязаны его свершить, а обязаны не делать этого и ради самого себя, и для того, чтобы не быть виновником позора своего государя\*\*». Гаспаро Паллавичино, который задал целую кучу вопросов мессеру Федерико, не догадался спросить его только об одном: что бы сделали с таким придворным даже не Цезарь Борджа, не Ферранте Арагонский и не Лодовико Моро, а хотя бы Альфонсо д'Эсте или брат герцогини Елизаветы, Франческо Гонзага Мантуанский?

И не только это. Рассуждения Оттавиано Фрегосо об отношениях между государем и придворным тоже отнюдь не годятся для практических целей, хотя бы в виде самых отдаленных мечтаний: в них опять-таки чересчур самостоятельным представлен придворный — в жизни в то время таких не было. А с другой стороны, многое, что говорит Библиена о шутках и проделках, или Джулиано Медичи о женщинах, или *Unico Aretino* о светской любви, или Бембо о любви идеальной, — не имеет прямого отношения к придворному быту и попало в книгу по другим соображениям.

Все это еще раз говорит о том, что Кастильоне не написал настоящего руководства для придворного, а, думая его написать, дал нечто большее: трактат о том, чем должен быть человек. При чем же тут придворный быт?

Чтобы ясно ответить на этот вопрос, нужно несколько внимательнее познакомиться с жизнью и характером Кастильоне\*\*.

## V

Кастильоне был поочередно то воином, то придворным, то дипломатом. И всегда был гуманистом и поэтом. С юных лет. Его семья, которая была родом из Казатико, близ Мантуи, и не имела больших средств, отправила его в Милан, где процветала другая ветвь рода Кастильоне. Те приютили и пригрели молодого человека и дали ему блестящее образование. Латинскому языку он обучался у Джорджо Мерулы, а греческому — у Димитрия Халькондила: в Мантуе и мечтать было нельзя о таких учителях. Мерула был одним из самых выдающихся итальянских

---

\* Cortegiano, с. 106—107.

\*\* Наиболее полной биографией является названная выше книга Джулии Картрайт (м-с Эди). Добросовестная английская писательница собрала все, что могла, о Кастильоне и наполнила два толстых тома. Ее книга тем более важна, что она кроме новых документов приводит в больших выдержках почти все письма из старого, вышедшего в XVIII в., очень редкого собрания Серасси. Ее взгляд на Кастильоне — восторженный. Критика ей чужда. На книге Джулии Картрайт в главном построена недавняя русская работа А. И. Хоментовской — Кастильоне, друг Рафаэля (1923).

гуманистов, а Халькондил в это время — едва ли не лучшим профессором греческого языка. В аудиториях своих учителей Кастильоне встретил Филиппо Бероальдо, и дружба их, начавшаяся за Цицероном и Платоном, окрепла позднее, когда оба встретились при дворе герцогини Елизаветы.

Но родственники заботились не только об образовании Кастильоне, а также о карьере его. Они представили Бальдессара ко двору Сфорца, где он и начал свою службу. На миланском престоле сидел в это время Лодовико Моро. Двор его был в Италии одним из самых блестящих, но и самых зловещих\*. Там недавно еще таинственно умер последний представитель прямой линии Сфорца, юный Джан Галеаццо, и Лодовико захватил престол.

Моро был мастер интриг и дипломатических ходов, и юному Кастильоне было чему учиться в Милане. А двор Сфорца, где царил супруг Лодовико, Беатриче д'Эсте, молодая сестра Изабеллы, был хорошей школой для будущего автора Cortegiano. Пока жива была Беатриче, Кастильоне не покидал Милана. Но Беатриче умерла рано, и он перешел в Мантую, чтобы оплакивать вместе с Изабеллой безвременную погибшую герцогиню Миланскую. При мантуанском дворе Кастильоне был совсем дома. По матери он был отпрыском Гонзага. Отец его, кондотьер, как и все предки, недавно погиб смертью воина при Форнуово, сражаясь под командой маркиза Франческо Гонзага, государя Мантуи. Франческо считал себя в долгу перед семьей Кастильоне и готов был всячески покровительствовать молодому Бальдессару. Но он не умел ценить мирные прелести придворной жизни и не любил, чтобы у приближенных его жены ржавели латы. Кастильоне пришлось сесть на коня и скрестить шпагу с испанцами. Но ему, видимо, не нравились воинственные наклонности маркиза. В мае 1504 года он познакомился в Риме с Гвидубальдо. Оба пришли по душе друг другу, и Гвидубальдо стал настойчиво поддерживать перед маркизом Франческо просьбу Кастильоне о разрешении ему перейти на службу в Урбино\*\*. Маркиз был горд и не захотел удерживать Кастильоне насильно, но он был очень рассержен этим поступком любимца и родственника. Когда Кастильоне в декабре 1505 года был послан своим новым государем с миссией в Мантую, маркиз велел ему сказать, что появление его на мантуанской территории не сойдет ему безнаказанно. Кастильоне знал своего прежнего господина и знал, что он шутить не любит. Пришлось вернуться. Летом 1506 г. он отправился в Лондон с миссией к Генриху VII, о которой говорилось выше, и весной 1507 г. был уже вновь в Урбино. После смерти Гвидубальдо Кастильоне продолжал служить Франческо Мария делла Ровере, его наследнику.

Франческо был главнокомандующим папских войск. А папа Юлий был не таков, чтобы давать покой своим войскам.

\* См. Malaguzzi Valeri, Lodovico il Moro, т. I, 1913.

\*\* Martinati, Notizie storico-biografiche di B. Castiglione, с. 76—77.

Кастильоне сопровождал герцога на поле брани. Походная жизнь сблизила обоих, и Кастильоне сделался чем-то вроде первого министра и ближнего придворного у герцога. Венецианцы говорили, что он может сделать с герцогом все, что захочет\*. Промежутки между военными действиями проводилась то в Риме, как карнавал 1510 года, то в Урбино. Карнавал 1513 года, первый, когда урбинские воины могли спокойно отдохнуть дома, вышел особенно блестящим. При дворе была поставлена "Каландрия" Библиены в первый раз, и Кастильоне, из Ахиллеса превратившийся в Омира, был уже с головой погружен в тонкости постановки, сочинял пролог, обучал актеров — словом, находился в больших хлопотах. Но скоро увеселения вновь сменились серьезными заботами.

Умер папа Юлий, суровый и буйный, но нежно любящий дядя. Кто будет его преемником? От исхода выборов зависела, быть может, судьба династии делла Ровере. Кастильоне поспешил в Рим, чтобы быть готовым ко всяким неожиданностям. Но выбор Льва X, брата Джулиано Magnifico, связанного узами неоплатной признательности с урбинским двором, успокоил герцога и обеих герцогинь. Герцог приехал в Рим поздравить папу, был утвержден и в должности главнокомандующего, и в должности римского префекта и вернулся совершенно спокойный. Кастильоне за все свои заслуги получил чудесный замок Новиллару близ Пезаро, недавно пожалованный герцогу папой Юлием, с большим доходом и с графским титулом.

Ему пришлось еще остаться в Риме некоторое время, и эти месяцы были, быть может, лучшей порой его жизни. Новый папа возбуждал самые блестящие надежды. Сам ученый, который говорил про себя, что он вырос в библиотеке и любит искусство с колыбели, друг всех гуманистов, немедленно назначивший Бембо и Садолетто апостольскими секретарями, а своего друга Библиену — казначеем курии, покровитель Рафаэля и художников, Лев X, казалось, открывал "золотой век". Нет ничего удивительного, что всякий, кто считал себя прикосновенным к науке или искусству, стремился в Рим. Кастильоне был плотно окружен там друзьями. Библиена и Бембо, Садолетто и Терпандро, Бероальдо — все были тут. Рафаэль, который ценил его вкус, во многом разделял его взгляды и внутренне был ему близок, не расставался с ним\*\*. Они вместе блуждали по Риму и римской Кампанье в поисках за античными остатками, вместе ходили на виллу Агостино Киджи, которую Рафаэль расписывал в это время своими бессмертными фресками\*\*\*. А когда приехал из

---

\* Cartwright, указ. соч. 1, 299.

\*\* Venturi (*L'arte italiana*, 232), настаивавший на влиянии урбинского двора на Рафаэлево искусство, говорит, что его идеал человеческой красоты сложился под влиянием теорий Cortegiano.

\*\*\* Это — Фарнезина, где скоро появится Аретино.

Флоренции и Джулиано Великолепный, круг друзей сомкнулся совсем\*.

Кроме радостей, доставляемых ему обществом друзей, Кастильоне был обрадован и более существенными вестями.

Папа подтвердил дарование ему Новиллары как верховный сюзерен замка, а маркиза Изабелла, которой он оказал услуги во время ее пребывания в Риме, с помощью герцогини Елизаветы примирила его с его исконным государем, суровым маркизом Франческо\*\*. Он мог даже весной 1514 г. съездить в Мантую.

Все у него ладилось. С Новилларою должна была прийти обеспеченность, карьера складывалась прекрасно. Нужно было только, чтобы сбылись надежды на "золотой век", мирный, свободный от войн, целиком отданный наукам и искусствам. Может быть, они бы и сбылись, если бы у папы не было такой большой родни. Флоренция, вотчина Медичи, казалась им тесна. Папе хотелось устроить и брата Джулиано, и племянника Лоренцо, и сына Джулиано маленького Ипполито, и сына Лоренцо полунегритенка Алессандро. Устроен был только один кардинал Джулио, двоюродный брат Льва и Джулиано. Остальным нужны были должности и больше — престолы. Постепенно в голове папы сложилась мысль о лишении герцога Урбинского его владений и о передаче их Лоренцо. Пока был жив Джулиано, этого сделать было нельзя: il Magnifico не давал в обиду старых друзей. К тому же папа не знал, как посмотрит на эту затею император. От этой заботы его скоро освободило Мариньяно. Победа Франциско вынудила папу изменить свою политическую ориентацию. Свидание в Болонье в 1515 году уладило все вопросы. Папа уступил Парму и Пьяченцу, но обеспечил себе свободное распоряжение Урбино\*\*\*.

Франциск, на которого действовали со всех сторон, просил папу за Франческо Мария, но Лев был непреклонен. Он в Риме устоял против коленопреклоненных просьб герцогини Елизаветы, которой Медичи так много были обязаны и которая нарочно приехала в Рим ходатайствовать за племянника\*\*\*\*. Устоял и против дипломатических ухищрений Кастильоне. И как на беду, Джулиано, давно больной, умер в 1516 г. Урбино лишился последнего защитника.

---

\* См. характеристику этих годов у Gregorovius. *Gesch. d. Stadt Rom im Mittelalter*, VIII, 270 и след.

\*\* Он стал склонять маркиза к прощению сейчас же после того, как ему сделалось ясно, что Франческо гневается серьезно. Уже перед отъездом в Англию он написал ему письмо, полное достоинства, где предостерегал его от клеветников. Оно напечатано у Luzio-Renier, *Mantova e Urbino*, с. 177.

\*\*\* Кастильоне проездом через Болонью был принят Франциском и просил его подействовать на папу в вопросе об Урбино. Из этого ничего не вышло, но граф Бальдессар и на французского короля произвел чарующее впечатление. Франциск просил его скорее закончить Cortegiano, который еще не был отделан. "Король-рыцарь и рыцарь-писатель, казалось, были рождены, чтобы понимать друг друга, оба электики с гибкими интересами, оба с умом если не глубоким, то изысканным" (Flamini, *Cinquecento*, 370).

\*\*\*\* Ugolini, II, 200 и след.

Лоренцо с войском пришел в Урбино, и герцог с обеими герцогинями должны были бежать.

Служить в Урбино стало некому, как это ни было горько Кастильоне. Он перешел на службу к маркизу Франческо в качестве мантуанского посла при курии.

Миссия Кастильоне в Риме была нелегка. Лев X очень косо глядел на то, что Гонзага укывают при своем дворе обеих изгнанных герцогинь Урбинских и временами самого дельла Ровере. Послу постоянно нужно было быть настороже. А когда в марте 1519 года умер старый маркиз Франческо и его место заступил Федерико, человек с большими честолюбивыми замыслами, задача стала еще труднее. Сначала дело шло все о тех же интересах Гонзага и Ровере да еще о каких-то финансовых расчетах между курией и Мантуей \*. С ними Кастильоне справлялся с обычным своим искусством, хотя ему и не удалось убедить папу вернуть Урбино его прежнему герцогу после смерти Лоренцо Медичи.

Федерико добивался назначения главнокомандующим папскими военными силами. Это была большая честь, и в соперниках недостатка не было. Кастильоне повел дело так, что уже в июле 1521 года назначение состоялось. Маркиз ликовал и осыпал искусного посла выражениями восторженной признательности. И чем больше доказывал свое искусство Кастильоне, тем более трудные задачи на него возлагались. Изабелле пришла фантазия облачить второго сына, Эрколе, в красную мантию, и Кастильоне приказывали хлопотать. Напрасно он уверял беспокойную маркизу, что задача почти невыполнима, потому что уже есть один кардинал Гонзага, Сиджисмондо, брат покойного Франческо. Изабелла настаивала, и Кастильоне уже почти склонил папу Льва к решению дать пурпур юному Эрколе, но папа умер, и хлопоты его должны были принять другое направление.

Открылся конклав. В Мантуе теперь хотели, чтобы уже имеющийся в наличности кардинал Гонзага, Сиджисмондо, был избран папой, и Кастильоне опять весь в хлопотах.

Но у Сиджисмондо много противников. Испанское золото работало за кардинала Тортозского, учителя Карла V, партия Медичи имела за собой поддержку банкиров во главе с Агостино Киджи и, что было еще важнее, самого маэстро Пасквино, от имени которого говорил Аретино, громивший и позоривший всех остальных\*\*. Сиджисмондо не прошел. Папой сделался кандидат Испании под именем Адриана VI.

При первом известии о смерти Льва X Франческо Мария, наскоро собрав войско, двинулся на Урбино и без всякого труда

---

\* Luzio-Renier, op. cit. 242.

\*\* На долю Сиджисмондо в пасквинатах поочередно доставались эпитеты *babbione, coglione, Gomogga*, которые клеймили очень известные, по-видимому, наклонности почтенного прелата. См. V. Rossi, *Pasquinate di Pietro Aretino*, с. 19 и *passim*. О роли Аретино в конклаве 1521 г. см. ниже статью об Аретино.

водворился в нем снова. Город встретил его с радостью, а на долю Кастильоне выпал труд закрепить переговорами с папою создавшееся положение вещей. Он справился и тут блистательно. Но он уже устал, вынужденный без конца сидеть в Риме, где тоска, жара, чума. Изабелла сжалась над ним и вызвала его к себе, чтобы он сопроводил ее в Падую, куда она собиралась на поклонение мощам св. Антония. Это было в марте 1523 года, а в ноябре умер Адриан VI, и папою был избран кардинал Медичи.

Кастильоне снова был отправлен в Рим. Нужно добиться у нового папы, принявшего имя Климента VII, чтобы он утвердил за маркизом должность главнокомандующего. Климент не только дал свое согласие. Во время переговоров Кастильоне произвел на папу такое впечатление, что он решил поручить ему трудные и очень запутанные переговоры курии с Карлом V. Маркиз, к которому папа обратился с просьбой уступить ему на некоторое время своего искусного дипломата, не мог ему в этом отказать, и Кастильоне, закончив свои мантуанские дела, поступил в распоряжение папы.

Последние услуги, оказанные им мантуанскому двору, не носили политического характера. То были прежде всего частные поручения Изабеллы. Уезжая из Рима в Мантую, он вез с собой любимого ученика Рафаэля, Джулио Романо\*, и рисунок Микеланджело. В Мантуе он прожил недолго и в декабре 1524 года уехал в Испанию. Времени терять было нельзя, потому что Климент с искусством, достойным применения, в короткое время безнадежно запутал нити своей политики.

Начиная с Льва X, папская дипломатия была дружественна Испании и враждебна Франции. Еще в 1512 г., до вступления на престол Льва, тогда еще просто кардинала Джованни Медичи, испанцы по его просьбе помогли сторонникам Медичи (palleschi) сокрушить основанную при Савонароле флорентийскую республику. Лев, сделавшийся папой в следующем году, был тем более предан союзу с Испанией, что без ее помощи не мог осуществить своих широких планов по одарению итальянскими престолами различных представителей семьи Медичи. Мариньяно изменило, как мы знаем, эту ориентацию, но не надолго. Ошибки Франсиска вернули курию к старым политическим привязанностям. Адриан VI, учитель и друг Карла V, естественно, был преданным его союзником. Климент тоже прошел как кандидат Испании, и была уверенность, что политика св. престола не потерпит изменения. Но осенью 1524 года императорская армия была разбита и рассеяна после неудачной осады Марселя, у Карла почти не осталось войска в Италии, а король Франции двинулся через Альпы, вновь заключив союз с Венецией. Тогда Климент

---

\* Как раз перед этим Джулио выпустил свои непристойные рисунки, которые гравировал знаменитый Маркантонио Раймонди и к которым Аретино написал союеты. Ему было не вредно проехаться из Рима.



благословил Франциска и отдал под его покровительство Флоренцию и Рим.

Но подошла свежая испанская армия. Франциск был разбит под Павией и попал в плен. Это было 24 февраля 1525 года. В начале марта папский посол граф Кастильоне приехал в Мадрид.

Папа сам сделал миссию своего посла не только трудной, но невозможной. Когда после победы своих генералов под Павией Карл V сделался вершителем судеб Италии, Климент пришел в ужас. Могущество императора угрожало теперь не только Флоренции, где его родственники хозяйничали уже двенадцать лет, но и самой Церковной области. И Климент стал готовить новую "Священную Лигу" против императора. Но он имел неосторожность завязать переговоры с маркизом Пескьера, природным испанцем. Тот, разумеется, выдал план лиги Карлу, и Карл двинул на церковные владения свою армию, во главе которой стояли коннетабль Бурбон и немец Фрундсберг. У папы почти не было войска. Маленький отряд гениального предводителя "черных отрядов", Джованни Медичи, был уничтожен в декабре 1526 г. Императорские войска без всякого сопротивления дошли потом до Болоньи и осадили ее. Климент стал торопить Кастильоне. И хотя трудно было действовать после столь явных доказательств вероломства папы, Кастильоне добился подписания договора о прекращении военных действий. Но условия оказались Клименту унижительными. Под влиянием французской партии папа разорвал договор и снова стал искать сближения с Францией. Движения Бурбона, однако, напугали его опять, и Кастильоне заключил 15 марта 1527 г. новый договор, по которому папа должен был распустить Лигу, а император — отозвать армию Бурбона и Фрундсберга. Но было поздно. Армия не повиновалась уже императору и увлекла с собой Бурбона. Вечный город был взят и разгромлен. Бурбон при этом погиб, а папа заперся в крепком замке св. Ангела.

Климент был склонен считать Кастильоне виновником этого несчастья, наложившего позор на его понтификат. Но виноват в нем был прежде всего сам папа. Кастильоне делал, что мог, и, несомненно, при сколько-нибудь благоприятных обстоятельствах сумел бы добиться от Карла больше, чем кто-нибудь. Подозрительный и недоверчивый император сразу разглядел в нем прямую натуру и стал дарить его своим расположением. Он возил его по всей Испании, когда двор переселялся из города в город. Он натурализовал его и дал ему епископство Авилы, приносящее огромный доход. Он так ему доверял, что, когда ему пришлось послать вызов Франциску I, Кастильоне был назначен секундантом. Это, впрочем, не мешало ему обманывать его самым ничинным образом как папского дипломата.

Кастильоне очень смущало дружелюбное отношение императора. Он боялся, и, как оказалось, не без оснований, что его враги по-своему растолкуют Клименту это странное совпадение: с одной стороны, разгром Рима, которому император не мешал,

а с другой — то, что его собственный посол натурализуется испанцем и получает богатую пребенду из рук императора. Опасаясь худших подозрений со стороны папы, он отказался принять епископство Авилы до тех пор, пока папа и император не примирятся окончательно. Этого окончательного примирения, которое произошло в Болонье, на свидании, длившемся с конца 1529 по начало 1530 года, Кастильоне так и не дождался. Он принял еще участие в выработке Барселонского договора, но в начале 1529 года умер, измученный слухами о неудовольствии Климента. Умер он в Толедо, так и не увидав еще раз Италии и тех, кого любил. Мать велела привезти его тело и похоронила в церкви миноритов под Мантуей. Джулио Романо соорудил ему гробницу, а Бембо сочинил пышную эпитафию.

## VI

Кастильоне отличался тем, что его все любили. Долгая карьера приводила его в соприкосновение с разными людьми, и всюду неизменно вокруг него образовывалась группа друзей и покровителей. В Милане, в Мантуе, в Урбино, в Риме, в Испании он сразу почти становился в положение одного из самых приближенных людей. Государи переманивали его один у другого и награждали всячески даже тогда, когда он отстаивал интересы, им противные. У него не было врагов. Гнев маркиза Франческо был вызван ревностью, то есть обманутой привязанностью. Объяснялось это одинаково и врожденной привлекательностью, и огромным жизненным тактом.

Портреты Рафаэля — один, более знаменитый, который висел в Лувре на месте Джоконды, пока она пропадала, другой — на "Афинской школе", в правом углу, в одной группе с Содомой и самим художником — чудесно передают душевное свойство Кастильоне. Один из новейших биографов Кастильоне говорит о луврском портрете: "Перед нами спокойный, добрый, благородный человек, который коренным образом не похож на характерные типы Ренессанса, известные нам по стольким изображениям. Энергия, которая так и брызжет из его современников, хитрость и коварство во взоре у него отсутствуют. Это — личность с гениальными задатками, а замкнутый в себе и высококультурный человек"\*.

Тоньше и глубже толкует тот же портрет художественный критик Робер де ла Сизеран: "Душа размеренная, благожелательная и верная; ясная чувствительность; меланхоличность, свойственная существам чересчур добрым, которых несправедливость бесконечно изумляет; возвышенность без суровости и мистицизма; воля без напряженности"\*\*. Это именно те

\* Chledowsky, Rom, Menschen d. Renaissance, I, 445.

\*\* Robert de la Sizeranne, Les masques et les visages à Florence et au Louvre, с. 209.

свойства, которые создают личную привлекательность. В таких людях нет ничего, что задевало бы окружающих: ни открытого, буйного, наступательного эгоизма, ни злой насмешливости, ни духа интриги. А Кастильоне, кроме того, обладал большим тактом, который заставляет выступать все его располагающие свойства еще резче. Он умел заставлять не только любить себя, но и доверять, а в то время, когда вероломство и измена представляли нечто очень обыкновенное, человек, которому можно было доверять, имел особенную ценность.

И потом, в нем привлекало то, что он был удивительно спокойным человеком. Остыла в нем горячая кровь кондотьеров, его предков. Уравновешенность, отсутствие темперамента были самыми выпуклыми особенностями его характера. А что может быть приятнее для друзей и особенно для начальства! Такой человек вообще бывает немного скучен, но Кастильоне выручала образованность, большой художественный вкус, огромный пластический талант, изящество. Зато, если друзья проделывали по отношению у нему вещи не совсем красивые, он не очень на них претендовал. Интриги одного из ближайших приятелей, Библиены, испортили Кастильоне план женитьбы на Клариче Медичи. Он это знает \*, но отношения между ними не портятся. Франческо Мария, вернувшись в Урбино после узурпации Медичи, не вернул ему Новиллары. Кастильоне тонко выяснил некоторые частные вопросы и продолжал относиться к герцогу по-старому\*\*. Стоит себе представить, что бы натворил на его месте Аретино.

Спокойная душа Кастильоне не знала бурных порывов: порывов высокого идеализма, порывов негодования, порывов любви. Ему незнакомы сильные, всепоглощающие чувства. У него было много привязанностей, но не было ни одной, которая выросла бы в его душу и сделалась ее неотъемлемой частью. Ни одной женщины он не любил так, как любят люди, глубоко чувствующие. Многие из сверстников думали, что он любил герцогиню Елизавету, но он ни разу не обнаружил этого прямо, так, как это делали, например, Бернардо Аккольти или Бембо, у которых не было ничего серьезного\*\*\*. У Кастильоне чувство было сильнее\*\*\*\*. Но все кончилось одной поэзией. Отношение его к мадонне Рафаэле и к другим дамам, с которыми он был близок, носили очень поверхностный характер\*\*\*\*\* и никогда не задевали его серьезно. Но лучше всего показывают, насколько глубоки могли быть его чувства и насколько его натура нуждалась в глубоких чувствах, история его женитьбы, а затем его отношение к жене.

Начать с того, что он был вечным женихом. Ему лет десять сватали разных невест, пока нашли подходящую. В их числе

---

\* Cartwright, I, 262.

\*\* Cartwright, II, 143 и след.

\*\*\* Luzio-Renier, 261.

\*\*\*\* Luzio-Renier, 177. Это особенно заметно по интимным признаниям латинского стихотворения De Elisabetta Gonzaga canente.

\*\*\*\*\* Cartwright, I, 360—362.

были такие блестящие, как Клариче Медичи, дочь Пьеро и племянница Льва X, о браке которой с Кастильоне старался его друг, Джулиано il Magnifico. Он на все беспрекословно соглашался, особенно когда невеста была богатая: финансовый вопрос играл для него важную роль\*. О его браке все хлопотали больше, чем он сам, — его мать, Изабелла д'Эсте, герцогиня Елизавета, Альда Боярда, Эмилия Пиа, Джулиано Медичи, Франческо Гонзага. Он всем позволял это делать, не очень огорчался, когда комбинация расстраивалась, и мало думал о том, чтобы самому найти себе жену по сердцу. Когда наконец в 1516 году — ему в это время было близко к сорока — юная и прекрасная Ипполита Торелли сделалась его женою, он сразу так привязался к ней, как будто любил ее давно. И эта девушка, которую он почти не знал до свадьбы, дала ему такое счастье, о котором он, пассивный и бестемпераментный, не смел мечтать. Она одна умела находить в его размеренной душе такие уголки, где была страсть, способная пробудиться. Но служба держала его подолгу вдали от жены, и он, по-видимому, искал утешения в мимолетных привязанностях\*\*, а чувство к Ипполите приходилось изливать в письмах. Там оно тонуло в изысканной гуманистической риторике.

Письма к нему жены\*\*\*, написанные на убогом северном диалекте, обнаруживающие вопиющую стилистическую беспомощность, дышат настоящим, всепоглощающим чувством. И так как сам он не находил в себе той же непосредственной, горячей ласки и не умел отыскать таких простых слов сокрушения по поводу разлуки, он обработал одно из писем Ипполиты в виде латинской элегии. Она очень красива, особенно то место, где жена, жалуясь на отсутствие мужа, утешается хоть тем, что смотрит на портрет его, рисованный Рафаэлем, разговаривает с ним, шутит, смеется и заставляет крошку сына узнавать отца.

*Sola tuos vultus referens, Rafaelis imago  
 Picta manu curas allevat usque meas.  
 Huis ego delicias facio, arrideoque, jocosque  
 Alloquor et, famquam reddere verba queat,  
 Assensu nutuque mihi saepe illa videtur  
 Dicere velle aliquid, et tua verba loqui.  
 Agnoscit balboque patrem puer ore salutat  
 Hoc solor longos decipioque dies.*

Лишь Рафаэля рукою написанный чудный портрет твой  
 Тешит порою меня, гонит заботы мои.  
 С ним я болтаю, шучу, развлекаюсь приятной игрою,  
 Он же, слыша меня, словно ответить готов.  
 Взглядом, кивком головы, порою мне кажется, хочет  
 Что-то сказать и твоим мне языком говорит.  
 Мальчик отца узнает и лепечет ласки портрету.  
 Так утешаю себя, коротая долгие дни.

\* Луизио-Реннер, 234.

\*\* Chledowsky, о. с. 465.

\*\*\* Много ее писем, неизвестных раньше, приводит Джулия Картрайт в приложениях ко II тому своей книги.

Кастильоне был бы плохим гуманистом, если бы не воспользовался такой чудесной темой; но она у него застыла, как горный ручеек в морозную ночь. Его современникам эта риторика казалась настоящим чувством, и Кастильоне слыл таким пылко любящим супругом, какие бывали разве только в древности. И когда несчастная женщина умерла после третьего ребенка, сама еще почти девочкой, всего девятнадцати лет от роду, окружающие не ее жалели, а его: что с ним будет при такой любви?

Кастильоне был в Риме в это время. Маркиз Федерико и его мать, боясь, чтобы потрясение не было чересчур остро, просили общего друга, Биббиену, бывшего давно уже кардиналом, подготовить его. Биббиена, не решаясь принять на себя ответственность, посоветовался с кардиналом Рангоне и его родственником, графом Аннибале Рангоне; они решили дать Кастильоне провести ночь в неведении и сообщили ему тяжелую весть только следующим утром. Конечно, Кастильоне был потрясен. Друзья поплакали с ним вместе. Но, читая милостивые письма маркиза и Изабеллы, которые тут же были ему вручены, он несколько успокоился. "Думаю, — писал Биббиена маркизу, — что горе его сидит больше внутри, чем проявляется наружу, хотя и проявляется сильно. Ведомо всем, что он любил свою подругу по-настоящему (*da vero*), и я не знаю, как уйдет от него память о ней"\*.

Доброму кардиналу, который обожал всякую романтику в жизни и в литературе, хотелось, чтобы это было так. Он ошибся. Память о жене не "ушла", конечно. Сейчас же после ее смерти Кастильоне составил две очень красивые латинские эпитафии и написал много писем с очень красивыми жалобами. Но его горе ничему не мешало. И если так легко перенес Кастильоне этот удар, то смерть друзей, даже таких, как Чезаре Гонзага, Рафаэль, Биббиена, которых он нежно любил, особенно Рафаэля, проходила еще более спокойно. У графа Бальдессара была удивительно счастливая натура: горе не держалось в ней долго, потому что ему чужды были глубокие чувства и порывы.

Эта внутренняя беспорывность, эта неспособность срастаться органически с тем или иным чувством приводили к тому, что в душе его с величайшей легкостью расцветали самые типичные цветы Возрождения. Среди биографов Кастильоне чрезвычайно твердо держится взгляд на него как на человека безукоризненно чистого. Вот что пишет один из этих биографов\*\*:

"Когда среди фигур, рыскавших в то время по свету, мы встречаем человека, который в охоте за счастьем не замарал руки кровью противника, то это бывает лишь в виде исключения. К таким исключениям принадлежит Кастильоне. Он чист от крови, хотя и принадлежит к роду кондотьеров, для которых жизнь доброго коня была дороже человеческой жизни". Автор этих строк не одинок в своем мнении. Английский биограф Кастильоне тоже очень

\* Luzio—Renier, 245—246.

\*\* Chledowsky, Rom. Die Menschen der Renaissance, т. I, 446 (1912).

хвалит его за то, что он не совершал ни вероломства, ни преступлений, и уверяет, что это было редким явлением в то время\*. Посмотрим, что говорят факты.

За очень немногими исключениями люди Чинквеченто были "к добру и злу постыдно равнодушны". Оставались немногие идеалисты, вроде Макиавелли или Микеланджело, но их идеализм неизбежно становился идеализмом отчаяния и переходил в пессимизм. Огромное большинство жило исключительно для себя, и трезвый эгоизм становился универсальным правилом жизни. Таков был и изящный Кастильоне. В нем совершенно не было, например, могучего патриотизма Макиавелли. Правда, он жалуется и в Cortegiano, что Италия гибнет: "Нет нации, которая не сделала бы из нее своей добычи, и хоть осталось уж немного, они не перестают рвать ее друг у друга из рук". Или: "При всем блеске образованности итальянцы обнаружили мало военной доблести за последнее время". Или ему кажется "предвестием порабощения" то, что итальянцы перенимают в костюмах испанскую моду. Но он нигде не останавливается на этом. Сюжет его не интересует. "Я не хочу говорить о тяжелых вещах". И продолжает служить то тому, то другому тирану, которые больше всего содействовали гибели Италии. Макиавелли приветствовал Цезаря Борджа, который этих тиранов искоренял. Это был единственный правильный вывод из настоящего, не риторического итальянского патриотизма. Кастильоне им служил. Но он делал и нечто худшее — восхвалял их. И восторженная преданность государю, которому он служил, способна была коренным образом менять его настроения.

Как обстоит дело с его религиозными чувствами? Он с самого начала не был похож в этом отношении ни на своих великих современников, Макиавелли и Гвиччардини, которые были совершенно индифферентны к религиозным вопросам, ни на Эмилио Пиа, которая дерзнула отклонить перед смертью причастие, ни даже на Изабеллу д'Эсте, которая внутренне к религии была равнодушна. Кастильоне был религиозен. Как хороший католик, он давал обеты Мадонне Лоретской и не очень откладывал их исполнение\*\*. Он очень не любил реформаторов, и особенно Лютера\*\*\*. Но вера не коренилась глубоко в его душе. Она была внешняя. Пока он не стал папским дипломатом, в нем не было заметно никакой горячности в вопросах религии. Гуманистические традиции делали свое дело. Но когда религиозные вопросы осложнились у него соображениями службы, все сделалось по-другому. Гуманист Кастильоне был поверхностно религиозный человек. Папский нунций Кастильоне стал воинствующим защитником церкви, хотя его вера не стала глубже. Это лучше всего видно на его отношении к взятию Рима в 1527 году и к его

\* Cartwright, I, предисл.

\*\* См. его письмо к матери из Валенсии, Серасси у Cartwright, I, 302.

\*\*\* Впрочем, Лютера не любили многие итальянцы и равнодушные к религии и церкви — по политическим причинам.

последствиям. Разгром Вечного города произвел на Кастильоне потрясающее впечатление. Он предчувствовал, что для него лично этот факт приведет если не к катастрофе, то к большим неприятностям. Он совершенно потерял голову, и эта растерянность ясно сказывается в письме к Виттории Колонна, где он говорит, что все потрясено настолько, что почти все, что казалось истинным, ложно и, что казалось ложным, истинно. Но у него не было настоящего религиозного пламени в груди, которое в такие времена подсказывает героические решения.

Он молчал. Люди смелые духом и религиозные по-настоящему, не имеющие причин смешивать религию с казеннокатолической ортодоксией, истолковали Sacco 1527 года как кару на церковь, на папство, уклонившиеся от своих религиозных задач. Одним из самых пламенных оппонентов папства выступил молодой испанский гуманист Альфонсо Вальдес, секретарь Карла V. Он опубликовал жесточайший памфлет против Климента\*, в котором не щадил ни папу, ни кардиналов — никого. Кастильоне, по своему положению представителя папы в Испании, должен был выступить против Вальдеса. Это было естественно. Но вот какими словами он закончил свою длинную отповедь. Их стоит привести целиком: "Папа и император, быть может, будут милостивы к вам и простят оскорбления, которые вы им нанесли. Но ни тот ни другой не могут забыть поношений, которым вы подвергли Христа и его религию. Народ восстанет, чтобы выбросить вас вон из Испании, и камни будут вопиять о том же. Ибо христианская нация ненавидит самое имя еретика. Идите в Германию, где ваш "Диалог" приготовил вам дорогу, где Лютер и его последователи будут вас приветствовать. Вы можете быть уверены, что инквизиторы, которых вы обзываете фарисеями, не остановятся перед вашей особой и что Христос, покровительство которого вы призываете, не протянет свою руку, чтобы спасти вас от меча правосудия и от кары, которую заслужило ваше упорство\*\*\*".

Это писал гуманист, поклонник Платона, друг Изабеллы, Елизаветы и Эмилии Пиа, проповедник рыцарского благородства. Он, конечно, хорошо понимал, что не шутка сделать такой донос инквизиции, да притом еще испанской. Но он сознательно губил человека, даже не останавливаясь перед клеветой (будто Вальдес оскорблял и императора), потому что тут он мог выслужиться. Папа гневался на него за то, что он не предупредил взятия Рима. Кастильоне походом против Вальдеса мог вернуть себе папскую милость. Что ему был Вальдес, когда дело шло о папской милости к нему самому\*\*\*\*. Близились времена контр-

\* "Dialogo en que particularmente se tratan las cosas acaezidas en Roma el anno de 1527".

\*\* Письмо приведено почти целиком у Cartwright, II, 401 и след.

\*\*\* К счастью, Карл, на которого напало какое-то непонятное просветление в этом случае, не только не дал в обиду молодого гуманиста, но даже не лишил его должности своего секретаря. Донос Кастильоне оказался безвредным.

реформации, когда люди будут делать блестящие дела на обнаружении еретиков. И как характерна для Кастильоне во всей этой некрасивой истории его пламенная преданность интересам своего государства и его особе. Моральные соображения молчат, когда дело идет о тех, кому он служит. Так у него всегда. А порою еще соображения выгоды заставляют его распространять свою преданность и на особ, которым он не служит непосредственно.

Лесть в XVI веке не считалась позорной. Нравственное чувство современного человека возмущается каждый раз, когда лучшие люди того времени начинают курить фимиам различным преступным типам, сидящим на престолах или около них. Кастильоне в этой толпе льстецов один из самых усердных. Если бы мы были знакомы с Франческо Мария только по сочинениям и письмам Кастильоне, мы бы считали его за идеал благородного властителя. Не говоря уже о прямых восхвалениях, которые рассыпаны в Cortegiano, мы там находим очень ловкие, как бы невзначай оброненные выпады против его врагов, особенно против несчастного кардинала Алидози, собственноручно зарезанного герцогом на улице. "Il cardinale di Pavia" — всегда выступает у Кастильоне либо как злодей, либо как комичная фигура\*. А холодное отношение к убийству Дж. Андреа делает Кастильоне почти соучастником этого позорного преступления. У него нет ни слова негодования для убийцы. Он спокоен, как всегда.

В письме к матери, в котором он дает ей распоряжения о сбруе и латах для лошадей, он делает приписку: "Были тут в герцогской семье неприятности из-за одного несчастного случая, но теперь все вошло в норму; синьор префект снова здесь, и нужно надеяться, что больше не будет уже никаких волнений". А когда мать стала спрашивать о подробностях, узнав об инциденте из других источников, он в следующем письме советовал ей не волноваться из-за того, "чего нельзя изменить". Для него главное, что "префект вернул себе расположение герцога", а "тот, кого нет, уже забыт"\*\*\*.

Ему невыгодно выражать осуждение юному бандиту, так хорошо подставившему ловушку человеку. Ведь герцог Гвидубальдо плох здоровьем, и не сегодня-завтра Prefettino станет государем Урбино! Быть может, еще откровеннее сказывается соображение эгоистической выгоды в отношениях Кастильоне к другому такому же типу, кардиналу Ипполито д'Эсте. Панегирик ему, находящийся на первых страницах "Cortegiano", не знали, как объяснить. Между тем стоит сопоставить его с одним давно уже опубликованным письмом (март 1508 года), где он жалуется матери, что не может уплатить долг кардиналу д'Эсте, составля-

\* Алидози был несомненно большим тираном, особенно во время управления Боловней, но таких, как он, было множество, а Кастильоне другими либо не занимается, либо их восхваляет, как Ипполито д'Эсте или Сиджисмондо Гонзага.

\*\* Cartwright, I, 227—228.



ющий 150 дукатов, — и все будет ясно. "Долг кардиналу, — пишет он, — угнетает меня выше меры по тысяче причин, особенно же потому, что я во что бы то ни стало хочу удержать его дружбу, которая, как вы знаете, чрезвычайно ценна для меня"\*.

Восхваление, очевидно, идет как процент на занятые деньги.

И еще один панегирик: герцогине Леоноре Гонзага, жене Франческо Мария и дочери Изабеллы д'Эсте, кажется теперь совершенно непонятным. Прекрасная модель Тициана\*\* не обладала ни умом, ни высокой культурностью своей матери и была сухая, бессердечная ханжа — очень обыкновенный тип приближающейся католической реакции\*\*\*. Кастильоне представляет ее образцом всех совершенств.

Он не считает ни недостатков, ни пороков этих людей и людей им подобных чем-нибудь таким, что могло бы отнять у них право не только пользоваться службой лучших людей, но и требовать от них уважения. Это не только потому, что ему так выгодно, но и потому еще, что сам он плоть от плоти и кровь от крови того общества, которое такие типы порождало. Кастильоне — гуманист по образованию, вельможа по рождению. Он преисполнен аристократизмом, не похожим на аристократизм гуманистов XV века. У тех это — демонстрация умственного превосходства над "толпой", отлично уживающаяся с ненавистью к дворянству и лишь бессознательно подсказываемая интересом. У Кастильоне аристократизм — классовый. Его предки были войны, кондотьеры, придворные и феодальные владельцы. Он не мог вырасти человеком, настроенным демократически. Идеальный аристократизм в нем стоит особо, и оба чувства сливаются в нечто цельное и своеобразное. Кастильоне не интеллигент, оторвавшийся от своего социального корня, как большинство гуманистов. Он — помещик. Он живет главным образом доходами со своего поместья в Казатико. Его переписка с матерью почти сплошь построена на одном мотиве: нельзя ли прислать ему то или другое количество дукатов.

Мать подробно посвящает его во все скучные и однообразные детали управления. Он постоянно получает от нее жалобы на крестьян, которые почему-либо не вносят повинностей, постоянно должен выслушивать сокрушения, что трудно при существующих условиях сводить концы с концами. Все это обостряет в нем классовые чувства, привязывает к тем, от кого зависит увеличить его землевладельческий доход. Когда после женитьбы, потеряв только что полученную Новиллару, он поселяется в Казатико и пробует сам заняться управлением своего поместья, у него от

\* Серасси, цит. у Cartwright, 253—254.

\*\* Ее портрет в зрелом возрасте с холодными круглыми глазами и злыми, поджатыми, тонкими губами — шедевр реалистического гения Тициана — находится в Уффици. Очень идеализированной она изображена им на картине, известной под названием "La Bella" в Питти и в знаменитой Венере с собачкой в Трибуне в Уффици.

\*\*\* Luzio-Renier, Mantova e Urbino, 190.

непрерывных столкновений с крестьянами и дразг с соседями еще больше накапливается горечи. Нужно следить за сбором винограда, за сбором хлеба; нужно вовремя узнавать цены на хлеб на мантуанском рынке и не потерять удобного момента для сбыта урожая. Все это утомляет и расстраивает нервы\*, и Кастильоне по первому зову герцога возвращается к дипломатической карьере. Но помещичьи, дворянские интересы он таскает с собою всюду. И пропитывает ими свою книгу.

До сих пор не обращалось внимания на чрезвычайно любопытные в этом отношении страницы в начале "Cortegiano", где идет полемика по вопросу о знатности между графом Лодовико Каносса и Гаспаро Паллавичино. Эта полемика переносит нас непосредственно в атмосферу общественных настроений раннего Чинквеченто, когда чувствовалось уже приближение феодальной реакции. Кроме того, она чрезвычайно ярко и по-новому рисует облик самого Кастильоне\*\*.

Граф Лодовико, который — как всегда в "Cortegiano" очередной оратор — выражает мнение Кастильоне, требовал, если помнит читатель, чтобы придворный был непременно дворянином. Для Кастильоне эта мысль представляется, очевидно, чрезвычайно существенной, и он заставляет оратора, ее высказавшего, подробно на ней остановиться. И тогда из-за этой мысли выдвигается другая, более общая, — восхваление дворянства. "Если человек незнатного происхождения отклоняется от стези доблести, его упрекают в этом гораздо меньше, чем если это случится с благородным. Если знатный покидает путь своих предков, он этим пятнает свое родовое имя и не только ничего не приобретает, но еще теряет приобретенное. Ибо знатность — как некий яркий светоч, который обнаруживает и заставляет видеть дела хорошие и дурные, зажигает и поощряет к доблести: одинаково боязнью бесславия и надеждою на хвалу... Почти всегда мы наблюдаем, что в делах военных и в других доблестных занятиях наиболее выдающимися бывают дворяне, ибо природа во всем заложила таинственное семя, которое дает известную силу, сообщает всему, что идет от него, свои исконные свойства и делает его подобным себе. Это мы наблюдаем не только на лошадях и на других животных, но и на деревьях, где ветви почти всегда подобны стволу".

Оппозиция в лице Гаспаро пробует возражать против этой сентенции, указывая, что люди самого благородного происхождения бывают иногда преисполнены пороков, а, наоборот, многие незнатные прославляют себя и свое потомство доблестью. "И, — ядовито замечает Гаспаро, — если верно то, что вы говорите о таинственной силе первого семени, то мы все в совершенно одинаковом положении, потому что все произошли от одного предка, и я не вижу, почему один должен быть более

\* Cartwright, II, 15 и след.

\*\* Libro del Cortegiano, 37 и след.

знатным, чем другой". Прямого опровержения Гаспаро не получает, но на основной мысли граф Лодовико настаивает. Он говорит, что, раз решено сделать придворного человеком лишенным недостатков и одаренным всеми достоинствами, необходимо, чтобы он был знатного рода. "По многим причинам, — прибавляет он, — между прочим, и по тому представлению о дворянстве, которое имеет общее распространение. Перед вами, например, два придворных, которые не успели проявить себя ничем — ни хорошим, ни дурным. Как только вы узнаете, что один из них дворянин, а другой нет, сейчас же первого вы будете ценить выше, чем второго". И долго еще идут рассуждения на эту тему, чтобы рассеять скептические замечания Гаспаро Паллавичино. Для Кастильоне эти мысли отнюдь не являются чисто литературным мнением, как многие другие. Это говорит человек, кровно заинтересованный.

Гуманисты XV века в своих трактатах о знатности всегда протестовали против сословных неравенств. Дальше этого, правда, не шло: о социальных неравенствах они не говорили и на них не покушались. Но борьба с сословными неравенствами проводилась последовательно. Это было одним из гуманистических догматов. Гуманисты XV века проникнуты идеологией буржуазии, которая еще не забыла о своей борьбе с дворянством в городах и о времени, когда существовал закон, делавший попола дворянином или сверхдворянином (*grande* и *sopragrande*) за преступления. В XIV веке и даже в первые десятилетия XV века в Тоскане и частью в Ломбардии и Умбрии дворянство означало лишение прав. Когда тирании укрепились повсюду, дворянство перестало быть наказанием. Честью и привилегией оно стало вновь только в эпоху феодальной реакции. В то время, когда Кастильоне, захлебываясь, говорил о том, что знатность — лучшее украшение человека, Аретино — и не он один — издевался над знатностью\*. Но придет время, и оно недалеко, когда никто не посмеет поднять на смех дворянина, ибо наступит разгар феодальной реакции, которая возьмет дворянство под свою защиту. Аретино, который умер на двадцать пять лет позднее Кастильоне, сидя в Венеции, ничего не боялся и дерзал издеваться. Кастильоне в двадцатых годах остро и с упоением предчувствовал новые веяния. Разница понятна. Аретино был интеллигент-разночинец и жил от своего пера. Кастильоне был интеллигент-помещик и жил от своего имения.

То, что в уста Гаспаро Паллавичино было вложено несколько фраз, не согласных с той апологией дворянства, с какой граф Лодовико Каносса начал свой портрет придворного, показывает, что в Кастильоне гуманист еще борется с помещиком и что феодальная реакция только приближается, но еще не пришла. Ибо в атмосфере феодальной реакции в придворном обществе не могло бы быть противников точки зрения графа Лодовико.

---

\* См. ниже статью об Аретино.

Но классовая природа самого Кастильоне в этих тирадах сказалась чрезвычайно ярко. И не в одних только пышных фразах Cortegiano, но и во многом другом. Не только в словах, но и в делах.

К людям низших классов его отношение очень определенное. Вообще они его не интересуют. Он к ним равнодушен. Он их не замечает. Если ему придется формулировать свой взгляд на них, он не станет его скрывать. Это пренебрежение, доходящее до ненависти. Cortegiano сохранил следы этого настроения. Федерико Фрегозо говорит о том, что придворный может и должен принимать участие в публичных празднествах, и прибавляет: "Но он должен обращать внимание, в чьем присутствии и вместе с кем он показывается публично. Ибо не приличествует, чтобы дворянин украсил своей особой деревенский праздник, где зрители и его партнеры — люди низкого происхождения". Гаспаро Паллавичино не видит в этом ничего дурного. "У нас в Ломбардии, — говорит он, — нет таких предрассудков: многие молодые дворяне на празднествах под открытым небом целый день танцуют с крестьянами, играют с ними в игры, состязаются в метании, в борьбе, в беге, в прыганье". Мессер Федерико холодно отвечает: "Эти ваши танцы под открытым небом не нравятся мне совершенно, и я не понимаю, какая в них польза; что же касается того, кто хочет состязаться с крестьянами, то он должен быть уверен в победе; иначе пусть не суется. Ибо вещь безобразная и недостойная — видеть, что мужик победил дворянина"\*.

И беда, если люди низших классов становятся Кастильоне на дороге. Тогда он делается свирепо-безжалостным, несмотря на всю утонченность и изящество. Однажды, будучи посланником маркиза Мантуанского в Риме, он пустил на скачках лошадь, принадлежавшую его государю. Она обошла свою соперницу на очень много, но когда паж, скакавший на ней, готов был схватить *raio*\*\* между ним и материей очутился стрелок из числа тех, которые наблюдали за порядком. Паж не мог дотянуться, и, пока солдат отходил, подоспел его соперник и сорвал *raio*. Рассказывая об этом в письме к герцогу, Кастильоне говорит: "После долгих споров стрелок был брошен в тюрьму и как сенатор, так и губернатор обещали мне не выпускать его до тех пор, пока мы не получим совершенно такого же *raio*. Я сверх того потребовал, чтобы он был повешен или отправлен на галеры или чтобы, по крайней мере, ему дали четыре или пять оборотов веревки"\*\*\*.

Человек, который требует казни или мучительного наказания за такой вздор, который не только не стыдится признаваться в этом, но даже ставит себе это в заслугу, должен обладать совершенно особенной психологией. Услужить своему государю

\* II Cortegiano, с. 94.

\*\* Кусок материи, выставленный у того места, где кончается скачка. Пришедший первым должен сорвать его.

\*\*\* Cartwright, II, 102—103.

хотя бы в пустяке — вот единственная забота, достойная хорошего слуги. Если при этом должен погибнуть какой-то маленький человек, вся вина которого в том, что он оказался недостаточно проворен или просто зазевался, тем хуже для него. Жизнь какого-то солдата — разве стоит о ней разговаривать!

Так рассуждает дворянин, которого долгая служба при дворах государей заставила забыть о городских схватках доброго старого времени. Когда горожане принуждали предков высокомерного вельможи XVI века покидать свои замки и переселяться в город, где он должен был ладить с последним ремесленным подмастерьем, где нередко даже чернорабочий, чомпо, мог оказывать влияние на ход дел, дворяне так не разговаривали. Теперь тирания положила конец восстаниям низов и уравнила всех в политических правах. Теперь стала проводиться резкая социальная грань и в городе и в селе. Дворянство уже предчувствует феодальную реакцию.

В этом огромный, быть может, главный культурно-исторический интерес фигуры Кастильоне. Большинство гуманистов вышли из рядов буржуазии, а если и вышли из низов, то вступили в ряды буржуазии, и они чувствуют свою связь с нею. Когда наступит феодальная реакция, сопровождаемая реакцией католической, буржуазия придет в упадок и интеллигенция будет ощущать это очень остро. Дворянство одно выиграет от перемен. Оттого дворянство теперь не находило в себе силы поднимать голос против иноземного владычества; оттого оно не боролось против местных тиранов, приветствовавших испанскую неволю: ведь испанцы укрепляли начала абсолютизма.

Кастильоне бессознательный, но яркий представитель этой полосы.

Когда мы уяснили это, нам нетрудно будет понять и то, что до сих пор оставалось для нас непонятно в Cortegiano.

## VII

Как дворянин, преданный принципу абсолютизма, предчувствующий пышный рост абсолютизма, служащий его представителям, Кастильоне вполне последовательно делает своего совершенного человека придворным и дворянином.

Вот почему, когда гуманист Кастильоне, то есть человек, преисполненный по старой традиции преклонения перед личным началом, ищет той среды, где легче всего может воплотиться идеал человека, он останавливается на дворе.

Это вполне естественно и логично. Кастильоне, разумеется, знает все то, что знают Аретино и Ариосто насчет различных несовершенств придворной жизни. В Cortegiano этот вопрос обсуждается, хотя и не в дебатах действующих лиц — там скептические мысли о придворной жизни вносили бы диссонанс, — а в одном из вступлений автора. "Говорят, — пишет Касти-

льоне\*, — что теперь... не только между придворными утратилась братская любовь и старая достойная жизнь (*quel viver costumato*), но что при дворах только и царят зависть, зложелательство, дурные нравы, распушенность, пороки всякого рода, разнузданные, утратившие стыд женщины, женоподобные мужчины". Но его не пугают разговоры скептиков. Длинными рассуждениями на ту тему, что дурное только делает более ярким хорошее, да ссылками на Платона, больше говорящими о его начитанности, чем убедительными, он старается показать, что теперь дело обстоит не хуже, чем раньше. Софистика его рассуждений бросается в глаза, но ведь ему нужно как-нибудь формально устоять на своей позиции. Этого требует его основное настроение. Кастильоне прежде всего вельможа. Он не рисует портрета идеального придворного, но он делает больше. Он рисует идеального человека и этого идеального человека делает непременно придворным и дворянином.

Нет ничего удивительного, что, при вопиющем противоречии его теории с фактами, ему трудно справиться со своей задачей. Жизнь не дает материала. Он черпает его из литературы. Ему помогает его гуманистическая образованность.

Как гуманист, он писал своего Cortegiano. Его "придворный" — идеал совершенного человека, задуманный вельможей и осуществленный в значительной мере средствами ученого. Книга пестрит ссылками на классиков. Плутарх, Цицерон, Аристотель, Платон, Гораций, Овидий, Катулл — кого только не обобрал Кастильоне, чтобы сделать своего "придворного" совершенным человеком. Больше всего дал ему Цицерон. Трактат римского писателя "De oratore", в котором тот тоже набрасывает идеал человека, гораздо более широкий, чем его нужно или можно было бы требовать от оратора, послужил для Кастильоне богатым источником идей\*\*. Рассуждения о формах правления рабски скопированы у Аристотеля со всеми деталями; рассуждения о воспитании государя и об его свойствах — большей частью у Плутарха. Тут даже незаметно, чтобы Кастильоне переработал по-своему то, что он взял у древних. Он брал то, что с точки зрения основной постановки его задачи ему казалось необходимо. Гораздо больше своего внес Кастильоне в заимствования из Платона. Вложенный в уста Бембо гимн идеальной любви хотя и имеет своим источником "Пир" Платона, но Кастильоне почувствовал то, что он говорит; тут мы имеем дело не с литературным упражнением, как в политических рассуждениях, а с собственными заветными мыслями писателя. Платоновские идеи были ближе ему, чем реалистические рассуждения Аристотеля.

\* II Cortegiano, с. 86

\*\* Параллельные места указаны в издании Cortegiano Витторио Чьяна (Cian), Флоренция, 1894. Ср. также Flamini, II Cinquecento, с. 371. Особенно подчеркивает зависимость Кастильоне от Цицерона и других классиков автор претенциозной, но мало дающей новой статьи Willi Andreas: Graf V. Castiglione und Renaissance в Archiv für Kulturgeschichte, т. X, с. 245 и след. (1912).

Их Кастильоне брал не просто потому, что они отвечали поставленной им цели, а потому, что в них звучали ноты, родные его душе. Платонизм в XVI веке давно уже перестал быть религией, и никто не украшал больше цветами алтарей, воздвигнутых в честь его, как это делал Марсилио Фичино. В полемике по общеплатоническим вопросам приверженцы Аристотеля уже одерживали верх по всей линии. Но Кастильоне, как и Бембо, держится за платонизм. Скучные души любят теоретический, не действенный и не обязывающий к действию идеализм.

Так, не смущаясь противоречиями с жизнью, щедро черпая в литературных образцах, Кастильоне набрасывает свой идеал человека. Современники в полном восторге от этого идеала. "Я не удивляюсь, — писала ему Виттория Колонна, — что вы изобразили совершенного придворного; вам стоило для этого поставить перед собой зеркало и взглядеться в свои внутренние и внешние качества". Знаменитой поэтессе вторил Ариосто. В "Furioso" есть полтора стиха:

C'e chi, qual lui  
Vedriamo, ha tant' i cortegian formati\*.

И разумеется, ни Виттория Колонна, ни феррарский поэт, ни другие современники не замечали одного: поскольку он говорит о внутренних достоинствах человека, речь у него идет почти исключительно об умственных качествах. Шестнадцатый век заботился только о них, только о *virtù* в чисто интеллектуальном смысле, которая великолепно сочетается с моральным убожеством. Был бы человек *virtuoso* — об остальном никто не заботится. Таков идеал Кастильоне. Таков он сам. Кастильоне не видел ничего позорного в фактах, которым он был свидетелем, и не протестовал против них. Кастильоне замалчивал и косвенно оправдывал худшие проявления вероломства, самые вопиющие преступления и умел обнаруживать холодную, чисто испанскую жестокость, когда это ему было нужно. Поэтому все то, что выходит за рамки обычного в Чинквеченто представления о *virtù*, в его книге — хотя в ней и Платон, и любовь, и многое другое — по-настоящему не затрагивается. Кастильоне — сын Чинквеченто. Но он стоит в его начале, когда закат Возрождения близится, но еще не наступил. Кастильоне — вовсе не счастливый выродок своей несчастной эпохи. Он один из ее типичных представителей. Различие между ним, с одной стороны, и Франческо Мария делла Ровере или Ипполито д'Эсте — с другой, то, что у него натура пассивная, а не активная, как у тех. Во взглядах на жизнь и людей они сходятся. Это — цветы, выросшие на одной почве, на почве приближающейся феодальной реакции.

---

\* Есть некто (каков он увидим), у кого много совершенных придворных. (Ред.).

Урбинский дворец, построенный для герцога Федерико его архитектором Лучиано де Лаурана, и сейчас стоит во всей своей гордой красе, венчая башнями окрестные возвышенности. И сейчас турист может из окон его любоваться видом и на убегающую вдаль цепь зеленых холмов, и на гору Катри, верхушка которой первая золотится лучами восхода. Внутри дворца посетителя охватывает то чувство, которое бывает только в Италии. Ему кажется, что он вдыхает в себя крепкий воздух Возрождения, блуждая по залам его, видя кругом столько следов прошлого. Пышные лоджии, широкие лестницы, длинные галереи, вереница античных мраморов... Вот смотритель открывает дверь, покрытую резными украшениями, и монотонным голосом провозглашает: "Комната герцогини Елизаветы".

Она не очень большая. По стенам развешаны шедевры Федерико Бароччи, замечательного художника второй половины XVI века, лишь недавно оцененного по достоинству. И хотя нигде нет его картин в таком количестве и такого исполнения, взор скользит по ним рассеянно.

Комната герцогини Елизаветы! Здесь собирались люди, которых изобразил Кастильоне. Здесь было возвышение, на котором стояло кресло герцогини. Здесь у ног ее сидела мадонна Эмилия. Здесь с нею постоянно пикировался юный Гаспаро Паллавичино, как Бенедикт с Беатриче у Шекспира. Здесь Маргарита Гонзага украдкой бросала нежные взгляды на Бериальдо, а Бембо ловил улыбку мадонны Ипполиты. Здесь ребенком резвился Рафаэль. Здесь играли, пели и даровитые люди на мелочи радостно расточали свои таланты.

Стоит немного задуматься в этой удивительной комнате, насыщенной воспоминаниями и образами былого, и уже начинает казаться, что все герои Cortegiano сидят тут при ярком свете свечей, с герцогиней в центре, с мадонной Эмилией у ее ног, все — и мужчины и дамы — в ярких, цветных и раззолоченных одеждах, за исключением двух клириков, Бембо и Библиены, одетых в темное. Они спорят и горячатся, а Кастильоне, сдержанный, внимательный, все примечает, чтобы передать потомству память об одном из интереснейших моментов итальянского Возрождения...

## Пьетро Аретино

### I

На одной из римских улиц издавна стоял античный обломок — безрукий торс. Изображал он, по всей вероятности, какого-нибудь бога, или героя, или мудреца. Никто не знал точно кого. Против него помещалась школа одного скромного учителя,



носившего скромное имя — maestro Pasquino\*. За неимением точного названия для статуи ее стали называть по имени учителя. В 1501 году кардинал Оливьеро Караффа велел снять статую и поставить ее на пьедестал у самого угла своего роскошного палаццо в Парионе\*\*. Место было видное и людное, пьедестал — широкий. Этого было достаточно, чтобы статуя Пасквино мало-помалу сделалась излюбленным местом приклеивания сатирических стихов: обычай, который был введен гуманистами еще в XV веке и широко практиковался в Риме. Так, за безобидным школьным учителем мало-помалу укрепилась репутация обличителя. В 1505 году установился ежегодный праздник нового святого, не предусмотренный католическим календарем, — 25 апреля. В этот день безрукий торс украшался всячески, а пьедестал его весь покрывался стихами. Но Пасквино не сделался еще народным типом, выразителем взглядов и суждений широких народных кругов Вечного города. Для этого нужно было, чтобы нашелся человек, способный заставить народ смотреть на вещи его глазами. Кроме того, нужно было, чтобы явился факт, способный обострить, довести до величайшего напряжения интерес народа к общественным делам. В конце 1521 года римские граждане получили и факт, и человека.

1 декабря умер папа Лев X, последний настоящий представитель Ренессанса на престоле св. Петра, сын Лоренцо Великолепного, унаследовавший от отца и любовь к наукам, и страсть к наслаждениям, понимавший искусство как редкий из соплеменников, державший при дворе монахов-шутов, обожавший охоту, готовый забыть интересы всего христианского мира за игрой в карты. Римляне по-своему очень любили своего блестящего государя и, конечно, не могли относиться безучастно к тому, кто будет его преемником. Был среди кардиналов один, имя которого, казалось, служило гарантией, что будет продолжаться режим Льва X. То был Джулио Медичи, сын брата Лоренцо, Джулиано, двоюродный брат Льва X. Из всех кандидатов в папы кардинал Медичи имел больше всего сторонников в римской народной массе.

Конклав между тем собрался и открыл свои избирательные совещания. Слухи, которые доходили до публики, были темные. Борьба шла ожесточенная. Золото лилось рекою, и банкирам было по горло дела. Все голоса доходили до конклава: императора и французского короля, Венеции и Неаполя, Мантуи и Феррары, святейшей инквизиции и римских банкиров. Только у народа не было пути в конклав, потому что у него не было золота. А народу необходимо было сказать и свое слово, по-своему оказать давление на кардиналов. Тогда именем народа

---

\* Таково более вероятное мнение. Его принимает Flamini (Il Cinquecento, 222—224). Другие думают, что исторический Пасквино был трактирщик или цирюльник.

\*\* Она и до сих пор стоит там на углу via Pasquino.

заговорил маэстро Пасквино. И как заговорил! Он не стеснялся формой и словом, пускал в ход и элегантнейший сарказм, и площадную насмешку, выставлял к позорному столбу всех кардиналов, которые были ему неудобны, перечислял ежедневно с возрастающей откровенностью все их пороки явные и тайные, издевался зло и беспощадно, поражал с несокрушимой силой. Сонеты, прикрепленные к Пасквино, немедленно разлетались по всему Риму, проникали всюду, декламировались в салонах, распевались на улицах на какой-нибудь популярный мотив, своими разоблачениями делали невозможной сегодня одну, завтра другую кандидатуру.

Имя автора не составляло секрета. Оно было на всех устах. Римская богема, литературная и артистическая, довольно давно знала Пьетро Аретино. Лет за пять до смерти Льва X появился он в пышном, расписанном Рафаэлем палатце банкира Агостино Киджи на Lungara\* и обратил на себя всеобщее внимание тем, что не был похож на других. У него не было почти никакого образования, латынь он знал весьма приблизительно, греческого не знал совсем. И блестящие гуманисты из приближенных Киджи сначала смотрели на нового пришельца свысока. Вскоре у него были обнаружены еще и новые качества. Юный тосканец не любил оставаться в тени. Он протискивался вперед настойчиво и энергично, не обращая внимания на то, что его локти порою не совсем деликатно упираются в грудь какому-нибудь почтенному гуманисту. Если его пробовали осадить, он отвечал насмешкой, эпиграммой. Если его обижали, если ему пытались стать на дороге, на другой день появлялся сонет, обнаруживавший что-нибудь такое, о чем все говорили втихомолку, но что боялись сказать громко. Аретино не боялся. Слух у него был тонкий и острый взгляд. Он все слышал и все подмечал. Киджи ему покровительствовал — отчасти потому, что любил вообще даровитых людей, отчасти потому, что злой язык Аретино мог ему пригодиться.

Но Аретино знали не только художники и литераторы, не только завсегдатаи пышных пиров знаменитого банкира. Незадолго до смерти Льва X при помощи самого Киджи или кого-нибудь из его друзей-кардиналов Аретино проник и к папскому двору. Лев X обратил внимание на автора злых сонетов, которые ему показывали от времени до времени. Кардинал Медичи дарил ему свое покровительство. Люди, поднявшиеся из низов, всегда обладают инстинктивным даром безошибочно находить такого покровителя, который им нужен. Аретино к тому же умел распознавать людей и умел показать, насколько полезен может быть и он со своей стороны. Если у вельможи, намеченного им в патроны, был враг или враги, — а у кого их не было при папском дворе? — он как бы случайно составлял убийственный сонет на недруга, и цель бывала достигнута. Своими сонета-

---

\* Ныне — вилла Фарнезина.

ми-эпиграммами, своим беспощадным сарказмом Аретино уже при Лье Х составил себе прочную репутацию. Недаром одно стихотворение сохранило память о том, как люди говорили, осеняя себя крестным знамением:

Dio ne guardi ciascun dalla sua lingua.

Храни бог всякого от языка его\*.

Этим языком, источающим яд и злословие, Аретино делал карьеру. И когда умер Лев X, он решил, что настало время показать себя во весь рост. Для этого ему нужно было лишь несколько интенсивнее использовать маэстро Пасквино. Задача была тем более соблазнительна, что пасквинаты в такой момент должны были сразу и доставить популярность в народе, и помочь устроить свою судьбу на будущее время. Дело в том, что Киджи умер еще до папы, и смелый сатирик оставался без поддержки. Вопрос о новом покровителе приобретал для него острый, самый жизненный интерес.

И Пасквино буквально расцвел. Не один Аретино, конечно, приносил к его пьедесталу плоды своего остроумия. Но Аретино был его главным поставщиком, не только не скрывал своего авторства, но даже афишировал его, чтобы поднять себе цену. И никогда ни до, ни после маэстро Пасквино не поднимался на такие вершины, как в то время, когда Аретино влил в него свою горячую кровь и свой кипучий темперамент.

Уже в этих сонетах\*\* имеются налицо некоторые особенности его будущей литературной манеры: ни перед чем не останавливающаяся бесцеремонность; уверенность, что там, где скрещиваются интересы, можно безнаказанно обрушиваться на одну какую-нибудь сторону и проистекающая из этой уверенности безграничная смелость; умение соединять какой-нибудь чудовищный по нынешним понятиям каламбур с тонкой и изящной, как толедский клинок, остротой\*\*\*, площадную брань — с патетической тирадой; несравненное искусство распознать у каждого самое большое место и безошибочно бить именно в него; наконец, неисчерпаемый запас остроумия, злой насмешки, сарказма: каждый стих у Аретино превращался в разрывную пулю, и не очень было радостно тем, в кого они попадали.

Памфлет, то есть сатира, направленная на определенное лицо, — один из самых трудных родов литературы. Во всей мировой литературе, начиная от Архилоха и кончая Рошфором, мы не

---

\* V. Rossi. Pasquinate di Pietro Aretino ed anonime per il conclave e l'elezione di Adriano VI, 1891, с. XXVIII. Ср. также с. 151—161.

\*\* Они собраны Росси в названной книжке, осветившей совершенно новым светом темную историю дебютов Аретино.

\*\*\* К сожалению, эти вещи трудно объяснить русскому читателю, потому что многое в пасквинатах Аретино не выдерживает перевода, а иное, невинное на первый взгляд, требует комментария, а с комментарием тоже становится невозможным.

насчитаем и десятка талантливых памфлетистов, достойных этого имени. Сатириков — сколько угодно. Памфлетистов — единицы. Чтобы быть хорошим сатириком, нужен главным образом литературный талант. Чтобы быть хорошим памфлетистом, одного литературного таланта мало. Что же нужно еще?

## II

Шестнадцатый век — закат Возрождения. Героическая пора его миновала. Самые крупные его дерзания уже позади. Мысль устала. Развивается по инерции и достигает пышного расцвета форма — в искусстве, в поэзии. В жизни не приходится более бороться за идеалы новой культуры. Церковь сдала свои передовые позиции, позиции аскетизма, и сама прониклась мирскими идеалами. Индивидуализм торжествует по всей линии и принимает уродливые формы. Хищность становится нормой практической жизни. Перед хищными инстинктами умолкают нравственные идеалы. Лучшие стороны национального характера итальянца затемняются: в стране побывали, ее посещают вновь и вновь пришельцы. Времена прежних невинных местных войн, когда крупные сражения кончались двумя убитыми, прошли навсегда. Французы, испанцы, немцы по очереди оставляли свой след на культуре Италии, в нравах верхних слоев общества. Словно итальянской аристократии привили одновременно распущенность двора Людовика XII, холодную, рассчитанную испанскую жестокость и грубость немецкого ландскнехта.

Время Борджа было на памяти у всех — время, когда вероломство и свирепое равнодушие к жизни, к чести, ко всему, что есть дорогого у человека, возводилось в орудие управления. Александр VI давно умер, Цезарь погиб смертью последнего наемника где-то в глуши южной Франции. Но заветы их остались. Лукреция, ставшая женой герцога Феррары, Альфонсо д'Эсте, принесла туда заразу своего имени. Ее родственница Анджела Борджа, приехавшая с нею вместе, вызвала страсть брата Альфонсо, кардинала Ипполито д'Эсте, того самого, которого воспел Ариосто и прославлял Кастильоне. Но испанке нравился другой брат герцога, незаконный, но носивший его фамилию, Джулио. И она однажды кокетливо призналась кардиналу, что отдала бы его целиком от головы до пят за одни глаза Джулио. Несколько дней спустя, когда Джулио весело и беспечно возвращался с охоты, мечтая о ласках Анджелы, на него напали наемные убийцы, стащили с лошади, связали и в присутствии Ипполито, смотревшего за тем, чтобы все было сделано как следует, выкололи ему кончиком шпаги оба глаза. Альфонсо и не подумал наказать кардинала. Джулио вместе с другим братом, Ферранте, составил заговор, чтобы отомстить Альфонсо и Ипполито. Заговор был раскрыт. Много друзей Джулио сложи-

ли головы на плахе. Оба брата, бежавшие в Мантую к сестре, знаменитой Изабелле, были выданы, судимы, приговорены к казни, помилованы и заточены в подземельях феррарского замка, где еще витали скорбные тени Паризины Малатеста и пылкого Уго д'Эсте, ее возлюбленного. Ферранте умер в 1540 году, через тридцать четыре года. Джулио просидел там пятьдесят лет. Ему было 80, когда его решили выпустить.

Феррарский двор не представлял какого-либо исключения. Испанские нравы вторгались всюду, внося с собой расчетливую, тупую жестокость. Вот семья Медичи. Герцог Алессандро, плод нечистого каприза Лоренцо Урбинского к негритянке-рабыне, правит как самый разнузданный тиран. Он отравил своего двоюродного брата, кардинала Ипполито Медичи, и, быть может, собственную мать, наградившую его чересчур типичными толстыми губами и жесткой, курчавой черной шевелюрой. В конце концов он убит своим родственником, Лоренцино Медичи. Вслед за убийцей разосланы всюду брави, один из которых настигает его в Венеции и закалывает. Освободившееся место занимает Медичи другой линии, Козимо, сын Джованни delle Bande nere, знаменитого кондотьера. Он женился на испанке Элеоноре Толедской, которая родила ему восьмерых детей. Когда умерла старшая дочь, шестнадцатилетняя Мария, пошел слух, что отец заколол ее за связь с пажом. Вторая, Лукреция, сделалась герцогиней Феррарской и умерла семнадцати лет. В Италии говорили, что она была отравлена мужем за неверность. Третья, Изабелла, самая красивая из дочерей Элеоноры, вышла замуж за Паоло Орсини\*. Муж удавил ее позднее при помощи петли, пропущенной через потолок: молва решила, что тоже за неверность. Из сыновей двое умерли почти одновременно, при обстоятельствах довольно таинственных — быть может, отравленные. Были разговоры, что младший убил старшего и был в свою очередь умерщвлен отцом. Несколько дней спустя умерла их мать, причем тоже говорили о яде. Младший сын Козимо и Элеоноры, Пьетро, убил свою жену. Двое, Франческо и Фердинандо, царствовали. Франческо был женат и имел дочь, будущую жену Генриха IV. В 1564 г., еще при жизни отца и до женитьбы, он вступил в связь с венецианкой Бьянкой Капелло, женой Пьетро Бонавентури. В 1572 г. Пьетро подвергся нападению брави на мосту Тринита и был заколот, а герцогиня умерла через шесть лет при обстоятельствах очень подозрительных. Франческо женился на Бьянке и прожил с нею до 1587 г. Брат Франческо, кардинал Фердинандо, давно делал попытки захватить престол, живя вдали от Флоренции. Теперь он помирился с братом и приехал в Поджио-а-Кайано, чудесную виллу Медичи под Флоренцией. Через несколько дней герцог и герцогиня съели какого-то

---

\* Это тот самый Орсини, герцог Браччиано, образ которого памятен читавшим итальянские новеллы Стендаля. Второй его женою была Виттория Аккорамбони.

пирога и умерли. Фердинандо сбросил красную мантию и надел великогерцогскую корону\*.

"Мир теперь находит менее утомительным быть злым, чем добрым", — поучает резонер одной из комедий Аретино\*\*.

И это как нельзя более верно. Мир Чинквеченто вообще не любил утомлять себя ни в чем. Он не только зол и жесток: он развратен еще больше, чем жесток, а главное — он беспринципен до последней степени: у него нет ничего святого. Ему неизвестны моральные порывы. Двигает им голый эгоизм. Источник этого падения ясен. Демократическое устройство городов, которое с таким трудом было создано грубыми и могучими руками купцов и ремесленников XIII и XIV веков, пало под ударами аристократической реакции; на его развалинах вырос мелкодержавный деспотизм, душивший всякую способность к идеалистическим порывам.

Наиболее типичным внешним признаком этой эволюции и был тот колоссальный развал бытовых устоев, который наступает, когда общественная власть отрекается от защиты общих интересов и сосредоточивается на защите интересов единоличных. Внутри дворов новых монархов и вокруг них, прежде всего около римской курии, строится типичная жизнь Чинквеченто, полная внешнего блеска, сопровождаемая небывалым расцветом искусства, но гнилая внутри. Эгоизм мелких властителей сделал Италию сначала ареной дипломатических и военных дрязг, а потом легкой добычей иностранцев.

Разложение крепких старых устоев кругами расходится от дворов и иной раз проникает довольно глубоко в общественную толщу. Новелла, верное зеркало итальянского быта, красноречиво свидетельствует об этом. У Ласки, флорентийца, гражданина республики, не забывшей еще времен свободы, есть одна очень типичная\*\*\*. В ней рассказывается, как "некий педагог, родом из деревни Верхнего Вальдарно, несмотря на свое низкое звание, не имея никаких заслуг, влюбился в одну благородную и красивую девушку... как будто он был сыном какого-нибудь богатого и известного гражданина" и как за это был наказан. Ни у Боккаччо, ни у Саккетти такая социальная мотивировка любовной неправоподобности в городах не была бы возможна. В XV веке любили, не справляясь о происхождении и звании. В XVI веке даже Флоренция заразилась сословными предрассудками, не говоря уже о городах, раньше лишившихся республиканского строя и демократических учреждений. Социальное расчленение в городах растет и разлагает старые демократические бытовые устои.

Все это — влияние дворов, которые развращены всякими испанцами, французами и вообще пришельцами из строго монар-

\*G. E. Saltini (Tragedie Medicee domestiche, 1898), страстный поклонник кровожадного Козимо, пытается снять с его памяти эти обвинения.

\*\* La Cortigiana, II, 6.

\*\*\* Ее перевод см. у П. Муратова, Новеллы итальянск. Возрождения, II, 168.

хических стран. Но самая масса народа, городская средняя и мелкая буржуазия, шедшая за Франческо Ферруччи во Флоренции, сражавшаяся против армии коннетабля Бурбона в Риме, пережившая последний период расцвета в Венеции, глухо выражавшая свое недовольство повсюду, — она не была виновна в создании той культуры, которая была культура Чинквеченто.

Какую линию должен был выбрать человек даровитый, которого судьба послала жить в это беспощадное время? Многие выдающиеся представители науки, литературы, искусства пробовали решить эту задачу.

Решал ее по-своему и Аретино.

### III

Аретино — дитя народа. Он был сыном одного из самых демократических городов Тосканы и вышел из самой гущи трудовой. Ареццо, его родина, стоял в стороне от больших торговых путей и не разбогател, как Флоренция, Пиза, Сиена. В то время как во Флоренции расцветала торговля большого стиля и крепла промышленность, Ареццо оставался городом ремесленников. Ему не было знакомо накопление больших капиталов в руках немногих. Зато не знал он и такой нищеты, которая царила начиная с XIV века среди флорентийского или сиенского пролетариата. В нем слабее была классовая борьба, сильнее и ровнее демократические настроения. И еще сильнее дух независимости. Флоренция давно жаждала прибрать к рукам маленькую республику, но Ареццо защищался упорно и с задором, прежде чем покориться. Флорентийцы ненавидели его. Они называли его городом неугомонных, городом забияк. Данте, который принадлежал к правящему классу Флоренции, который сам сражался против аретинцев при Кампальдино, терпеть их не мог и заклеймил навек в знаменитой терцине\*:

Bottoli trova poi venendo giuso  
Ringhiosi piu che non chiede lor possa  
Ed cla lor disdegnosa torce il muso\*\*.

Это говорится про реку Арно, которая, протекая по Тоскане, встречает на пути своем всяких неприятных животных. Аретинцы — это "шавки" (bottoli) "более злобные, чем позволяет им их сила". Но нужно сказать, что среди аретинских шавок появлялись порою и самые настоящие бульдоги, которых природа наградила вполне достаточной силой, у которых задор и злобность были

\* Purg., XIV.

\*\* Затем к дворняжкам держит путь река,  
Задорным без какого-либо права,  
И нос от них воротит свысока. Пер. М. Лозинского (Ред.)

тем более опасны, что опирались именно на сознание большой силы.

Аретино был одним из них. И не единственным. В числе его современников было еще два славных аретинца: Вазари и Леоне Леони, если не считать папу Юлия III. В прошлом среди граждан Ареццо блистали имена фра Гвидо, изобретателя нот, Петрарки и двух крупнейших гуманистов, Бруни и Марсупини. Позднее из Ареццо вышел авантюрист большого размаха Кончино Кончини, который одно время был невенчанным мужем вдовы Генриха IV и некоронованным королем Франции. О характере монаха-музыканта XI века нам не известно ничего. Остальные все были людьми с большим задором, не любившие спускать обиды никому и способные сами обидеть кого угодно. За это они и платились порою. Леони попал на галеры, а Кончини сложил свою буйную голову, как только Людовик XIII, сын Марии Медичи, почувствовал себя в силах от него отделаться.

Аретино не уступал никому ни в задоре, ни в дерзости, ни в способности обидеть. Эти качества не умерялись у него ничем, потому что в детстве он был чужд какой бы то ни было культуры. Отец его, Лука, был сапожником и не мог дать ему образования. Но способности у мальчика были огромные. Как многие дети ремесленников в это время, Аретино сам научился читать и взялся за книги. Вскоре он почувствовал себя достаточно вооруженным знаниями и пустился в странствования. Дома его не удерживали: голодных ртов в семье было и без него довольно\*.

Ушел Аретино недалеко, в Перуджу. Здесь он пробыл, вероятно, лет десять, ибо в 1517 году двадцати пяти лет от роду он был уже в Риме. Нам очень мало известно, как прошли перуджинские десять лет. Мы знаем, что Аретино был переплетчиком и занимался живописью. Тут же, вероятно, одолел латынь — без гуманистической основательности, но более или менее достаточно для дальнейшего. Одно ясно. Художником Аретино не сделался, а, попав в Рим, стал выдвигаться как поэт.

Но пребывание в Перудже — все-таки важный этап в жизни Аретино. Покидая Ареццо, он порывал со своим классом. Так делали все, кто чувствовал себя в силах выдвинуться. Гуманисты, которые вышли из народа, никогда не делали карьеру в родном городе. На родине один был сын ткача, другой был сын шорника, третий — трепальщика шерсти. На чужбине каждый из них был интеллигент и мог продвигаться сколько хотел и сколько был способен. К этому стремился и Аретино. Но, порывая со своим классом в плоскости социальной, Аретино уносил в крови все особенности человека, вышедшего из народа. Способности Аретино были совсем иного свойства, чем способности, например, Кастильоне, блестяще образованного дворянина. Аретино был совершенно лишен пассивности Кастильоне, его нерешительности, его доверчивости, его привычки полагаться на других так же,

\* См. Luzio, La famiglia di P. Aretino в "Giorn. Stor. d. Lett. italiana", т. IV.



как был лишен его культуры. Зато он был деятелен и энергичен, наделен настойчивостью, находчивостью, бесцеремонностью. И был всегда весел, говорлив, умел громко и заразительно смеяться, обладал большим юмором, неисчерпаемым запасом острых слов, готовых рифм и всяческой выдумки. Грубоватость, отсутствие лоска — все, от чего он не мог отделаться и что другим очень мешало, — ему не мешало нисколько. Наоборот, он умел превращать эти вещи во что-то такое, что еще больше подчеркивало качества, которые людям в нем нравились. Так, хороший оратор, если он не может отделаться от заикания, умеет заставить недостаток свой служить эффекту речи.

Все это было наследием того общественного класса, к которому Аретино принадлежал. Перуджа эти качества воспитала и отшлифовала. Первые годы в Риме их закалили, и в Риме особенно ярко сказывалась психика человека, вышедшего из народа. Аретино отдал свой талант народному делу через Пасквино, правда, не надолго. Но жизнь была впереди, и право на жизнь — больше — право на славу нужно было завоевывать.

Сын аретинского сапожника должен был пробить себе дорогу. За это он и принялся.

#### IV

В начале XVI века Венеция переживала пору самого пышного внешнего блеска. В экономическом отношении уже наступил упадок: мировая торговля со времен падения Константинополя и открытия Америки нашла себе новые пути, мимо венецианских лагун. Владения как в морях Леванта и Греции, так и на terra firma стали убывать. Турция, с одной стороны, могущественные европейские коалиции — с другой, теснили льва св. Марка все больше и больше. Но все-таки среди итальянских государств не было державы сильнее. Даже больше: среди итальянских государств была только одна держава в настоящем смысле слова — Венеция.

Одна Венеция могла выдерживать борьбу с победившей всюду, кроме ее территории, феодальной реакцией, ибо в Венеции еще жива была буржуазия, поверженная в прах во всей остальной Италии. Она была ослаблена ударами, но не сдавалась.

Как всегда в эпохи начинающегося уклона, Венеция не находила в себе прежнего буйного, наступательного задора, прежней героической энергии, которая была ключом во времена Пьетро Орсеоло, Энрико Дандоло, Карло Зено. Зато теперь Венеция стала понемногу находить время, чтобы принять участие в творческой работе Италии в области литературы и искусства. До сих пор ей было некогда, и вклад Венеции в художественную эволюцию Италии был ничтожен. В XVI веке она наверстала все, возместила все свои недоимки, возместила так, как могла сделать только одна Венеция, — с безумной расточительностью материальных сил и человеческого гения.

Тэн великолепно характеризует венецианскую культуру позднего Возрождения. "Со всех сторон, — говорит он\*, — способность действовать становится меньше, стремление к утехам делается больше, но одно не уничтожает целиком другого, а, сочетаясь, производят то промежуточное устремление духа, которое, как температура, не слишком резкая и не слишком мягкая, родит искусства". Искусство и будет занимать центральное место в культуре Венеции с конца XV века и до начала XVII. Беллини, Джордано, Тициан, Веронезе, Пальма, Тинторетто, Сансовино, Палладио — все они поместились в этом промежутке, не считая менее крупных. Их руками создано то украшение Венеции, которым мы любуемся до сих пор. Старая пышность царицы Адриатики благодаря им сочеталась с красотой, и знаком красоты прониклась вся культура.

Но благодаря своему положению на отлете у Италии, благодаря своим постоянным сношениям с Востоком и космополитическим торговым связям, Венеция не пропиталась традициями культурного роста Италии. Школы и направления, царившие на континенте, не затронули или почти не затронули Венеции. Она раскрывалась к культуре свободно и своеобразно, не подчиняясь выработанным другими нормам. Она привыкла всегда действовать самостоятельно в своих торговых и политических делах и не хотела изменить своим привычкам в делах культурных. Мы увидим, как отразилось все это на искусстве и на литературе.

Наконец, для человека с темпераментом, ищущего острых и пышных удовольствий, Венеция была действительно обетованной землей. Нигде наслаждения не провозглашались культом так открыто, нигде роскошь празднеств не достигала таких размеров. Веронезу было откуда списывать свои пиршественные сюжеты. Куртизанка была там полноправной женщиной. Она появлялась всюду в то время, как патрицианки жили затворнической жизнью и показывались лишь во время больших торжеств\*\*. Притом куртизанок было 11 000, и уже самое количество их отражалось на общем характере внешней жизни. Многие из куртизанок становились центром большого интеллигентского кружка, как Вероника Франко, талантливая поэтесса, которая принимала у себя Генриха III по пути из Польши в Париж и которую писал Тинторетто. Благодаря своей политической мощи Венеция могла позволить себе не поднимать лицемерного гонения на открытое почитание красоты, на откровенную любовь к удовольствиям.

25 марта 1527 года в Венеции появился Аретино. Пять лет, которые прошли со времени конклава, избравшего Адриана VI, были самой бурной порой в его жизни. Он много мыкался по Италии, не раз устраивался прочно и не раз терял все, терпел лишения, видел славу и почет, едва не погиб под кинжалом недругов и потом снова купался в наслаждениях и богатстве.

\* Voyage en Italie, II, 324.

\*\* Yriarte, La vie d'un patricien de Venise, с. 49 и след.

Когда выяснилось, что выбран кардинал Тортозский, бывший воспитатель Карла V, сын утрехтского лодочного мастера, что обойдены, следовательно, представители самых громких итальянских фамилий: Медичи, Гонзага, Колонна, Орсини, — маэстро Пасквино вышел из себя. На голову злополучного голландского папы — к стати сказать, последнего неитальянца на престоле св. Петра — посыпались громы.

Разумеется, когда старый голландец явился в Италию, Аретино счел благоразумным удалиться из Рима. Он уехал во Флоренцию к кардиналу Медичи, посетил двор Федерико Гонзага, маркиза Мантуанского, а потом, когда Адриан стал беспокоить кардинала по поводу Аретино, был послан Джулио к его родственнику, тоже Медичи, Джованни, начальнику "черного отряда" (*Giovanni delle Bande nere*), знаменитейшему в то время кондотьеру Италии. Даровитый воин искренно полюбил веселого, остроумного, быстрого на всякую выдумку молодого поэта, но тому не пришлось долго прожить в лагере Большого Дьявола. В сентябре 1523 года умер старый Адриан, и Аретино мог вернуться в Рим. Народ там уже без него выражал свои чувства. Двери дома врача, который лечил папу во время его последней болезни, были обвиты гирляндами и украшены надписью: "*Liberatori patriae*"\* (Освободителю Отечества. — *Ред.*). Без Аретино Пасквино был менее остроумен, но столь же энергичен, и на этот раз его избирательная агитация оказалась успешнее: Джулио Медичи занял престол св. Петра под именем Климента VII.

Аретино поспешил в Рим, надеясь устроиться там окончательно. Папа помнил его заслуги, хранил признательность к нему и очень ценил его перо. Перспективы открывались блестящие. И Аретино слишком положился на свое влияние. Он вмешался в придворную партийную борьбу и навлек на себя ненависть могущественного приближенного папы датария Джиберти. Это повело к катастрофе, хотя и не сразу. В первый раз папа разгневался на поэта за непристойные сонеты, написанные им к непристойным рисункам Джулио Романо. Аретино должен был покинуть Рим. Он снова отправился к Джованни Медичи, но папа его скоро простил, вызвал к себе и даже помирил с Джиберти. Аретино, понадеявшись на привязанность к себе папы, не хотел быть осторожнее. Пасквино не унимался. Он опять заговорил сонетами Аретино, и в одном из них досталось Джиберти. Тогда тот подослал к нему убийцу. Покушение удалось не вполне. Аретино спасся, тяжело раненный. Виновника назвать было нетрудно. Рим указывал на него пальцами. Аретино требовал у Климента наказания бандита и его подстрекателя, но папа на это не решился. Затаив мечь, Аретино покинул Рим и в конце 1525 года снова очутился в лагере Большого Дьявола. На этот раз он пробыл тут целый год в тесной дружбе с "Бонапартом XVI

\* Carlo Bertani, P. Aretino e le sue opere secondo nuove indagini. 1901, с. 35.

века”, вплоть до его смерти. Джованни умер на руках Аретино от раны, полученной в стычке с ландскнехтами Фрундсберга у Говерноло, в ноябре 1526 года. Пробовал Аретино устроиться у своего почитателя Федерико Гонзага в Мантуе, но Климент, которого он нещадно преследовал своими сатирическими сонетами и “предсказаниями”, недвусмысленно грозил послать к нему второго убийцу, а маркиз боялся осложнений с Римом. Заручившись обещаниями поддержки от маркиза, Аретино перебрался в Венецию и там устроился. Как оказалось, навсегда.

Сам Аретино не думал этого первоначально. Планы у него были всякие. Джованни Медичи успел познакомить его с Франциском I французским, которому поэт очень понравился. Аретино думал одно время переселиться во Францию. Но, припомнив грустный свой опыт жизни при дворах и присмотревшись к венецианскому быту, он понял, что только здесь он может быть вполне независимым, вполне безопасным, вполне свободным.

Трудно сказать, какие соображения были у Аретино решающими, помимо того, что Венеция была республика, что у дожа не было двора и что жизнь в Венеции была веселая. Но одно из этих соображений угадывается особенно настойчиво, хотя в момент переселения Аретино о нем и не говорит нигде. Это то, что Венеция была центром книгопечатания в Европе. Героическая эпоха Альдо Мануци Старшего только что миновала, но его традиции находились в надежных руках его сына Паоло, а вокруг него группировались десятки печатников, которые вознесли типографскую промышленность в Венеции на небывалую еще высоту\*. Среди них — Франческо Марколини, друг и главный издатель Аретино. Государственная власть энергично поощряла типографское дело; в этом еще раз сказался практический гений венецианцев. Они хотели быть вооруженными этим новым культурным и политическим оружием лучше, чем другие. Крупных писателей у Венеции не было, но все крупные произведения старых и новых писателей издавались у нее. В случае необходимости Венеция могла забросать памфлетами самого сильного противника, как это и случилось, напр., в дни Паоло Сарпи. Аретино не мог этого не учитывать в те моменты, когда он так мучительно колебался в выборе постоянной резиденции. И выбор его был сделан.

---

\* Несколько цифр дадут представление об этом. Из 43 изданий Данте в XVI веке в Венеции вышло 32, из 130 Петрарки — 110, а в 1514—1668 гг. из 213 изданий Неистового Роланда Венеция дала 191. См. Yriarte, Venise, 199. В последнее десятилетие XV века Венеция выпустила 1491 издание, Рим — 460, Милан — 228, Флоренция — 179; в первое десятилетие XVI века, когда войны и смуты сильно сократили полиграфическую промышленность, Венеция дала 536 изданий, Милан — 99, Флоренция — 47 и Рим — 41. См. Müntz, La Renaissance en Italie, т. II, 286. Остальные страны очень отставали. Перечисление главных венецианских изданий и снимки обложек и переплетов см. у Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata, т. II, 289 и след.

Венецианская синьория приняла его благосклонно, а в 1530 году дож Андреа Гритти даже добился некоторого примирения между Аретино, с одной стороны, Климентом и Джиберти — с другой. К этому году относится великолепное письмо к дожу, в котором Аретино говорит, что, приехав в Венецию, он спас жизнь и честь\*, что там благосклонность не наносит ущерба праву и справедливости, как при дворах. Почти в тех же словах говорит о Венеции в *La Cortigiana*\*\* Фламинио: "Там я обогащу свою нищету ее свободой. Там по крайней мере ни фаворитам, ни фавориткам не дано власти убивать бедных людей. Только там правосудие держит весы в равновесии. Там страх перед чьей-нибудь немилостью не вынуждает нас поклоняться вчерашнему паршивцу (*pidocchioso*)... Это — святой город и рай земной". Приблизительно к этому времени относится и по-настоящему нежный, хотя слегка риторический отзыв о Венеции в письме к Верджерио\*\*\*: "Что до меня, то я хотел бы, чтобы после моей смерти господь превратил меня в гондолу или в навес к ней (*felce*), а если это слишком, то хоть в весло, в уключину или даже ковш, которым вычерпывается вода из гондолы".

Имя, которым в 1527 году пользовался Аретино, было большое. Его почитали и боялись. И появление его было встречено с большой радостью в кругу литераторов и художников. С Тицианом и Сансовино он сошелся сразу и очень близко. Среди патрициата у него завелись прочные связи, и *Diporti* — собрание новелл Парабоско — сохранили нам сведения о том, как Аретино на равной ноге с представителями самых знатных фамилий, душа их общества на веселом пикнике, рассказывает новеллу, восхваляет прекрасных и добродетельных патрицианок. У него были большие знакомства в мире дипломатов, которыми он пользовался очень искусно.

Средства, добываемые Аретино, сначала были невелики, и жил он скромно. Но мало-помалу количество лиц, регулярно выплачивающих ему пенсии, стало больше, и он зажил настоящим набобом. К 1530 году он уже не думает о том, что он может куда-нибудь переселиться, и заявляет об этом в упомянутом выше письме к дожу Андреа Гритти.

Как жил в Венеции Аретино? Филарет Шаль составил на основании писем его и его друзей, заметок современников и проч. красивую и верную картину. Мы приведем ее, устранив риторику, неизбежную в писаниях талантливого французского критика\*\*\*\*:

"Дверь открыта настежь. Великий человек принимает столько народа, что слуги освобождены от обязанности докладывать. Мраморные ступени большой лестницы, расписанной фресками,

\* *Lettere*, I, 2. Это письмо относили раньше ошибочно к 1527 году. См. А. Луцио, *P. Aretino nei primi suoi anni a Venezia*. 1888, с. 35.

\*\* Эта комедия, написанная в Риме, приняла свою окончательную форму в Венеции. Приводимое место — III, 7.

\*\*\* *Lettere*, I, 31.

\*\*\*\* Ph. Chasles. *Etudes sur Shakespeare, Marie Stuart et L'Aretin*; 384 и след.

ведут вас в обширную залу, которая служит передней. Всюду статуи, эскизы в рамках, обрывки картонов, наброски Тициана и Джорджоне. Шесть женщин с волосами, заплетенными по-венециански, работают в этой зале; одна из них играет на арпикорде — гитаре несколько больших размеров, чем теперешние. Обратите на них внимание. Все они молоды и хороши, резвы, легки, шаловливы. Это Аретинки. Под этим именем их знают все в Венеции. Аретино окрестил их. Солнце, лучи которого падают из трех больших окон на плафоне, освещает эту обольстительную группу. Тут же открывается большой балкон, задрапированный красной шелковой материей с синими полосами, подарком маркиза Дель Васто, украшенный двумя апельсиновыми деревьями в цветах и фестонами вьющихся растений, которые устремляются вверх и свисают в виде элегантной аркады. Отсюда открывается вид на Риальто. Здесь Аретино часто проводит вечера со своим другом Тицианом. Они созерцают длинные гондолы, купола дворцов, гондольеров с мускулистыми руками и убегающие линии воздушной перспективы.

На лестнице толпа\*. Вы никогда не доберетесь до Аретино. Восточные люди в длинных халатах, почтительные армяне, посланные Франциска I, знаменитые художники, молодые скульпторы, жаждущие славы, женщины, увлеченные его громким именем, священники, лакеи, монахи, пажи, музыканты, солдаты. В руках у большинства подарки... Вот спускается высокий, небрежно одетый молодой человек весь в черном, с видом наглым и беспечным. Он просит собравшихся подождать. Это секретарь и ученик Лоренцо Веньер. У Аретино их несколько...

Великий человек появляется наконец. На нем цепь Карла V. Он едва достаивает вас взглядом. Он подвигается вперед... Следуйте за ним по этому пышному дому, который он меблировал своими литературными грабежами. Его гардероб, полный дорогой одежды, доставлен ему Азией и Европой. Его кабинет редкостей, его картинная галерея добыты из того же источника. Меньше всего у него книг... Вы ищете библиотеку. Ее нет. Но вот буфетная, которая свидетельствует о неимоверном потреблении мясного и мучного. Вот большая, великолепно освещенная комната Тициана, который часто приходит работать к своему другу. Вот эта огромная конторка черного дерева наполнена письмами, полученными от всех современных знаменитостей. В ней имеются отделения государей, кардиналов, буржуазии, солдат, полководцев, дам высшего общества, аристократической молодежи, музыкантов, художников, дворян. Кабинет Аретино — комната, меб-

---

\* С обычной своей хвастливо-рекламной манерой Аретино повествует об этой толпе в письмах (Lett., I, 206): "Такое количество народа приходит надоедать мне ежедневно, что ступени моей лестницы стираются под их ногами, как мостовая Капитолия — под колесами триумфальных колесниц. Турки, евреи, индусы, французы, немцы, испанцы беспрерывно осаждают мою дверь — судите о количестве наших итальянцев... Я сделался оракулом истины, и вы совершенно правы, называя меня "секретарем мира".

лированная хуже, чем все другие. Там стоит письменный стол. На нем перья и бумага. Герой наш очень горд тем, что не нуждается в других орудиях для того, чтобы вести эту жизнь, пышную и счастливую”.

Шаль не понял Аретино. Он смотрит на него неправильно. Но если исключить из этой картины кое-какие преувеличения и явное стремление представить Аретино типичным выскочкой, своего рода мещанином во дворянстве, — она верна.

Жизнь Аретино была действительно ”пышная и счастливая”. Ее материальную основу составляли пенсии и единовременные дары от разных владетельных особ. Аретино больше всего любил ценные подарки. В Talanta одно из действующих лиц говорит, показывая на дорогую цепь: ”Посмотрите, как искусная работа соперничает в ней с материалом! И потом, цепь не стареет, как молодая девушка, не лжет, как пенсия, не убегает, как невольник-мавр”\*. Такие цепи Аретино получал неоднократно. В 1533 году Франциск подарил ему роскошную золотую цепь, унизанную красными, из дорогой эмали, языками с надписью: ”Lingua eius loquetur mendacium”\*\*, то есть: ”Язык его будет говорить неправду”. Эта ядовитая высочайшая ирония отнюдь не обидела Аретино. Он сделал из нее предмет рекламы. Такие же подарки получал Аретино от Карла V, от султана Солеймана, от мавританского пирата Хайреддина Барбаруссы, от Фуггеров из Германии и от многих других лиц. Но и пенсии не всегда ”лгали” этому баловню судьбы. Карл V платил аккуратно, Генрих VIII не вполне. Отлично платили маркиз дель Васто, полководец Карла, граф Лейва, губернатор Ломбардии, Федерико Гонзага, маркиз Мантуанский, Франческо Мария делла Ровере, герцог Урбинский, и его преемник Гвидубальдо, многие более мелкие князья, кардиналы и частные лица\*\*\*.

Но пенсии и пособия были не единственными доходами Аретино. Изобретательность его никогда не утомлялась и никогда не отдыхала, когда нужно было делать деньги. Аретино обладал недюжинным вкусом в вопросах искусства. А созданное им себе положение делало его великолепным посредником между художниками и меценатами. Прежде всего он рекламировал художников. Конечно, не бескорыстно. Миниатюрист Якопо дель Джало прислал ему в подарок свою вещицу. Аретино пишет

---

\* II, 7.

\*\* Luzio пытался доказать, что там стояло не mendacium, а iudicium в смысле того особого литературного вида, о котором будет речь ниже. См. P. Aretino nei primi anni a Venezia, 53 и Un Pronostico satirico di P. Aretino, 1904, с. 115. Бергани (назв. соч., 109) правильно указывает на недостаточность аргументов Луцио.

\*\*\* Князья расценивались у Аретино различно, сообразно своей готовности платить. Были такие, которые никогда ему ничего не давали. О королеве Наваррской он грустно пишет архитектору Серлио, жившему во Франции: ”Я ничего не получал от нее и не надеюсь получить” (Lett., VI, 34). Изабелле д’Эсте за это самое он мелко и гадко мстил. А когда даже щедрые покровители умирали, он поминал их сухо и коротко (см., напр., Lett., IV, 45 об Альфонсо д’Авалос). Мертвые не платят: трудиться больше не стоило.

ему\*:"Как я отблагодарю вас за ваши милые усилия, раз вы не хотите принимать деньги? Я воздам вам чернилами за краски и потом за труды. Имя ваше столько же возвеличится репутацией, которую я ему сделаю, сколько удовольствия получу я от работы, вами исполненной". В подарках художников Аретино ценил, конечно, не одно "удовольствие". Они служили ему валютой. В удобный момент он подносил их своим высокопоставленным покровителям и друзьям и взамен получал золотой кубок, блюдо, цепь, просто деньги. Иногда он брался устроить картину или скульптуру, которая долго не находила покупателя. За это ему дарили рисунок, слепок или еще что-нибудь. Художники от этого ничего не теряли, потому что Аретино находился на короткой ноге с такими людьми, к которым большинство не имело доступа, и, конечно, обладал неизмеримо большей практической ловкостью, чем простодушная артистическая богема. А полученные подарки при случае тоже пускались в оборот. Словом, выгода была обоюдная. Даже Тициан, которому не приходилось искать заказчиков и который хорошо умел считать свои дукаты, охотно сваливал на Аретино переговоры о своих картинах. Все это Аретино считал чем-то вроде бескорыстного меценатства, и, если бы кто-нибудь намекнул, что он торгует произведениями искусства, он разразился бы длинными, хитро накрученными тирадами, полными ругательств.

Еще любопытнее — и для эпохи, и для человека, — что Аретино нашел способ зарабатывать деньги, вращаясь около промышленного предприятия и оказывая ему услуги. В XVI веке одна из крупнейших фабрик художественного стекла в Мурано около Венеции принадлежала Доменико Балларини, тонкому артисту и ловкому дельцу. Аретино был в самых тесных сношениях с ним с самого 1531 года. В "Письмах" постоянно мелькают хвалебные отзывы о муранских вазах, и это была самая настоящая реклама, которая, надо думать, была и приятна и полезна Балларини. Но этого мало. Муранской фабрике нужны были художественные рисунки для vaz, и далеко не всякий художник был способен их дать. Лучшим мастером в этой области считался Джованни да Удине, которого посвятил в тайны этого искусства его великий учитель Рафаэль в дни работ над фресками Фарнезины и станц Ватикана. Именно этого волшебника орнамента и арабесок Аретино сумел заставить дать рисунки для баллариниевых vaz. И не один раз и не по одному рисунку, а по "полному листу" и неоднократно. Естественно, что делалось это не из-за прекрасных глаз Балларини\*\*.

Ежегодные доходы Аретино достигали огромных по тому времени цифр и позволяли без труда выдерживать истинно королевскую расточительность.

Любя деньги, Аретино любил и почет. После того как умер горячо привязанный к нему Джованни Медичи и разладились отношения с маркизом Мантуанским и Франциском I, ему особенно

\* Lett., I, 103

\*\* Lett., II, 232.



дорого было отношение к нему Карла V. Когда в 1543 г. император проезжал через венецианскую территорию, друг Аретино, Гвидубальдо Урбинский, представил ему знаменитого памфлетиста, которому давно платилась пенсия из сумм испанского казначейства. Пока ехали по венецианской земле, Аретино был рядом с императором, занимал его, заставлял смеяться так, что Карл пригласил его ехать с собой в Вену. Немного не доезжая границы, Аретино скрылся в толпе, и его не могли найти... Звал его к себе через своего итальянского советника Луиджи Гритти и турецкий султан. Звал и Козимо Медичи, предлагая ему отдать для житья чудеснейший Палаццо Строцци. Уже при папе Павле III Аретино намекали на возможность получения кардинальской шапки, подобно Биббиене и Бембо. А когда после смерти Павла занял престол св. Петра давний его друг и земляк, аретинец Юлий III, кардинал Монте\*, надежды окрепли. Вызванный папой, Аретино в 1549 г. поехал в Рим, сподобился святейшего лобзания, получил орден св. Петра, но вернулся без пурпура, гордо рассказывая, что отверг его. Зато в 1552 г. он был избран на должность гонфалоньера своим родным городом Арещо, спасенным им с помощью Федерико Гонзага от разрушения.

Нечего говорить о том, как прославляли его менее высокопоставленные современники. К 1532 году относится стих, вставленный Ариосто в свою поэму:

Ecco il flagello  
Dei principi, il divin Pietro Aretino\*\*.

Позднее такого рода прославления сделались обычными. Ими пестрят страницы "Писем к Аретино", собранных им самим еще при жизни.

"Живу я свободно, — писал Аретино\*\*\*, — в удовольствиях и могу поэтому считать себя счастливым. Из всех металлов, всяких рисунков выбиваются в честь мою медали. Мой портрет выставляется на фронтонах дворцов. Голова моя, как голова Александра, Цезаря и Сципиона, изображается на тарелках и на рамках зеркал\*\*\*\*. Одна порода лошадей получила мое имя, потому что папа Климент подарил мне такую лошадь. Канал, омывающий часть моего дома, называется Аретинским, женщины в моем доме носят имя Аретинок; говорят о стиле Аретино. Педанты скорее лопнут от бешенства, чем дождутся такой чести".

---

\* Пасквино дружески высмеивал одну отвратительную слабость этого кардинала: так, в сон. II (см. Rossi, указ. соч.), где говорится о том, кто кого хочет иметь папой, есть стих: *Monte i montati* (Монте-наездников. — *Ped.*); в сон. X: *uno assai piu palese sodomita che è Monte* (один еще более явный содомист, чем Монте. — *Ped.*); в сон. XXIV про него, про кардиналов Гонзага и Петруччио сказано: *alle donne vogliono male* (женщин они не любят. — *Ped.*).

\*\* Вот бич государей, божественный Пьетро Аретино. (*Ped.*).

\*\*\* *Let.*, I, 144.

\*\*\*\* Якопо Сансовино сделал больше. Он поместил маленький бюст-горельеф Аретино рядом с бюстами Тициана и других знаменитых людей на чудесных бронзовых дверях сакристии собора св. Марка. Аретино фигурирует в роли евангелиста.

Но были и тернии в этой счастливой жизни. Язык и темперамент часто заставляли Аретино переходить меру; тогда ему грозили и он смирялся. В 1529 г. он отозвался не очень почтительно о Федерико Гонзага в присутствии мантуанского посла. Посол велел ему сказать, что если так будет продолжаться, то Аретино не спасется от него и в раю. Аретино извинился\*. Извинился он и в другом случае, когда по поводу его нападок на придворных Федерико в "предсказаниях" 1529 г. тот просил передать ему, что он велит дать ему несколько ударов кинжалом в самом центре Риальто\*\*. Английский посланник не стал дожидаться извинений. Когда Аретино стал распространять какие-то темные намеки насчет задержки ожидавшейся им от английского короля пенсии, посол велел подстеречь его и избить палками. Эрколе д'Эсте тоже подсылал к нему убийц. Те дожидались его, но не дождались и ушли, ранив одного из его "ганимедов"\*\*\*.

Но гораздо больше, чем эти люди, подсылавшие убийц, грозившие кинжалом и пистолетом, повредили Аретино его литературные враги. Главных было трое: знаменитый поэт Берни, поэт совсем незнаменитый Николо Франко и третий писатель, автор новелл и диалогов Антонфранческо Дони. В последнее время, особенно итальянцами, положено много труда, чтобы очистить биографию Аретино от тех злостных измышлений, которыми она была наполнена на основании показаний его врагов.

Не осталось ни одного сколько-нибудь крупного факта в жизни Аретино, которого не искажила бы, не извратила, не запачкала клевета. Начали с родителей и сестер\*\*\*\*, продолжали, следя за каждым его шагом. В Риме сделали его лакеем Киджи; покушение на него, произведенное по наущению Джиберти, объявили результатом ссоры из-за какой-то смазливой кухарки. И так до самого конца\*\*\*\*\*. Этого мало: Дони, а по его следам некий Муцио после смерти Аретино сделали донос инквизиции на его

---

\* Luzio, Primi anni, 81.

\*\* Luzio, там же, 100.

\*\*\* Luzio, Un pronostico satirico, XXXII. Есть сведения и о других случаях. Кондотьер Пьеро Строцци за одну сатирическую песенку пригрозил заколоть его в постели, и бедный Аретино, пока сердитый генерал был в Венеции, не только будто бы не выходил из дому, но и дома забаррикадировался. Знаменитый Тинторетто тоже будто бы напугал его до смерти пистолетом, когда тот вздумал заступаться за Тициана в какой-то ссоре, происшедшей между обоими художниками. Оба эти факта категорически отвергает Синигалия (Saggio di uno studio su P. Aretino, 150 и след.).

\*\*\*\* Родители Аретино были в законном браке. Клевета про законный брак умолчала, отца превратила в гуляку-дворянина, мать — в проститутку, точно так же, как и двух сестер, которые на самом деле были вернейшими женами своих мужей.

\*\*\*\*\* Смерть Аретино, которая произошла от очень обычного при его комплекции в его годы (ему было 64 года: род. в 1492, умер в 1556 г.) апоплексического удара, расписывали так: ему рассказывали про какой-то дебош, учиненный якобы его сестрами-проститутками. Он так будто бы хохотал над этим рассказом, что опрокинулся навзничь, ударился головой обо что-то твердое и испустил дух.

сочинения, обвиняя его в еретических мнениях. Это было в период наибольшего свирепства контрреформации, и им было не трудно добиться, чтобы сочинения Аретино целиком попали в Индекс. Этим самым Аретино стал запрещенной личностью. Здесь находит объяснение как крайняя редкость его сочинений, так и тот странный факт, что не успел умереть человек, наполнявший своим именем весь культурный мир, как его сразу забыли.

Католическая реакция вообще была фатальна для Аретино, что очень правильно отметил Артуро Граф\*. Она ненавидела Чинквеченто, этот век, соблазвивший папство соблазнами мирской культуры, увлекший его прельщениями литературы и искусства до такой степени, что оно проглядело зарождение Лютеровской схизмы. И властители дум, вожди общественного мнения Чинквеченто подверглись сугубому проклятию. В этом отношении судьба Аретино была одинакова с судьбой Макиавелли. Но сочинения Макиавелли успели получить распространение до начала свирепств папской цензуры. Аретино принял все ее удары: она уничтожила его сочинения и покрыла позором его имя.

В общем, вражда, клевета, угрозы и опасности были не очень заметны в наполненной славой и наслаждениями изобильной и счастливой жизни Аретино. Сын сапожника из Ареццо жил, как жили не все итальянские князья. И вся его фигура необыкновенно гармонировала с той обстановкой, какую он создал себе в Венеции.

## V

Аретино было принято еще не так давно изображать каким-то моральным Квазимодо, наглецом и вымогателем, циничным льстецом, развратником, грязным и низким человеком с безнадежно гнилой душой. Такой даровитый и чуткий критик, как Де Санктис, обмолвился даже таким словом, что в обществе дам нельзя произнести имени Аретино\*\*. Происходило это потому, что старое изображение почти целиком и почти без оговорок принимало все измышления недругов Аретино, не умело отнестись к ним критически, не обладало документально обоснованными данными и, как это ни странно, не опиралось на внимательное изучение сочинений Аретино.

Теперь это странное представление разрушено, собраны факты, изучены сочинения. Материала набралось достаточно для попыток рисовать портреты настоящего Аретино.

\* *Attraverso il Cinquecento*, 167.

\*\* *Fr. De Sanctis, Storia della letteratura italiana*, II, 99: "La sua memoria è infame: un uomo ben educato non pronunzierebbe il suo nome innanzi a una donna" (Память о нем заклеена позором: благовоспитанный человек не произнесет его имени в присутствии женщин. Пер. Л. Завьяловой. — *Ред.*) Глава об Аретино в книге знаменитого критика повторяет все выдумки врагов Аретино, не пытаясь их проверить.

Аретино любил жизнь, любил наслаждения, и ни в ком еще жажда жизни и наслаждений, так свойственная всем людям Возрождения, не была столь ненасытна. Природа наделила его крепким, здоровым телом и кипучим темпераментом. Но наслаждения, в которых для него была главная красота жизни, был ее главный смысл, вовсе не заключались в одних чувственных удовольствиях. Конечно, Аретино любил веселые пиры, любил хорошее вино, изысканные фрукты, необыкновенные салаты, любил пышные, уставленные цветами трапезы, любил роскошь в своем доме. Конечно, женщины занимали в его душе колоссальное место. Его биографы называют десятками имена женщин, которые были ему в разное время близки, и никогда не могут поручиться, что не пропущена ни одна из его любовниц. Конечно, Аретино, вполне во вкусе своего времени, любил не только женщин\*: все, что распутный Чинквеченто изобрел по части этого рода удовольствий, Аретино, очевидно, досконально изучал как знаток, как ценитель, как художник. Его *Ragionamenti*, книга, непристойнее которой едва ли найдется другая в мировой литературе, отнюдь не принадлежит к числу тех, которые предназначены будить чувственность и не ставят себе никаких других целей. *Ragionamenti* — художественное произведение, и первый день первой части, где описывается жизнь в женском монастыре, может выдержать сравнение с *La Religieuse* Дидро. Вообще все три части *Ragionamenti* — это великолепная серия бытовых картин, обличающая крупного художника. Недаром ни один историк XVI века, останавливающийся на бытовых деталях, не проходит мимо *Ragionamenti* и комедий Аретино.

Да и в свои отношения к женщинам Аретино умел вкладывать не только почти всегда искреннее чувство, но очень часто большую долю поэзии. В нем, как справедливо замечает Гаспари, не было холодного эгоизма распутника\*\*. Он привязывался сам. И не только привязывался: от женщины, которую он любил, он был способен вынести и вероломство, и измену, и самую черную

---

\* Артуро Граф (*Attraverso il Cinquecento*, с. 125 и след.) хочет снять с него это пятно, опираясь на отвлеченное психологическое соображение: *Aretino amava troppo le donne* (Аретино слишком любил женщин. — *Ред.*). Но это не так просто. Луцио приводит (*P. Aretino... a Venezia*, с. 23—24) письмо Федерико Гонзага, который просит Аретино скорее отправить ему свою поэму "Марфиза" и жалеет, что не может прислать ему некоего юношу, о котором тот, уехав из Мантуи в Венецию, сильно тосковал. Письмо характерно не только для Аретино, но и для маркиза. Поэтому стоит привести из него несколько фраз. "Если бы было возможно, — писал Федерико, — удовлетворить ваше желание и вашу сильную страсть к Бьянкино, я бы сделал это очень охотно. Но он оказал сопротивление, когда Роберто заговорил с ним об этом от вашего имени, и, так как мне не казалось благопристойным добиваться цели против его желания, я не считал возможным просить или убеждать его дальше, равно как поручить уговаривать его от моего имени. Еще меньше казалось мне возможным принудить его, ибо было бы нечестно и несправедливо прибегать к силе при подобных обстоятельствах". Чинквеченто превращал в предмет дипломатических извинений иногда вещи очень неожиданные.

\*\* История итальянской литературы, т. II, 423.

неблагодарность. Его роман с Пьеринной Риччя — трогательная новелла, точно вышедшая из-под пера Фиренцуолы или Банделло. В 1537 году один из его учеников женился на очаровательной четырнадцатилетней девушке, хрупкой и тоненькой, как былинка, с большими грустными черными глазами, с неизлечимой болезнью в груди. В своем доме, куда привез ее муж, Аретино принял ее как дочь, и отношения его к ней сначала были чисто отеческие. Но муж скоро бросил Пьерину. Она стала изливать свое горе Аретино, и его привязанность к ней стала иною. Потом они сблизились. Это было в 1540 году. Болезнь разыгралась, и тринадцать месяцев этот человек, которого принято считать вульгарным развратником, изображал из себя самую нежную, самую заботливую сиделку. Выздоровев, Пьерина сбежала с каким-то юным ловеласом. Письма Аретино\* сохранили следы удара, который нанесла его душе эта измена. Жалобы бурные, как рыкания раненого тигра, сменяются злорадным, но неискренним самоутешением: что будет вырвана с корнем из сердца эта несчастная, эта проклятая любовь. На голову похитителя сыплются громы и молнии... Но когда четыре года спустя Пьерина, жалкая, покинутая, умирающая, пришла к нему опять, он забыл все, стал ухаживать за ней с прежним самоотвержением. И когда она умерла у него на руках, ему казалось, что сам он умер вместе с нею.

Так же мало похожи на холодного развратника отношения Аретино к детям. У него были две девочки: старшую он назвал Адрией в честь Венеции, а младшую Австрией в честь Карла V. Матерью первой, а может быть и второй, была Катарина Санделла. Он любил девочек так, как только может любить отец, у которого нет ничего, кроме детей. "Австрия, как жизнь, мне дорогая! Австрия, душа моя сладкая!"\*\* — пишет он в одном письме, и как будто не могли эти слова выйти из-под пера страшного "Бича монархов". Между тем такой порыв мягких чувств так же свойствен Аретино, как и грозные беспощадные инвективы. Быть может, даже больше. Потому что быть грозным ему было необходимо из-за денег. Суровая беспощадность была его маской, перуны — его профессиональным оружием. По существу, Аретино скорее, быть может, был человеком добродушным. Добр он был несомненно. Сотни людей кормились в его доме, десятки ежедневно получали помощь и поддержку. Он готов был делиться последним с людьми даже далекими, даже совсем незнакомыми. "Расточительность свойственна мне так же, как другим скупость", — говорил он\*\*\*, и, может быть, доброта у него была результатом расточительности. Но она была во всяком

\* Lettere, II, 220—221.

\*\* "Austria a me come la vita cara, Austria, soave mia animetta", Lettere, V, 45.

\*\*\* "Я смеюсь в душе, — пишет он (III, 273) Якопо Сансовино, — когда вы желаете мне правильных доходов. Вы ведь знаете, что, если бы даже египетские пирамиды служили мне доходом, я пустил бы их в оборот. Лишь бы нам жить: все остальное пустяки".

случае. Он не был злопамятным, легко прощал обиды, легко забывал сделанное ему зло\*, если, конечно, дело не касалось денег. Потому что деньги любил Аретино больше всего: больше женщин, больше картин, больше роскошного обеда, больше цветов и фруктов. Он знал, что, если будут деньги, будет и все это; не будет денег — наступит бедность настоящая, не та риторическая, жалобами на которую пестрят его письма. "Бедность он ненавидел не только из-за лишений, которые она приносит с собою, но еще из-за стеснений, которые она налагает на душу, из-за необходимости размерять каждый свой поступок, каждую мысль, делать из мелочной арифметики закон и руководство жизни..."\*\*. Широкая и свободолобивая натура Аретино могла до конца показать меру своих талантов только среди довольства и изобилия. Деньги были нужны ему, чтобы он мог быть щедрым и расточительным, добрым и отзывчивым, как велела ему его природа. Аретино любил жизнь, любил жить и хотел, чтобы в его жизни было как можно больше красок, как можно больше цветов. А такой человек не может быть ни злым, ни жестоким, ни скупым. Он по необходимости добродушен, непамятен на зло, щедр и кошельком и сердцем.

## VI

Но, разумеется, Аретино предъявлял к жизни и требования более высокие, чем те, о которых говорилось до сих пор. Чувственные наслаждения не способны были целиком наполнить его взыскательную душу, душу артиста в полном смысле этого слова: Аретино любил искусство и литературу. Им он отдал много сил как художественный критик и как писатель. Да и вне творческой работы не понимал жизни без тонких эмоций, источник которых — искусство и литература или явления природы и жизни, преломившиеся сквозь художественную призму. Недаром он так дружил с художниками: Джулио Романо, Сансовино, Вазари, Себастьяно дель Пьомбо, Тицианом, недаром он любил общаться с писателями: Джовио, Бембо, Бернардо Тасса, даже Франко и Дони, пока с ними не поссорился. Но всякое духовное наслаждение должно было носить эмоциональный характер. Чистого умственного наслаждения, опьянения идеей Аретино не понимал. Для него то была нудная схоластика. Он не любил затруднять своей головы рассуждениями о природе вещей. Своего философа Платаристотиле он сделал комической фигурой и заставил в ответ на его рассуждения о природе вещей выслушивать от жены замечания о том, что представляет и где помещается настоящая природа\*\*\*. Платона, как замечает Граф, он ненавидел так же,

\* Bertani, 209—212.

\*\* A. Graf, Attraverso il Cinquecento, 119.

\*\*\* Il Filosofo, IV, 9: la natura, che sta fra le coscie.

как и Лютера, и когда Дони послал ему однажды философскую книгу, он вернул ее не читая, при ответе, прославляющем "решительную" жизнь: *vivere risolutamente*\*.

Все это у него выходило одинаково искренне. Аретино вообще никогда не притворялся. Эта привычка, столь свойственная людям Возрождения, была чужда его душе. Его настроение было очень непостоянно. Его вкусы менялись без конца. Он был способен подниматься на высоты, доступные только крупному артисту, и падать до таких удовольствий, которые были под стать грубым далматским стратиготам. Но он никогда не делал секрета ни из чего, потому что, повторяем, всегда был искренен. Он очень ценил себя, поэтому всегда хотел быть самим собою, хотя бы некоторые из тех образов, которые он принимал, и казались обществу не очень красивыми.

Вопросы морали его не интересовали. Он был в буквальном смысле слова по ту сторону добра и зла, как всякий последовательный эпикуреец-практик. То, что ему было приятно, было в его глазах нравственно, то, что ему вредило, — безнравственно. Вот почему так трудно уловить отдельные моменты мировоззрения Аретино. У него не было твердых взглядов ни на что. У него в разное время было разное отношение к тем вопросам, из-за которых болела душа у людей, более глубоких и не столь равнодушных к тому, что есть добро и что зло. Каковы были политические взгляды Аретино? Был ли он религиозный человек? Кто знает! В разное время он говорил разное. Он заступался за республиканские учреждения Флоренции и прославлял космополитическую монархию Карла V, под сенью которой могла якобы объединиться Италия. Но то и другое у него сочеталось с главным делом его жизни, с борьбой против итальянских тиранов. Тут он был более последователен\*\*.

То же было и с его религией. Аретино никогда не упускал случая похвалиться тем, что он верующий человек. Он усердно писал жития святых, рассказывал ветхозаветные и евангельские эпизоды, перелагал псалмы\*\*\*. Общественное мнение, однако, считало его нигилистом, а жизнь его меньше всего была похожа на жизнь праведного человека. Он много грешил и любил прелести греха. Но, кажется, как-то он все-таки верил. Его натура, грубая и поздно приобщившаяся к образованию, должна была

\* *Lettere*, IV, 269.

\*\* См. Sinigaglia, с. 137. Luzio, "Aretino... a Venezia", с. 35.

\*\*\* Духовных книг у него — шесть толстых, в 500—600 страниц каждый, томов: "О земной жизни Христа" (1535), "Переложение псалмов" (1536), "Бытие" (1539), "Житие девы Марии" (1539), "Житие великомученицы Екатерины" (1540), "Житие св. Фомы Аквинского" (1543). Филарет Шаль (указ. соч. 475) называет "жития" Аретино *absurdes romans*, а житие Екатерины Александрийской — "*un conte licencieux*". Недаром цензура и инквизиция так старательно охотились за этими книгами. Сейчас они — огромная библиографическая редкость. Недавно (1914) Э. Аллодоли напечатал сборник небольших, хорошо подобранных отрывков из них под заглавием *Prose sacre di P. Aretino*.

быть наклонной к вере, хотя наклонность к утехам была сильнее. Это и сам Аретино сознавал хорошо\*. И может быть, именно для того, чтобы бороться с упорно державшейся репутацией грешника, Аретино любил выставлять напоказ свою веру. Иногда это делалось у него не без торжественности. В 1542 г. он писал другу своему типографу Марколини, который как раз в это время печатал его "жития" и очень тревожился из-за нападок на них духовенства\*\*: "Что мне в трескотне монахов, уверяющих, что я не умею говорить о вере! Уже, конечно, я умею лучше верить во Христа (*so meglio credere*), чем они умеют говорить о нем. Отсюда следует, что из моих рассуждений не родятся сомнения и я сильнее иметь бога больше в сердце безмолвном, чем на устах глаголящих (*nel core tacito, che nella bocca vocifera*)".

Писать Аретино был мастер. Было ли искренне то, что он писал? Сам он, быть может, не сомневался, что его слова точно соответствуют его чувствам. Но совершенно бесспорно, что они не передают настоящих его религиозных настроений. Правильно в письме к Марколини только одно: "Я умею верить". Не просто "верю", а "умею верить". У него никогда не было "бога в безмолвном сердце". Он был у него всегда именно "на устах глаголящих". Вера Аретино была холодная и официальная. В ней не было ни глубины, ни лирики, ни пафоса. Ибо если что-нибудь было чуждо душе Аретино, то это прежде всего мистика. В житиях и переложениях Библии он то и дело говорит о чуде, а подъема не чувствуется в его густой риторике. Единственное чудо, которое его трогает и по поводу которого он готов возглашать свое *credo quia absurdum* — "чудо" с Фомой Аквинским и куртизанкой. Братья прислали к аскету веселую женщину, чтобы соблазнить его и отвлечь от мыслей о монашестве. Но Фома устоял. Вот и все чудо. Аретино на нескольких страницах с упоением, награждающая подробностями, рассказывает, как изощрилась эта женщина, какие пускала в ход прельщения, чтобы добиться цели. Словно Аретино забыл в этот момент, что он пишет благочестивую книгу и что в руках у него не перо, живописавшее похождения Нанны, Пиппы и других персонажей *Raggionamenti*\*\*\*. В вере Аретино не было ничего, кроме внутреннего равнодушия и практических соображений. Не верить было опасно и невыгодно. "Уметь" верить было нетрудно. В этом отношении Аретино несколько не выделяется из современной ему интеллигентской массы. В годы, когда могли складываться его религиозные убеж-

---

\* См. Bertani, с. 342.

\*\* Lett., II, 325.

\*\*\* А большинство рассказов, входящих в житие и библейские эпизоды, представляют собой не более как описание картин на эту тему, виденных Аретино в разное время. Тициан, Тинторетто, Себастьяно дель Пьомбо, Пальма, Веронезе и другие художники написали достаточно, и у Аретино материал был богатый. Детали его рассказов, мелочи быта явно могли быть заимствованы только у живописи. См. Allodoli, введение к *Prose sacre*.



дения, большинство было к религии индифферентно, но порывали с религией лишь немногие, очень убежденные и мужественные люди. В годы зрелости Аретино картина изменилась. Отход от католицизма, который церковь толковала как разрыв с религией, принял большие размеры: в связи с проникавшей в Италию лютеранской и кальвинистической пропагандой. И те, которые были им захвачены, сразу расстались с равнодушием и обрели мистический подъем. Такие фигуры, как Бернардино Окино, Пьетро Карнесекки, Аонио Палеарио, гонимые и мученики, заставляли много говорить о себе. Появились целые гнезда религиозной оппозиции: в Неаполе вокруг владетельной княгини Джулии Гонзага и испанского гуманиста Хуана Вальдеса\*, в Венеции вокруг кардинала Контарини. Аретино не мог не знать об этом, потому что наиболее высокий подъем борьбы против казенного католицизма пришелся на 40-е и 50-е годы. Он был свидетелем казней и преследований еретиков, злился на них потому, что в их убежденности, в пафосе их чуял упрек собственной равнодушной вере, и в то же время очень боялся, как бы на него самого не обрушилось обвинение в безбожии. И он делал вид, что поднимающаяся волна католической реакции захватила его. Его религиозные заявления стали воинствующими, хотя внутреннего огня в них не прибавилось. Данью Аретино навязчивым настроениям католической реакции были не только обличения Лютера, но и отрицание съюбоды совести и такие дикие выходки, как требование к Микеланджело — во имя благочестия — одеть фигуру Страшного Суда Сикстинской капеллы\*\*.

Образ Аретино гораздо сложнее, чем это было еще не так давно принято себе представлять. Он не такая яркая в своих отрицательных свойствах фигура, как думали. Он *virtuoso*, человек той *virtù*, волевой и умственной, которую только и ценило Возрождение, плоть от плоти и кровь от крови своего века, его сгущенное, если можно так выразиться, изображение. Оправдывать его от обвинений бесполезно. Стараться представить его человеком высоких нравственных качеств просто смешно. Его нужно только объяснить. Чтобы объяснить его, его нужно привести в связь с культурой Возрождения. Разумеется, ни один биограф, ни один критик не упустил из виду эту связь. О ней много говорят. Но никто не договаривает. Ни один из биографов не сделал того, что нужно было сделать, не попробовал понять Аретино с точки зрения эволюции основных принципов Возрождения.

---

\* Это брат-близнец секретаря Карла V, Альфонсо Вальдеса, на которого писал донос Кастильоне.

\*\* То, что в этом нелепом требовании другу Тициана вдруг изменил его верный художественный вкус, объясняется просто. Он был зол на Микеланджело за то, что тот относился к нему с пренебрежением, и хотел насолить ему.

Едва ли нужно напоминать, что основным принципом Возрождения был индивидуализм. Путем борьбы со старым церковным мировоззрением был открыт человек и освобожден от уз, которыми сковывали его в средние века идеалы аскетизма и установления теократии. Усилия лучших людей итальянского Возрождения: Петрарки и Боккаччо, Салутати и Поджо, Лоренцо Валлы и Леона Баттиста Альберти, Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола — были направлены к тому, чтобы открыть личности человеческой законную возможность развивать свои внутренние силы, не опасаясь церковной опеки. И теоретически эта задача была решена превосходно: новая этика освободила человеческую личность. Иное дело — на практике. Правда, и на практике сделано было много. Церковь не мешала больше ничему; папство пошло в Каноссу Ренессанса, не только санкционировало все движение, но даже было не прочь слить его с путями пути церковной политики. Но, освободившись от опеки церкви, Возрождение попало под другую опеку, не менее стеснительную, — опеку многочисленных итальянских дворов. Случилось это в силу естественной политической эволюции. В XV веке Возрождение, как известно, почти слилось с гуманизмом, с тягой к античному, и те народные начала, которые расцветали в XIV и в начале XV века, традиции Данте, Петрарки и Боккаччо, которые старались культивировать одинокие гении вроде Леона Баттиста Альберти, заглохли надолго. Девизом интеллигенции сделался возврат к античной культуре, и вполне естественно, что вследствие этого между ней и народом разверзлась бездна. Отвергнутые народом, куда должны были метнуться гуманисты? Ко дворам, потому что больше было некуда. Приют при дворах давался, конечно, не даром. Гуманистов ценили, но их эксплуатировали. Люди, патетически рассуждавшие об освобождении личности от всяческих пут, не заметили, что сами себе сковали цепи очень требовательной опеки. Ко вкусам, ко взглядам, интересам дворов они должны были теперь приспособляться. От них этого требовали.

Дальнейшая эволюция индивидуализма ставила, таким образом, вполне определенную задачу: разбить опеку дворов над человеческой личностью, как в XV веке была разбита опека над ней церкви. Вопрос технически сводился к тому, чтобы уничтожить материальную зависимость интеллигенции от дворов и дать ей возможность крепко стоять на собственных ногах. К этому шло все с самого начала XVI века. Пьетро Аретино первый сделал попытку добиться этого путем планомерных усилий, и в этом заключается его великое значение в истории не только итальянской, но и мировой культуры. Вся его жизнь, вся его деятельность бьет в эту именно точку. Итальянские биографы Аретино рассматривают как нечто обособленное от его жизни его литературную деятельность. Это большая ошибка. То и дру-

гое тесно связано. Если раскрепощение от дворов должно было вернуть интеллигенции утраченную ею свободу, то борьба против классицизма и пропаганда всех литературных видов на итальянском языке должна была восстановить связь между интеллигенцией и народом, способную обеспечить ее материально без нарушения ее свободы.

Мы знаем, что Аретино начал, как начинали и кончали все представители литературы Возрождения до него, службой при дворах. Талант у него был большой, и его ценили. После разгрома Рима загнанный в замок св. Ангела Климент VII беспрестанно вспоминал Аретино. Ему нужно было писать тонкие дипломатические письма императору, а составить их толком никто не умел. Папа горько жаловался на то, что все потеряли голову и сделались ни на что не способны, и сокрушался, что нет с ним Аретино. Бывший кардинал Медичи хорошо знал, на что способен его прежний друг. И маркиз Мантуанский ставил его очень высоко. Но придворные цепи были не для Аретино. Попав в Венецию и оценив удобства пребывания там, Аретино принял свое великое решение.

В упомянутом уже письме к дожу он дает свою Аннибалову клятву: "Поняв в свободе великой и доблестной республики, что значит быть свободным, отныне и навсегда я отвергаю дворы".

Он нашел себе эпитет: *uomo libero per la grazia di dio*, "свободный человек милостью божьей". Свобода вместо рабства, право вязать и разрешать тех, кто при других условиях мог его казнить и миловать, безопасность под эгидой крылатого льва св. Марка вместо риска получить кинжал в спину по капризу любого вельможи — вот что имел он теперь. В Венеции он будет без помехи "жить решительно", *risolutamente*. Что могла дать ему придворная служба, чего он не мог бы иметь, живя в своем чудесном доме на *Canal Grande*? Дворянство? Его никогда не добивался Аретино. В нем крепко сидела гордая психология потомка многих поколений тосканских горожан, сокрушавших мощь феодалов, и он не дошел еще до нового миропонимания героев новеллы Ласки, приведенной выше. "Истинное, настоящее благородство рождается из души, незаконное — из крови"\* . Подобно Пульчи, такому же упорному и непримиримому горожанину, подобно многим его последователям, Аретино внес свой вклад в литературу, развенчивающую рыцарство, своего героикомического *Orlandino*. А когда Карл V предложил возвести его в дворянство, он отклонил эту честь и писал друзьям, что, по его мнению, "дворянин без дохода, — все равно что стена, на которой нет знаков, что запрещается останавливаться: *upo tuogo senza scosi scompischiato da ognuno*". А кроме дворянства или подобных же бесполезных почестей служба при дворах могла принести только деньги. Аретино был твердо уверен, что с высоты, на которую подняла его новая свобода милостью божьей, он сумеет извлечь

\* Lett., III, 206.

у монархов несравненно больше, чем могла бы дать ему служба при одном каком-нибудь дворе. "Дворян гораздо больше, чем талантливых людей, — говорит он\*. — Талант дает благородство, а не благородство талант. Дворяне расточают, талантливые люди возвышаются".

Когда мы просматриваем письма Аретино, эти шесть толстых томов старой печати, то первое впечатление от них получается отталкивающее. Вот просьба о деньгах, вот опять, тут благодарность или пышная хвала за полученные деньги, дальше снова клянчание пенсии, там что-то похожее на откровенное вымогательство, здесь острый аромат шантажа. Таких писем большинство. Аретино облагает всех, кого можно, и все платят. Если кто не платит, тому посылается угроза; после угрозы отказы случаются редко. Большинство данников Аретино — государи: большие, средние, мелкие, мельчайшие; потом кардиналы, придворные, вельможи, полководцы, купцы. Так много было их, что Аретино пришлось однажды в голову заказать медаль, на одной стороне которой был его портрет, а на другой он же изображен сидящим на троне, в длинной императорской мантии, а перед ним толпа владетельных государей, приносящих ему дар. Кругом надпись: *i principi, tributati dai popoli, il servo loro tributano*, то есть государи, собирающие дань с народов, приносят дань своему рабу. Дони, злейший враг Аретино, называл его *tagliaborsa dei principi*, грабителем кошельков у государей. Артуро Граф\*\* объясняет это не так исторически, с эволюционной точки зрения: "Между литературой, так сказать, служилой (*di servizio*) и литературой независимой должна была быть промежуточная, соединяющая черты той и другой. Между литератором, который просит милостыню, и литератором, который получает гонорар за свою книгу, должен был быть литератор, который облагает милостыней. Этим литератором был Пьетро Аретино".

Чем же добивался Аретино такой покорности со стороны государей, из которых каждый был большим или меньшим деспотом, и вдобавок еще в эпоху, когда наемные убийцы делали такие великолепные дела?

Во-первых, своими сонетами и другими стихотворениями, в которых сатира чередовалась с восхвалением и в которых он продолжал традиции маэстро Пасквино. Во-вторых, письмами. Аретино первый начал публиковать сборники своих писем, и эти сборники преследовали определенную публицистическую цель. В этом отношении Аретино продолжал традиции Возрождения, которые повелись с Петрарки и с Катарины Сиенской. Человек, который завоевал себе выдающееся положение, мнениями которого интересовалось общество, от времени до времени выпускал свои письма к определенным лицам, иногда даже и "без адреса" (*sine titulo*), как Петрарка. В XV веке при помощи этих писем

\* Lett., V, 215.

\*\* Attraverso il Cinquecento, 111.

многие гуманисты пытались сводить свои личные счета. В этом отношении особенным артистом был Франческо Филельфо, который в развязности и наглости не уступал Аретино, но не имел ни его таланта, ни такого количества читателей, потому что писал по-латыни. Аретино первый начал распространять свои письма в печатном виде. Это было с точки зрения популярности его писаний самое большое отличие его от предшественников. Он стал выпускать письма печатными сборниками, после того как многие из них циркулировали в списках. С двойной целью. Прежде всего он стремился произвести более сильный публицистический эффект. Эта цель была достигнута. Вместе с *giudizii* письма, получающие широкое распространение по всему культурному миру, становятся могучим орудием пропаганды и борьбы. Письма Аретино начал печатать сборниками после того, как *giudizii* имели такой большой успех и, нужно думать, под впечатлением этого успеха, чтобы еще крепче утвердить свое влияние как публициста. Если отдельное письмо, даже распространяемое в виде печатного листка, не более как легкокрылая парфянская стрела, то сборник — вполне современная сокрушительная батарея. Это очень скоро поняла пишущая братия в Италии. Она оценила изобретение Аретино и пошла по его следам. Раньше чем через год после появления первого тома писем (1537) Аретино выпустил свой сборник к Николо Франко, тогда еще другу, скоро ставшему злейшим врагом. Следом пошел Антон Франческо Дони, тоже приятель, превратившийся в недруга. А за ним — чуть не все лучшие итальянские прозаики того времени: Бембо, Клаудио Толомеи, Бернардо Тассо, Николо Мартелли, Джироламо Парабоско и много других\*.

Но кроме этой цели у Аретино была другая. Помимо литературного влияния ему нужны были деньги. Письма ему их приносили. Достигалось это тем, что в них хвала и хула были распределены в строгой зависимости от того, кто как платил.

Отсюда — необыкновенная тщательность в редактировании сборников писем. Когда он начинал составлять очередной том, он всячески старался включить в него все письма, которые почему-нибудь были для него важны\*\*. Отсюда же и тон писем. В них особенно заметно сказывались вместе с крупными достоинствами: выразительностью, яркостью и гибкостью — самая неприятная особенность языка Аретино: его нестерпимая манерность\*\*\*. Искусственность, деланность, напыщенность многих из его писем, главным образом тех, где речь идет о деньгах, таковы, что

---

\* См. Flamini, *il Cinquecento*, 164.

\*\* Очень любопытно в этом отношении письмо к Вазари (*Lett.*, I, 161), где Аретино просит его прислать ему копию другого более раннего письма с описанием торжественного приема Карла V во Флоренция.

\*\*\* Старик Тирабоски ("*Storia della lett. ital.*", VII, 1039) говорит: "Стиль Аретино лишен всякой элегантности и всякого изящества. И мне кажется, что он был одним из первых, кто стал пользоваться смешными гиперболами и странными метафорами, которые так были в ходу в следующем веке".

из-за них часто остаются незамеченными их огромные стилистические достоинства. И когда Пиццо в Таланте\* говорит: "Риторика на кончике языка у всякого, кто любит, кто обманывает и кто нуждается", — мы чувствуем, что Аретино, который отлично сознавал этот недостаток своего стиля, пытается себя оправдать. Он много любил, много нуждался, ему много приходилось обманывать.

Наконец, третьим, главным средством, которым Аретино действовал на власть имущих, были его *giudizii*.

"*Giudizii*" — это сатирическое предсказание на тот или другой год, по форме представляющее пародию на очень обычные в то время гороскопы, выпускавшиеся в большом изобилии досужими астрологами и приносившие им хороший доход. В этих астрологических предсказаниях перечислялось по порядку, что произойдет в предстоящем году, какая будет зима, какое лето, как будут влиять знаки зодиака, что случится в той или иной стране, в том или другом итальянском государстве\*\*. На этой канве Аретино выводил свои сатирические рисунки, где, опять-таки в строгом соответствии со своей теорией чернил, высмеивал или прославлял видных людей, смотря по тому, кто как платил. Первый образец такого собирательного, если можно так выразиться, памфлета Аретино выпустил в 1527 г. после разгрома Рима войсками коннетабля Бурбона\*\*\*. Это тот самый, за который Климент VII хотел разделаться с ним при помощи убийцы. До нас он не дошел, так же как и следующие, выходившие, вероятно, каждый год. Единственный сохранившийся полностью экземпляр — это предсказание на 1534 г., найденное и напечатанное Луцио\*\*\*\*. Оно написано в момент самой большой дружбы с Франциском I, восхваляет до небес его и всячески язвит его противника, императора; изливает на друзей Франциска все благодеяния и пророчит всевозможные несчастья Карлу и его друзьям: Аретино выгоняет в предсказаниях, конечно, испанцев из Неаполя, Андреа Дориа — из Генуи, Сфорцу — из Милана и всюду сажает французов, Флоренцию делает столицей королевства Этрурии для мужа Екатерины Медичи\*\*\*\*\*; возвращает Сиену партии Петруччи, враждебной Карлу, и т. д.\*\*\*\*\*

---

\* I, 13.

\*\* Такие предсказания издавались и в других странах, и во Франции, напр., от них исходил Рабле в "*Pantagrueline pronostication*", в 1533 г., то есть до путешествия в Италию, но через 6 лет после появления первого *giudizio* Аретино. Вопрос о связи между писателями возникает сам собой, но пока остается открытым.

\*\*\* А может быть, и раньше. См. ниже донесение посла мантуанского в Риме маркизу до конца 1526 г., где о *giudizii* говорится, как о вещи хорошо известной.

\*\*\*\* *Un pronostico satirico di P. Aretino*, 1900.

\*\*\*\*\* В то время жив был еще старший сын Франциска и Генрих не был дофином Франции.

\*\*\*\*\* Нужно заметить, что пророчество оказалось на редкость неудачным. Карлу, словно назло "пятому евангелисту", особенно везло в ближайшие годы: ему достался Милан, он имел крупные успехи в Тунисе и т. д. Ср. *Luzio*, с. XIX.

Чтобы дать представление о том, как писал эти вещи Аретино и чего в них боялись власть имущие, приводим два отрывка: часть вступления и пророчество о зиме.

"В с т у п л е н и е... Объявляю вашему величеству\* и выражаю уверенность, что Рак, Скорпион, Весы и Близнецы при содействии книжников и фарисеев Зодиака вольтуют в меня секреты неба, как вливают в зверинец князей все пороки: коварство, трусость, неблагодарность, невежество, подлость, хитрость и ереси, solum, чтобы сделать вас великодушным, храбрым, благодарным, доблестным, благородным, добрым и христианнейшим. А если небу угодно сделать их ослиами, грубиянами (plebei) и преступниками, почему именно мне хотят зла герцоги Феррары, Милана, Мантуи, Флоренции и Савойи, герцоги только по имени? Разве я несу вину за молчаливую скаредность императора? Я побуждал короля Англии к перемене ложа?\*\*\* Если Венера заставляет злоупотреблять косметиками маркиза Дель Васто\*\*\*, что я могу с этим поделаться? Если Марс отказывает в воинской доблести Федерико Гонзага, зачем сваливать это на меня? Если Рыбы заставляют Альфонсо д'Эсте солить угрей\*\*\*\*, пусть он пеняет на себя, а не на Аретино. Если Близнецы сводят кардинала Чибо с невесткою, за что дуется на меня славный синьор Лоренцо?\*\*\*\*\* Если Весы побуждают герцога Савойи вешать мясо и масло\*\*\*\*\*, при чем тут я? Если Козерог украшает голову такому-то князю, такому-то герцогу, такому-то маркизу, ведь не я же был сводником..."

А вот и другой отрывок:

"Зима. Так как движение солнца через квадрат луны зажжет все небесные светила, зима будет более холодной, чем цветущая весна и чем зрелая осень\*\*\*\*\*. Поэтому все владельцы Ломбардии, чтобы не умереть от холода, будут, согласно местному обычаю, спать со своими кухнями, невестками и сестрами. И если кто станет вменять им это в преступление, они будут ссылаться на lex impregia, ибо император в Болонье занимался любовью со своей свояченицей, герцогиней Савойской, с папского благословения\*\*\*\*\*. А потом, столько идет разговоров об

\* Франциск.

\*\* Развод Генриха с Екатериной Арагонской из-за Анны Болейн.

\*\*\* Легкий выпад по адресу приятеля, Альфонсо де Авалос.

\*\*\*\* Альфонсо д'Эсте в это время объявил рыбную торговлю монополией феррарской казны. В дальнейшем ему достается хуже: "Альфонсо, который, подобно Антонину, заслуживает прозвище Pius (благочестивый или сострадательный) за то, что живыми похоронил братьев...", то есть Джулио и Ферранте д'Эсте, о которых была речь выше.

\*\*\*\*\* Отношения кардинала Чибо к жене его брата Лоренцо были притчею во языцех.

\*\*\*\*\* Речь снова идет о торговой монополии.

\*\*\*\*\* Смесь нелепости и трюизма, пародирующая обычные астрологические предсказания.

\*\*\*\*\* Герцогиня Савойская, Беатриче, отличавшаяся замечательной красотой, была сестрой супруги Карла V. "Папское благословение", конечно, приплетено здесь для вящего посрамления Климента, который лично принимал участие

английском короле, который *amore dei et bonae voluntatis* посадил в монастырь одну женщину, за XVI лет не сумевшую снести ему яичко\*. Благо нашим, которые несут в год по пяти и по шести, наподобие феррарезок, миланок, мантуанок и неаполитанок. Все знаки, все звезды, все планеты, после вычисления их квадрантом, утверждают, что уродливая маркиза Мантуанская, у которой зубы черны, как черное дерево, а брови белы, как слоновая кость, подло безобразная (*dishonestamente brutta*) и еще более подло накрашенная, родит на старости лет без супружеского оплодотворения. И такое же явит чудо синьора Вероника Гамбара, увенчанная лавром блудница\*\*\*.

В таком тоне выдержан весь довольно длинный памфлет. Ему нельзя отказать в каком-то своеобразном остроумии. Буркхардт\*\*\* находит даже, что гротескные остроты Аретино в отдельных случаях не уступают Рабле. Много ли в нем явных измышлений? Нет. "Аретино, — говорит Луцио\*\*\*\*, — редко клеветает и выдумывает. В девяносто девяти случаях из ста он ограничивается тем, что предаст гласности удостоверенные скандалы, пускает в обращение факты, позорящие людей, придавая им форму неожиданную и едкую". Этой же тактики держался он и в других своих памфлетах. *Ciudizii* были действительно, потому что они расходились в большом количестве\*\*\*\*\*. Совершенно несомненно, что в больших городах Италии уже существовала профессия торговцев новостями, родоначальников современных "газетчиков". Это подтверждается письмом мантуанского посла в Венеции, опубликованным тем же Луцио\*\*\*\*\*, где говорится:

---

в болонских переговорах. Аретино не прощал ему безнаказанности Джигерти. В дальнейшем Климент называется Папа Чименте (папа, который лжет), а Рим — *Roma coda mundi* (пародия на *Roma — caput mundi*). Не забыты в дальнейшем, разумеется, и знаменитые габсбургские челюсти Карла V (*mascelle torte*).

\* Опять про Екатерину Арагонскую.

\*\* Изабелла д'Эсте в молодости считалась красавицей. Написанный Тицианом портрет ее в зрелые годы, может быть, и подтверждает оценку ее наружности, данную здесь. Аретино, как замечает Луцио, мог часто видеть ее в Венеции. Намеки на ее распутство — чистая клевета. Быть может, Аретино мстил ей за то, что она ни разу не снизошла до подачек ему. Такая же клевета то, что говорится про Веронику Гамбару. Это тем более непонятно, что знаменитая поэтесса всегда заискивала перед Аретино.

\*\*\* "Kult. d. Ren. in Italien", 8 изд., I, 178.

\*\*\*\* Pronostico satirico, XXXI.

\*\*\*\*\* Луцио предполагает, что оригинал, с которого списан его рукописный экземпляр, был печатный, и высказывает предположение, что такие *giudizii* продавались в виде брошюр или листов ("Аретино... a Venezia", с. 7—8; *Un pronostico satirico*, XIII—XIV). Бертани, наоборот, думает, что *giudizii* "оставались неизданными и были известны только немногим друзьям, которым показывали, что может сделать Аретино со своими недругами" (*Aretino e le sue opere*, с. 123—124). Доводы Бертани представляются малоубедительными. Если *giudizii* и не печатались, что маловероятно, раз их продавали "газетчики", то во всяком случае они очень были распространены в рукописном виде. В конце 1526 года посол маркиза Мантуанского пишет ему из Рима: "*Giudizii* этого года еще не вышли, и я не мог достать вещей Аретино. Но маэстро Андреа уверял меня, что он ждет их и готовится их переписывать во все руки" (*G a u t h i e z*, "L'Аретин", 27).

\*\*\*\*\* Аретино... a Venezia, 8.



"Некий бедный человек, который ходил по Риальто и продавал giudizii..." А в Риме это было настолько обычным промыслом, что Аретино ввел фигуру этого camelot эпохи Возрождения в одну из своих комедий\*.

Приводим эту сцену:

*"Оборванец* (кричит). Чудные истории, чудные истории!

*Мако*. Тише! Чего орет вот этот?

*Сиенец*. Сумасшедший, должно быть, какой-нибудь...

*Оборванец*. Чудные истории, истории, истории. Война с турками в Венгрии! Предсказания брата Мартина! Собор! Истории, истории. Схизма в Англии! Пышная встреча папы и императора! Обрезание воеводы! Взятие Рима! Осада Флоренции! Свидание в Марселе с заключением! Истории, истории!\*\*\*

Из впечатления, которое этот camelot производит на провинциалов, видно, что продажа историй — явление новое. Но оно существует. "Истории" продаются. Продавались и giudizii Аретино. Но если они даже не продавались, то несомненно, что они получали большое распространение путем списков. Так или иначе, действие их было совершенно одинаково с действием печатного слова. Идея современной газеты родилась.

Аретино если и не совсем еще журналист в современном смысле слова, то он, несомненно, первый тип влиятельного публициста, который пользуется известностью и огромным влиянием в обществе. У него прежде всего большая осведомленность. "Из своего безопасного гнезда в лагуне, — говорит Синигалья\*\*\*, — он с одного взгляда понимал все, что происходило в Европе наиболее примечательного; на все он имел глаз, великолепно лавировал (destreggiavasi) между могущественными противниками, из всего извлекал немалую пользу. И подобно тому как государи через послов, он через посредство друзей, Давида Одазия, Чезано, особенно Верджеро, был всегда в курсе малейших событий. Иногда и другие его осведомляли, напр. Вазари..." Кроме того, эти же друзья или другие вертелись при дворах, выискивали богатых людей, о которых сообщали все необходимые сведения Аретино на предмет обращения к ним с письмом, вручали письмо, когда оно приходило, получали и пересылали в Венецию мзду, удержав, нужно думать, справедливый процент\*\*\*\*. Словом, если говорить языком журнальной техники,

\* La Cortegiana, I, 4.

\*\* Ради комического эффекта, а может быть, чтобы высмеять проказы этих furfanti, которые, как и их современные потомки, умели обманывать публику несуществующими или старыми новостями, Аретино свалил в кучу события, отделенные друг от друга рядом лет. Вторжения турок в Венгрию и ожидание собора были фактами постоянными в начале 30-х годов XVI в. "Предсказаниям" Лютера минула уже почтенная давность, начало схизмы в Англии относится к 1533 г., Болонское свидание Климента с Карлом V — к 1529 и 1530 гг., союз Яна Запольи, воеводы Трансильванского, с турками — тоже, свидание Франциска с Климентом в Марселе — к 1532 г.

\*\*\* Saggio di uno studio su Pietro Aretino, 143.

\*\*\*\* См. Flamini, Il cinquecento, 405.

у Аретино была хорошо организованная редакция: информация, корреспонденты, агенты и т. д. Но этого мало. Главная причина его успеха заключалась в том, что он своим талантом, несравненным талантом публициста, усилил в обществе потребность иметь нечто вроде журнала. Аретино своим талантом поднял тираж газетных суррогатов XVI века. Его много читали. Он был властителем общественного мнения. По проложенному им пути шли другие и, чем дальше, тем в большем количестве. И это учитывалось. Как ни слабо было еще общественное мнение в то время, совсем с ним не считаться было нельзя при многочисленности самостоятельных политических единиц в Италии и за Альпами, при запутанных донельзя политических делах, когда никто не мог сказать заранее, где он найдет противника, где союзника. Нет ничего удивительного, что даже самые могущественные монархи побаивались его, и, быть может, не столько боялись, сколько чувствовали выгоду иметь его на своей стороне, а не на стороне противника.

После выхода предсказания на 1534 год Карл V стал усиленно стараться привлечь его на свою сторону. Причины тут были разные. Мантуанский посол Аньелло пишет Федерико Гонзага из Венеции, что причины эти заключались в том, чтобы Аретино "не писал о нем дурно, особенно же из-за свояченицы", то есть все той же Беатриче Савойской\*. Кроме того, император надеялся получить и политическую поддержку от него. И он не ошибся. Как только Аретино принял пенсию императора, он написал свое знаменитое письмо Франциску по поводу его союза с турками против Карла\*\*. Оно было красноречивым апеллированием к общественному мнению всего христианского мира, имело громадный успех и произвело большое действие. Можно указать целый ряд других случаев, когда вмешательство Аретино останавливало или подкрепляло решения большой важности. В Риме при Клименте он помог маркизу Мантуанскому добиться своих целей; он поддержал кандидатуру Козимо Медичи, сына Большого Дьявола, в герцоги Флоренции; без Аретино предшественник Козимо, герцог Алессандро, никогда не стал бы зятем Карла V; он спас Ареццо от разгрома, избавил Перуджу от большой опасности. И сами владетельные особы, которых так безжалостно разоблачало иногда перо Аретино, признавали, что он делает полезное и нужное дело. "Ваши *giudizii* для меня настоящий оракул", — писал ему Федерико Гонзага\*\*\*. Он же, совершенно в духе своего времени, говорил: "Нам чрезвычайно приятно получать хвалы из уст образованных людей, ибо эти хвалы истинные и прочные"\*\*\*\*. Антонио де Лейва говорил, по словам Аретино: "Аретино более необходим для человеческой жизни, чем проповеди, потому что те направляют на путь истинный

---

\* Luzio. Pronostico, XXII.

\*\* Lettere, I, 156. О его действиях ср. Lettere, I, 182; V, 186.

\*\*\* Luzio, Arétino... a Venezia, 6.

\*\*\*\* Gauthiez, 20.

простых людей, а его писания — вельможных”\*. Альфонсо д’Авалос увещевал его продолжать в том же духе: ”Итак, следуйте вашим путем, достойным похвалы, и не обращайтесь внимания, если кто-нибудь будет желать вам зла: лучшие люди вас будут любить из ненависти к преступлениям”\*\*\*.

Сам Аретино смотрел на свою публицистическую миссию приблизительно так, как определяли ее Лейва и Авалос: ”Я, Пьетро Аретино, порицаниями показываю им, что они собой представляют, и похвалами то, чем они должны быть”\*\*\*\*. Своего комического философа Платаристотиле он заставляет изрекать афоризм: ”Пороки государей развязывают языки”\*\*\*\*\*. И так как государи боятся правды, то правда, оглашенная во всеуслышание, может их исправить\*\*\*\*\*. Но он не скрывает, что деньги играют для него большую роль. Он открыто признается одному из приближенных Франсиска I: ”Многое, что было сказано, было бы скрыто, и многое, о чем было умолчено, было бы сказано”, если бы ему вовремя хорошо заплатили\*\*\*\*\*. Он просит Вазари передать герцогу Козимо, что причина его молчания — его бедность\*\*\*\*\*. Но, как верно замечает Луцио\*\*\*\*\*, у него вместе со всем этим достаточно ясное и определенное чувство того, в чем достоинство литературы и как должна совершаться ее эмансипация. Он провозглашает право литературной деятельности быть вознагражденной достойным образом. ”Он становится, словом, первым журналистом, который без лицемерия получает содержание из секретных фондов. Печать — новая держава, которая крепнет, с которой необходимо считаться, и князья заключают соглашение с Аретино, представляющим печать. Они признают, что им удобно иметь друга, который может действовать на общественное мнение и через него на события”. Это ”соглашение” настолько крепкое, что, когда в 1547 году Аретино подвергся избиению по приказу английского посла, флорентийский секретарь писал своему ”оратору” в Венеции, Пандольфину: ”Английский посол запятнал (maculata) ту свободу, которая дарована ему (Аретино) всеми христианскими государями”\*\*\*\*\*.

Разве это не красноречивое свидетельство того, что свобода личности прошла новый этап в своем развитии? Источник ее

---

\* Raggionamenti, 2-я часть, предисловие.

\*\* Luzio, Pronostico satirico, XXXVI.

\*\*\* Lettere, III, 133.

\*\*\*\* Il Filosofo, II, 5.

\*\*\*\*\* В ”Житии св. Фомы Аквинского”, передавая слухи о том, что Фома умер от яда, который ему дали по приказанию ”некоего” короля — почему-то он не захотел назвать Карла Анжуйского, — Аретино прибавляет: ”Это правдоподобно, ибо у государей нет большего врага, чем правда, и они боятся, что другой разоблачит их преступления”. Prose sacre, с. 169.

\*\*\*\*\* Lettere, I, 113; ср. I, 230.

\*\*\*\*\* Lett., II, 184. Очевидно, Козимо высказывал желание получить очередное восхваление.

\*\*\*\*\* Aretino... in Venezia, 55—56.

\*\*\*\*\* Ibid., 56.

действий уже не в чужой воле, а в ее собственной, и те, кому она еще недавно служила, это признают.

Ведь деятели Возрождения, освобождая личность, никогда не воодушевлялись демократическими идеалами. Личность для них — это лишь избранные члены литературной республики. Благодаря своему аристократизму они сделались чужды народу и попали в вавилонское пленение ко двору. Именно их освобождал теперь Аретино.

Правда, освобождение от придворных оков и "свобода божьей милостью" в переводе на язык социальных отношений означали лишь одно: свободное подчинение оковам собственной классовой природы. Но эти оковы носят легко, ибо они ощущаются настолько слабо, что даже самое их существование не всегда доходит до сознания. Особенно в ту раннюю стадию эволюции классового сознания, в какую жил Аретино. Разрывая с дворами, Аретино разрывал с феодальной реакцией — ибо в этот момент уже все остававшиеся итальянские дворы пропитались феодальной культурой — и отдавал свой талант на службе буржуазии, ближайшим образом венецианской, с которой он был кровно связан. В нем говорил безошибочный инстинкт, отчетливое понимание временного характера победы, одержанной феодальной реакцией, и блестящего будущего, ожидавшего буржуазию, несмотря на ее поражение в Италии. Только для Аретино все эти социальные категории переводились на реальный язык личных выгод и невыгод, подсказывали поэтому целую систему индивидуальных действий и в сумме складывались в индивидуальный — и индивидуалистический — девиз: "Свободный человек божьей милостью".

## VIII

Пьетро Аретино был литератор, настоящий литератор. Его литературный талант был огромный, сочный, многогранный, неиссякаемый. Он с одинаковой легкостью писал стихами и прозой; и стихами и прозой во всех возможных — частью даже невозможных — видах. У него есть трагедия в стихах, сонеты, героические поэмы, поэмы героикомические, сатиры; в прозе — жития святых, диалоги на разные темы, комедии, письма.

Основное направление литературной деятельности Аретино — реализм. Когда Аретино вступил на литературное поприще, господствовали три литературных течения: классицизм, петраркизм и боккаччизм. Петраркизм давил и обесцвечивал лирику, боккаччизм — прозу, классицизм — все понемногу. Литература приобрела школьный характер, была непонятна и недоступна народу, и, хотя деятельность Пульчи, Боярдо, Ариосто, Макиавелли, новеллистов, авторов комедий разрушила преобладание латинской поэзии, дух школы остался на всем. Заслуга Аретино и здесь в том, что он поднял бунт против школы во имя жизни,

во имя приближения к народу. Никто до него не решался так прямо ставить эти вопросы, всякий подчинялся, боясь скандала среди литературной братии. Аретино не боялся скандала ни в какой области. Он дерзнул — и победил.

В своей лирической поэзии он сознательно удаляется от шаблонов петраркизма и ищет сюжетов для сонета или *capitolo* в окружающих его явлениях. В своей прозе он не хочет следовать примеру Боккаччо, и, быть может, самое характерное в его прозе с этой точки зрения то, что он не написал ни одной новеллы. Аретино новеллист прирожденный. Парабоско в "Diposti" влагает в его уста новеллу: это могло быть литературным приемом. Но вся его проза полна новелл. Возьмем комедии. "Cortigiana" слеплена из двух новелл. "Talanta" — целый клубок новелл. "Marescalco" — драматизированная новелла, выхваченная прямо из жизни. "Filosofo" тоже сплетен из двух новелл, причем одна из них боккаччевская. "Raggionamenti" — бесконечная вереница новелл, особенно в третьей части, где рассказывается о современных куртизанках. В "Dialogo delle Corti" вкраплены маленькие новеллы вроде той, которая повествует о проказах фра-Мариано, шута папы Льва X. Новеллами полны и его жития святых\*. Но самостоятельной новеллы Аретино не написал ни одной. Он не хотел идти по следам даже родственного гения, а предпочитал брать свои темы из жизни, кипящей кругом него, — сложной, напряженной, распутной жизни Чинквеченто — и обрабатывать их в такой форме, которая давала больше всего простора его собственной манере: в форме письма, в форме диалога.

Наконец, классицизм. В XVI веке классицизм жил еще двумя своими разветвлениями, из которых одно было лишь смешным пережитком, а другое — здоровым еще литературным явлением. Еще не совсем вымерли те чудачки, которых нужно, как ни странно, считать прямыми наследниками гуманистов Кватроченто. Они продолжали упорно ратовать за права греческого и латинского языка. Теперь их больше звали педантами, чем гуманистами, и разница между ними и их предками XV века была большая: те шли с веком, боролись и побеждали во имя страстной любви к античному; эти шли против века, не признавали побед *volgare*. Аретино высмеял их в "Marescalco", где выведен тип педанта, и во многих письмах. Но педанты были уже смешны и без Аретино. Серьезнее было другое разветвление классицизма, то, которое требовало от всех литературных форм верности классическим образцам, — начинавшийся ложноклассицизм. К драматическим произведениям это относилось особенно. Шаблон Плавта и Теренция для комедий, подражание Сенеке и греческим трагикам в трагедии было законом. Аретино и тут произвел революцию. Его "Горация" — лучшая итальянская трагедия XVI века — построена и написана совсем по-своему: в ней большое место отведено народу, в ней очерчены характеры, взятые не из

---

\* Особенно житие Екатерины Александрийской и Фомы Аквинского.

книг, а из жизни, благо тот же бурный Чинквеченто давал материал и для этого. Что касается комедии, то Аретино первый начал освобождаться от школьных образцов и полными пригоршнями стал черпать из окружающей действительности. Сюжет своей первой комедии "Marescalco" он нашел при дворе маркиза Мантуанского — в шутке, которую тот сыграл с одним из придворных. А если сюжет брался литературный, то обработка его, типы, в комедии выведенные, — все из жизни. Стиль у Аретино свой, не классический; условности, вроде той, что каждое из действующих лиц должно было появляться на сцене не менее пяти раз, им отброшены. Он стоит на том, что "лучше сухой хлеб, да свой, чем приправленный лучшими яствами за чужим столом", и клянется "всегда быть самим собой и никогда не быть другим"\*.

Многое дало Аретино решимость дерзнуть на этот смелый шаг, и прежде всего та атмосфера независимости от каких бы то ни было традиций, которой была насыщена Венеция. В Венеции не чувствовался, как уже было замечено выше, гнет школ и направления, как во Флоренции, в Риме. В Венеции каждый легче дерзал выявлять себя вразрез с господствующими вкусами. В Венеции Джорджоне первый освободил живопись от тирании мифологических сюжетов и дал самостоятельное, не подчиненное место в искусстве пейзажу. В Венеции Тициан первый стал пытаться в портрете дать определенного человека со всеми его душевными особенностями. В Венеции Тинторетто первый начал изображать живую, индивидуализированную толпу. Не делал ли Аретино в литературе то, что три великих художника, его современника, делали в искусстве? Не помогла ли тесная дружба с Тицианом, погруженным в решение своих живописных задач, найти Аретино свой путь в литературе\*\*?

Быть может, в этом бурном разрыве с классической традицией кое-что и нужно отнести и на долю отсутствия у Аретино литературной, то есть гуманистической, подготовки; его враги усердно подчеркивали именно этот момент. Но, несомненно, гораздо большую роль играло тут его большое чутье. Он видел, что классицизм отживает свой век. В успехе "Мандрагоры" Макиавелли он угадывал признаки поворота в литературных вкусах. В пробудившемся интересе к итальянскому языку, и особенно к тосканскому наречию, он черпал поощрение. Совершенно несомненно, что тип, выведенный Аретино в "Talanta", венецианца, который вот уже два года держит у себя флорентийца, чтобы отучиться от выражений вроде *velluo, vien za qua, in saò*, как и все его типы, списан прямо с натуры. Прежде держали при себе гуманистов, чтобы усовершенствоваться в латинском и гречес-

---

\* Пролог к "Orazia".

\*\* Мы оставляем в стороне очень интересный вопрос: каково было влияние Аретино на Тициана как художника. Письма Аретино дают много материала для разработки этого вопроса.

ком языке. Теперь приглашают людей, от которых можно перенять чистую тосканскую речь. Аретино все это учитывал, и результатом этого верного учета была его реформа драмы, которая дала взамен книжной, схоластической драму реальную, народную, близкую и понятную массам. Литературный захват этой реформы был невелик, потому что у Аретино не было большого художественного таланта. "Если бы Аретино, — справедливо замечает Симондс\*, — был гениальным писателем, его смелость и самоуверенность создали бы для Италии исходный пункт развития национальной драмы". Но если в литературном смысле реформа Аретино не дала всех результатов, то в чисто культурном она была очень плодотворной. Она приблизила литературу к народу и открыла писателю благородную перспективу: отыскать себе более отвечающую его достоинству опору, чем двор монарха-мецената.

Самой яркой особенностью писательского таланта Аретино было чувство действительности. В этом отношении он — необычайно яркий представитель настоящего духа Возрождения. Но у него это чувство действительности приобретает очень своеобразный отпечаток: в нем живет какая-то особенная пластичность, какой, быть может, нет ни у кого из более крупных итальянских писателей XVI века.

Аретино был немного живописцем. Совсем немного. В юные дни в Перудже он пробовал, как мы знаем, свои силы перед мольбертом. И хотя художник не сформировался, художническое устремление духа, которое в нем жило, осталось целиком. Мало того, от первых ученических опытов остались какие-то профессиональные навыки и профессиональная осведомленность. Сделавшись писателем, Аретино сохранил не только интерес к искусству — он красной нитью проходит через все шесть томов его писем\*\*, — не только жадную любовь к произведениям искусства, не только влечение — род недуга — к деятелям искусства, но в существе своего таланта важнейшие элементы искусства: глаз художника, пластичность, живописность.

Аретино мастерски умеет передавать краски пейзажа. Его описание природы, берегов любимого им озера Гарда, лагуны, самой Венеции в письмах — страницы живописнейшей итальянской прозы, сильной и богатой оттенками. Все, кто до сих пор писал об Аретино, либо приводят целиком, либо упоминают его знаменитое письмо к Тициану\*\*\*, в котором он изображает Венецию в часы заката. Вот это письмо:

"Синьор и кум! Вопреки моим превосходным привычкам, я пообедал сегодня один или, лучше сказать, в компании с пере-

---

\* J. A. Symonds, Italian literature, т. II, 150.

\*\* "Письма Аретино являются незаменимым руководителем для изучения истории искусства в первую половину XVI века", — говорят Крау и Кавальказелле (Tiziano, II, 216). Можно прибавить, что "Письма" в некоторых отношениях важнее Вазари, которому недостает того, что у Аретино бьет через край, — критического чутья.

\*\*\* Lettere, III, 48.

межающеййся лихорадкой (quartana), которая не покидает меня и отбивает у меня вкус ко всем кушаньям. Представляете вы меня, как я встаю из-за стола, сытый тоской и отчаянием, не прикоснувшись почти ни к чему? Скрестив руки, я опираюсь ими на подоконник — грудь и туловище почти наружу. И я люблюсь великопепным зрелищем, милый кум!

Бесконечная вереница лодок, переполненных иностранцами и венецианцами, двигается по Canal Grande. Вода, вид которой радует тех, кто ее бороздит, как будто радуется сама, что несет на себе такую необычную толпу. Вот две гондолы, которыми правят известнейшие в городе гребцы, состязаются в быстроте. Множество народа, чтобы полюбоваться состязанием, собралось на мосту Риальто, теснится на Riva de' Camerlenghi, устраивает давку на Pescaria, занимает весь Traghetto di Sofia, громоздится по ступенькам Casa di Mosè\*. И пока с двух сторон проходила толпа и каждый торопился по своему делу, посылая каналу свой хлопок, я, как человек, ставший в тягость себе самому, не знающий, что делать со своими мыслями, поднимаю свои глаза к небу. С того дня, как господь сотворил это небо, оно никогда не было расцвечено такой дивной картиной света и теней. Воздух был такой, каким его хотели бы изобразить те, кто вам завидуют и не могут быть вами. Прежде всего дома, каменные дома кажутся сделанными из какого-то материала, преображенного волшебством. Потом свет — здесь чистый и живой, там рассеянный и потускневший. А вот, смотрите, другое чудо: облака, которые налиты сгущенным туманом. Они на главном плане почти касаются крыши и наполовину скрываются за домами на предпоследнем. Вся правая сторона — теряется из виду целиком и тонет в серо-коричневой мгле. Я дивился различным оттенкам, которые облака являли взору, когда самые близкие так и горели и искрились пламенем солнечного диска, а более отдаленные румянились багрянцем более мягким. Чудесные мазки, которые окрашивали с одной стороны воздух и заставляли его таять позади дворцов, как это делает Тициан в своих пейзажах! В одном месте показывалась лазурная зелень неба, в другом — зеленая его синева, словно смешанные капризной (bizarra) природой, учительницей учителей. Она тонами светлыми и темными заставляла тонуть и выделяться то, что ей нужно было сгладить или оттенить. Так как я знаю, что ваша кисть — дух от духа природы, то я воскликнул три или четыре раза: "Тициан, Тициан, где вы сейчас? Клянусь, если бы вы изобразили то, что я вам рассказываю, вы повергли бы всех в такое же очарование (stupore), каким был охвачен я, созерцая эту картину".

Такую способность переводить язык красок на язык слов расточает Аретино всегда, когда описывает природу. Оттого ли, что он вращался среди художников, изошрилось в нем пластичес-

---

\* Все это различные пункты Венеции, хорошо известные всякому туристу, около Риальто и Fondaco dei Tedeschi. Аретино жил на углу Rio S. Giovanni.



кое чувство, или оттого он любил дружить с художниками, что в нем оно было ключом, но это общение и эта способность сделали Аретино первым художественным критиком, настоящим создателем этого вида литературы, который именно и должен был возникнуть в дни золотого заката Возрождения, когда живопись взлетала на вершины человеческих достижений, а литература почтительно и грустно уступала ей первенство в царстве творчества.

Но живописный талант сказывался у Аретино не только в изображении пейзажа. Он так же ярко изображает и жизнь. Типы его комедий — живые люди. Куртизанки: Альвиджа, старая сводня с молитвами на языке, в которых она безжалостно коверкает латинские слова — совсем в духе наступавшей католической реакции и падающего гуманизма: у Беккаделли куртизанки шеголяют пиццероновской латынью и молитв не вспоминают; Таланта, жадная и ловкая, искусная в разговоре, знающая все тонкости своего ремесла; Туллия, которую алчность доводит почти до преступления, — составляют превосходный, не повторяющийся *pendant* к типам *Raggionamenti*. Вот — Ханжа (*Proscrito*), прототип мольеровского Гартюфа, тоже истый тип, созданный католической реакцией, — он бормочет молитвы при людях, но охотно занимается сводничеством — в откровенные минуты заявляет: "Кто не умеет притворяться — не умеет жить: притворство — щит, о который разбивается всякое оружие". Вот философ Платаристотиле, который угощает жену, истую дочь Возрождения и близкую родственницу героинь *Raggionamenti*, рассуждениями о природе вещей вместо ласки, которой та требует. Вот простодушный провинциал, приехавший в Рим делать карьеру и попавший в руки мистификаторов. Вот плут и пройдоха, который сделал себе промысел из глупости своего ближнего. Вот один ловелас, потом другой, на него непохожий, потом третий — их было много разных в жаркие времена Чинквеченто. Потом идут придворные, крестьяне, торговцы, воры, полицейские, солдаты, слуги всех ливрей, рыбак, газетчик, евреи, резонеры с разными житейскими философиями — всех не перечтешь. К типам комедий нужно присоединить типы *Raggionamenti*, великолепную галерею куртизанок, где есть (в третьей части) ряд портретов; портреты из писем, некоторые из которых выписаны поистине тичиановской кистью: Симоне Бьянко, скульптор, Пьетро Пикардо, человек, который все знает, всегда вертится между женщинами и, когда нужно, умеет быть отличным придворным\*. Одинаково трепетно и пластично, с рельефами и колоритом, изображает Аретино и сутолоку на *Canal Grande*, и неописуемые распутства в женских монастырях, и мельчайшие секреты почтенной профессии куртизанок, и тяжелую нравственную мишуру придворной жизни. Он не умеет рассуждать. Едва он начинает о чем-нибудь отвлеченном — он уже исчерпал теоретические

\* Lett., II, 27; I, 193.

аргументы, и из-под его пера уже сыплются образы и красочные штрихи. И сами собой складываются в картину.

Литература Возрождения наконец вошла в то русло, в которое ее толкала основная тенденция всего движения и в которое она никак не могла попасть до сих пор, — в русло изображения действительности, свободное от школьных и традиционных указок, жизненное, естественное, доступное народу.

## IX

Ставил Аретино себе эти цели? Имел он в виду что-нибудь, кроме своей выгоды и своих удовольствий? Или все, о чем говорилось выше, сделалось само собой?

Аретино, несомненно, вкладывал известный моральный смысл в свои филиппики против государей. Аретино, несомненно, сознательно пытался покончить с культурной ролью дворов и сознательно представлял себе выгоды положения независимого. Но он едва ли когда-нибудь серьезно думал о том, что эти его дерзания будут иметь сколько-нибудь универсальное значение, то есть что они могут повести к большим культурным переменам. Едва ли он считал кого-нибудь способным повторить то, что делал он, и занять в мире положение, хотя бы отдаленно похожее на то, которое он занимал. Он не оценивал того огромного культурного размаха, который имела уже его деятельность. Его задача была более эгоистическая: собрать как можно больше денег. Но — как всегда во времена, богатые переменами, в обществе, умеющем чутко подхватывать и быстро перерабатывать индивидуальную инициативу и индивидуальные достижения, — общество Возрождения сделало из дерзаний Аретино свой вывод: ряд чисто личных волевых актов нечувствительно сложился в крупный общественный результат.

Это значит, что моральная ценность тех способов, при помощи которых Аретино, сознательно или бессознательно, делал общественное дело, не была в глазах его современников абсолютно отрицательной. В самом деле, что возбуждало в потомстве наибольшее отвращение к Аретино, за исключением его распутства? То, что он хвалил за деньги и хулил, чтобы вынудить подачки. Если бы какой-нибудь журналист в настоящее время открыто проделывал то, что делал Аретино, будь он гением, он был бы конченный человек. В XVI веке на эти вещи смотрели иначе, и именно потому, что придворные традиции развратили совесть культурной части общества. Примеров сколько угодно. Эрколе Строчици, чтобы угодить Лукреции Борджа, супруге герцога Феррарского, пишет поэму, восхваляющую ее брата Цезаря, самое большое чудовище в то богатое чудовищами время. Ариосто восхваляет Ипполито д'Эсте в поэме, принадлежащей к лучшим созданиям человеческого гения. Кастильоне в "Cortegiano" поет дифирамбы Франческо Мария делла Ровере, герцогу Урбин-

скому, жестокость которого могла без труда выдержать сравнение с жестокостью Ипполито д'Эсте и его брата, герцога. Других феррарских извергов будет славословить Тассо. Джовио, историк, сам признавался, что у него два пера: золотое и железное, что золотым он пишет тогда, когда его могут убогатворить, а железным — во всех остальных случаях. Разве можно назвать хотя бы одного представителя той богатой галереи венценосных бандитов, современников Аретино, который не получил бы на свою долю славословий в стихах или прозе? Разве не прославляли Лодовико Моро, Алессандро Медичи, Козимо, великого герцога Тосканы, Альфонсо д'Эсте? Или худших носителей красной мантии?

Аретино вымогал, клянчил, курил фимиам, злословил, мелко мстил. Это верно, но, по выражению Луцио, все это — "ходячая монета в то время", и современники отворачиванием не проникались. Наоборот, с каждым годом у Аретино становилось больше друзей и поклонников, и в их числе были люди, в моральном отношении стоящие высоко: и Микеланджело, и Виттория Колонна, и Вероника Гамбара.

А теперь, обличительная деятельность Аретино дает даже какое-то удовлетворение. Он один не боялся выводить на чистую воду грязь, распутство, ужасы, кровавые деяния, все преступления, которые свили себе гнездо при дворах. Он один разоблачал лицемерие абсолютизма, который в молодом еще, героическом одушевлении производил свои наступательные операции в Европе. В его обличениях — предчувствие грядущей великой роли печати. Готье\* пробует даже показать, что в отсутствии моральных критериев была сила Аретино: "Будь Аретино более честным, имел бы он такой успех, пользовался бы таким влиянием? Сомнительно. В его время, быть может, больше, чем во всякое другое, чтобы господствовать над людьми, пороки были полезнее, чем добродетель. Против бандитизма князей и синьоров человек без совести воздвигал бандитизм литературный".

Каким же образом Аретино дали выполнить его миссию? Каким образом в век, когда с такой легкостью замуровывали в подземелья принцев крови и жен владетельных герцогов — вспомним еще раз двух братьев Альфонсо д'Эсте и другую жертву феррарского двора, Лукрецию Медичи, дочь Козимо, — Аретино до конца жизни свободно гулял по набережным и площадям Венеции? Каким образом в век, когда искусство отравлять насчитывало столько художников — достаточно припомнить вакханалию яда в семье Козимо Медичи, великого герцога, — Аретино умер от самого обыкновенного апоплексического удара? Каким образом в классический век брави, когда наемные убийцы всех национальностей приезжали в Италию на гастроли, Аретино получил только один удар кинжалом, такой сравнительно невинный, и никогда не вздумал надеть кольчугу

\* L'Arétin, 76.

под платье? Какая сила хранила его? Нельзя же придавать серьезное значение заявлению Козимо, что все государи христианского мира даровали свободу Пьетро Аретино. Собственному обличителю? Бандиту, опустошавшему их кошельки? Кондотьеру, готовому завтра предать того, кому служил сегодня? Ведь таким должен был представляться в их глазах Аретино...

Безопасность Аретино зиждилась, очевидно, на другом. Его хранила мощь Венеции. И, быть может, лучшим доказательством того, что "государи христианского мира" охотнее всего покончили бы со смелым публицистом, служат бесконечные жалобы разных посланников венецианской синьории. Об одном "заговоре послов" рассказывает сам Аретино в *giudizio* на 1534 год\*. "Испанский посол обратился к синьории венецианской, вопия *usque ad sidera* (до звезд. — *Ред.*), что я впал в *crimen lesae majestatis* (преступление, заключающееся в оскорблении величества. — *Ред.*), упомянув вотще католические челюсти"\*\*. Это был единственный случай. Как отзывалась на эти жалобы *Serenissima*? Иногда просто принимала их к сведению, а если послы очень настаивали, к Аретино с помпой посылалось лицо для увещания. Лицо исполняло свою обязанность, послы писали об этом событии длинные депеши, и все оставалось по-старому. У синьории были, несомненно, свои причины, и очень серьезные, не давать в обиду Аретино. Прежде всего, тут играло роль то соображение, что самое искусное, самое грозное перо Европы всегда наготове, чтобы обрушиться на врагов республики, и от времени до времени будет со всем красноречием прославлять ее самое. Руководители венецианской политики дорожили Аретино по тем же мотивам, по каким они дорожили хорошими дипломатами и хорошими типографиями. Для венецианской буржуазии эпоха феодальной реакции была временем очень трудным. Раны, полученные при Аньяделло, мучительно болели. Враги отступили лагуну Венеции, ее острова, ее *terra firma* отовсюду. Турция, Германия, Испания, папство, Феррара хищно рвались к добыче, которая, казалось, была так слабо защищена. Республике нужно было все ее искусство, чтобы скользить между грозными подводными камнями. Правда, она была не совсем одна. Вся буржуазия, какая еще оставалась в Италии, — осколки класса, недавно столь могущественного, — была на стороне Венеции. Ни в Ломбардии, ни в Тоскане, ни в центре, ни на юге итальянская буржуазия не могла бороться. Только из Венеции она могла отстаивать свои позиции и мечтать о попытках вернуть утраченное. Венецианская буржуазия, правившая венецианской республикой, была сильна именно поддержкой остатков итальянской буржуазии, пережившей разгром. И это налагало на нее большую ответственность. Дипломатия ее не имела соперников в Европе. Это было необ-

\* *Luzio, Pronostico satirico, 26.*

\*\* *Mascelle catoliche, mascelle torte* (Католические челюсти, кривые челюсти. — *Ред.*), знаменитая нижняя челюсть Карла V.

ходимостью. Та же необходимость требовала, чтобы и публицистика ее была впереди всех. И Аретино естественным образом, благодаря специфичности своего писательского таланта, оказался защитником и глашатаем прав итальянской буржуазии. Таков был "социальный заказ", полученный им от венецианской буржуазии, с которой он был связан своими экономическими интересами. Иногда, конечно, ему приходилось искать равнодействующую между своими личными интересами, которые говорили о золотых кубках, золотых нагрудных цепях, золотых дукатах, и линией политики, которую проводила в данный момент республика. Но с этими трудностями Аретино справлялся. Служа венецианской буржуазии, он продолжал чувствовать себя "свободным человеком божьей милостью", ибо эту "свободу" давала ему кровная классовая связь с нею.

Быть может, были еще и другие, менее важные причины, почему республика так берегла Аретино. Луцио предполагает, что Аретино умел пользоваться своими связями с дипломатами иностранных государей в интересах Венеции — сообщал ей секретные сведения\*. Это очень вероятно. И, быть может, это тоже еще не все. В архивах Венеции много нераскрытых тайн. Кто знает, не откроется ли когда-нибудь, что Аретино связывала с синьорией система каких-нибудь очень сложных услуг, о характере которых трудно даже догадываться\*\*. Ведь обнаружилось же в конце концов, что другой яркий венецианский тип, во многих отношениях такой похожий на Аретино, — Казанова, в котором раньше видели жертву инквизиции, был просто ее агентом.

Во всяком случае, республика святого Марка чутко охраняла Аретино, и это давало ему возможность громить всякого, кого было нужно и выгодно.

## Х

Возрождение не есть пора зрелой культуры нового времени. В нем есть какая-то робость мысли, которая так противоречит общему направлению эпохи, решительному и хищному. Воля человеческая не знала сдержек в нем. Мысль же не доводила до конца своих построений. Люди Возрождения провозглашали права критики и разрушали старые авторитеты, но, разрушая их, они воздвигали на их место новые. Классицизм в той или иной форме так и остался кумиром Возрождения.

Венеция благодаря особенностям своего развития и своего положения выступила в роли завершительницы дела Возрождения. Именно в Венеции, в ее искусстве, в ее литературе, в ее

---

\* Pronostico satirico, XXXIX.

\*\* Буркхардт предполагает, что покровительство оказывалось ему как агенту могущественной Испании. Kultur d. Renaissance in Italien, 8 изд. I, 177. Если это и так, то эти отношения начались после 1534 года, но это вообще маловероятно. Причины были более прямые.

культуре авторитет классицизма получил свой *soup de grasse*. Именно в ней Возрождение сказало свое последнее слово. Сказало устами людей не школы, а жизни, людей, не связанных придворными путами, "свободных милостью божьей", умеющих смотреть кругом себя, читать душу человека в его лице, ловить ее проявление в разговоре, наблюдать и изображать толпу.

Среди этих людей и тот, кого не так давно отвергала история литературы, презирала история культуры, считало олицетворением грязи и пороков все культурное человечество, — "бич монархов" Пьетро Аретино.

## Бенвенуто Челлини

Все, что говорится о Челлини, будет бледно рядом с тем, что говорит о себе Челлини сам. Гете в полном сознании своего величия и своего превосходства над второстепенным или третьестепенным итальянским писателем снабдил свой перевод "Vita" замечаниями о его авторе. Они вышли чрезвычайно тусклыми. Замечания Гете! Таково свойство этой странной книги.

У современного читателя от нее очень скоро в буквальном смысле слова разболится голова. В этом стремительном насыщенном эпическом потоке, где правда так похожа на выдумку, а выдумка с такой непоколебимой верой выдается за правду, где искренность бьет через край и захватывает наиболее предубежденного, где простодушие и наивная похвальба обезоруживают самого большого пуриста, нельзя разобраться так просто.

### I

О том, как много своеобразного интереса в "Vita", достаточно красноречиво говорит один факт. Люди самые разные — речь идет, конечно, только об очень выдающихся — увлекались этой книгой и оставили документальные следы своего увлечения. Среди ее переводчиков фигурируют рядом: величайший поэт Германии и один из величайших авантюристов, Гете и генерал Дюмурье. Гете свой перевод закончил\*, Дюмурье не довел до конца своего. Первый, кого пленил немецкий Бенвенуто, был Шиллер. Поклонником Бенвенуто был Орас Уолпол, один из своеобразнейших писателей Англии. Огюст Конт внес "Vita" в свой маленький каталог избранных произведений мировой литературы. Ею очень увлекался Оскар Уайльд. Об итальянцах можно не говорить: так их много.

---

\* Если не говорить о художественных достоинствах этого перевода, вышедшего из-под пера такого мастера немецкой художественной прозы, в нем очень много недостатков. Главный — что в книге больше Гете, чем Бенвенуто. У меня под рукой — первое тюбингенское издание 1803 г.

Чем же это объясняется? Значительностью Бенвенуто как художника? Едва ли. Значительностью теоретических трактатов Бенвенуто по искусству? Тоже едва ли. Таких трактатов в XV и особенно в XVI веке в Италии выходили десятки. Остается "Vita". И, конечно, "Vita" прославила Челлини больше, чем Персей, больше, чем мраморное Распятие и чем все его ювелирные и чеканные работы, о которых мы даже не можем судить сколько-нибудь уверенно, потому что огромное большинство их погибло. Книга и человек друг друга стоят. "На нашем языке, — говорит знаменитый критик XVIII века Джузеппе Баретти, — нет книги, которую было бы так приятно читать, как "Жизнь" Бенвенуто Челлини, написанную им самим на чистом и беспримесном наречии флорентийского простонародья". И прибавляет: "Удовольствие, ею доставляемое, мне кажется немного сродни тому, которое мы испытываем перед клеткой с красивыми, но разъяренными зверями. Мы можем глядеть на них совершенно безопасно: их страшные когти и клыки не могут нас ни задеть, ни поранить"\*.

И это, быть может, одна из самых удачных попыток раскрыть секрет интереса книги. В Бенвенуто действительно сидит какое-то хищное животное. Нельзя без улыбки читать, когда он, находясь, очевидно, по какой-нибудь причине в хмуром настроении, пишет о себе: "Essendo io per natura malinconico..." — будучи от природы склонным к меланхолии\*\*.

Бенгальский тигр не чаще подвержен приступам меланхолии, чем Бенвенуто. Совсем иначе звучит, когда, не смущаясь противоречиями — противоречия не смущают его никогда, — Челлини пишет в другом месте\*\*\*: "я начал действовать по своему обыкновению решительно и с некоторой долей неистовства". Именно таково было о б ы к н о в е н и е: не меланхолия, а неистовство, переходившее порою в самые настоящие припадки бешенства, припадки почти патологические, когда у человека туманится сознание, пена показывается на губах и чем-то застилает глаза. Однажды — это было в ранней молодости, во Флоренции, — его обидели. "Я зашипел и стал, как гадюка; отчаянное решение созрело во мне". Потом: "Гнев разыгрался во мне так, что, весь увлекаемый мыслью о злом деле и по природе будучи легко доступным гневу, я..." и т. д.\*\*\*\*.

Результатом этого было то, что он напал с одним маленьким кинжалом на целую семью и должен был бежать из Флоренции. "Ярость стала

\* Frusta letteraria, VIII, изд. 1831 г. (Napoli), т. 1, с. 264—265.

\*\* "Vita", изд. Orazio Vacci, Флоренция, 1901 г., с. 54. Bianchi, I, 27. Издание Баччи — лучшее критическое издание книги. Все цитаты по этому изданию. Его неудобство заключается в том, что оно не разделено на части и главы, как это сделано в лучших предыдущих изданиях: Тасси (1829), Бьянки (1852) и др., — и лишено документального аппарата. Чтобы облегчить справки по русскому изданию, тоже разделенному на главы, рядом с цитатой по изданию Баччи будет даваться другая, по изданию Бьянки, с указанием главы.

\*\*\* "Vita", 330; II, 54: "pur al mio solito, arditamente, con qualche poco di furore andavo faccendo".

\*\*\*\* "Vita", 35, I, 17; per natura alquanto collerico.

у него хроническим состоянием”, — говорит Сен-Виктор, и это едва ли очень сильно преувеличено\*. Но нужно сказать, что в таком состоянии он становится способен не только на величайшие преступления, но и на величайшие подвиги и на величайшее напряжение творческой энергии. Всю свою долгую жизнь он жил от одного припадка неистовства до другого. Только с годами они делались реже и слабее. Да и в промежутках между двумя припадками Бенвенуто больше жил инстинктом, чем рассудком. Было чудо, что он не сломал себе шею в ранней юности.

Он терпеть не может думать. Не то что он этого совсем не умеет. Только думает он обыкновенно после: когда что-то совершилось, совершилось не очень ладно и нужно спасти голову. Вот он подстерегает своего врага, папского ювелира Помпео. Видит, как тот выходит из аптеки, как его окружают телохранители: без телохранителей Помпео не ходит — он слишком хорошо знает Бенвенуто. Тогда произошло вот что\*\*: “Я обнажил маленький острый кинжал, прорвал ряды его наемников, схватил его за грудь так быстро и так ловко, что никто из них не мог мне помешать. Рванул его к себе, чтобы нанести удар в лицо, но от страха он повернул голову, и кинжал угодил пониже уха. Ударил всего два раза. После второго он мертвым свалился на землю из моих рук. Я не имел намерения его убить, но, как говорится: кто бьет, тот не рассчитывает” (*li colpi non si danno a ratti*: явная поговорка). Вы представляете себе всю картину. Она опять неотвязно вызывает у вас видение охоты какого-нибудь хищника в джунглях. Добыча выслежена. Ее нужно настичь во что бы то ни стало. Воля напряжена, как стальная пружина. Прыжок. “Bravi”, как брызги, разлетаются во все стороны, и через мгновение жертва, вся в крови, бьется на земле в предсмертных судорогах. Все кончено. Туман, застилавший глаза, рассеивается. Тут, во-первых, оказывается, что в убийстве вовсе уж не было такой необходимости — существенная разница с четвероногим охотником в джунглях: у того необходимость всегда абсолютная, а во-вторых, вот теперь уже неизбежно нужно думать: “Я пошел назад по *strada Julia*, думая, где я могу спастись”.

И так бывает — если исключить смертоубийства — почти всегда. Самые важные решения принимаются под влиянием аффекта. Вот Челлини в первый раз приехал в Париж, чтобы поступить на службу к королю Франциску I. Это было в конце 1537 года. Там ему сразу все не понравилось. Художник Россо, старый приятель, очень ему обязанный, встретил его не так, как он рассчитывал. Король не осыпал его милостями с первой же встречи. Началась лихорадка. Он немедленно пустился в обратный путь и, только очутившись в Риме и получив письмо от Ипполито д’Эсте, будущего кардинала, удосужился подумать,

\* Saint-Victor, *Les dieux et les hommes*, с. 172.

\*\* “Vita”, 141; I, 73.



стоило ли уезжать так стремительно. Но пока он собирался назад, к нему пришел Барджелло в сопровождении целой толпы сборов и чрезвычайно вежливо попросил следовать за ним в замок св. Ангела, "куда, — любезно пояснил начальник папской полиции, — отправляют только знатных господ и талантливых людей (li huomini virtuosi), подобных тебе"\*.

Там Челлини пробыл ровно два года, с небольшим перерывом. Вторая поездка ко двору Франциска I поэтому задержалась. Когда он, освобожденный, попал опять во Францию и с ним начали переговоры об окладе, его обидела предложенная сумма. Он осыпал горькими упреками кардинала д'Эсте, рассчитался со своими подмастерьями, сел на коня и отправился прямым путем... в Иерусалим — поклониться гробу господню. Почему Иерусалим и почему гроб господень — ни в какой мере непонятно. Так просто: оттого, что в этот момент Иерусалим пришел в голову первый, и потому, что голова на нем остановилась, не желая думать. Бенвенуто насилу догнали и вернули именем короля. Иначе так бы и доехал до Палестины, если бы холод альпийских перевалов не остудил ему головы.

Из истории с Помпео видно, что даже в такие моменты, когда бешенство и ярость заставляют его забывать обо всем, Бенвенуто не забывает одного: что что-то нужно сделать, чтобы вернуть себе утраченное душевное равновесие. Чаще всего ему нужно отомстить. Ему не нужно думать и тут. Инстинкт и воля работают сами по себе и приводят к цели — в крупном и мелком, безразлично. Потому что Бенвенуто все равно, за что мстить. У него в драке убили брата, которого он нежно любил. Убийца — капрал папских мушкетеров (archibusieri). Бенвенуто его знает и ждет момента. Он завален работой. Папа его торопит, и ему самому хочется кончить заказ скорее. Но он буквально болен. "Своей возлюбленной, — говорит он на своем своеобразном языке, — сделал я засматривание на того мушкетера, который убил моего брата... Когда я понял, что страсть видеть его как можно чаще отнимает у меня сон и аппетит и приводит меня на дурную дорогу, я решил однажды вечером покончить с этой мукой (uscire di tanto travaglio), не заботясь о том, что задуманное мною — дело низкое и не очень похвальное"\*\*\*. Неизвестно, на какую "дурную дорогу" привело бы его это сладострастно-злое выслеживание убийцы брата. То, что он "решил однажды вечером", была вендетта. Око за око, зуб за зуб. Он напал на мушкетера у порога его дома, ранил его и, когда тот бросился бежать, догнал и всадил ему в затылок длинный охотничий кинжал.

Другой раз Челлини по дороге из Венеции во Флоренцию попал со спутником в гостиницу недалеко от Феррары. Хозяин заставил его заплатить вперед. Больше ничего. Бенвенуто так

\* "Vita", 197; I, 101.

\*\* "Vita", 105; I, 51.

озлился, что не мог заснуть. "Я не сомкнул глаз совсем и всю ночь думал, каким образом мне отомстить ему. То мне приходило в голову поджечь дом, то — заколоть четырех его добрых коней, стоявших в конюшне. Я видел, что сделать все это легко, но нелегко потом спастись мне и моему спутнику"\* . В конце концов он придумал: изрезал кинжалом четыре постели и вычислил с триумфом, что убытку надделано хозяину больше, чем на пятьдесят скуди. Так как случай был не особенно серьезный, то Челлини дал себе труд подумать. Это спасло дом от пожара и четырех лошадей от гибели.

Подумал он и в другой раз, когда попал в Венецию после жестокой потасовки с флорентийскими изгнанниками в Ферраре\*\* . Бенвенуто всячески старался избегать ссоры с соотечественниками, но у них тоже темперамент был горячий, и ему дважды пришлось пускать в ход оружие. В Венеции было опасно устраивать кровопролитие на улице: с Messer Grande и инквизицией шутки были плохие. Поэтому, когда около Риальто увидел Пьеро Бенинтенди с несколькими друзьями, он просто ушел в ближайшую аптеку, чтобы дать пройти буре\*\*\* . Тут даже трудно узнать Бенвенуто: такое он обнаружил благоразумие. Правда, благоразумие помогало ему не всегда. Он и в Венеции не от трусости спрятался в аптеку. Он действительно не знает, какого цвета страх\*\*\*\* , и, когда его мирные намерения встречают дурной прием, у него шпага сама собою выскакивает из ножен, мушкет стреляет и пуля хоть рикошетом, а попадает куда нужно. Однажды в Сиене содержатель почтовой станции неправильно, по мнению Бенвенуто, задержал его седло и его стремяна. Он отправляется к нему с целью "добром" добиться возвращения своей собственности. Но содержатель станции оказался мужчиной серьезным и встретил его с короткой пикой (spontone) в руках. Он управлял ею так хорошо, что Бенвенуто пришлось взять на изготовку свой мушкет: иначе пика проколола бы его насквозь. Вот тут-то и случилось, что мушкет выстрелил сам собой (da per se dette fuoco). Пуля ударилась в свод над дверью, отскочила и попала в шею его противника. Он упал мертвый. Тут подоспела помощь, и пришлось спастись\*\*\*\*\* . Так миролюбие кончилось бедой.

С годами слегка остыл темперамент. В Париже Бенвенуто все тот же неукротимый буйан, что и в Риме, при папском дворе. Но уж кинжал не ищет ни шейных, ни затылочных позвонков, шпага

\* "Vita", 151; I, 79.

\*\* Они оскорбляли его и герцога: "Rispose (Никколо Бенинтенди) che aveva in culo il duca e noi... e che noi e lui eramo un monte di asini". (Никколо Бенинтенди тогда сказал: "И они и герцог у меня в заднице... и что и мы и он — куча ослов. — *Ред.*) "Vita", 148; I, 76.

\*\*\* "Vita", 151; I, 78.

\*\*\*\* "Vita", 32; I, 15. Марнет говорит про Бенвенуто, что он просто трус. Это значит совсем не уметь понять его натуры.

\*\*\*\*\* "Vita", 251; II, 4.

больше грозит, чем бьет, а кольчуга чаще висит на стене, чем облекает тело под курткой. Если бы он изобличил свою любовницу Катерину в неверности, да еще с собственным подмастерьем, в Риме, — им обоим не сносить бы головы. В Париже его месть была не такая кровавая. Он начал с того, что заставил соблазителя — его звали Паголо Миччери — жениться; для этого понадобилось слегка приставить шагу к его горлу. Это было начало\*. "Мне было мало, что я заставил его жениться на такой гнусной потаскухе (*così iscellerata putanella*). Чтобы довершить мщение, я позвал ее к себе и писал с нее. Ежедневно я платил ей тридцать сольдо. Когда я заставлял ее раздеваться, она требовала, чтобы, во-первых, я давал ей деньги вперед, во-вторых, чтобы я кормил ее хорошим завтраком. Зато, в-третьих, я из мести заставлял ее отдаваться мне и осыпал ее и ее мужа издевательствами по поводу того, что я ему наставляю рога, а в-четвертых, придавал ей самые неудобные положения, в которых она оставалась целыми часами..." Так как Катерина, утомленная и злая, начинала сама ругаться последними словами, Бенвенуто выходил из себя, но сначала сдерживался, утешая себя: "Я отомстил дважды. Катерина его жена. Рога, которые я наставлял ее мужу, не такие призрачные (*vane*), какими он угостил меня, когда она была только моей любовницей. Это знатная месть ему. А потом по отношению к ней такое надругательство: заставить ее принимать столь неудобные позы..."\*\*. Но так как Катерина продолжала браниться, то Бенвенуто окончательно приходил в ярость, хватал ее за косы и начинал бить руками и ногами, пока не уставал. Она уходила, проклиная всех итальянцев и короля, который держит их у себя на службе, но являлась на другой день и с места бросалась к Челлини на шею. И все начиналось сначала: позирование, завтрак, ласки, ругательства, побои. И так много дней подряд. Кровь, словом, не проливалась. Не произошло кровопролития и позднее, во Флоренции, когда Челлини окончательно решил убить беспрестанно интриговавшего против него скульптора Баччо Бандинелли. Он отправился за город, во Фьезоле, хорошо вооруженный, но, когда встретил своего врага — он был старик, — рука его не поднялась. Он только бросил в лицо перепуганному Бандинелли несколько оскорбительных слов. "Тогда, — заканчивает Бенвенуто рассказ об этом, — я вернулся к добродетельным настроениям (*ripresi la virtù*) и возблагодарил бога, который в истинной благодати своей не захотел, чтобы я сотворил такое бесчинство. Так, отделавшись от этого дьявольского неистовства, я укрепился духом..."\*\*\*

Немного позднее, когда Челлини хотел наказать тоже порядком насолившего ему ювелира Бернардоне Бальдини, он решил отколотить его палкой, но, прождав долгое время, остыл и ог-

\* "Vita", 299—300; II, 34. Катерина была натурщица.

\*\* "Vita", 299; II, 34.

\*\*\* "Vita", 349; II, 66.

раничился сочинением пасквиля, который и наклеил на стенах церкви Иоанна Крестителя в день престольного праздника\*.

— Фигоге постепенно стал успокаиваться.

Но в этих диких, подчас чисто бандитских деяниях у Бенвенуто было не только фигоге. Темперамент и страсть — только один источник этой необычайной чувствительности к малейшим обидам. Есть и другой. Это его необыкновенно высокое представление о своей персоне.

Бенвенуто серьезно верит, что какие-то особенные явления провиденциально указывали в разные моменты его жизни на то, что он человек избранный. Начать с того, что — он этого прямо не говорит, но представляет читателю догадаться самому — его предком был "храбрый первый полководец Юлия Цезаря по имени Фьорино де Челлино", основавший Флоренцию\*\*. Потом, в раннем детстве, он безнаказанно схватил своими крошечными ручонками скорпиона, и скорпион не ужалил его. Немного позднее он видел в огне саламандру, которой "никто другой не видел никогда"\*\*\*. Когда в Риме он однажды заболел, то болезнь его тоже разрешилась по-особенному: "Меня начало рвать. Из желудка моего вышел червь в четверть аршина длиною. Он был ужасен, покрыт длинной шерстью и усеян зелеными, черными и красными пятнами. Его сохранили, чтобы показать доктору, и тот объявил, что никогда не видел ничего подобного"\*\*\*\*. В замке св. Ангела у Бенвенуто были чудесные видения: Христос распятый и Мадонна с двумя коленапреклоненными ангелами по бокам. Ему снились вещие сны о себе и других. Но самое замечательное случилось с ним после того, как он вышел из тюрьмы. Вокруг его головы появилось сияние. Совсем как у святых: не более и не менее. Когда он об этом рассказывает, в его тоне слышатся торжественные ноты. "Я не хочу умолчать о самой удивительной вещи, которая когда-либо случалась с человеком. Я рассказываю это в доказательство божественности господи и его неисповедимых путей. Вот чего сподобил меня бог: после видения, о котором я рассказывал, у меня вокруг головы осталось сияние (*uno splendore*), явление чудесное. Его видели все очень разные люди, которым я его показывал; их было немного"\*\*\*\*\*. Наблюдать сияние было лучше на севере, чем на юге, во Франции, чем в Италии. Сырые росистые утра были особенно благоприятны для таких наблюдений.

Бенвенуто рассказывает все эти чудеса без тени усмешки. Он сам верит в них первый. Если бы кто-нибудь при нем громко

---

\* "Vita", 383—384; II, 89.

\*\* "Vita", 5; I, 2. Конечно, у Цезаря не было "первого полководца" с таким именем. Это — чистая фантазия.

\*\*\* "Vita", 10 — 11; I, 4. Саламандра, кроме того, должна была предвещать какую-то связь с Франциском французским, одной из эмблем которого была саламандра.

\*\*\*\* "Vita", 166, 185. Флорентийский аршин (*braccio*) равен 0,577 метра.

\*\*\*\*\* "Vita", 239 — 240; I, 128.

высказал сомнение в этих вещах или в одно из прохладных росистых утр во Франции "через два часа после восхода солнца" отказался бы увидеть сияние — тот рисковал получить удар кинжалом куда-нибудь "пониже уха". Бенвенуто, ничтоже сумняшся, сам себя канонизировал к великому, нужно думать, ущербу св. Элегия, который до этого момента был единственным патроном всех художников прикладного искусства, имеющим небесный чин.

Если бы мы не знали источника наивной веры Бенвенуто в измышления собственной фантазии, обо всех видениях и сияниях не стоило бы говорить. Но у него в основе этой веры лежит нечто такое, в чем нет ни малейшей мистики, что, наоборот, чрезвычайно типично для его эпохи, в чем нужно искать важнейший ключ для исторического объяснения Челлини.

## II

Бенвенуто — художник. Он художник, взысканный небом, одаренный сверхъестественным талантом, поднятый на щит великими мира сего и крупнейшими из собратьев по искусству. Таково его мнение о себе. В царстве искусства он если не первый — есть ведь и Микеланджело, — то один из первых. А искусство — это лучшая, самая светлая, самая прекрасная, самая возвышенная, самая чистая сфера деятельности человеческой. Кто первый в сфере искусства, тот должен быть отмечен свыше. Это прежде всего. Это объясняет все видения и сияния. А затем и другое. Человека, который блистает среди служителей искусства, нельзя равнять с другими людьми. Он особенный. Его положение в обществе исключительное. Он должен быть осыпан всеми привилегиями. Он должен быть огражден от всех неприятностей — больших и малых. Горе тому, кто его заденет или оскорбит. "Он сам себя помазал и короновал абсолютным монархом искусства, и каждый проступок по отношению к нему становится оскорблением величества" \*.

И разве факты, бывшие на глазах у всех, факты, о которых, захлебываясь, трещала вся богема, не подтверждали сотни раз такого самомнения? В первый свой приезд в Рим Челлини мог видеть Рафаэля, появившегося верхом на мосту св. Ангела, красивого, как молодой бог, нарядного, как принц крови, окруженного учениками, поклонниками и толпой, под ярким солнцем, от которого мрамор моста и его статуи казался еще более белоснежным.

Он знал, что Рафаэль купается в золоте и что нет такого каприза, которого не исполнил бы для него Ватикан. От Микеланджело он мог слышать так же, как и Кондиви, обессмертивший этот эпизод, историю его ссоры с Юлием II, который не любил шутить и никому не прощал не то что обид, а простой непо-

\* Saint — Victor, указ. соч., 175.

чтительности: как художник приехал в Болонью и был встречен словами, в которых гремели последние раскаты утихающей бури, как он просил прощения, как вмешался кардинал Содерини и был за это вытолкнут папскими слугами, как папское прощение больше походило на извинение. Бенвенуто не мог не слышать и того рассказа, который ходил по всей Италии и наполнял гордостью всех художников: как во время позирования Тициану император Карл V нагнулся и поднял кисть, выскользнувшую из рук художника, и как отозвался на сконфуженные его извинения. Не мог он не знать и того, что художники, которых он, вероятно, считал не на много крупнее себя, а может быть, и ниже себя, строили себе дворцы и жили в них: Браманте и Антонио Сан Галло в Риме, Джулио Романо в Мантуе, Леоне Леони в Милане. Да разве жизнь его самого, который не был ни Рафаэлем, ни Микеланджело, ни Тицианом, не была полна таких фактов, *mutatis mutandis*? В "Vita" они записаны все, и некоторые мы напомним.

Сколько ласк получал Бенвенуто от одного Климента VII! Когда однажды он принес папе модель застежки для папской ризы, папа долго смотрел на нее с восхищением, потом сказал: "Если бы ты проник мне в душу, ты бы сделал вещь именно так: это как раз то, что я хотел"\* . Еще характернее отношение Климента к Бенвенуто в дни, когда он оплакивал своего убитого брата и мстил за него. Когда он пришел к папе в первый раз после похорон брата, совершенно подавленный горем, папа ласково упрекнул его: "Неужели ты прожил столько и не знаешь, что от смерти нет лекарства?" А когда Бенвенуто пришел к Клименту, свершив свою вендетту, папа вместо всяких упреков сказал ему: "Теперь, Бенвенуто, после того как ты выздоровел, нужно жить..."\*\* . А что может быть трогательнее, чем попытка умирающего папы рассмотреть медаль с изображением Моисея, принесенную ему Бенвенуто. Климент надел очки, велел подать свечей, но не мог увидеть ничего: зрение уже отказывалось служить. Тогда он стал проводить по ней пальцами, чтобы нащупать нежный рельеф рисунка, но столь же безуспешно\*\*\* .

Отношение к нему Франциска I тоже было такое, какого только мог желать самый взыскательный художник. В Париже Бенвенуто мог не завидовать Рафаэлю. Он получал 1000 экю в год жалованья да сверх того зарабатывал втрое больше. Это составляет больше 200 000 зол. франков в год. И этого ему было мало, потому что иначе его счета были бы в лучшем порядке: не пришлось бы ему уезжать из Парижа и потом не был бы закрыт обратный путь туда. Привыкший к таким масштабам, он запросил у Козимо Медичи за Персея 10 000 скуди, то есть больше полумиллиона золотых лир, и почитал себя смертельно оскорбленным, когда герцог дал ему всего 3 500, да и то в рассрочку.

\* "Vita", 94; I, 44.

\*\* "Vita", 105 — 106; I, 51.

\*\*\* "Vita", 139; I, 72.

Когда художники окружены таким почетом и вниманием, когда их труды вознаграждаются так щедро\*, им легко возомнить о себе. Особенно такому, как Бенвенуто. Он и возомнил.

Когда — это было во Флоренции, вскоре по прибытии его туда из Парижа в 1545 г., — у него шел разговор с герцогским мажордомом Пьерфранческо Риччи об окладе и мажордом ценил его недостаточно высоко, Бенвенуто по обыкновению очень скоро вышел из себя и стал кричать: "Люди, подобные мне (*li ragi mia*), достойны служить папам, императорам и великим королям. Такой, как я, быть может, только один во всем мире, а таких, как ты, по десятку у каждой двери"\*\*\*. Другой раз — это было уже по окончании Персея — у него был один из очередных крупных разговоров с герцогом Козимо, и тот намекнул, что Бандинелли, его враг и соперник, сумел бы сделать Персея не хуже. Бенвенуто не выдержал опять и стал отчитывать герцога почти так же как отчитывал его мажордома: "Если бы Бронзино занялся скульптурой так же, как живописью, он, быть может, сумел бы сделать статую не хуже. И еще учитель мой Микеланджело Буонарроти, когда он был моложе, сделал бы так же, да и то она стоила бы ему трудов не меньших, чем мне. Теперь, когда он очень стар\*\*\*, он, конечно, не сумеет этого. А потому я не думаю, чтобы сейчас оказался на свете человек, способный довести до конца такое дело"\*\*\*\*.

Эти заявления принадлежат ему самому, они могут не быть убедительными... для потомства. Поэтому Бенвенуто подкрепляет их другими, которые он вкладывает в уста людям очень авторитетным. Можно не перечислять похвальных отзывов по поводу Персея, приписанных крупнейшим представителям флорентийского художественного мира: Понтормо, Бронзино и другим. Они могли высказывать те мнения, которые вложил им в уста Бенвенуто. Не приходится, по-видимому, сомневаться и в подлинности письма Микеланджело к Челлини с похвальными словами по поводу бюста Биндо Альтовити\*\*\*\*\*. Но вот

---

\* Микеланджело умер миллионером. Тициан был не на много беднее. Он получал за каждый портрет Карла V по 1000 скуди, то есть по 50 000 лир. Даже Джанболонья накопил столько, что мог пожертвовать 6000 скуди на постройку погребальной капеллы. Рафаэлю Ватикан был должен так много, что ни у художника не было надежды на получение всего долга, ни у папской казны веры в возможность полной выплаты. Лев X думал — и совершенно серьезно — расплатиться с Рафаэлем... кардинальской шапкой. Вазари рассказывает, что Рафаэль, зная об этих планах, воздерживался от женитьбы, чтобы не создавать для них формального препятствия.

\*\*\* "Vita", 331; II, 55.

\*\*\* Разговор происходил в 1554 г. В это время Микеланджело было почти восемьдесят лет.

\*\*\*\* "Vita", 396; II, 97.

\*\*\*\*\* "Vita", 369; II, 79. Письмо воспроизведено в критическом издании писем Микеланджело, напечатанном Миланези (1875), с. 532, русск. пер. Переписка Микеланджело, пер. Павлиновой, с. 197. Ср. Thode, Michel Angelo, т. I, с. 84. Однако нельзя быть вполне уверенным в том, что письмо вышло из рук Микеланджело в том виде, в каком напечатано в "Vita". Сугиньо (*L'arte di Benvenuto Cellini*,

несколько других отзывов, которые прекрасно совпадают с мнением Бенвенуто и подтверждают его, но объективная вероятность которых гораздо меньше. Один из них вложен в уста папе Павлу III, только что избранный (1534). Когда приближенные нового папы требовали наказания Бенвенуто за убийство Помпео, папа сказал\*: "Я понимаю это лучше, чем вы. Знайте, что люди, как Бенвенуто, единственные в своей профессии, не подлежат действию законов" (*non sono ubrigati alla legge*). Десять лет спустя такое же славословие приписано Франциску I. Когда Бенвенуто закончил свою не дошедшую до нас серебряную статую Юпитера\*\*, она была выставлена одновременно с бронзовыми копиями античных статуй, привезенных из Рима Прима-тичо. Фаворитка короля, г-жа д'Этамп, не любившая Челлини, старалась показать королю, какая огромная разница между антиками и статуей Бенвенуто. Король будто бы ответил\*\*\*: "Из сравнения этих удивительных фигур со статуей Бенвенуто видно, что его вещь несравненно прекраснее и поразительнее, чем те. Нужно почитать (*fare un gran conto*) Бенвенуто, ибо его вещи не только выдерживают сравнение с древними, но и превосходят их". И, уходя, Франциск прибавил: "Я отнял у Италии величайшего человека, когда-либо рожденного и одаренного таким бьющим через край талантом" (*pieno di tanta professione*).

Итак, по совокупности всех отзывов — своих и чужих — выходит, что Бенвенуто артист, единственный в мире, величайший человек в Италии, законам не подчиненный, имеющий право делать все, что ему захочется. Более грандиозную гасконаду трудно сыскать даже в то время. Она тем более замечательна, что другим артистам, тоже очень крупным и ему не враждебным, он не прощает заявлений несравненно менее решительных. В 1535 г. ему пришлось встретиться в Венеции с Якопо Сансовино, художником — на наш теперешний масштаб — неизмеримо более крупным, чем он сам. Сансовино поступил очень некрасиво по отношению к одному маленькому флорентийскому скульптору и, когда тот обиделся, возразил: "Люди, подобные мне, благородные и одаренные талантом, могут делать и такие вещи, и еще большие", — и тут же отозвался очень дурно о Микеланджело и других художниках и хвалил себя. Бенвенуто сказал ему на это: "Мессер Якопо, благородные люди ведут себя так, как подобает благородным людям. А люди, одаренные

---

28) говорит, что в письме Микеланджело стояли только следующие скупые слова, относившиеся к бюсту: "io n'ebbi piacere", то есть "он мне понравился". Все остальное — фиоритуры самого Бенвенуто. Очень правдоподобны, но, вероятно, столь же скупы на украшения похвалы Микеланджело по поводу чеканных работ Бенвенуто, относящиеся к более раннему времени. См. "Vita", 86 — 87; I, 41.

\* "Vita", 143; I, 74.

\*\* Она, по-видимому, несколько напоминала небольшую статуэтку Юпитера в одной из ниш пьедестала Персея. По крайней мере, атрибуты у них были те же.

\*\*\* "Vita", 310 — 311; II, 41. Димье (см. ниже) уверяет, что Бенвенуто выдумал всю сцену от начала до конца.



талантом, создающие хорошие и красивые вещи, получают лучшую оценку, когда их хвалят другие, чем когда они хвалят себя с таким самоуверенным видом\*\*". Нужно думать, что Сансовино в глазах Челлини не дорос до того ранга, когда художник не только может позволить себе некрасивый поступок по отношению к товарищу, но и стать вообще выше законов. Даже крупный художник не мог хвалить себя, а должен был терпеливо дожидаться, чтобы его похвалили другие. Хвалить себя дозволено только одному: Бенвенуто Челлини, ибо Бенвенуто Челлини единственный в мире.

И все-таки все эти гасконады не заставляют читателя "Vita" относиться к автору дурно. Ибо две вещи смягчают похвальбу Бенвенуто. Во-первых, наивность саморекламы. Он пишет, как всегда, не думая и выдает себя, как всегда. Ему и в голову не приходит, что он что-нибудь сочиняет или кого-нибудь вводит в заблуждение. Во все то, что он говорит о себе, он верит как в самый непререкаемый догмат. А читатель улыбается. И эта улыбка примеряет со всей хлестаковщиной у Бенвенуто. Но еще более примиряет с ним то, что лежит в основе его гасконад: огромная любовь к искусству, главная и, пожалуй, единственная настоящая религия Бенвенуто.

### III

Неистовство проявляется у Бенвенуто на каждом шагу. Нелепыми выходками, капризами, озорством, безумными вспышками полна его жизнь. Но подлинный пафос живет только в одном уголке его души — в том, где любовь к искусству. "Искусство — его бог, его мораль, его закон, его право\*\*\*".

В искусстве для него нет ничего, что он считал бы недостойным себя. Все моменты создания художественного произведения для него одинаково дороги и интересны. Он никогда не мог решиться поручить своим ученикам выполнение таких работ, при несовершенстве которых могло пострадать целое. Его нельзя было упрекнуть в том, что становилось чуть не общим правилом всех художников Чинквеченто: что он дает лишь наброски, предоставляя ученикам исполнять самую вещь. У некоторых, напр. у живописца Перино дель Вага, это стало правилом: он делает только картоны. Правда, и искусство Бенвенуто было другое, чем живопись. Однажды Франциск I посетил его парижскую мастерскую и, видя, как он работает наравне с учениками, просил его не утруждать себя, а заставить работать подмастерьев и уговаривал нанять их столько, сколько нужно. На это Бенвенуто отвечал, что если он не будет работать, то заболает, а произведения его выйдут не такими, какими он хочет, чтобы они вышли\*\*\*. Этого

\* "Vita", 151; I, 78.

\*\* Fr. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, т. II, 123.

\*\*\* "Vita", 270; II, 15.

правила он держался всегда. Он никогда не соглашался сдать вещь, пока она не получала той законченности, которую он хотел ей придать. А если заказчик настаивал, он отправлял назад материал и отказывался от работы. При этом ему все равно было, кто заказчик. С одним Климентом VII у него было бесконечное количество скандалов по этому поводу. Интересы искусства прежде всего. Когда его патроны об этом забывают, он напоминает об этом очень сердито. По пути во Францию в 1540 г. он остановился в Ферраре по уговору с кардиналом д'Эсте. Тот уехал вперед и обещал предупредить Бенвенуто заблаговременно. Но предупреждение пришло, когда времени оставалось очень мало. Доверенное лицо кардинала, Альберто Бендедио, согласно полученному приказанию, послал за Бенвенуто и сказал ему, чтобы он немедленно отправлялся во Францию на почтовых. "Я ему ответил, что мое искусство не делается на почтовых, что когда я путешествую, то ездю неутомительными переходами (a piacevoli giognate) вместе с моими подмастерьями Асканио и Паголо, которых я везу из Рима, что меня должен сопровождать сверх того конный слуга для личных услуг, что я должен быть снабжен деньгами, достаточными для дороги. Этот старый калека\* высокомерно ответил мне, что так, как я говорю, и не иначе путешествуют герцогские сыновья. А я ему немедленно в ответ, что сыновья моего искусства ездят так, как я сказал; того, как ездят герцогские сыновья, я не знаю, потому что сыном герцога никогда не был, а если он будет оскорблять мои уши подобными словами, я не поеду совсем\*\*". То же Бенвенуто ответил самому кардиналу, когда приехал во Францию и имел первый деловой разговор с ним.

Бенвенуто всегда готов был стоять на страже достоинства искусства, которому он служил, и в его гордых словах на этот раз нет ни малейшей рисовки и ни тени риторики. Они вполне искренни. Вся жизнь его доказывает, как высоко ценит он положение "сына своего искусства".

Если к кому-либо Бенвенуто чувствует настоящее уважение, то только к большим художникам. О королях, герцогах, папах ему случается говорить очень пренебрежительно. О Гиберти, Донателло, Брунеллеско он всегда вспоминает с трепетом. О Рафаэле он говорит с величайшей почтительностью. Микеланджело для него какой-то полубог. Divinissimo — его постоянный эпитет. Хвалою ему полны оба его трактата: "О ювелирном деле" и "О скульптуре". Он его считает своим учителем и любит как отца. Когда Пьетро Торриджани рассказал Бенвенуто о том, как ударом кулака изуродовал лицо Микеланджело, он проникся такой ненавистью к нему, что не мог больше его видеть\*\*\*.

Считая себя одним из самых выдающихся представителей искусства своего времени, Бенвенуто и требует, чтобы к нему

\* Альберто был в течение 12 лет прикован к постели.

\*\* "Vita", 256; II, 7.

\*\*\* "Vita", 26; I, 13.

относились с почитанием. Таким образом, все гасконады получают несколько смягченный вид. Он требует коленопреклонения не перед собой, а перед искусством. Его положения и его права определяются тем, что он жрец искусства. И не просто жрец, а pontifex maximus.

Каковы же его взгляды на искусство? Что он в нем ценит? Что ему дорого? Ответы на эти вопросы мы найдем не столько в "Vita", сколько в трактатах, больших и малых. Челлини был ювелиром, резчиком, чеканщиком и сделался скульптором. Из сферы малого искусства вошел в сферу большого. Тут он создал несколько крупных вещей: меццо-тондо с нимфой Фонтенбло, бюсты Козимо и Биндо Альтовити, мраморное Распятие, наконец, Персея. Ему улыбнулась слава как скульптору. Естественно, что это свое искусство он считал самым значительным и самым универсальным. Сколько копий переломал он, чтобы доказать преимущество скульптуры перед живописью, когда Бенедетто Варки обратился к Микеланджело и другим художникам, в том числе и к Бенвенуто, с просьбой ответить на вопрос, какое из двух искусств благороднее\*. Он яростно доказывал всюду преимущество скульптуры. Вот несколько характерных выдержек из письма к Варки: "Скульптура — мать всех искусств, в которых приходится иметь дело с рисунком. Хорошему, хорошей школы скульптору очень легко сделаться... лучшим живописцем, чем незнакомому основательно со скульптурой. Живопись не что иное, как отражение в ручье дерева, человека или еще чего-нибудь. Различие между скульптурою и живописью — различие между вещью и тенью"\*\*\*. Бенвенуто чрезвычайно ценит рисунок и совсем равнодушен к краскам. Его наставления о том, как нужно учиться рисованию, чрезвычайно для него характерны. Захлебываясь от восторга, говорит он о том, как начинающему важно научиться рисовать прежде всего кости человеческого скелета. "После того как ты нарисовал и запомнил эти кости, ты начнешь рисовать чудеснейшую кость, которая идет посредине, между двумя бедренными костями. Эта кость удивительно красива"\*\*\*\*. Такими лирико-анатомическими наставлениями наполнено много страниц. И сейчас еще чувствуется, каким трепетным, неподдельным интересом к телу человека полон Бенвенуто. А в какое он приходит негодование, когда неумелые и бездарные руки коверкают это совершеннейшее и прекраснейшее произведение природы. Послушайте его взволнованные инвективы, брошенные в лицо Баччо Бандинелли, когда герцогу Козимо вздумалось однажды сравить обоих художников. Речь идет все о той же выше всякой меры безобразной группе Бандинелли "Геркулес

\* См. письмо к Варки в собрании его мелких произведений, изданном Миланези, *I trattati dell'oreficeria e della scultura etc.* Firenze, 1857, с. 272 и след., небольшое рассуждение *Sopra la differenza nota tra gli scultori e pittori*, там же, с. 229 и след. Сонет на эту тему там же, с. 321 и след.

\*\* Trattati, изд. Миланези, с. 275.

\*\*\* Del modo d'imparare l'arte del disegno. *I trattati*, 237—238.

и Как". "Если, — кричит Челлини, — и вы видите соответствующую жестикуляцию перед седой бородой соперника, — если обрить голову твоему Геркулесу, у него не останется достаточно черепа, чтобы вместить мозг... Его невозможные плечи похожи на две вьючные корзины, перекинутые через осла. Его грудь (*le sue porre*) и другие мускулы скопированы не с человека, а с поганого мешка с дынями, выпрямленного и прислоненного к стене. Неизвестно, каким способом его две ноги соединены с этим скверным торсом. Поэтому и не поймешь, на какую ногу он опирается или на какую падает тяжесть его тела. И не видно, чтобы он опирался на обе ноги вместе... он очень заметно падает вперед на целую треть аршина (*braccio*), что одно является величайшей и непростительнейшей ошибкой"\*.

Это говорит не противник, несправедливо обиженный, а художник, в котором оскорблено чувство красоты и пафос рисунка. Тело человека нельзя коверкать недостойными руками: для художника нет большего бесчестья. В этом почитании человека у Бенвенуто нет ничего идейного, никакого культа личности, возведенного в теорию. Человек для Бенвенуто — категория не этическая, как для огромного большинства кватрочентистов и для многих его современников, а исключительно эстетическая. Совершенно так же, как в жизни, крайний индивидуализм Бенвенуто не нуждается ни в какой теории, а осуществляется безыдейно и беспринципно, так в искусстве культ человека складывается исключительно из правил, как рисовать "чудеснейшую кость", идущую между двумя бедрами, и как моделировать голову, чтобы, обрита, она могла вмещать мозг. Быть может, ни в чем другом не сказывается так ярко тот факт, что с Бенвенуто мы присутствуем при закате Возрождения. Бенвенуто — несомненный продукт культуры Возрождения, но ее лучшие догматы должны были представляться ему непростительной sentimentalностью. Только формальные моменты культуры были ему еще дороги, и прежде всего тот, который велел учиться на античных образцах. Когда он попадает первый раз в какой-нибудь город, где есть античные памятники, напр. в Пизу, где много антиков нашел он в *Campo santo*, и особенно в Рим, — он со всей страстью отдается их изучению. И влияние антиков запечатлелось на всю жизнь Бенвенуто во всех страстях искусства.

Итак, человек, линии его тела и античное искусство, помогающее эти линии схватывать и изображать. Художнический интерес Бенвенуто к окружающему этим исчерпывается. В мире едва ли существует что-либо еще, достойное внимания. "Vita" об этом свидетельствует чрезвычайно красноречиво. Челлини четыре раза побывал на альпийских перевалах. Он их не заметил. Его не тронула красота горных пейзажей. Как будто он ехал по пыльной дороге в Ареццо. Когда Бернард Клервосский шел целый день по

\*"Vita", 353—354; II, 70.

берегу Женевского озера и не видел его, мы это понимаем: Бернард был аскет, он был погружен в размышления. И средние века вообще не умели любоваться природой. Но ведь позади Бенвенуто было все Возрождение. У людей основательно раскрылись глаза. Природу понимать научились хорошо. А Бенвенуто путешествует без конца по Италии, дважды посещает Францию — и ничто из виденного не остается у него в памяти: ни ущелья Аппенин, ни чудеса Венеции, ни волны Неаполитанского залива, ни свинцовая гладь Мантуанского озера, ни великолепие Парижа — ничто.

У Челлини-художника был на редкость ограниченный кругозор. Легко было называть себя учеником Микеланджело. Нетрудно было высказывать соображения о том, в чем величие его, как живописца\*, но, очевидно, было очень трудно заимствовать у него частичку его необъятного художественного кругозора.

Мы увидим потом, как все это отразилось на произведениях Бенвенуто.

#### IV

Таков Челлини при первом беглом знакомстве. Легко воспламеняющийся, буйный, необузданный, одержимый мегаломанией, каждую минуту готовый разразиться какой-нибудь чудовищной гасконадой, насыщенный самой подлинной любовью к искусству, все поглощающей и все искупающей. С такой душевной организацией, не очень сложной, но в достаточной мере путаной, ему приходится устанавливать отношение к вопросам общественной и культурной жизни, да еще в то кипучее время.

Откуда возьмет он для этого необходимый душевный упор?

Челлини — горожанин. Род его задолго до него поселился во Флоренции. Психика, которая веками вырабатывалась в сынах свободного города, не умерла еще, хотя свобода задушена давно. Сердце свободного горожанина бьется и в груди Челлини. В нем живет гордое презрение к дворянству, которое выработалось в давние времена борьбы со знатью и всегда было одним из догматов городской интеллигенции. "Я, — говорит он\*\*, — горжусь, что, будучи происхождения низкого, дал почетное, в некоторой степени, начало моему дому. Это лучше, чем если бы, рожденный в верхах, своими пороками я запятнал бы и обесчестил свой знатный род". И хотя в самом начале карьеры Челлини стал лнуть ко дворам, но никогда не добивался дворянского титула, как многие из его сверстников-артистов. Титулам и орденам он всегда предпочитал деньги, и, если ему случалось

---

\*"Микеланджело более великий живописец, чем кто-либо среди древних и современных. И это только потому, что все, что он пишет, он берет из тщательно сработанных скульптурных моделей". Trattati, 273.

\*\*"Vita", 7; 1, 2.

выпрашивать себе должность, он выбирал такую, чтобы давала доход и не отнимала времени\*.

Среди артистической богемы своего времени Бенвенуто не был в числе наиболее развращенных придворной атмосферой. Но он не был лучше большинства. И не нужно забывать, что богема XVI века была совсем не то, что богема Кватроченто. Тогда в центре этого странного мира, представители которого скромно считали себя ремесленниками, но который буквально был полон гениальными художниками, стояли такие гиганты, как Брунеллеско, Донателло, Леон Баттиста Альберти. Их окружали Лука и Андреа делла Роббиа, Росселино, Дезидерио да Сеттиньяно, Микелоццо, Кронака, Полайоло, целая плеяда живописцев. Тут что ни имя, то мастер, единственный в своем роде. И нравы их были на уровне их талантов. Мы знаем, как развлекались эти люди — вспомните веселую шутку с Грассо-плотником, — как состязались между собой — история с распятиями Донателло и Брунеллеско, каков был их образ жизни. Различие между богемой XV и XVI веков то же, что между св. Георгием Донателло и Меркурием Джанболонья. Там вся сила внутри. Никаких внешних эффектов, и вы верите в эту силу. А тут статуя раскинулась во все четыре стороны: одна рука вперед, другая вверх, одна нога назад, другая прямо, — и все-таки это не убеждает, что в Меркурии достаточно силы для полета.

В XV веке богема жила просто и скромно. В XVI веке она хочет богатства, роскоши, дворцов, почестей. В XV веке она была культурнее и образованнее. Друзья-гуманисты как-то незаметно тянули художников за собой. В XVI веке, за немногими исключениями, художники малообразованны. У Бенвенуто — какие-то обрывки знаний: он успел их нахватать отовсюду понемногу между занятиями флейтой, ударами шпаги и чеканкой благородных металлов. Совсем без образования ювелиру нельзя. Нужны античные темы, античные мотивы. Особенно важно все это Челлини, ибо он в ювелирном деле работает all'antica. И в "Vita" мы находим следы такого случайного знания. Одну из девушек, ему приглянувшихся, зовут Фаустиной. По этому поводу он замечает, что она была, как ему кажется, несравненно красивее, чем та Фаустина, "о которой так много болтают (cicalan tanto) античные книги"\*\*\*. Вот такого характера и все его сведения. Поверхностность вообще была отличительной способностью богемы Чинквеченто по сравнению с богемой XV века. Кроме единичных людей, сверстники Челлини так же, как он, не любили думать. Кватрочентисты были глубже и в мировоззрении, и в творчестве, и в жизни. Одно было общее у тех и у других: любовь к искусству

---

\* Напр., должность папского булавоносца (mazziere). Она заключалась в том, что в дни торжественных процессов булавоносец вместе с другими столь же важными должностными лицами шел впереди папы, неся папскую булаву. В руках у других были остальные живописные игрушки, инсигнии папской власти.

\*\*\* "Vita", 44; I, 23.

и борьба за достоинства художника. Но и тут была разница; Брунелеско дважды бросал Флоренцию и уезжал в Рим, зная, что его позовут опять, и окончательно: когда обсуждалась постройка купола св. Репараты. Он не хотел поступиться своими взглядами в комиссии, где, однако, сидели люди понимающие. В XVI веке только у одного Микеланджело хватало смелости гнать папу Юлия II из Сикстинской капеллы, пока он не кончил своего плафона. В XV веке Донателло собственноручно разбил один портретный бюст, когда заказчик стал с ним торговаться. А Бенвенуто, хотя он не признавал в этих делах уступок, из нужды согласился на перемену условий, навязанную ему хитрым и жадным банкиром Биндо Альтовити, которому он сделал бюст, несмотря на то что новые условия ему были очень невыгодны\*. Так в малом и в большом, во внешнем и внутреннем различие между двух столетий вскрывается чрезвычайно явственно.

Те люди были цельнее. Если они любили, то любили, если верили — верили. Сопоставьте с простой и крепкой верой артистической богемы Кватроченто веру Бенвенуто.

Среди сонетов Бенвенуто — множество на духовные темы. Но какие они все холодные! Одна сплошная риторика, переложенная на плохие стихи. То же самое и его пресловутый *Capitolo*, написанный в тюрьме. Бенвенуто очень любит говорить, что он любит бога, и, когда ему приходится плохо, очень охотно вспоминает о боге. Но когда жизнь течет гладко, в суматохе житейской сутолоки, среди постоянно сменяющихся работ и заказов бог не вспоминается совсем. Особенно часто бог приходит на память в тюрьме. В замке св. Ангела, где у него в руках только Библия да хроника Джованни Виллани, Бенвенуто поневоле много думает о боге. И мы знаем, что он додумался до видений. Когда он попал в тюрьму во Флоренции уже в последний период жизни, видений больше не было. Но был некий поэтический зуд. Он беспрестанно находил выход в плохих сонетах, в которых Бенвенуто то просит о повторении прежнего видения\*\*, то перелагает на сонеты молитвы\*\*\*.

Все это делалось равнодушно-равнодушно, без подъема, без подлинного вдохновения, просто потому, что скучно в тюрьме и нужно как-нибудь убить время.

Когда Бенвенуто совершал паломничество в монастыри и носил по церквям всякие *ex-voto*, это делалось не по непреодолимой внутренней потребности, а просто потому, что так принято. Когда под шестьдесят лет Бенвенуто вздумалось идти в монастырь, это было очередным чудачеством, и только. Во Флоренции еще не умерла в то время память о временах Савонаролы, когда построгались лучшие представители интеллигенции, как Джован-

\* "Vita", 370 — 371; II, 79.

\*\* Напр., сон. XX, I trattati, 335.

\*\*\* Там же, сон. XXIX, с. 340.

ни Пико делла Мирандола, и когда весь остаток жизни художник уже не писал ничего, кроме сюжетов из Священного Писания: Баччо делла Порта, в монашестве фра Бартоломео, Сандро Боттичелли\*. Бенвенуто монашеский чин надоел довольно скоро. Он вступил в монастырь в 1558 г., а уже в 1560 году исходатайствовал себе освобождение от обетов. А еще через два года женился, притом тайно.

Мы охотно верим Бенвенуто, когда он рассказывает, как горячо он молился богу, когда при отливке Персея форма наполнялась плохо и когда горячо благодарил он бога, в конце концов форма наполнилась. В такие минуты он мог искренне верить в бога. В такие минуты молитвы могли идти у него из самых глубин души. Но настоящего религиозного чувства, горячего и крепкого, в нем не было. Его отношения к богу носили чисто договорный характер: *do ut des*. Как вообще у людей его типа: сегодня он верит в бога, а завтра в черта. И каждый раз вполне искренне.

У Бенвенуто тоже бывали моменты, когда он верил в черта по-настоящему. Прочтите рассказ о том, как в Риме некий священник, опытный в чернокнижном искусстве, уговорил его пойти с ним ночью в Колизей вызывать духов. Бенвенуто пошел, заклинание вышло очень удачно. В "Vita" он все рассказал. Он верит, что в критический момент Колизей действительно наполнился демонами. Их было так много, что это уже начало становиться опасным: нужно было прибегнуть к вонючей ассафетиде, чтобы их разогнать. К счастью, запах ассафетиды совершенно неожиданно распространился из другого источника: у одного из участников колдовства от страха подействовал желудок, притом с таким громом, что демоны предпочли немедленно отправиться домой, в преисподнюю\*\*. И все-таки Бенвенуто верит, что демоны предсказали ему, что он найдет свою Анджелику.

А когда он ее нашел действительно, уверовал еще больше.

Его кумир Микеланджело верил в бога по-другому и не ходил колдовать в Колизей. И любовь к людям у Микеланджело была другая. Когда войска папы и императора осадили в 1530 году Флоренцию, родину обоих, Микеланджело, забыв обо всем, отдался делу укрепления города и его защите. А с Бенвенуто случилось вот что.

В 1530 году он был во Флоренции, и, когда папа Климент VII объявил Флоренции войну и в городе начали готовиться к защите, Бенвенуто тоже был зачислен в милицию. Но папа узнал, что он во Флоренции, и приказал написать ему с требованием приехать в Рим, где ждали заказы. Таких писем пришло несколько. Бенвенуто подумал, подумал и... поехал. Его приняли там хорошо, простили утайку полутора фунтов золота, и он забыл думать о Флоренции, которая долгие месяцы истекала кровью, защища-

\* См. Lafenestre, François d'Assise et Savonarole. Leur influence sur l'art.

\*\* "Vita", 128; I, 64.



ясь против вдесятеро сильнейшего врага. Лавры Микеланджело и Франческо Ферруччи не соблазняли Бенвенуто. Его родина была там, где были заказы. Ему в голову не приходило, что содеянное им было самым настоящим предательством\*.

Свое понимание этих вопросов Бенвенуто раскрыл, передавая свой спор с флорентийскими изгнанниками в Риме, когда пришла туда весть об убийстве Алессандро Медичи. Франческо Содерини и другие, радостно возбужденные, издевались над Челлини, который как раз в это время был занят медалью Алессандро, и говорили ему: "Ты собирался обессмертить герцогов, а мы их совсем не хотим больше". Когда это ему надоело, он закричал: "O, isciocconi! Болваны! Я бедный ювелир и служу тому, кто мне платит, а вы злорадствуете по моему адресу, как будто я вожак партии"\*\*. Согласно этой философии, гражданские чувства — дело вождей партии: художник должен стоять по ту сторону политики и заниматься только своим делом. Что за человек тот, кому он служит, — решительно все равно, лишь бы платил. Отрицание гражданского долга принципиально оправдывается. Кватрочентисты поняли бы эти вещи с трудом.

Но чего они совсем бы не поняли — это поведения Бенвенуто в некоторых других случаях жизни. Гражданский долг он отвергает принципиально. Профессиональную честность он признает, но практически уклоняется и от нее. Когда Пьер Луиджи Фарнезе обвинял его в том, что он утаил принадлежащее курии золото, — это было злостным вымыслом. На этот раз Бенвенуто был чист. Но он утаил-таки около полутора фунта папского золота раньше: когда по приказанию Климента VII, во время осады замка св. Ангела, переплавлял золотые сосуды. Позднее он признался в этом папе и получил отпущение\*\*\*. Но он не получил отпущения за то, что утаил в Париже\*\*\*\*. В этом он не признается, но это столь же несомненно. В XVI веке это вообще случалось среди художников: фальшивомонетчики и воры в это время — даже не редкое исключение\*\*\*\*\*. А в XV веке Донателло все свои деньги клал в небольшую корзинку, которая висела на

\* "Vita", 88—89; I, 42.

\*\* "Vita", 173; I, 89. Когда уже был поставлен и открыт Персей, двое придворных вице-короля Сицилии предложили Бенвенуто поехать в Палермо и там служить. Бенвенуто, по его словам, ответил: "Я удивляюсь, что вы предлагаете мне покинуть такого государя, который умеет ценить таланты больше, чем другой монарх, когда-либо рожденный, да еще вдобавок когда я нахожусь в своем родном городе, школе всех великих талантов" ("Vita", 383; II, 92). Если даже Бенвенуто именно так ответил сицилийцам, то мотивировка отказа есть мотивировка придворного, а не гражданина. Теперь ему незачем было уезжать из Флоренции и некуда было уезжать, потому что обратный путь в Париж был закрыт, а в другие города — не так выгодно.

\*\*\* "Vita", 90—91; I, 43. "Там было не больше, чем на 140 дукатов", — утешал Бенвенуто папу, а папа будто бы жалел, что так мало: "Если бы ты взял золота столько, что из него можно было бы сделать тиару, я все-таки простил бы тебя", — говорил, по словам Бенвенуто, Климент.

\*\*\*\* См. Dimier, Rev. Archeol., т. 32, 1898, ср. ниже.

\*\*\*\*\* См. Müntz, La Renaissance, т. III (Italie), с. 56—57.

потолке в его комнате. Все об этом знали, и все имели право прийти и взять столько, сколько нужно. Никому в голову не приходило украсть все.

Зато Бенвенуто никто серьезно не обвинял в разврате. У него были, конечно, приключения с женщинами, может быть, как это было в духе Чинквеченто, не только с женщинами. Он не все скрывает и сам. Чаще всего его любовные истории представляли собой очень скромное сожитительство с служанками и натурщицами. В Риме одна из них наградила его французской болезнью, от которой он долго не мог отделаться. Другая, в Париже, пожаловалась на него в суд, что он заставляет ее отдаваться ему противоестественным способом\*, что было, по-видимому, клеветой. Связи с женщинами для Бенвенуто были ответом на чисто физическую потребность. Никакой поэзии в них он не вкладывал. Даже с Анджеликой, которую он любил больше, чем других, он расстался без всякой трагедии. Другие едва упоминаются. Женился он за шестьдесят лет на своей бывшей сожительнице, очевидно, потому, что надоело быть бобылем. К жене и детям был очень привязан.

Но еще больше привязан был Бенвенуто к отцу, брату, сестре и ее детям. Отца он любил нежно и трогательно. Пока он был жив, Бенвенуто отдавал ему значительную часть своего заработка: больше, чем оставлял себе. Чтобы не огорчать старика, он долго не бросал игру на флейте, которую ненавидел. Мы видели, как потрясла его смерть брата. А сестру Липерату (Репарата) он поддерживал всю жизнь, и, когда она умерла, свою привязанность к ней он перенес на ее детей. Эта поразительная нежность в буйном, неукротимом Бенвенуто — черта удивительная тем более, что, по-видимому, и в своей мастерской он был отличным, немного вспыльчивым, может быть, немного тяжелым на руку, но добрым и участливым хозяином.

В деловых отношениях Бенвенуто был прост, как сама простота, и если кто хотел его обмануть, то это было очень легко. Так обманул его большой хищник, Биндо Альтовити, в деле с бюстом. Обманул его и маленький хищник, мошенник самый форменный, по имени Збиетта, в деле с продажей участка земли. Обманывали понемногу подмастерья и рабочие. И Бенвенуто был беспомощен против таких вещей. Тут нельзя было "надеть прочную кольчугу", пойти куда-нибудь и проткнуть кого следует шпагой или кинжалом. Нужно было соображать, то есть думать. А мы хорошо помним, что Бенвенуто терпеть не мог думать.

Теперь мы знаем — более или менее, — что представлял собою Бенвенуто. Нужно попытаться найти объяснение для такого типа, не преувеличивая ни дурного, ни хорошего в его душе.

---

\*"Vita", 293; II, 30. Согласно объяснению судья: *tu hai usato seco fuora del vaso dove si fa figlioli* (ты имел с ней ощущение вне того сосуда, где делают детей. — *Ред.*). Это была та самая Катерина, которой он потом отомстил.

Сначала несколько мнений. Джон Аддингтон Симондс, один из лучших знатоков эпохи, говорит\*: "Было очень хорошо сказано, что два полюса общества, государственный деятель и ремесленник, находят точку соприкосновения в Макиавелли и Челлини: в том именно, что ни тот ни другой не признают никакого морального авторитета, а признают лишь индивидуальную волю. *Virtù*, которую превозносит Макиавелли, Челлини проводит в жизнь. Макиавелли рекомендует своему монарху игнорировать законы. Челлини не уважает никакого суда и берет осуществление правосудия в свои собственные руки. Слово "совесть" не встречается в этической фразеологии Макиавелли. Совесть никогда не заставляет дрожать Челлини, и в казематах замка св. Ангела его не беспокоят угрызения совести. Если мы будем искать в литературе параллель политику и художнику в идеализации силы и личного характера, то найдем ее в Пьетро Аретино. У него тоже совесть мертва. И в нем нет уважения к королю или папе. Он устроил себе место выше закона и свою собственную волю поставил вместо правосудия".

Другой ученый, столь же чуткий, как и знаменитый английский историк, крупнейший из историков итальянской литературы, Франческо Де Санктис, набрасывает образ Челлини в нескольких строках\*\*: "Натура чрезвычайно богатая, гениальная, лишенная культуры, он сосредоточивает в себе все типичное для итальянца того времени, не тронутого культурой. В нем есть нечто от Микеланджело и нечто от Аретино, слитое вместе, или, скорее, он представляет собой сырой элемент, простейший, народный, из которого одинаково выходят Аретино и Микеланджело".

Имя Аретино приходит на память само собой, когда люди говорят о Бенвенуто. Приходит на память двум ученым, так друг на друга не похожим. Приходит на память по разным соображениям. И действительно, в обоих много общего. Но в них есть одно кардинальнейшее различие, которого никто из писавших об Аретино или о Челлини не заметил и в котором — ключ к объяснению обоих. Об этом ниже.

Первоначальная параллель между Челлини и Макиавелли принадлежит гениальному французскому писателю Эдгару Кинэ\*\*\*. Симондс взял ее у него, но, пристегнув к ней Аретино, лишил ее того смысла, который придавал ей Кинэ. Кинэ говорит: "Флорентийский ювелир прилагает к князьям живописи и скульптуры те же принципы, которые секретарь синьории начертал для государей мира сего: одна и та же мысль прошла через все

\* J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, т. III, с. 350—351.

\*\* De Sanctis. *Storia delle letterature italiana*, т. II, с. 123 (prima edizione milanese, 1912).

\*\*\* Quinet, *Les revolutions d'Italie*, т. II, 1851, с. 227.

общество. Так как каждый человек оказался противником всех остальных и не осталось другого судьи, кроме оружия, — состояние варварства водворилось вместо традиций цивилизованного мира. Именно теперь артист начинает ссориться с общественными установлениями. До сих пор все его поддерживали, все ему благоприятствовало. Отныне он должен охранять себя сам. Он, кто был душой всего, чувствует себя все более и более чужим новому обществу. Чтобы не задохнуться в обществе, которое умирает, он отделяется от него. Вскоре он делается неспособным к общению. Ибо он облачается, как Челлини, в "прочную кольчугу", чтобы прокладывать себе путь, защищаясь, через все препоны своего века".

Вот теория, объясняющая общественными отношениями и их эволюцией особенности фигуры Челлини. Остановимся на ней. В ней две главных мысли. Во-первых, водворилось варварство. Во-вторых, в хаосе этого варварства, этого одичания артист поневоле должен был сделаться тем, чем стал Челлини, облечься в кольчугу, прицепить хорошую шпагу, заткнуть за пояс длинный кинжал, а за плечо перекинуть мушкет с усовершенствованным механизмом и собственноручно позолоченными частями. Так ли все это?

Прежде всего варварство. Что такое наступившее в Италии после первой половины XVI века варварство? О нем все говорят. Его все констатируют. Никто его не анализирует. Кинэ уверяет, что "варварство" пришло потому, что "каждый человек оказался противником всех остальных, и не осталось другого судьи, кроме оружия". "Это значит перевертывать картину культуры Чинквеченто кверху ногами. Анархия, о которой говорит Кинэ — если только вообще можно говорить об анархии в таких размерах, — сама была результатом "варварства". А откуда и как пришло "варварство"? Это и есть основной вопрос. Его и нужно разрешить.

"Варварство", в котором потонула культура Возрождения — мы это знаем, — носит совершенно определенное название и имеет совершенно определенное социальное содержание. Это — феодальная реакция. Феодальная реакция пришла на смену гегемонии торгового капитала и обусловленного ею свободного демократического устройства городов, созданного руками купцов и ремесленников XIII — XIV веков. Феодальная реакция душила все то, что расцветало под сенью свободных республик. Одним из важнейших последствий деспотизма, сопровождавшего феодальную реакцию, было углубление начинавшегося раньше развала бытовых устоев. Этот развал наступает, как известно, всегда, когда власть отрывается от защиты общих интересов и сосредоточивается на защите интересов единичных. Мир Чинквеченто, тот, который на виду, верхние слои общества — представляют картину морального и общественного разложения. Но падение нравов одинаково хорошо сочетается как с удивительным внешним блеском и небывалым расцветом искусства, так

и с сохранившейся в неприкосновенном виде здоровой социальной психикой ядра городского населения, его низов. Ибо низы не разоружались. На их фронте продолжалась борьба. Буржуазия подверглась моральному распаду, потому что сложила оружие. Старая тирания была ее правительством. Новая монархия была ей враждебна, но у нее уже не было силы бороться. Она продолжала жить, расходуя накопленное раньше и постепенно падая ниже и ниже. Моральную атмосферу Чинквеченто окрашивало не состояние и настроение низов, а состояние и настроение победоносного помещичьего класса и разбитой буржуазии.

Кинэ уверяет, что в социальной атмосфере феодальной реакции — "варварства" по его терминологии — артист должен был чувствовать себя одиноким, гонимым, опальным и вооружаться до зубов, чтобы не "задохнуться в обществе, которое умирает". Конечно, это не так. "Умирало" прежде всего не "общество", а часть его, буржуазия. А потом "задохнулись" не такие, как Челлини, не богема, а интеллигенция. Симондс смотрит на вещи гораздо правильнее. "У своих современников, — говорит он\*, — Челлини пользовался высоким уважением и был погребен своими согражданами с общественными почестями... Он диктовал свои мемуары, рисуящие его кровожадным, чувственным, мстительным человеком, во время досугов своей старости и оставил их потомству с удовлетворенным чувством, считая, что они свидетельствуют о его высоких добродетелях". Таких людей, как Челлини, среди его современников можно найти сколько угодно помимо Аретино.

Если бы Леоне Леони, земляк Аретино, ювелир, чеканщик, резчик и скульптор, как Челлини, оставил свои записки, мы узнали бы из них многое такое, что мы знаем помимо него, а может быть, и многое, чего мы даже не подозреваем. По непоседливости и по озорству он очень похож на Челлини, но он мошенник и бандит, пожалуй, хуже него. Бенвенуто был убежден, что Леоне подсыпал ему в пищу толченого алмазу, чтобы отправить его на тот свет, когда Бенвенуто сидел в замке св. Ангела. И, конечно, Леоне был способен на это. Он подделывал и подменивал произведения искусства. Он изуродовал некоего немецкого ювелира, который едва спасся живым из его рук. Он подослал убийцу к одному из своих подмастерьев за то, что тот покинул его. Он пытался в собственном доме убить Орацио Вечелли, Тицианова сына. Он за свои художества был осужден папой на галеры и целый год греб под плетками во славу святого престола, прикованный к веслу. "Соперник Челлини по приключениям столько же, сколько по искусству, более неукротимый и, быть может, более дерзкий, чем он, без искры совести в чем бы то ни было, разбойник, наглец и — лучше того — галерник. И в то же время придворный скульптор императора и основатель дина-

---

\* Renaissance in Italy, т. III, с. 322.

стии художников, мастер кинжала так же, как резца, убийца и медальер первостатейный”\*

Конечно, такие махровые типы, как Челлини и Леони, все-таки не правило, а исключение. Но даже они не чувствовали себя чужими обществу, в котором жили, и вовсе не находились с ним в "ссоре", как говорит Кинэ. Наоборот, они очень хорошо с этим обществом уживались. Ибо если им случилось обнажить шпагу или кинжал и нанести удар, то мало ли что бывает с человеком в минуту запальчивости. А если удар оказывался смертельным, тем хуже для того, кто под него подвернулся. Ибо "кто бьет, тот не рассчитывает". Эти вещи не служили ни поводом для разрыва с обществом, ни признаком разрыва. Когда папа Павел III приговорил Леони к отсечению руки перед отправкой на галеры, по единодушной просьбе его друзей и поклонников кардинал Аркинто и другие прелаты спасли ему руку, а от галер он избавился через год благодаря заступничеству Андреа Дориа, фактического государя Генуи. Вскоре после этого император сделал его своим придворным скульптором. Филипп II, несмотря на горькие жалобы старика Тициана, простил ему покушение на Орацио, а люди совершенно безупречные и чистые до конца его жизни вели с ним дружескую переписку, в их числе Микеланджело. Все они — от императора до простого художника — прекрасно знали, что Леони представляет собой самое настоящее общественное бедствие, но это их несколько не смущало. Совершенно то же было отношение к Челлини. Общество Чинквеченто эти вещи приемлет с холодным спокойствием. Оно пережило развал бытовых устоев, разрушение семейных традиций, крушение морали, у него от критериев всякого рода осталось деревянное равнодушие да понятие *virtù*, которому несколько не противоречил моральный облик таких людей, как Аретино, Леони, Челлини.

Челлини — родной сын своего общества. Он "может считаться горельефным эскизом (*un abrégé en haut relief*) сильных страстей, авантюристических жизней, гениев непосредственных и могучих, богатых и опасных дарований, которые создали Возрождение в Италии и которые, опустошая общество, творили искусство"\*\*. Это видно из его отношения к одному из основных факторов общественно-культурного быта его времени, ко дворам.

В обстановке феодальной реакции двор — главный потребитель художественных ценностей. Большинство артистов делало из этого непреложного социального факта тот вывод, который подсказывался профессиональным интересом. Они шли на службу ко двору императора, короля, папы, герцога к какому придется и где лучше платят. Так поступают и крупные художники,

\* Gauthiez, L'Arétin, 156 — 157. См. о Леони Plon, Leone Leoni et Pompeo Leoni, 1887.

\*\* Н. Тэйн, *Philosophie de l'art*, т. I, 184.

и артистическая богема. До 1530 года, до года падения республики во Флоренции, это еще не так заметно, потому что Флоренция, пока не рухнула ее свобода, была по старой традиции хорошим рынком. После 1530 года, особенно после появления на престоле герцога Козимо, и во Флоренции главным клиентом художников, самым богатым покупателем, оттеснив других, стал двор. Всюду, где двор давал работу художникам: во Флоренции, в Риме, Милане, в мелких центрах, — это носило характер монополии. Двор целиком потреблял художественную производительность мастера и не давал ему возможности работать на сторону. Оплачивалась эта работа крайне скудно. Молинье говорит, рассказывая о том, как Козимо рассчитался с Челлини за Персея: "Герцог показал себя тем, что он был всегда: скрягой, который давал художникам только-только, чтобы им не околеть с голоду"\*.

За границей во Франции, в Испании итальянским художникам платили щедрее.

Челлини, типичный представитель артистической богемы, сначала пробовал работать, не поступая на службу, но уже при Клименте VII, еще до Сассо, он устроился на жалованье. После взятия Рима имперскими войсками он получал жалованье как бомбардир: ему была вверена одна батарея в замке св. Ангела. С тех пор он постоянно стремился устроиться на условии твердого годового вознаграждения. Во Францию он едет, заручившись соответствующими обещаниями. Во Флоренции, едва приехав, отправляется отыскивать герцога на его загородной вилле в Поджио-а-Кайано, чтобы сразу получить постоянное место. Он настолько уже свыкся с мыслью, что помимо дворов трудно просуществовать, что делает из этого выводы общего характера. В книге о ювелирном искусстве Бенвенуто ни с того ни с сего приходит в голову мысль установить условия, наиболее благоприятствующие развитию таланта у художников. Он говорит: "Талант у художника проявляется лучше всего тогда, когда ему посчастливится быть современником доброго государя, интересующегося всеми видами таланта"\*\*. Потом перечисляет: при первом Козимо Медичи были Брунеллеско, Донателло, Гиберти, при Лоренцо появился Микеланджело, который перешел потом ко двору Юлия II, *il buon papa Giulio*. Потом появились папа Лев X и Франциск I, *il gran re Francesco*, потом "несчастный" папа Климент. Челлини готов думать, что, не будь этих "добрых" и "несчастливых" пап и этих "великих" королей, Донателло не стал бы Донателло, а Микеланджело не сделался Микеланджело. Трактат о ювелирном искусстве написан в 60-х годах, то есть позднее "Vita", под самый конец жизни Бенвенуто, и то, что он там пишет, очевидно, — плод размышления и опыта всей его жизни. Он был уверен, несмотря на злключения римской, парижской и флорентийской службы, что вне службы при дворах

\* Emile Molinier, B. Cellini в коллекции Les artistes célèbres, с. 86.

\*\* Trattato dell' Oreficeria в сборнике Миланези I trattati, с. 83.

художнику невозможно работать успешно. Атмосфера и условия жизни феодальной реакции втянули Бенвенуто, и он после очень недолгих колебаний, без борьбы пошел в придворную службу. "Я служу тем, кто мне платит". В нем не было стремления оставаться всегда "uomo libero per la grazia di dio", свободным человеком милостью божией, как в Аретино. Но он и не совсем без оговорок служил у пап и королей. Его требования помимо денежных очень большие.

Он готов служить, но до тех пор, пока не затронуто в нем достоинство артиста и не поругана его религия: искусство. Он готов служить, но до тех пор, пока ему не начинают ставить на вид всякие пустяки: удар кинжалом, от которого человек умирает, выстрел из мушкета, отказ работать над тем, чего хотят, и упорное, назойливое предложение того, о чем вовсе не думали. Он готов служить, но до тех пор, пока утайка фунта-другого золота, затерявшегося в золе плавильной печи, или нескольких десятков фунтов серебра, оставшегося от статуи, не ставится ему в вину. Он готов, словом, служить до тех пор, пока двор признает, что "такие люди, как он, единственные в своей профессии, стоят выше законов". Если к нему не совсем благосклонны, дуются на него за своенравие, за буйный характер, за неправильности в счетах, он опоясывает шпагу, засовывает за пояс кинжал, надевает кольчугу и едет дальше, иногда захватив с собой две-три серебряные вазы, ему не принадлежащие.

Различие между Бенвенуто и Аретино в том, что Аретино не признает придворной службы совсем, ни с условиями, ни без условий. Он живет свободно, свободно работает, не знает мук и огорчений придворной кабалы. В истории интеллигенции, литературной и артистической богемы, Аретино — тип более прогрессивный, чем Челлини. Он показывает интеллигенции путь к освобождению от опеки, к уничтожению материальной зависимости от дворов. У Челлини, у которого на маленькие дела решимости было больше, чем нужно, на крупные ее не хватило. В нем не было настоящего размаха. Он не дорос до аретиновского девиза: *vivere risolutamente*.

И нужно сказать, что огромное большинство представителей интеллигенции и артистической богемы этого времени, когда потухали огни Возрождения и Барокко одинаково стремительно врывалось и в искусство и в жизнь, не пошли по следам Аретино. Они остались при дворах, и не только работали для дворов, но своей работой поддерживали дворы идеологически и эстетически\*. Последнее слово осталось на долгое время за теми, с кем

---

\* Troeltsch, Renaissance und Reformation в Hist. Zeitschrift, 110 Band, 1913, с. 548. "Unter diesen (XVI века) Umständen blieb der Renaissance nichts anderes übrig, als sich an die grossen Mächte der Zeit, an die Kirche und das absolutistische Fürstentum anzuschliessen". (При таких обстоятельствах Ренессансу не оставалось ничего другого как связать себя с наиболее могущественными силами времени — с Церковью и абсолютной властью князей. — *Ped.*) В деталях многое в схеме Трельча требует очень больших оговорок.



был Бенвенуто. Но более далекое будущее принадлежало мыслям Аретино, конечно очищенным от всего, что в них было слишком *cinquecentesco*.

Такова роль Челлини в общественных отношениях его времени. Он плыл по течению, потому что был не способен выносить в себе большую, открывающую мысль. В его голове не было т а к о г о идейного родника. Ему не под силу были могучие судороги протеста, как у Макиавелли или у Микеланджело. Нам остается познакомиться с творчеством Бенвенуто как писателя и художника.

## VI

Писатель Бенвенуто — весь в "Vita". Его два больших трактата о ювелирном искусстве и о скульптуре, его мелкие рассуждения, его сто с чем-то стихотворений — все это ничего не прибавляет к тому, что дает "Vita". В трактатах одна половина повторяет то, что в "Vita" сказано лучше\*, а другая носит чисто технический характер и ни по содержанию, ни по форме не представляет никакого интереса. Стихи настолько плохи, что о них забывают упомянуть самые подробные истории литературы\*\*. Это рубленая — и плохо рубленая — проза. Зато одной "Vita", как мы уже говорили, достаточно, чтобы создать громкую литературную славу кому угодно.

Анри Овett говорит о книге\*\*\*: "Произведение небрежное, нескладное, но поразительно живое, это одна из немногих книг XVI века, имеющих спрос и читающихся во всех странах... Бенвенуто писал, а чаще диктовал свои воспоминания так, как он их рассказывал: в стиле импровизации, сочно и нервно. Человек оживает в них целиком, столь же захватывающий для читателей, как он должен был быть непереносен для современников. Малейшие его деяния имеют в его глазах сверхъестественную важность, и он распространяется о мельчайшей подробности, наивно и искренно убежденный, заражающий своей страстью. Читатель сразу захвачен. Он увлечен, покорен".

Это один из самых колоритных рассказов о жизни Чинквеченто. "Немногие собрания новелл содержат в себе такое изобилие своеобразных вымышленных типов, портретов и силуэтов, созданных в подражание действительности, сколько автобиография Челлини подобрала — я почти готов сказать: подглядела — в реальной жизни. В ней все изображено с такой четкостью линий и контуров, как если бы автор пользовался своим родным искусством, рисунком"\*\*\*\*.

---

\* Причем с помощью трактатов часто оказывается нетрудно изобличить Бенвенуто в уклонении от истины.

\*\* См. Mabellini, *Le rime di B. Cellini, pubblicate ed annotate*, 2 изд. 1891. Анкона и Баччи (*Manuale della letteratura italiana*, т. II, 606) называют их "rozzi e pedestri".

\*\*\* Hauvette, *Litterature italienne*, 1910, с. 273.

\*\*\*\* Francesco Flamini, *Il Cinquecento*, с. 351.

Язык его — неправильный. "Бенвенуто в книге, — говорит опять Фламини, — столько же уклоняется от правил грамматики, сколь в жизни — от правил морали". Это язык флорентийского простонародья, такой, на котором говорили тогда на Mercato Vecchio, на Ponte Trinita, в Camaldoli\*. И этот язык делает чудеса, когда Бенвенуто ломает его всячески, чтобы передать то, что красочной, пластичной чередой теснится в его памяти и просится на бумагу. Видения прошлого передаются так, как они когда-то запечатлелись в том удивительном фильтрующем аппарате, каким был глаз Бенвенуто. То был глаз ювелира, привыкший запоминать мельчайшие и сложнейшие рисунки — какие его интересуют, не иные. А интересует его, главным образом, если не исключительно, то, что касается его самого. Остального он просто не видит, как не видел Альц, Венеции, Неаполитанского залива. К счастью для потомства, вещей, интересующих Бенвенуто, в жизни XVI века оказалось довольно много.

Но Бенвенуто не только умеет точно и четко изображать то, что он находит в своей памяти. Он умеет вдохнуть жизнь в изображаемое. Иной раз самый ничтожный факт под его пером оживает, облекается в плоть и кровь, расцветивается красками и врезывается в память навсегда.

Несколько примеров читатель припомнит из цитат, приведенных выше: о ночном заклинании демонов в Колизее, о натурщице Катерине в Париже, об убийстве Помпео. Вот еще несколько.

У Бенвенуто ссора с епископом Саламанки, для которого он сделал серебряную вазу. Епископ требовал вазу, Бенвенуто требовал денег. Епископ, не долго думая, послал вооруженных слуг, чтобы силой взять вазу у Бенвенуто, живого или мертвого. Бенвенуто зарядил мушкет и с помощью своих подмастерьев и соседей обратил в бегство всю банду. Тогда начались мирные переговоры, и Бенвенуто мобилизовался, чтобы идти к епископу. "Я взял большой кинжал, надел свою добрую кольчугу и явился к епископу, сопровождаемый моим Паулино, который нес вазу. Епископ приказал выстроить всю свою челядь. Приходилось — ни более ни менее — пройти между зодиаком: один был ни дать ни взять — лев, другой — скорпион, третий — рак. Наконец мы дошли до этого попишки (pretaccio), который встретил нас градом самых испаннейших поповских словечек, какие только можно себе представить!" В конце концов, после долгого и терпеливого обмена "словечками", испанскими и тосканскими, Бенвенуто получил свои деньги, а епископ свою вазу. Расстались друг другом очень довольные.

К сожалению, пришлось бы делать очень большие выписки, чтобы ознакомить с тремя лучшими отрывками "Vita". Два из

---

\* Бенвенуто знал, что не умеет писать правильно. И когда рукопись была готова, он дал ее Бенедетто Варки, знаменитому историку, чтобы он просмотрел по ней. Варки попробовал сделать это, но скоро увидел, что если поправлять как следует, то, во-первых, от рукописи не останется живого места, а во-вторых, она очень потеряет. И вернул ее с самыми незначительными мелкими поправками.

них: бегство из замка св. Ангела и отливка Персея — давно считаются классическими и фигурируют чуть не во всех итальянских хрестоматиях. Рассказ об отливке Персея особенно хорош: живописный, нервный, словно трепещущий теми чувствами, какими кипел в тот момент Бенвенуто, словно писал он не через много лет, а сейчас же, когда еще не успела остыть ни дикая тревога, что отливка не удастся, ни такое же дикое торжество, что она увенчалась успехом.

Рядом с этими двумя эпизодами достоин стать третий, менее прославленный, но не менее яркий и сильный: свидание с герцогом Алессандро во Флоренции летом 1535 года. На переднем плане этой картины нет ничего особенного, но на заднем, в какой-то зловещей тени, чуть набросанный силуэт Лоренцаччио. Он придает всему эпизоду насыщенную, полновесную, жуткую драматичность. Герцог и его родственник, господин и придворный, жертва и убийца. Бенвенуто рассказывает совершенно просто вещь, очень далекую от какой-либо связи со взаимными отношениями обоих Медичи: речь идет о медали герцога, которую должен сделать Бенвенуто и тему для оборотной стороны которой должен дать Лоренцино. Но вся трагедия в зародыше уже тут. Бенвенуто собирается ехать в Рим. Герцог уговаривает его остаться и хочет, чтобы о том же просил его Лоренцино. Тот монотонно, с каменным лицом каждый раз повторяет одну и ту же фразу: "Бенвенуто, ты сделаешь очень хорошо, если останешься". "E stava continuamente guardando il duca con un malissimo occhio". "И не переставал смотреть на герцога недобрым-недобрым глазом"\*.

Этот недобрый глаз Лоренцаччио преследует читателя долго еще после того, как он отложит книгу. Недаром биограф Лоренцино Медичи, вскрывая прелиминарии убийства, приводит рассказ Бенвенуто чуть не целиком\*\*.

Вообще Бенвенуто умеет писать портреты. Они у него все такие пластичные, так полны жизни, как лучшие профили его медалей. Возьмите обоих пап, с которыми Бенвенуто приходилось иметь дело, Климента VII и Павла III. Один — Медичи, большой барин, другой — Фарнезе, выскочка. Один меценат, другой инквизитор. Один — свергнувший папство в пучину унижения, другой — с трудом восстанавливающий его былой престиж. Один — унаследовавший все обаяние отца, даровитый, как все бастарды, другой — жестокий, сухой, умный фарисей. Оба они у Бенвенуто как живые. Или незаконный сын Павла, Пьер Луиджи Фарнезе, один из самых ничтожных и злобных тиранов того времени, похожий на отца только жестокостью. Попробуйте, прочитав "Vita", взглянуть на чудесные Тициановы портреты Павла и Пьера Луиджи. Они вам довершат характеристики Бенвенуто.

Или Козимо, великий герцог, его жена Элеонора, прекрасная модель Бронзино, и вся их придворная челядь. Или Франциск I

\* "Vita", 156; I, 81.

\*\* Pierre Gauthiez, Lorenzaccio, 107 — 109.

и госпожа д'Этамп. Или художники: Приматиччо, Баччо Бандинелли, Триболо, Сансовино и целая галерея других. Бенвенуто, как все даровитые злые люди, гораздо лучше рисует тех, кого не любит. Перо у него полное яду, но меткое и сочное.

И всюду, где в "Vita" чувствуется настоящий, яркий художник, там именно художественность создает большую внутреннюю правдоподобность рассказываемого. Но значит ли это, что "Vita" вообще и во всем вполне надежный источник? В литературе о Бенвенуто этот вопрос дебатруется очень серьезно и очень оживленно. Автор одной из наиболее обстоятельных монографий о Челлини, Э. Плон\*, в своей огромной книге защищает достоверность его свидетельств изо всех сил. Ему удастся иногда документально доказать, что многое из того, что в "Vita" очень неправдоподобно, тем не менее вполне отвечает действительности. Это положение требует проверки, хотя итальянская критика вместе с лучшим знатоком Челлини, Орацио Баччи, приняла на веру тезис Плона.

"Vita" — не более как одна из многих частных хроник (*la storia privata e domestica*), какими изобилует Возрождение\*\*. Из них, быть может, наиболее значительная — автобиография Леоны Баттиста Альберти, всеобъемлющий гений которого и в этой области оставил некий след. По форме Челлини не придумал ничего нового, да и по тону "Vita" не представляет ничего, что могло бы быть признано вполне оригинальным: та же автобиография Л. Б. Альберти — книга очень личная, очень страстная, очень озлобленная. Отличают "Vita" от других автобиографий и семейных хроник прежде всего ее художественные достоинства.

Но эти художественные достоинства уже а priori делают мало надежной ее достоверность. Автор лучшей монографии о развитии историографии нового времени Эдуард Фуэтер прямо называет "Vita" романом\*\*\*. И не без основания. Один из первых вопросов, который ставит современная историческая критика, приступая к оценке памятника, — это вопрос о пристрастии автора к событиям, им описываемым. Какой же автор может сравниться с Челлини по силе своего пристрастия? Он органически не способен был говорить правду о людях и о себе. Не нужно забывать, что цель Бенвенуто отнюдь не исповедь и облегчение совести, как это было, например, у Руссо. Когда так именно ставится цель, человек заставляет себя говорить правду, хотя подчас и с болью. Бенвенуто совесть не мучила — мы это знаем. Исповедоваться ему было нечего: отпущение своих многочислен-

\* E. Plon, B. Cellini, Recherches sur son oeuvre etc. Paris, 1882. К ней добавление: *Nouvel appendice aux Recherches etc.*, 1884. Хотя и устаревшие, обе работы очень ценны.

\*\* См. Erminia Leporati, B. Cellini e la sua autobiografia, Firenze, 1900, с. 24.

\*\*\* E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, 1911, с. 106: "neben diesen breitausgeführten, dramatisch angelegten Romane" etc. ("наряду с этими пространными драматически построенными романами". — *Ред.*).

ных грехов он неоднократно получал из рук самого папы. Его цель — хроника. Это достаточно красноречиво засвидетельствовано во вступительном сонете и в первых строках "Vita", где сказано, что всякий человек, сделавший в жизни что-либо хорошее, должен поделиться с современниками и потомством рассказом об этом\*. В другой раз он говорит о ближайшей цели своей хроники: "Я не рассказываю, — говорит он, передавая вкратце историю одной дуэли своей, — я не рассказываю других подробностей, хотя они и могли бы быть интересны среди этого рода рассказов. Но я хочу сберечь слова, чтобы посвятить их рассказам о делах, касающихся моего искусства, ибо искусство побудило меня начать писать то, что я пишу"\*\*. Челлини пишет "Vita", чтобы для потомства не пропала память о делах, касающихся "его искусства", и, конечно, — это нужно прибавить — о себе, как о представителе искусства. Таково главное содержание его хроники. Он, конечно, совершенно беззаботен о том, как нужно писать такие книги. Мы знаем, что ему известна хроника Джованни Виллани; он читал ее вперемежку с Библией в казематах замка св. Ангела. Читал ли он частные хроники, мы не знаем. Но, чтобы рассказывать пережитое, образцы были не особенно нужны. Рассказ начался и продолжался с удивительной легкостью и очень скоро из хроники стал "романом". Это произошло само собой. "Только на одну добродетель Бенвенуто не был способен, хотя он очень об этом старался: говорить правду о собственной судьбе. Все, что сказано ему, немедленно превращается в честь, которую ему делают, или страдание, которое ему причиняют. Точно так же все люди, которые приходят в соприкосновение с ним, по его мнению, либо пламенно его любят, либо пылко ненавидят, либо восхищенно почитают, либо низко преследуют, либо благородные люди, либо негодяи. Никогда никому он не был безразличен"\*\*\*. И Бенвенуто не только не способен говорить правду о себе. Он иногда эту правду определенно скрывает. И скрывает сознательно. Вот примеры. Очень известна сцена между Бандинелли и Бенвенуто в присутствии герцога. Она в "Vita" рассказана очень подробно\*\*\*\*. Там выходит, что Бенвенуто нападал на своего врага как на художника — о критике Геркулеса было говорено выше, — а Бандинелли либо защищался, либо если переходил в атаку, то просто осыпал Челлини вульгарными ругательствами, называя его содомитом и проч. А когда Вазари в биографии Бандинелли рассказывает о том же, впечатление получается иное. Конечно, и просто ругались нехорошими словами (*si diceano l'uno all'altro parole vituperosissime*), но спор шел главным образом о вопросах

\* "Vita"; сонет, с. 1; начало с. 3.

\*\* "Vita"; 51; 1, 26. См. также "Vita", 79; 1, 37: он отказывается сообщить подробности осады замка св. Ангела, *perché non sono nella professione che mi muove a scrivere*.

\*\*\* W. Fred, В. Cellini в мутеровской серии *Die Kunst*, с. 19—20.

\*\*\*\* "Vita", 353—355; II, 70—71.

искусства, причем и Бандинелли критиковал Бенвенуто. А Бенвенуто не захотел об этом сказать.

Другой случай касается присуждения Бартоломео Амманати большой глыбы мрамора, из которой должна была быть изваяна статуя Нептуна для фонтана Площади Синьории. Бенвенуто говорит о том, что герцог объявил конкурс, в котором участвовали еще Джанболонья и Винченцо Дати, но успех Амманати и свою неудачу он приписывает влиянию герцогини. Леоне Леони в письме к Микеланджело\* описывает дело иначе. Леоне заинтересован не был, и ему верить можно больше, чем Бенвенуто. Леони пишет: "Бенвенуто мечет молнии и изрыгает яд, из глаз у него исходит пламя, а языком он бросает вызов герцогу. Модель Амманати, говорят, лучшая: я ее не видел. Бенвенуто показал мне свою, и я пожалел его, что к старости ему так плохо служат глина и другие материалы". Значит, дело было в том, что модель была плоха, а не то, что Амманати получил мрамор только вследствие интриг и влияния герцогини.

Наконец, вот третий случай.

Французскому ученому Димье\*\* пришла в голову мысль проверить на основании параллельных свидетельств и актов рассказ Бенвенуто о его пребывании при французском дворе.

В "Vita" довольно подробно рассказывается, как приехал Бенвенуто во Францию, как жил и работал в Париже, какие имел там приключения, какими был осыпан почестями, какие терпел неприятности и гонения, как уехал. Многое Бенвенуто позднее повторил в "Oreficeria" и "Scultura", кое-что слегка изменив. Уже из сопоставления рассказов в "Vita" и в трактатах Димье извлекает данные, достаточные для того, чтобы усомниться в достоверности показаний Бенвенуто вообще. Но еще больше колеблет достоверность Челлини сопоставление его фактов с фактами дневника Франциска I и с подлинными документами, извлеченными из архивов. Эти сопоставления прежде всего обнаруживают в рассказах Бенвенуто о том, как ему приходилось защищаться в доме, подаренном ему королем (замок Petit Nesle, il piccolo Nello), много выдумки. Бенвенуто защищался не столько с помощью пик и мушкетов, сколько с помощью всяких прошений\*\*\*. Потом Димье опорочивает рассказ Бенвенуто, приведенный выше, о том, как он выставил в Фонтенбло своего серебряного Юпитера и как посрамил г-жу д'Этамп и затмил своей статуей копии антиков, привезенные из Италии Приматиччо. Димье уверен, что этого факта никогда не было\*\*\*\*. Но самый важный результат критики Димье заключается в том, что картина от-

\* См. Plon, Leone Leoni et Pompeo Leoni, с. 157.

\*\* L. Dimier, Benvenuto Cellini à la cour de France, Rev. Archeologique, 1898, т.

32.

\*\*\* Dimier, назв. статья, с. 247.

\*\*\*\* Назв. статья, с. 259: c'est une legende de plus à proscrire, un chapitre à mettre au rang des fables (это — легенда, о которой надо бы забыть, глава, которую следует поставить в разряд сказок. — *Ред.*).

ношений между Франциском и Бенвенуто должна быть совершенно перестроена. Выводы Димье вкратце таковы: король пригласил Бенвенуто как ювелира, и только как ювелира. Придворным скульптором у него был Приматиччо. Ссора с Приматиччо была вызвана грубым вторжением Бенвенуто в чужую область: он непременно хотел сделать статуи — Нимфу Фонтенбло и Марса. Неприязнь к нему г-жи д'Этамп имела источником именно то, что Бенвенуто лез куда его не просили и всем надоедал. А причины начинавшегося охлаждения между Челлини и Франциском, приведшие к отъезду его, были и совсем прозаические: Бенвенуто растратил казенные деньги и не мог в них отчитаться. Уезжая, он увез с собой три фигурные вазы, которые были сделаны из королевского серебра, так что пришлось посылать за ним погоню и отбирать не принадлежащее ему добро. И вернуться в Париж он не мог по той же, весьма не художественной причине. Во Флоренции ему жилось очень плохо, а в Париже у него был свой замок и средства настолько большие, что он месяцами мог оказывать гостеприимство своим друзьям, останавливавшимся у него с семьями и слугами. Естественно, что ему очень хотелось снова попасть в Париж. Он этим постоянно грозил герцогу Козимо. Но дальше угроз дело не шло. Бенвенуто продолжал оставаться во Флоренции, довольствуясь полуголодным существованием, и лишь вождельно вспоминал о своем княжеском житье в Париже. Происходило это потому, что от него из Парижа требовали отчетов в израсходовании выданных ему денег и драгоценных металлов, а те широковещательные, на девяти листах, сочинения, которые он посылал в Париж под видом отчетов, никого не удовлетворяли. Пока шла эта дружеская переписка о растрате, Франциск умер, и Бенвенуто до конца своих дней остался на родине, изнемогая в борьбе со скаредностью Козимо.

Таковы выводы Димье. Он всячески старается сделать их неоспоримыми, наполняет свою статью сопоставлениями, цифрами, чуть не логарифмическими вычислениями\*, и эта акрибия под конец начинает казаться стрельбой из пушек по воробьям. Основные выводы Димье правильны\*\*, но их можно было добыть и без такой помпы. Челлини никогда не "выдавал себя за историка", как утверждает Димье. Челлини категорически отрицает это: "Я не задаюсь целью писать историю", — говорит он\*\*\*. Он пишет хронику, что не одно и то же. На Бенвенуто

---

\* См. особ. указ. статью, с. 271, 274.

\*\* Кое в чем Димье прямо преувеличивает. Он утверждает, что Челлини и все время был только придворным ювелиром, а придворным скульптором был Приматиччо. Это неверно. В первой грамоте (о натурализации), данной Франциском Бенвенуто, он называется "nostre orfevre" ("наш золотых дел мастер". — *Ред.*) (июль 1542 г.), а во второй (дарственная на Petit Nesle) он зовется уже "nostre orfevre et statuaire" ("наш золотых дел мастер и ваятель". — *Ред.*) (июль 1544 г.). См. Documents в изд. "Vita" Бьянки, с. 583—585.

\*\*\* "Vita", 81; I, 38: non facendo professione di scrivere storie.

нельзя ссылаться, как на источник, при рассказе о крупных событиях, даже если он был их непосредственным свидетелем, но, когда нам нужны краски, рисунки, детали, для характеристики дел и людей XVI века, мы без Бенвенуто не обойдемся.

Возьмем для примера описание самого крупного исторического факта, которому Бенвенуто был свидетелем, Sacco di Roma 1527 года. Историкам, которым приходится описывать Sacco, нечем воспользоваться в "Vita". Обыкновенно указывается лишь, что Бенвенуто совершенно напрасно присвоил себе и своим друзьям мушкетный залп, которым был убит коннетабль Бурбон\*, и позднее выстрел из пушки, которым был ранен принц Оранский. А для существенного пользуются фактами, сообщаемыми у современных историков, менее живописных, но более дорожащих правдой, хотя и не присутствовавших при Sacco: Гвиччардини, Сануто, Джовио. Но зато сколько мелких деталей живописного рассказа Бенвенуто обогатили описание Sacco и осады замка св. Ангела у беллетристов и историков культуры.

Выше уже приходилось указывать, что большинство афоризмов, влагаемых Бенвенуто в уста его действующих лиц, в том числе и знаменитая, обошедшая все истории искусства фраза Павла III, что "художники единственные в своем роде не подчинены законам", носят все признаки собственного сочинения. Точно так же носят признаки сочиненности и многие факты, важные как материал для его собственного прославления. Много другое неправильно, потому что он просто *bone fide* забыл.

Историческая критика задает и другой вопрос при оценке достоверности документа: насколько он близок к сообщаемым фактам. Бенвенуто было 58 лет, когда он начал писать "Vita". От парижских событий его отделяет больше десяти лет (он уехал отсюда в 1545 г.), от смерти Климента VII — 24 года. А Бенвенуто помнил хорошо только тогда, когда память помогал гнев. Эжен Мюнц\*\* говорит, что у Бенвенуто есть много общего с Казановой. Трудно сказать, как много между ними общего, но одно очень существенное различие бросается в глаза каждому, кто внимательно читал "Vita" и мемуары Казановы. У венецианца поразительная память — это все больше и больше подтверждается по мере того, как находят новые документы. Память Бенвенуто, наоборот, очень плохая. Если он даже в "Vita" говорит об одном и том же два раза, почти всегда есть разница в передаче. А если об одном и том же рассказывается в "Vita" и в каком-нибудь из трактатов, писанных позднее, разница в пе-

---

\* "Vita", 72; I, 34. Нужно сказать правду, что Бенвенуто часто приписывают браваду, в которой он на этот раз не виноват: будто он уверял, что именно он убил Бурбона. Текст гласит: "fu che da questi nostri (то есть его и его спутников, которые стреляли одновременно) colpi si amazo Borbone". Но и это неверно хотя бы уже потому, что Бурбон пал не от мушкетной пули, а от ядра. См. свидетельства печатные и рукописные, сведенные у L. Pastor, *Gesch. der Päpste*, IV Band., II Abt., 1907, с. 270, особ. примеч., 3.

\*\* E. Müntz, *La Renaissance*, т. III (L'Italie, fin de la Renaissance), с. 147.



редаче бывает еще больше. В Риме в 20-х годах он продал некоему врачу Джакомо Беренгарио две небольшие вазы, по-видимому, очень оригинального рисунка (*bizzari vassetti*). "Этот достойный человек очень хорошо заплатил мне за них"\* — прибавляет при этом Бенвенуто. Лет через пятнадцать по дороге во Францию в Ферраре ему показали глиняную модель античной вазы, в которой он сейчас же признал одну из тех, которые продал Джакомо Беренгарио. По этому случаю Джакомо, бывший "достойный человек", назван шарлатаном, *ciurmadore* и тут же прибавлено: "И он мне заплатил за ту и за другую очень плохо"\*\*\*.

Когда Бенвенуто после окончания осады замка св. Ангела приехал во Флоренцию, он отдал отцу деньги, "которые солдатской службой заработал"\*\*\*\*. А когда ему пришлось признаваться папе Клименту в утайке золота, то оказалось, что отцу он передал те деньги, которые он получил на монетном дворе в Перудже в уплату за это именно золото\*\*\*\*.

Так пишется история у Бенвенуто. Нет необходимости умножать примеры. Гримасы памяти, извивы настроения — все у Бенвенуто может быть причиной неточностей. Поэтому фактам у него очень трудно верить. Зато тем впечатлениям, в восприятии которых участвовало чувство художника, верить можно. Потому что на худой конец впечатление такого художника, как Челлини, для иллюстрации отношений XVI века — тоже своего рода факт, и факт, представляющий большую объективную ценность. Из таких впечатлений, со вкусом рассказанных, создаются картины, которые дают нам представление о духе культуры Чинквеченто такое, какого мы никогда не получили бы у Гвиччардини и вообще ни у кого из историков. А так как таких памятников у нас очень мало, то "Vita" является, несмотря на свои недостатки, незаменимой.

## VII

Кто-то из писавших о Бенвенуто сказал, что, если бы не было "Vita", скульптурные и другие произведения его далеко не пользовались бы такой популярностью. В этом замечании много верного. Бенвенуто бесподобный ювелир. В его руке, которая так хорошо умеет всаживать кинжал "между шейной и затылочной костью", какое-то волшебное мастерство, превращавшее куски золота и серебра в настоящие произведения искусства. К сожалению, из его чеканных вещей до нас не дошло почти ничего, кроме знаменитой золотой солонки с Не-

\* "Vita", 55; I, 28: *il ditto valente huomo molto bene meglio pagasse.*

\*\* "Vita", 259; II, 8: *e lui melo pago l'uno e l'altro molto male.*

\*\*\* "Vita", 82; I, 39: *quali soldatescamente io mi havevo guadagnati.*

\*\*\*\* "Vita", 91; I, 43: *con essi n'andai a confortare il mio povero vechio padre.*

птуном и Амфитритою. Эта чудесная вещь была сделана по заказу Франциска I и перешла при Карле IX из Парижа в Вену\*. Об остальных его чеканных вещах мы знаем только по его собственным и чужим описаниям\*\*. Носящие его имя в музеях и частных собраниях чеканные вещи приписываются ему обыкновенно без серьезных оснований. Тем меньше приходится верить в принадлежность ему мелких вещей, ювелирных изделий в собственном смысле этого слова\*\*\*. Они обильнее украшались драгоценными камнями, представляли поэтому большую материальную ценность и гибли гораздо легче.

Бенвенуто не так давно считался королем ювелиров и чеканщиков своего времени. И еще старик Плон, большой поклонник Бенвенуто, как будто готов разделять эту точку зрения. Новейшая критика строже. Супино, например, говорит: "Если подумать, что, когда он явился во Флоренцию, он целиком отдался скульптуре; если вспомнить об огромном количестве флорентийских, ломбардских, венецианских и иностранных ювелиров, которые там работали; если иметь в виду, что декоративные формы, которые мода начинала требовать, только отчасти были усвоены Челлини, ибо, подчиняясь моде, он всегда предпочитал манеру античную, можно, мне кажется, заметить, что его искусство не имело того влияния, которое хотят ему приписать, ни того характера, который, по мнению некоторых писателей, был его лучшим правом на славу"\*\*\*\*. Правда, отзыв Супино касается только флорентийского периода. В римский и парижский периоды Бенвенуто работал лучше, но и тогда у него были соперники.

Теперь пересматривается и мнение о Бенвенуто как об одном из лучших (если не лучшем) мастеров медали XVI века. До нас дошло несколько медалей, несомненно, принадлежащих Бенвенуто. В их числе чудесная медаль Пьетро Бембо с Пегасом на обороте, медаль Франциска I, медаль и несколько монет Климента VII. Они очень хороши, но уступают медалям его современников: Леоне Леони, Бернарди, особенно знаменитого Карадосо, которого сам Бенвенуто должен был признать величайшим мастером своего времени и которому посвятил целую главу в *Oreficeria*. Ленорман, один из лучших нынешних специалистов по вопросу, так оценивает значение Бенвенуто в медальерном искусстве: "Вопреки тому, что он думает о себе в своем удивив-

---

\* См. о ней Jul. Schlosser, *Das Salzfass des B. Cellini*, 1921.

\*\* Впрочем, автор книги по истории чеканного искусства F. de Lasteyrie, *Historie de l'orfèvrerie*, 1875, с. 219, готов с большей или меньшей вероятностью приписать ему еще следующие вещи: во Флоренции кубок с тремя эмалированными ручками, украшенными бриллиантами, эмалированную крышку хрустального кубка, три кубка и флакон этого же типа; в Лувре кувшин из оникса, который "бог знает каким образом находится теперь в Англии, в коллекции Бересфорда Хопа"; в Мюнхене кубок, украшенный фигурками; в Генуе во дворце Дураццо серебряный кувшин с фигурами.

\*\*\* Сам Бенвенуто в *Oreficeria* различал крупные чеканные вещи, *grosseria*, и мелкие ювелирные, *minuteria*.

\*\*\*\* Supino, *L'arte di B. Cellini*, 56.

тельном самохвальстве, Челлини далеко не занимает одного из первых мест между художниками медалей\*\*». Снисходительнее ценят Бенвенуто как мастера печати. Каким-то чудом уцелел восковой слепок одной его печати и оттиск другой, сделанной для кардинала Ипполито д'Эсте и содержащей две композиции, разделенные архитектурным мотивом: проповедь Иоанна Крестителя и изгнание ариан св. Амвросием. Последняя очень хороша.

Вообще, говоря о Бенвенуто, как о чеканщике, резчике и ювелире, хочется в противовес чересчур строгим современным оценкам подчеркнуть огромный охват его творчества в этой области. Крупные вещи, мелкие драгоценности, эмаль, монеты, медали, печати, камеи — во всех этих областях Бенвенуто пробовал силы и ни в одной не остался вульгарным, только грамотным ремесленником. Об этом следует помнить, даже соглашаясь, что Карадоссо и Леони кое в чем его превзошли. А ведь помимо всего этого Челлини еще и скульптор.

О скульптуре Бенвенуто нужно поговорить подробнее. Много из сделанного им погибло, но многое уцелело: Персей, бюсты Козимо и Биндо Альтовини, Нимфа Фонтенбло, мраморное Распятие, бронзовый рельеф собаки и реставрированный античный Ганимед. С большей вероятностью ему можно приписать и другого Ганимеда. К Персею относятся две модели, одна восковая, другая бронзовая. Обе модели, оба Ганимеда, бюст Козимо и собака во Флоренции, в Bargello, Персей в Лоджии Приоров на Piazza della Signoria во Флоренции, Нимфа в Лувре, Распятие в Эскуриале, бюст Биндо был в Palazzo Altoviti в Риме, теперь, кажется, продан в Америку.

Рельеф собаки — это проба бронзы. Он очень хорош. Ганимед, поскольку над античной статуей работал в качестве реставратора Бенвенуто — приделано много существенного, в том числе голова, ибо от античной статуи остался один торс — манерен. Колоссальный бюст Козимо по изысканной отделке панциря, чисто ювелирной, хорош, но в целом скучен. Гораздо лучше бюст Биндо. Он проще, содержательнее, сильнее. Нимфа отражает влияние французской скульптуры и во всех отношениях слаба. Возлежащая на рельефе особа с длинными и тонкими, как макароны, ногами и незначительной головой, зоологический антураж, композиция — все выдает спешную, непродуманную, недомоделированную работу. Остаются две крупные вещи: Распятие и Персей.

Распятие поступило в коллекцию Козимо, находилось некоторое время во дворце Питти, потом было подарено герцогом Филиппу II Испанскому. Бенвенуто уверяет — вероятно, и сам он был уверен в этом — что его Распятие первое, сделанное из мрамора. Он ошибся. Плон\*\* насчитывает целых три ему предшествовавших мраморных распятия: Рафаэлло Монтелупо в Ор-

\* Lenormant, Monnaies et Medailles.

\*\* Plon, B. Cellini, 229.

виетском соборе, Монторсоли в церкви dei servi di Maria в Болонье и Сансовино в Риме. Это, конечно, не лишает Распятие Бенвенуто его значения. На черном мраморном кресте Христос из белого мрамора, совершенно обнаженный\*. Тонкое, худое тело. Очень натуральные складки на животе. Раны на боку и крови нет. Лицо выражает боль, но не искажено страданием. Вещь прекрасно сработана и очень эффектна, но не захватывает. В ней нет ни мощного реализма Распятия Донателло, ни красоты Распятия Брунеллеско. По драматизму она уступает обоим деревянным шедеврам Кватроченто.

Персей — лучшее произведение Челлини. Его открытие было настоящим праздником для Флоренции. Герцог Козимо попросил Бенвенуто еще до того, как статуя была окончательно готова, открыть ее на полдня, чтобы публика могла высказать свое первое впечатление. Впечатление было огромное. Толпа, теснившаяся перед статуей, громко ее хвалила. Лучшие живописцы Флоренции, Понтормо и Бронзино отзывались очень одобрительно. Бронзино написал несколько восторженных сонетов. Какие-то профессоры из Пизы, гостившие во Флоренции, приветствовали Персея латинскими стихами. А когда статуя была открыта окончательно, восторги сделались еще более бурными. Герцог, спрятавшись за драпировками окна, выходящего на площадь, слушал, что там говорят, и остался так доволен, что обещал щедро вознаградить Бенвенуто. Правда, потом ему стало жалко. Но огромное общественное возбуждение, вызванное Персеем, еще раз показывает, какое место в жизни Флоренции занимало искусство и насколько Бенвенуто чувствовал нерв своей эпохи, требуя к художнику особенного отношения.

Бенвенуто, несомненно, сильно преувеличил восторги, вызванные Персеем. Мы доподлинно знаем — об этом будет речь ниже, — что сонеты не все были хвалебные, что были ругательные. Но общий приговор о Персее был одобрительный. Теперь отношение к нему несколько иное. Правда, первое впечатление и сейчас огромное. Нужно сказать, что Козимо и Бенвенуто знали, где его поместить. Стоит Персей так, что и более слабая вещь должна была действовать сильно. Он стоит под левой аркой Лоджии Орканьи, с фасада, и виден отовсюду с огромной Площади Синьории. Он бросается в глаза раньше, чем другие статуи, стоящие в Лоджии и вдоль дворцового фасада\*\*. Поза Персея на первый взгляд представляется по-настоящему смелой и энергичной и сразу как будто захватывает, особенно издали, если войти на площадь с Via Calzaioli. Да и вся статуя кажется лучше, чем в действительности. Более близкий и внимательный осмотр

\* Эскуриальские монахи, впрочем, обмотали ему бедра какой-то тряпкой, чтобы не было соблазна.

\*\* Особенно когда у дверей Дворца Синьории стоял один только ужасный Геркулес Баччо Бандинелли: оригинал Давида был увезен в Академию, а копию поставить не успели. Так было, когда на Площадь Синьории впервые попал пишущий эти строки и был пленен Персеем — не надолго.

обнаруживает ее недостатки очень скоро. Статуя хорошо задумана, но не почувствована: она холодна и безжизненна. Торс Персея жидок по сравнению с руками и ногами, в которых микеланджеловская мускулатура. Но, несмотря на мощность ног, они поставлены так, что живой человек не простоял бы и четверти часа. Голова удивительно красива, но испорчена вычурным шлемом. Голова Медузы совершенно незначительна. Тело ее для облегчения отливки положено на пьедестал — чересчур тесный — в таком скрюченном виде (ноги подогнуты, левая рука вцепилась в щиколотку левой ноги, правая рука свесилась), что вот-вот скатится с него. Персею, который стоит на теле Горгоны, поэтому очень трудно держаться свободно. Влияние Микеланджело видно не только в утрированной моделировке мускулатуры, а во всем, но в то же время видно, какой Микеланджело опасный вдохновитель для художников, не обладавших ни его талантом, ни его душою. Бенвенуто не мог вложить в свою статую идею, потому что в его нелепой голове идеи не рождались. Но он не сумел вдохнуть в нее и темперамента, которого в нем было сколько угодно. Ему хотелось дать в Персее нечто чужое: *terribilità* своего учителя, и статуя оказалась лишенной всего, что может сообщить ей биение жизни.

Насколько восковая модель Персея в Барджелло лучше, чем статуя! Она вообще прекрасна без всяких оговорок: пропорции тела вернее, положение естественнее, вся фигура несравненно проще, изящнее, живее. Легкий изгиб упругого юношеского тела и наклон головы полны выразительности. Шлем совсем простой и надет просто. В модели есть настроение и виден замысел: Персей только что отрубил голову Медузы, схватил ее за волосы и высоко поднял левой рукой, а сам задумчиво смотрит, наклонив голову, как кровь густым потоком льется из перерубленной шеи. В другой модели, бронзовой, пропала легкость, непосредственность и выразительность фигуры. Изгиб тела исчез, голова потеряла свой наклон, ноги стали по-другому, неустойчиво. То, что придавало убедительность восковой фигуре, улетучилось безвозвратно. Но в бронзовой модели сохранились еще юношеские формы. В статуе отяжелели и они\*.

Вся статуя целиком показывает, что создавал ее ювелир, захотевший тягаться с Микеланджело. Когда герцогиня Элеонора попросила Бенвенуто сделать для нее несколько ювелирных вещей, Бенвенуто гордо ответил\*\* : "Мир знает очень хорошо, а теперь и вся Италия, что я хороший ювелир. Но Италия еще не видела моих скульптурных произведений. Между художниками некоторые полоумные скульпторы, насмехаясь надо мной, называют меня новым скульптором. Я надеюсь доказать им, что

---

\* Мнения Plon'a, Müntz'a, Supino, Molinier, Fred'a совершенно сходятся. Plon свисодительнее других. Ср. еще A. Venturi, *Arte italiana*, 216, и Burckhardt, *Cicerone*, II, 137—138.

\*\* "Vita", 347—348; II, 65.

я старый скульптор, если только бог будет милостив ко мне и даст мне показать моего Персея в готовом виде на этой почтенной площади его светлости". Бенвенуто оправдал все, что о нем говорили, "per l'arte" среди художников. Персей блещет отделкой деталей, филигранной работой над мелочами. Но Бенвенуто привык, что в ювелирном мастерстве не предьявляется слишком больших требований к общему замыслу, к идее, к выразительности. И перегрузил свою статую ювелирными украшениями настолько, что она потеряла свой внутренний ритм, так явственно чувствующийся в восковой модели\*.

Воздух барокко сделал свое. Персей если и не настоящий стиль барокко, то его определенный предвестник. Если бы мы не знали восковой модели, мы бы сказали, что в Бенвенуто не осталось ничего от Возрождения. Но эта почерневшая статуэтка показывает, что в нем шла борьба, что его вкус еще не окончательно испортился, что черты барокко в Персее были уступкой времени, сделанной, быть может, со стиснутыми зубами.

В одном из стихотворений, которыми, по обычаю флорентийскому, был увешан пьедестал Персея в первые дни после открытия, среди огромного большинства хвалебных было и несколько ругательных. В одном из них была злая строка:

*Ti può bello parer, ma non val nulla...*

"Он может тебе казаться прекрасным, а не стоит ничего"... "Non val nulla", — сказано чересчур сильно и несправедливо. Восковая модель показывает, что Бенвенуто был способен на большее, на большое.

## VIII

"Vita" обрывается на 1562 году. Челлини умер 13 февраля 1571 года. Что заставило его оборвать рассказ? Об этом можно только догадываться: прямых указаний нет. Очевидно, потому, что не о чем было рассказывать. Лучшая пора жизни была позади. Позади было все героическое, все лучшие достижения. Жизнь шла кое-как. О парижской роскоши приходилось забыть очень основательно. Заработков хватало едва-едва. Пошли дети. В 1562 году он тайно женился на своей любовнице донне Пьере,

---

\* Henri Focillon (Benvenuto Cellini, в серии Les grands artistes, с. 99—100) предлагает судить о Персее, забыв обо всех аксессуарах: "Попробуем на минуту забыть о пьедестале, перегруженном украшениями, загроможденном статуями и атрибутами, о Медузе, странно перегнутой на узком основании. Оставим в стороне все, что составляет декорацию и аксессуар, театральный убор, избыток роскоши. Поставим Персея на белый камень, четырехугольный и обнаженный, и попытаемся истолковать его как прекрасную находку, добытую в земле, спустя века". Тогда, по мнению автора, окажется, что статуя прекрасна. Конечно, т а к она очень выиграет, но тогда это не будет Бенвенуто. Если вынуть из ниш пьедестала Данаю с младенцем или Меркурия, эти прелестные статуэтки тоже очень выиграют. Но замысел Бенвенуто был именно в том, чтобы запрятать их в ниши.

четыре года спустя (1566) признал брак, зажил своей семьей. Расходы были большие. Детям — их было несколько — он старался давать хорошее образование. У нас есть документ\*, из которого видно, что он пригласил к своей дочери Липерате (Репарата) одного органиста давать ей уроки игры на клавесине.

Художественная производительность упала. Бенвенуто никогда не работал быстро, несмотря на весь темперамент и на весь флюге: достаточно сказать, что Персей, начатый в 1545 году, был окончен лишь в 1554 году, то есть через девять лет. Теперь работа шла совсем медленно. В 1563 году ему было поручено сделать для хора церкви Santa Maria del Fiore (собор) барельефы. В 1567 году, когда оказалось, что он ничего не сделал, работа по приказанию герцога была у него отобрана. И, по-видимому, Бенвенуто должен был прийти к тому выводу, что при его темпе работы скульптура его не прокормит. Долгое время он жил на то, что ему платила герцогская казна еще по старым счетам. А так как платила она плохо, то в 1568 году он вступил в компанию с тремя ювелирами и вернулся таким образом к своему исконному ремеслу\*\*.

Снова была проза, и проза довольно тяжелая. Бенвенуто был человек со вкусом и не хотел, чтобы яркие картины "Vita" потускнели в рассказах о таких скучных вещах: он предпочел ее оборвать. А кроме того, вероятно, не было настроения. Ибо душевное состояние Бенвенуто не могло быть сколько-нибудь радостным или светлым.

При Козимо и в лучшие его времена жилось во Флоренции нелегко. Он был одним из самых мрачных тиранов, каких знает XVI век. Недоверчивый, скрытный, злой, жестокий до садизма, принужденный постоянно дрожать за свой трон с самого момента смерти Климента VII (1534), он все свое управление построил так, чтобы успешно караулить свою державу. Полиция и вся вообще администрация были приспособлены очень хорошо для уловления крамолы, и всем, в ком еще тлели остатки самостоятельной политической мысли или независимых политических настроений, нужно было быть начеку. Тюрьмы во Флоренции были крепкие, а палач — мастер своего дела. При этом у Козимо, хотя он и очень любил искусство и понимал его — все-таки ведь был настоящий Медичи, — не было таких предрассудков, что "художники единственные в своем роде законам не подчинены". Бенвенуто испытал это на себе. Его много раз тягали к суду, а однажды он довольно долго — судя по количеству написанных там сонетов — просидел в тюрьме. Нужно было подчиняться *perinde ad cadaver*. Это, впрочем, и делали такие художники, как Бандинелли и даже Вазари.

И, быть может, даже не самый деспотизм Козимо действовал так удручающе, а та атмосфера какой-то холодной жестокости,

---

\* Documenti in Continuazione della "Vita" в изд. Le Monnier (Bianchi), № 47, с. 539.

\*\* Documenti, №№ 10 (506), 35 (528), 37—38 (531—532).

которая насыщала двор и все, что близко с ним соприкасалось. Сам Козимо со своим фальшивым взглядом, стиснутыми тонкими губами, неподвижным лицом нагонял ужас на всех. Все боялись прогневить его и вызвать "испанское" воздействие за это: идеалом правителя Козимо считал Филиппа II, в его политике он одобрял все, вплоть до тайных убийств и явных костров инквизиции. И в жестокости Козимо было что-то испанское, что, впрочем, не было для Италии чем-нибудь неведомым: ведь испанцы хозяйничали уже довольно давно в Ломбардии и в Неаполитанском королевстве и начинали просачиваться всюду. Люди, постоянно встречавшиеся с Козимо, должны были очень часто задавать себе вопрос: что скрывает его непроницаемая маска кроме того, что всем было известно, — правда ли, что он заколол свою старшую дочь Марию за связь ее с пажом и сына Гарсия за то, что тот убил своего брата; правда ли, что Филиппо Строцци, взятый в плен, умер в тюрьме, как было опубликовано, или ему помогли; правда ли, что в застенках ежедневно, при небольшом содействии со стороны тюремщиков, умирают люди, для Козимо ставшие неудобными? Ответа не получил никто.

Конец "Vita", если принять во внимание все это, какой-то страшный. Говорится о том, что герцог с семьей и всем двором отправился в Сиенскую Маремму. И дальше: "Раньше других почувствовал отраву этого ужасного воздуха кардинал, ибо через несколько дней на него напала злокачественная лихорадка и быстро убила его"\*.

"Раньше других". Значит, Бенвенуто знал в то время, как писал, что кроме кардинала Джованни были больны и дон Гарсия, и герцогиня Элеонора, которые тоже вскоре умерли. Почему он оборвал так быстро рассказ? Быть может, он не хотел говорить о тех слухах, которые сопровождали эти три смерти в семействе герцога.

Во всяком случае, последний факт определяет вполне точно дату окончания "Vita". Кардинал умер 21 ноября 1562 года. Бенвенуто подождал "несколько дней", потом решил, что "слезы уже осушены", и поехал к герцогу в Пизу. Это было, значит, или в самом конце ноября, или в начале декабря.

В одной из фресок Palazzo Vecchio Вазари изобразил Козимо, окруженного лучшими архитекторами и скульпторами его времени. Тут Бандинелли, Амманато, Челлини, Триболо, сам Вазари и другие. Можно подумать, что это сидит отец среди веселой гурьбы своих детей. А этот отец морил своих детей голодом и еще вдобавок заставлял их каждую минуту дрожать за жизнь и свободу.

Бенвенуто так до конца жизни и не получил всех денег, следуемых ему с герцога за Персея, за Распятие и за ювелирные работы. Еще в конце 1570 года он умолял герцога покончить наконец счета, но, по-видимому, столь же безрезультатно, как и раньше\*\*. Так и умер, не дождавшись. Производят угнетающее

\* "Vita", 423; II, 113.

\*\* Documenti, №№ 59—60, с. 553—558.



впечатление эти бесконечные просьбы творца Персея о том, чтобы ему уплатили деньги через шестнадцать лет после того, как статуя была поставлена в Лоджии Приоров. Все 16 лет Бенвенуто только и делает, что просит свои деньги. И ведь это прославленный художник.

Как ни относиться к Челлини, а такой конец яркой жизни кажется теперь совершенно незаслуженным оскорблением артиста. И, быть может, это тоже заставило его сразу оборвать писание "Vita". У него была своя гордость, достоинство артиста. Ему было больно рассказывать о том, как было растоптано грубым солдатским сапогом Козимо самое дорогое, что было у него в жизни.

АНЬОЛО  
ФИРЕНЦУОЛА\*  
1493—1543

I

Папе Клименту VII никак не удавалось накопить столько денег, чтобы щедрой рукой поддерживать ученых, поэтов и художников. Все золото папской казны поглощала его династическая медичейская политика. Она требовала огромных жертв и была пропитана настойчивым и терпеливым лицемерием, которое приводило в бешенство Макиавелли и вызывало одобрение Гвиччардини. Но папа любил делать вид, что он — тоже меценат не хуже кузена, пышного Льва X: собирал у себя людей талантливых, но поменьше калибром, то есть подешевле. Как он им платил, мы знаем от Бенвенуто Челлини. Как им у него жилось, рассказал в целом фейерверке ругательств по адресу "papa Climente" — папы, который врет, — Пьетро Аретино. Но если человек был скромный и довольствовался малым, то он мог чувствовать себя очень уютно в сухоядении скупого покровительства Климента. Таких было немало. К их числу принадлежал Аньоло Фиренцуола.

Он появился в Риме около 1518 года, когда был еще жив Лев X, но его тогда было не видно, потому что он не умел ни назойливо лезть вперед, ни обзаводиться богатыми и знатными патронами. Его удовлетворяла маленькая должность при куриальном суде, дававшая ему, очевидно, самое необходимое и оставлявшая достаточно времени для развлечений. Развлечения оставили по себе не очень приятное воспоминание в виде французской болезни. Аньоло лечился от нее "святым деревом", то есть гваяком, чудодейственной силе которого воздвиг потом признательный памятник в виде особого *capitolo*, то есть стихотворения, написанного терцинами.

Карьера складывалась далеко не блестяще, гораздо менее блестяще, чем мог ожидать сам Аньоло, ибо данные у него были. Он принадлежал к видной флорентийской семье, в которой культурные традиции стали наследственными. Дед был очень заметный гуманист и поэт, отец — юрист и литератор с хорошим именем. Сам Аньоло получил прекрасное общее образование во Флоренции, а специальное юридическое пополнял в Сиене и Пе-

---

\* Текст печатается по изданию А. Фиренцуола "Сочинения", Academia. М.—Л., 1934. (Ред.)

рудже. Но, по-видимому, ему недоставало настойчивости и не было у него цепкой хватки; какой был в изобилии наделен его перуджинский одноклассник Пьетро Аретино. Жизнь его не отпечатлелась сколько-нибудь заметно ни в воспоминаниях современников, ни в документах. Оттого в ней так много невыясненного. Мы знаем, что он был монахом валломброзанского ордена, но, когда он в него вступил, нам неизвестно. Мы знаем, что он не очень долго сидел в папских судах: ему быстро опротивели дикие архаичные процессуальные нормы, в них царившие, и невежественные судьи в рясах, торговавшие правосудием; он бросил суд. Но когда это случилось — нам неизвестно. Мы знаем, что в оставлении им куриальной службы играла роль его родственница, Констанца Амаретта, с которой его связывали и другие узы, нежнее родственных: она все время толкала его на литературную работу, пока не добилась своего. Но в каком обществе вращался Аньоло до ухода со службы, и когда пристала к нему французская болезнь, и как сочтались Констанца и "святое дерево" — нам неизвестно.

Только после 1525 года, то есть при папе Клименте, Аньоло появляется в обществе людей, знакомых нам и занимающих положение, и получает доступ в Ватикан. Позднее он с гордостью припоминал, как ему пришлось читать папе свои произведения: "Мне хочется и я могу похвалиться тем, что разборчивый слух Климента Седьмого, для восславления которого слабо будет всякое перо, в присутствии самых светлых умов Италии в продолжение нескольких часов склонялся с большим вниманием к моему голосу, когда я читал "Изгнание"\* и первый день этих "Разговоров", — не без того, чтобы выказывать знаки удовольствия и не без похвал".

"Самые светлые умы Италии", нужно думать, — это те люди, вместе с которыми Фиренцуола посещал собрания Академии Виноградарей\*\*: веселый поэт Франческо Берни, епископ Делла Каза, автор первого руководства хорошего тона "Il Galateo", новеллист Франческо Мольца и несколько других литераторов. Жизнь Аньоло начала становиться более содержательной и более обеспеченной. Но она сплошь проходила в литературных интересах и светских увлечениях. Трагическая эпопея Италии и Рима в 1526—1527 годах, майский разгром города, позорный полуплен папы Климента, его пресмыкательство перед Карлом V и награда за это — покорение Флоренции в 1530 году — никак не отразились в сочинениях Фиренцуолы. Как будто за это время не случилось ничего особенного. Как будто в эти годы на свете не было ничего, кроме улыбки Констанцы и бесед Виноградарей. Между тем не все Виноградари были таковы: в берниевой пере-

---

\* "Изгнание новых букв" — орфографический трактат Фиренцуолы, в котором он полемизирует против предложения Триссино ввести в итальянский алфавит новые буквы.

\*\* Академии XVI века носили самые неожиданные, большей частью очень вычурные названия, которые ни в какой мере не определяли характера интересов их членов. Академия Виноградарей была литературным обществом.

делке "Влюбленного Роланда" разгром Рима в 1527 году, Sacco di Roma, занимает очень много места.

Это отсутствие интереса к общественной жизни было типичной чертой именно Аньоло, и оно нравилось папе Клименту. Недаром пригласил он его. Он не только давал ему возможность существовать, но в 1526 году освободил его от монашеских обетов. Чем это было вызвано непосредственно, мы тоже не знаем. Если бы папа был человеком мало-мальски доступным юмору, можно было бы думать, что к этому побудило его содержание читанного ему первого дня "Разговоров": ведь из шести новелл, в него входящих, чуть ли не каждая издевается над монахами, и подчас в очень непристойной форме. Освобождение от обетов автора таких новелл могло быть ироническим жестом. Но Климент иронии не понимал. Скорее всего, это было милостью за удовольствие, доставленное чтением: ни сатиры против духовенства, ни непристойности не мешали папе ни теперь, ни раньше получать удовольствие от интересного чтения. Награда Аньоло была тем более полная, что, снимая с него монашескую ясу, папа оставил ему как клирику право пользоваться церковными бенефициями. Когда Аньоло переехал из Рима в родную Тоскану, он — это мы знаем из документов 1539 года, но вполне вероятно, что так было с момента переезда, а может быть, и раньше — носил звание аббата монастыря Вайяно, неподалеку от Прато. Так как монахом он уже не был, ясно, что титул означал лишь, что он пожизненно пользуется доходами монастыря. Самый переезд совершился, нужно думать, после смерти Климента (1534).

## II

В Прато протекли последние девять или десять лет жизни Фиренцуоли. В Прато и во Флоренции, куда он часто наезжал, и жизнь, и физиономия его приобретают больше определенности. Нам удастся схватить кое-какие важные контуры.

Флоренция после 1530 года уже не была республикой. Тот самый папа Климент, который с таким удовольствием слушал чтение непристойных новелл, с помощью испанской армии сломил сопротивление Коммуны и посадил в городе Алессандро Медичи, который был не то его племянником, не то просто сыном. Алессандро круто взялся за руль и рядом последовательных "реформ" в течение двух лет ликвидировал последние остатки старой республиканской конституции. Сделать это было тем легче, что город был совершенно обессилен экономически: от его огромных богатств не осталось почти ничего; ему нечем было сопротивляться против нажима новой экономической политики. А она загоняла в деревню остатки капиталов и возвещала новое социальное устройство, возврат к сословному делению и к восстановлению дворянства — все то, что было результатом наступившей уже феодальной реакции.

Когда в 1537 году Алессандро стал жертвой дворцового заговора и его место заступил Медичи другой линии, Козимо, сын кондотьера Джованни, вождя "черного отряда", основная социально-политическая тенденция, поддерживавшаяся все время Испанией, укрепилась еще больше. Быт различных классов общества отразил все эти хозяйственные и социальные перемещения.

Годы, которые Фиренцуола прожил в Тоскане, в чудесном маленьком Прато, как раз были временем, когда Тоскана меняла вехи. И если вчитать в его писания, мы найдем разбросанные в них черты и черточки, иллюстрирующие эту смену вех. В них есть моменты чрезвычайно важные не только с чисто литературной точки зрения, но и с общекультурной: иллюстрация того социального сдвига, свидетелем которого был автор.

Фиренцуола — отпрыск буржуазной семьи. Отец его и дед были представителями буржуазной интеллигенции. Прадед переселился во Флоренцию из родной Фиренцуолы в те времена, когда Козимо Медичи Старший набирал для города новых граждан взамен изгнанных сторонников Альбицци. И, конечно, все Фиренцуола были ревностными слугами Медичи. Высоких положений они не занимали, большими богатствами не владели, но жизнь вели обеспеченную и спокойную. Аньоло, получив милостями папы Медичи возможность существовать не нуждаясь ни в чем, разумеется, должен был, по примеру предков, быть приверженным к правящему дому. Нет ничего удивительного, что имя герцога Козимо много раз встречается в разных местах сочинений Фиренцуолы и всегда окруженное почтительными эпитетами. Но не это наиболее характерно, а то, какую жизнь и какие классы живописует аббат-новеллист там, где описывает современное ему общество.

Нужно помнить, что не так типично то, что рассказывает он в самих новеллах, потому что у новеллы со времен первого *Novellino* ("Сто старых новелл") установился в отношении к различным классам населения некий канон, очень устойчивый, и Аньоло, много раз подчеркивающий свою зависимость от "Декамерона", этот канон блюдет. Гораздо важнее, как он портретирует людей своего непосредственного окружения, потому что это — зарисовки, сделанные рукою очень наблюдательного художника. Типы новелл лишь дополняют картину. Каково же основное впечатление от этой картины?

Оно коренным образом отлично от того, которое дают нам не только Боккаччо и Саккетти, но и такие типично буржуазные новеллисты тосканского Кватроченто, как сиенец Джентиле Сермини. Даже Фортини, сиенец уже XVI века, горячий сторонник вольностей родного города — их разрушит позднее тот же Козимо, — имеет больше точек соприкосновения с Сермини, чем с Фиренцуолой, своим современником. У Фиренцуолы совсем испарились настроения свободного горожанина. Долгие годы в Риме, при папском дворе, удобная жизнь в Прато, под сенью милостивой власти Медичи, на сытных монастырских хлебах

атрофировали в нем вольнолюбивый дух старых флорентийских республиканцев. Он — представитель буржуазии, но буржуазии новой, вываренной в котле свеженького принципата Медичи. Медичи ведь тщательно вытравляли в тосканской буржуазии не только гордое свободолобие старых пополанов, но и всякий вообще политический интерес. Уже Алессандро провел две меры, которые преследовали именно эту цель. Он уравнивал в правах жителей Флоренции, единственных прежде полноправных граждан, с населением всей области, то есть остальных городов (Пиза, Пистойя, Прато, Ареццо, Ливорно и т. д.) и деревни, которое политическими правами не пользовалось. Теперь все было нивелировано, и политических прав не осталось ни у кого. Затем вместо четырнадцати ремесленных цехов было создано четыре "объединения", *le universita*: три получили по три цеха, одно — пять. Организация мелкой буржуазии, главного контингента уличных бойцов, армии городской свободы, были разгромлены. Это произошло незадолго до смерти Климента, в 1534 году. Само собой разумеется, что ношение оружия было строго запрещено, а сильный гарнизон под начальством кондотьера Алессандро Вителли, который был больше полицейским, чем воином, ручался за то, что всякое движение в городе будет подавлено в кратчайший срок. Зато всячески поддерживалась деревня и сельское хозяйство. Промышленность падала. Французская и английская конкуренция подрывали шерстяные предприятия цеха Калималы. Рабочие руки освобождались, и Алессандро усиленно старался улучшить положение крестьян, чтобы создать в деревне бесперебойное предложение труда. И деревня начинала подниматься после того разгрома, которому она подверглась за десять месяцев осады в 1529—1530 годах. Отстраивались виллы, и буржуазия охотно выезжала из города, чтобы подкормиться на дешевых деревенских харчах. Общество феодализировалось. Начальный период феодализации флорентийской или — шире — тосканской буржуазии и изображает нам Фиренцуола.

Посмотрите на кавалеров и дам в обоих диалогах о женской красоте и во вступительной части "Разговоров". Под прозрачными для современников псевдонимами Фиренцуола ведь рисует живых людей, дает в лице Чельсо Сельваджо свой собственный портрет, своей римской возлюбленной Констанце Амаретта сохраняет и имя и фамилию, а новую даму сердца, Сельваджо Бонамичи, называет только по имени: Сельваджа. Кто такие эти люди? Какова их социальная порода? Похожи они на республиканских пополанов? Ни в какой мере. Вот ветвь рода Барди, одного из славнейших представителей старших цехов, членов Калималы. Она уже имеет графский титул и зовется графами Вернио. И у них, конечно, большое имение. Если бы мы могли расшифровать все псевдонимы, вероятно, нашли бы и другие такие же превращения. В жизни их было много. На поверхности теперь не пополаны, а нобилитет, то есть буржуазия, пересаживаемая вместе с остатками капиталов на землю, начинающая усва-

ивать дворянские повадки, с вождедением поглядывающая на герцогский двор. И у интеллигенции настроение уже совсем не буржуазное, не такое, как у венецианской интеллигенции и у ее наиболее яркого представителя, старого приятеля Фиренцуолы, Пьетро Аретино. Пьетро ведь тоже был тосканцем, и герцог Козимо очень звал его во Флоренцию, обещая предоставить ему самый красивый из городских дворцов, Палаццо Строцци. Аретино не поехал, потому что не чувствовал себя способным ужиться в новой флорентийской атмосфере. Компания Фиренцуолы и сам он чувствовали себя в ней отлично.

Все их времяпровождение, все разговоры, вся внешняя обстановка их быта уже новые, не прежние. Они приспособились. Когда у них завязываются беседы, затрагивающие хотя бы не прямо, хотя бы отдаленно социальные вопросы, они высказываются вполне определенно. Обратите внимание на коротенький обмен мнений после второй новеллы. Юноше приглянулась дама. Чтобы добиться цели, он переделался в женское платье и нанялся к ней в горничные. Компания Фиренцуолы единогласно осуждает молодого влюбленного, но не столько за то, что он пустился на обман, сколько за то, что не побрезговал "подняться по кухонной лестнице", то есть поступить в прислуги. Подневольный труд не для имущих; даже сильная страсть не оправдывает такую измену своему классу. А когда Аньоло приходится высказываться принципиально, он говорит ("Посвящение" "Разговоров"): "Удаление от всякой толпы возводит образованных людей на высшую ступень чести".

Такова социальная доктрина Фиренцуолы в диалогах и новеллах. И не только его, но и всей его группы.

У Банделло, если поискать ключ к разгадке его социальной позиции в посвящениях, предпосланных каждой новелле, мы найдем более последовательное и более стойкое отражение тех же настроений. Это и понятно. Банделло жил и писал в Ломбардии, где феодальная реакция установилась почти без борьбы, потому что для нее была гораздо более подготовленная почва. И буржуазия легче влезала там в новую, дворянскую шкуру. В Тоскане была борьба потому, что было сопротивление. И с Фиренцуолой мы в самом процессе социального перерождения буржуазии, еще не вполне закончившегося, нодвигающегося очень уверенно к определенному исходу.

Фиренцуола — очень яркий этап в эволюции тосканской новеллистики. Он новеллист медичейского принцепата. И не только он. Новелла, как один из самых гибких литературных жанров, приноворивалась к новым условиям очень скоро. Ту же идеологию, что и у Фиренцуолы, мы найдем и в новеллах другого флорентийца, Грацини-Ласки, хотя оттенки мировоззрения и стиль у них разные. Социальный заказ требовал у новеллы отхода от старых социальных установок, и новелла подчинялась. Что же внес Фиренцуола своего в новеллу как литературный жанр?

Господствующей особенностью характера Аньоло была мягкая и светлая жизнерадостность. В этой жизнерадостности не было ничего бурного. Правда, Аретино в письмах к нему вспоминал, как им случилось озорничать в Перудже. Но, во-первых, это было в дни зеленой юности, а во-вторых, из всего видно, что заводилой был не Фиренцуола, а Аретино, у которого озорство было в крови\*. С годами, быть может, под влиянием Констанцы сгладились и эти немногие острые углы, и Аньоло сложился в человека, вокруг которого всегда распространялась атмосфера спокойного оптимистического мироощущения. Ибо натуре Фиренцуолы было присуще здоровое и радостное приятие мира. Он любит природу, понимает ее и умеет описывать: посмотрите, как мастерски изображает он бурю в первой новелле. Он любит животных, иначе он не стал бы перелагать басни Панчатантры на итальянский язык ("Разговоры животных" — "Discorsi degli animali") и не сумел бы придать им столько теплоты. Он любит людей. И хотя для него человек начинается с защиточного буржуа, описывает он одинаково вдумчиво и одинаково любовно и меньшую братию. Это от художника. Иначе в его переделке Апулеева "Золотого осла" не было бы так много незлобивого юмора и снисходительного, чуть свысока, отношения к человеческим слабостям.

В новеллах все эти особенности характера и мироощущения Фиренцуолы сказались вполне. И сказались вполне его огромное художественное дарование. В новеллистике Чинквеченто нет писателя, которого было бы так приятно читать, как Фиренцуолу. Один только Банделло из огромного количества новеллистов, их современников, может быть сопоставляем с Фиренцуолой. Но от Банделло осталось пять толстых томов, а от Фиренцуолы всего десять коротеньких новелл. Банделло превосходит его широкой картиной быта разных слоев общества, богатством выдумки и разнообразием сюжетов. Как писатель, как стилист Фиренцуола выше северного собрата. Как прозаик он уступает одному только Макиавелли: равняться с могучей выразительностью и сдержанной силой стиля "Мандрагоры" и "Бельфагора" не было дано никому из писателей Чинквеченто. Но Фиренцуола превосходит всех современников изяществом; оно слегка утрировано и тем не менее пропитывает все его писания, и в частности новеллы, только одному ему свойственной мягкой теплотой. У Фиренцуолы изящно все: и его остроумие, самое тонкое остроумие, какое можно найти у новеллистов XVI века, и его

---

\* "Часто встают у меня в воображении ваши веселые юношеские выходы (*giovanili piacevolezze*). Не думайте, что я забыл про бегство той старухи, которая покинула город. Она была напугана ругательствами, которыми вы среди бела дня осыпали ее из окна, когда вы стояли в одной рубашке, а я — совсем голый. И помню еще, какой я устроил скандал в доме Камилло Пизано".



язык, и лепка фигур, и описания. Картина быта тосканской буржуазии, вкрапленная во вступительную часть "Разговоров", найдет мало себе подобных. Небольшая галерея его типов — не забудем, что у нас всего десять его новелл, — подобрана так, что представители различных классов тосканского общества, духовные и светские, горожане и крестьяне, интеллигенция и знать, представлены все. И каждый вылеплен с таким мастерством, как после Боккаччо удавалось редко кому из новеллистов. Достоинства его подчеркнуты еще больше гармоничным звучанием его прозы, которая в оригинале достигает в лучших местах совершенства почти музыкального. Все это делает Фиренцуолу наравне с Банделло лучшим и самым ярким представителем новеллистики Чинквеченто.

#### IV

В мягкости Фиренцуолы была одна особенность, типичная одинаково и для его характера, и для стиля его писаний. В нем было что-то женственное. Именно эта женственность направляла его господствующий культурный интерес на такую область, которая навсегда связалась с его именем.

Это он сделал в двух диалогах о женской красоте, с которыми читатель ознакомится ниже.

Теперь мы знаем, что эти два диалога были не единственными произведениями этого рода в современной итальянской литературе. И больше того: знаем, что Фиренцуола не был вполне оригинален, а много заимствовал из "Ritratti", рассуждения Джан Джорджо Триссино, своего антагониста в вопросе об орфографии. Но перед нами факт, которого отрицать нельзя. С момента появления диалогов Фиренцуолы и до последнего времени они были в глазах всех наиболее оригинальным, наиболее типичным, наиболее красноречивым высказыванием итальянского Возрождения в области эстетики женской красоты. И заслуженно.

Наружность женщины всегда интересовала людей Возрождения. Этот интерес — одно из проявлений более общего интереса к человеку вообще. В человеке интересно все: его внутренний мир, сила его ума, глубина его критической способности, его нравственные качества, его физическая сила, его внешность. И все тем более интересно, чем более совершенно. Таков канон. Его создала буржуазия. Но далеко не все статьи этого канона получили сразу теоретическую формулировку. Если поискать в письмах, в записных книгах (zibaldoni), в дневниках — словом, в писаниях, не предназначенных для опубликования, мы найдем в очень ранние времена бесхитростные наблюдения, наивные замечания, неученые мысли, освещающие то ту, то другую сторону этого универсального интереса к человеку. Стройные, продуманные, разработанные формулы приходят поздно. Так было во всем. Так было в вопросе о наружности женщины.

Любой представитель итальянской буржуазии этого времени умеет смотреть и видеть. В живописи, в скульптуре, в новелле, в лирике Возрождения женщина занимает очень видное место, и наружность ее изображается постоянно потому, что таково художественное задание. Гораздо интереснее, что беглые, но живые и пластичные наброски женской наружности мы встречаем в документах повседневного характера и по всякому поводу. Вот Лукреция Торнабуони пишет мужу своему Пьеро Медичи из Рима, куда она поехала смотреть невесту своему сыну Лоренцо, будущему Великолепному. Она ее повидала — это Клариче Орсини. "Она не блондинка, потому что блондинок здесь нет: волосы ее отдают в рыжий цвет и густые. Лицо скорее круглое, но мне нравится. Шея достаточно гибкая, но как будто тонковата. Грудь нам не удалось рассмотреть, потому что они ходят здесь затянутые (*turate*), но, по-видимому, хорошая (*di buona qualità*). Рука длинная и тонкая". Вот другая мать, Александра Мачинти, тоже выбирает невесту сыну своему, Филиппо Строцци, который находится в Неаполе при отделении своего банка. Она усиленно посещает Собор *Santa Ripetata*, этот рынок невест во Флоренции. Там она встретила девушку, которая ей приглянулась: "Не зная, кто она, я стала с ней рядом, чтобы ее рассмотреть. Она стройна, красивого сложения. Ростом с нашу Катерину или повыше. Хорошая кожа, хотя не очень белая. Сама полненькая (*di buon essere*). Лицо продолговатое..." Когда с этой дело не вышло, заботливая мать продолжала свои поиски и нашла другую. "Про нее все говорят одно и то же: что, кому она достанется, тот будет счастлив. О красоте ее слышно то, что я сама видела. Она хороша и прекрасно сложена. Лицо продолговатое, но я не могла его рассмотреть как следует потому, что она сразу же заметила, что я к ней приглядываюсь, и уже больше не поворачивалась ко мне лицом. Потом унеслась как ветер. Но то, что я успела увидеть, совпадает с тем, что говорили. Лицо не из самых красивых, но не портит ее. Она похорошеет, особенно когда из девушки станет молодой женщиной. Кожа у нее не очень белая, но и не темная, скорее смугловатая (*ulivigno*)..." Вот безутешный брат, Джованни Морелли, тоже флорентиец, вспоминает, как хороша была его сестра, только что умершая: "Роста она была среднего, с ослепительной кожей, белая и светловолосая, прекрасно сложенная... Руки у нее были как из слоновой кости, полные и нежные, такой красоты, словно их нарисовал Джотто. Пальцы длинные и округлые, как свечки; ногти продолговатые и выпуклые, розовые и прозрачные..."

Можно было бы набрать сколько угодно еще таких высказываний в интимных и деловых записях Кватроченто. Они свидетельствуют с полной убедительностью об одном: что идеал женщины у итальянской, в частности у флорентийской, буржуазии вырабатывался исподволь, путем какого-то бессознательного отбора, упорным и зорким взглядыванием и внимательным вчувствованием, постоянной проверкой индивидуальных наблю-

дений на произведениях искусства и на описаниях больших художников. И уже вырабатывается представление о том, что нужно считать наибольшим приближением к идеалу. Если даже не выходить из круга выписанных отрывков, можно заключить, что круглое лицо считается не столь совершенным, как продолговатое, белая кожа — более красивой, чем темная, длинные пальцы — более изящными, чем короткие, и т. д. И нетрудно видеть, что всем этим вопросам придается значение очень большое, гораздо больше, чем тот отдельный случай, из-за которого пришлось заговорить о наружности данной женщины. Итальянская буржуазия проходила на опыте курс художественного воспитания раньше, чем получила настоящие трактаты, где результаты ее опыта были суммированы и обработаны. Совершенно так, как она проходила на улице и в советах, эмпирически, курс политики, итоги которого были потом суммированы и возведены в науку Макиавелли и Гвиччардини.

Фиренцуола сделал для одной отрасли эстетики то, что Макиавелли с Гвиччардини сделали для всей области политики. Он собрал результаты повседневного опыта итальянской буржуазии и придал им общий, теоретический характер. Дело его, конечно, невозможно сопоставлять по значению с делом Макиавелли. Оно неизмеримо мельче. Но направление, ход и исход тут и там и формально, и в общественном смысле одинаковы.

Подведенные им итоги наблюдениям и замечаниям итальянской буржуазии пришли в такой момент, когда итальянская буржуазия становилась уже неспособна ни на зоркие наблюдения, ни на смелые дерзания, ни на большие достижения. Ее взлеты были уже совершенно лишены общественной активности. Она уже не поднималась на борьбу за свои политические идеалы и парить в возвышенных сферах могла, только занимаясь перепевами идеалистических мотивов Платоновой философии. Это поднимало ее в собственных глазах, давало моменты приятного идейного опьянения и решительно ни к чему не обязывало. Недаром Фиренцуола во вступлении к своим "Разговорам" заставил дам и кавалеров очень долго беседовать на тему Платонова "Пира", говорить такие душу поднимающие вещи, от которых у его героев и у него самого сладко кружилась голова, а у дам текли тихие идеалистические слезы. А следом за этим стал сыпать новеллами, где никаким идеализмом не пахнет, а если люди плачут, то либо оттого, что постигает их неудача в любви или проваливаются их мошеннические махинации, или же — так случилось с одним из его монахов — оттого, что приходится самому себе произвести ту операцию, которой в припадке аскетического восторга подверг себя когда-то Ориген.

Настроение буржуазии в это время характеризуется необязательностью каких бы то ни было моральных норм. Говорить можно все, что угодно, а поступать нужно, как приятно. Это мы знаем и из "Ricordi" Гвиччардини. А что может быть приятнее, чем уединиться на виллу в небольшом обществе образованных

людей и красивых женщин, проводить там на лоне природы, дыша здоровым воздухом, вкушая изысканные яства, дни и недели в возвышенных платонических разговорах и тут же нарушать, то же не без увлечения, все платонические заповеди?

Естественно, что при таких условиях примат в культурных интересах нечувствительно переходил к эстетическим критериям, ибо они наименьшим образом обязывали к чему бы то ни было.

## V

Эстетические критерии настолько решительно господствуют в мировоззрении Фиренцуолы, что определяют весь круг его интересов. Этого никогда не могло бы быть в эпоху процветания свободной буржуазии и преобладания пополанов над дворянством. Наоборот, это очень типично для периодов угнетения свободы и парализованности нормальной общественной жизни. Первым и наиболее естественным следствием господства эстетических критериев у Фиренцуолы было то, что от анализа женской красоты он перешел к апологии женщин вообще.

В это время в литературе шла широко раскинувшаяся и оживленная полемика о преимуществах того или другого пола. Полемика захватила целый ряд выдающихся представителей литературы и публицистики. И если попробовать разобраться в том, кто и по каким соображениям высказывается за преимущество мужчин или женщин, выводы будут напрашиваться очень любопытные. За женщин стояли граф Бальдесар Кастильоне, Лодовико Доменики, Сперони, Ручелли, Галеаццо Капелла, Луиджи Дардано. Нападали на женщин: Джелли, Томаньи, Дольчи, Микеланджело, Бьондо и др. Разделение шло тут, по-видимому, по признаку довольно определенному. Настроенные более демократически высказываются против женщин, настроенные более аристократически — за. Феодальная реакция вернула некоторые из ощущений, свойственных рыцарскому обществу, и те из писателей, которые по происхождению или по взглядам примыкали к настроениям аристократических групп, считали своим долгом вдохновляться идеалами рыцарства. Наоборот, писатели, боровшиеся с настроениями феодальной реакции, в полемике нажимали, быть может, более сильно, чем это требовалось существом дела и чем если бы им приходилось высказываться вне всяких полемик, на противоположные мотивы. Фиренцуола определенно стал на сторону тех, кто ратовал за женщин. Это отвечало прежде всего общественным предпосылкам его мироощущения. И находило поддержку в его эстетических взглядах.

В письме к Клаудио Толомеи — читатель познакомится с ним ниже — он ведет апологию женского пола аргументами историческими и бытовыми, примерно как Джулиано Медичи в книге Кастильоне.

Все это чрезвычайно типично для литературных интересов первых годов медичейского принципата. В то время, как Аньоло

восхвалял женскую красоту в "Диалогах", а в "Разговорах" путался между возвышенным платонизмом вступления и отнюдь не возвышенным реализмом новелл — Франческо Гвиччардини, в полуизгнании на своей вилле в Арчетри, писал "Историю Италии", чтобы дать выход безнадежному пессимизму. На общественные темы говорить свободно было нельзя. Историкам и публицистам разрешалось одно: быть бардами герцога и династии. А разговаривать на темы, которые любил Аньоло, да еще в том тоне, в каком разговаривал он, можно было сколько угодно.

# НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ\*

...Doloroso Machiavelli  
Maturava ii pio desir...

*G. Carducci*

...Чистую вынашивал мечту  
Макиавелли скорбный...

*Дж. Кардуччи*

## I

Едва ли случайно, что мы не знаем буквально ничего о молодости Макиавелли. В 1498 году двадцатидевятилетним зрелым человеком поступил он на службу республики. До этого он ничего не писал. До этого он нигде не выступал. И до такой степени сразу в своих служебных донесениях и в неслужебных писаниях он обретает манеру обстоятельного чиновника и язык опытного литератора, что начинает казаться, будто ничем другим в жизни он так и не был. А молодым вообще не был никогда. Представить себе Макиавелли юным, с гибким телом, со свежими красками на лице, с искрящимися глазами, с беззаботным смехом, всегда готовым на любую сумасбродную проделку, необыкновенно трудно. Его единственный, по-видимому, не фантастический портрет\*\* показывает его совсем другим.

Бюст костлявого, чуть сторбленного человека. Лицо худое. Плохо выбритые впалые щеки. Утомленные глаза сидят глубоко, смотрят рассеянно и беспокойно, но в них много затаенной думы, и они способны загораться порывами решимости и энергии. Много думы и под высоким морщинистым лбом, лысеющим спереди залысами. Рот большой, окружен бесчисленными складками, в которых прячутся большие и малые душевные боли, тоска, разочарование. Губы чувственные; если на них заиграет улыбка, она будет насмешливая, недоверчивая, злая, циничная, едва ли часто добродушная. Нос — длинный, крючковатый, с тонким висящим концом. Голова мыслителя и человека дела, невеселого эпикурейца, Мефистофеля в миноре. На гравюре нет красок, и так становится жалко, что лицо одного из величайших людей Италии и Европы не увековечила кисть большого мастера: сколько их было кругом него во все моменты его жизни!

Каков был Макиавелли в пожилые годы, таков должен был быть и в молодости. Знакомясь с его жизнью и с его произведениями, особенно с самыми интимными, с его заме-

\* Текст печатается по изданию Никколо Макиавелли "Сочинения", том I, Academia. М.—Л., 1934. (Ред.)

\*\* Приложен к изданию "Discorsi" 1540 г., воспроизведен при собрании сочинений 1550 г. ("La Testina").

чательными письмами, нельзя отделаться от одного впечатления. На протяжении тридцати лет, что мы его знаем, всегда, при всех обстоятельствах — в делах, в творчестве, в развлечениях, в моменты серьезные и радостные — сидело в нем что-то большое, не растворяющийся ни при каких условиях осадок горечи. Откуда он?

Момент поступления на службу делит жизнь Макиавелли на две почти равные половины. Вторая известна нам хорошо. Первую мы не знаем совсем, а знаем только то, что служило ей фоном. Бурные были времена и в то же время самые блестящие в истории его родного города. В 1478 году девятилетним мальчуганом Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками, как висели в окнах Дворца Синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци совсем голый, с окровавленной ногою и трое Якопо: два Сальвиати, родственники архиепископа, и один Браччолини, сын Поджо. Четвертый Якопо, Пацци, повешенный тоже спустя два дня и похороненный в Санта Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею веревкою, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. Маленький Никколо если и не был свидетелем всего этого, то не мог не слышать разговоров. Порукой — необыкновенная даже в "Истории Флоренции" пластичность рассказа о заговоре Пацци.

Подрастая, Никколо наблюдал режим Лоренцо, необыкновенный блеск культуры и быта: празднества, турниры, процессии, карнавальное шествия с мифологическими фигурами, в устройстве которых соперничали Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо. Он ходил смотреть в Санта Мариа Новелла только что открытые, сверкавшие свежими красками фрески Гирландайо и слушал около них разговоры о том, как похожи изображенные художником Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино. Наблюдательность понемногу становилась острее, и он начинал понимать, что под этим блеском уже кое-где проступают признаки упадка, что торговля и промышленность больше не поднимаются, а идут к уклону, что тирания Лоренцо жестче, чем тирания его деда, что республика крепко зажата в кулак, а свобода существует только в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. И чем лучше понимал это Никколо, тем меньше нравились ему пышные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться под звуки карнавальных песен.

Ему было двадцать три года, когда смерть Лоренцо резко поконила с этим обманчивым покоем. При Пьеро Медичи флорентийская тирания, поглупевшая и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. Не успело успокоиться ликование, вызванное падением Пьеро, как в город явились французы. Диалог между Карлом VIII и Пьеро Капони: "Я прикажу ударить в барабаны". — "А мы ударим в колокола" — короткий, как звон скрестившихся клинков, заставил город целые дни трепетать от

тревоги и ярости. Но король испугался, и французские барабаны вместо атаки забили отступление. Никколо переживал со всеми эту встряску. И все думал.

Потом пришло царство монаха. Революционные пророчества гремели под куполом Брунеллеско. Конституция переделывалась по указаниям библейских текстов и благочестивых видений. Очистительные костры злобещим заревом освещали городские площади. Вериги и власяница истязали под нарядами тела женщин. Савонарола попал в круг зрения Никколо, когда его дела решительно пошли хуже. И не покорило его, как других. Никколо ни на одну минуту не был увлечен бурным, экзотическим красноречием его проповедей и был даже не прочь смотреть на него как на вульгарного обманщика\*. Он не мог не видеть костра, на котором сгорел неистовый пророк, и, если стоял не очень далеко, видел и то, как сверху "падал дождь из крови и внутренностей". Когда бросили в Арно прах Савонаролы, Никколо поступил на службу к республике, спешно секуляризовавшейся под успокоенные благословения папы Александра VI.

Поводов для размышления было достаточно, а голова — хорошая. Не хватало только настоящей подготовки. В семье не было избытка, и образование Никколо получил самое суммарное. Греческого он, по-видимому, все-таки не знал\*\*, а в латинском не мог угнаться за матерыми гуманистами. На юридическом факультете перенесенного во Флоренцию Пизанского Студия, где учился Гвиччардини, ему побывать не пришлось. Он не имел даже нотариального стажа. Его учитель друг Адриани носил классическое имя — Марчелло Вирджиллио, но совсем не был для него тем, чем для Данте его Вергилий. Он слегка учил его латыни и помог потом устроиться на службу.

Настоящей школой Никколо была флорентийская улица, этот удивительный организм, где формировалось столько больших умов. Дома он читал древних и Данте. Бродя по улице, получал среднее и высшее образование. И проходил курс политики. Ибо в Италии, а значит, и во всем мире не было города, где политику можно было бы изучать с бóльшим успехом. У венецианцев опыта и умения политически рассуждать было, конечно, не меньше. Но в Венеции политика была уделом немногих: для большинства она находилась под строжайшим запретом. Во Флоренции политиками были все. Только там можно было видеть на улице живые хранилища политического опыта, важные фигуры в разноцветных кафтанах и плащах, в капюшонах с длинными концами, обвивавшими шею и перекинутыми через плечо, носителей самых громких имен славного республиканского прошлого, модели Беночцо, Гирландайо, Филиппино. Они любили стоять на площа-

---

\* *Lettere familiari di N. Machiavelli pubblicate per cura di Ed. Alvisi (ed. integra), 1883.* Письмо 3. Цифра впрямь всегда будет означать порядковый номер письма в сборнике Альвизи.

\*\* Хотя много потрачено ученого остроумия для доказательства противного.



дах перед большими церквями, торжественные с серьезными не улыбающимися лицами, со стиснутыми губами, которые словно боялись разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой скупой речью. Не всегда во Флоренции политический опыт накапливался в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата, в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные песни и хороводные припевы. Политика пропитывала все. Макиавелли ею опьянялся.

И все-таки капля горечи отравляла его дух уже в молодости. Происхождение и способности открывали ему дорогу к широкой политической карьере: не было нужных связей. Для преуспевания в обществе он обладал всеми данными: не хватало средств. Успеху у женщин мешала несчастная наружность. А когда наконец удалось устроиться — поздно, в двадцать девять лет, — место было отнюдь не блестящее: наиболее доходные доставались по традиции людям с хорошим гуманистическим стажем. В канцеляриях Дворца Синьории на лучших постах корпело над бумагами сколько угодно таких надутых, бездарных гуманистических павлинов. Никколо был принят в канцелярию Синьории — канцлером на месте Салутати, Бруни и Поджо сидел его учитель Адриани — и откомандирован в качестве секретаря в Коллегию Десяти, ведавшую иностранными и военными делами. Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая огромной работоспособности, быстрого, точного, красивого пера и совершенно исключительной физической неутомимости. А вдобавок не давала ни достаточной самостоятельности, ни хорошего дохода, ни надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, после аутодафе Савонаролы, там и прижала его в 1512-м медичейская реставрация. Когда новые хозяева Флоренции прогнали его с места, он ни деньгами, ни положением не был богаче, чем четырнадцатью годами раньше. А горечи накопилось много.

У секретаря Коллегии Десяти были обязанности двух родов: он управлял канцелярией Коллегии и должен был исполнять дипломатические миссии, которые почему-либо считалось неудобным поручать аккредитованному послу, "оратору" республики. Никколо не имел полномочий вести переговоры и решать вопросы\*. Он должен был добиваться приема, разговаривать, убеждать, собирать сведения и о результатах доносить Десяти или самой Синьории. За четырнадцать лет таких поездок набралось около двух десятков. Никколо их не любил и должен был сильно морщиться, когда получал очередной наказ. Все они начинались более или менее одинаково. "Niccolò tu anderai infino a..." Или: "Niccolò, tu cavalcherai in poste a..." Или: "Niccolò, tu cavalcherai in ogni celerità a trovare..." ("Ты отправишься...", "Ты поедешь на почтовых...", "Ты поскачешь как можно скорее...",

\* За исключением разве наименее ответственных миссий, вроде пьомбинской.

"Ты поедешь!", "Ты поскачешь!") — слова, которые, казалось, подчеркивали, что он человек маленький и подневольный. Денег при этом отпускали ему в обрез, так что частенько приходилось приплачивать из собственного кармана, надоедать сослуживцам просьбами о присылке денег и обременять дипломатические донесения аналогичными постскриптумами. Купцы, правившие республикой, не любили раскошелиться без крайней нужды. Между тем у Никколо расходы росли. Он женился, пошли дети. Требования представительства становились больше. И хотелось не так скупно тратить на жизнь и на удовольствия, ибо Никколо — мы увидим — не был ни стойком, ни аскетом. Средств решительно не хватало. Накопление опыта и коллекционирование политических наблюдений было единственной радостью, какую давала служба. А годы шли. Волос на голове становилось меньше, прибавлялись морщины на лбу, складки вокруг рта и горечь внутри.

В 1512 году разразилась катастрофа: сначала лишение службы, потом привлечение по делу о заговоре против Медичи, тюрьма, пытка веревкой. Потом — чистилище после ада — долгое прозябание в деревне, бесплодные попытки устроиться вновь и ощущение бесповоротно разбитой жизни. Ибо в глазах самого Макиавелли создание гениальных произведений было ничто по сравнению с тем, что ему не удалось вновь и по-настоящему выбиться на дорогу.

Горечи стало так много, что она превратилась в мрачный пессимизм.

Один из приятелей писал ему однажды: "Если бы я знал, куда обратиться с такой молитвой, я бы просил, чтобы скорее все беды этого мира свалились мне на голову, чем та, моровой язве подобная, отвратительная, гнилая (*pestiferissimo e dispiatissimo et putrefato*) болезнь, которая зовется меланхолией и которая, я знаю, гнетет одного любимейшего нашего друга. Да избавит его от нее природа"\*.

Макиавелли это отлично чувствовал и знал, что от такой болезни нет лекарства. В одном из писем к Веттори\*\*, пересыпанном шутками, он вспомнил стихи Петрарки:

Però se alcuna volta io rido o canto,  
Facciol perch' i non ho se non quest' una,  
Via da sfogare il mio angoscioso pianto.

И если иногда смеюсь я иль пою,  
То потому, что мне лишь этот путь остался,  
Чтоб горькую слезу не показать свою\*\*\*.

\* Lett. fam., 88, от Филлипо Казавеккиа, о котором будет речь ниже.

\*\* Lett. fam., 122.

\*\*\* Последний терцет сонета Петрарки С II, причём третий стих цитирован неточно. У Петрарки — не *sfogare* — облегчить, а *celare* — скрыть. Впрочем, и слово *sfogare*, которое Стендаль находил таким многомысленным и удивительным, стоит тут же, в восьмой строке сонета. Стендаль превосходно чувствовал горечь, пропитывавшую все существо Макиавелли. Про "Мандрагору" он говорил, что она была бы превосходной комедией, если бы автор ее был более веселым человеком ("Histoire de la peinture en Italie", éd. 1868, II).

Однажды, когда Макиавелли, находившемуся в командировке, грозила некая неприятность, Биаджо Бонаккорси, его приятель, служивший у него в канцелярии, в взволнованном письме сообщал ему обстоятельства дела и, рассказывая, как он старался ликвидировать инцидент, писал: "У вас так мало людей, которые хотели бы прийти к вам на помощь; я не знаю почему"\*.

Простодушный Биаджо поставил вопрос, который и сейчас еще не перестает интересовать всякого, кого интересует судьба Макиавелли. Действительно, почему никогда не имел Никколо настоящего друга, который готов бы был не то что чем-нибудь для него пожертвовать, а просто сделать для него что-то требующее серьезных усилий?

Такие, как сам Биаджо или их общие приятели, Бартоломео Рuffии и Агостино Веспуччи, конечно, не в счет. Их связывали с Никколо канцелярия, интересы общей службы, зависимость от него, и близость их характеризуется больше непристойностями, которыми полна их переписка, чем настоящими душевными отношениями\*\*. Он знал, что это — великие друзья на малые услуги, и не обольщал себя. После катастрофы 1512 года они, как тараканы, расползлись во все стороны, забились каждый в свою щель и бесследно исчезли. И именно теперь, когда для Никколо дружеская поддержка была по-настоящему вопросом существования, вокруг него образовалась пустота. Остался один Франческо Веттори, его товарищ по миссии в Германию, в это время "оратор" Флоренции при курии Льва X. Он два года поддерживал с ним переписку, все кормил его обещаниями, но, имея все возможности, пальцем о палец не ударил, чтобы ему помочь. В конце 1517 года Никколо получил доступ в общество садов Ручеллаи. Молодежь образовала там вокруг большого Козимино Ручеллаи нечто вроде вольной академии. Кто-то привел Никколо, и он очень скоро сделался душой кружка, потому что никто не умел лучше него поддерживать живую и содержательную беседу. Молодежь была богатая и знатная, с большими связями: Дзаноби Буондельмонти, Филиппо деи Нерли, поэт Луиджи Аламманни, его тезка — кузен, философ Якопо Диачето, Баттиста делла Палла. Козимино был родственник Медичи, Филиппо — близкий им человек. Пока в 1522 году дело о новом заговоре

\* Lett. fam., 106, 27 декабря 1509.

\*\* Никколо несколько не смущали в письмах Биаджо ласковые *caso v'in culo* по его адресу или сердитые *li venga il casasangue nel forame*, сопровождавшие рассказ о товарище, из-за которого канцелярия получила разнос от Синьории, или подробные донесения ему о том, какие опустошения производит среди общих знакомых французская болезнь. Никколо отвечал своим "страдаютам", по-видимому, тем же. Рuffии пишет ему (Lett. fam., 29): "Ваши письма к Биаджо и к другим доставили всем огромное удовольствие, а словечки и шуточки (*li motti et facetie*) заставили нас хохотать так, что мы чуть не вывернули себе челюстей". Душевнее других относился к нему Биаджо.

не разбило кружка, члены его очень помогли Никколо. Именно они, по-видимому, выхлопотали ему заказ на "Историю Флоренции". Но их отношение к Никколо была не дружба, а почитание учениками учителя.

Около этого же времени Макиавелли сошелся с человеком очень крупным, родным ему по духу и равным по уму, вполне способным его понять, — с Франческо Гвиччардини. Однако и тут не было настоящей дружбы. Гвиччардини был важный сановник и большой барин, Макиавелли — бедный литератор и опальный чиновник. Гвиччардини очень ценил ум и талант Никколо, охотно принимал его советы и услуги, но Никколо ни разу не мог забыть, какое отделяло их друг от друга расстояние\*.

Таковы факты. Друзей Никколо не имел. Его не любили. Об этом свидетельствует современник, которому можно верить, — Бенедетто Варки, историк. Рассказывая о смерти Никколо, Варки говорит\*\* : "Причиной величайшей ненависти, которую питали к нему все, было, кроме того что он был очень невосдержан на язык и жизнь вел не очень достойную, не приличествовавшую его положению, сочинение под заглавием "Князь"... Но, конечно, главная причина "ненависти" была не в том, что Макиавелли писал вещи, которые разным людям и по-разному не очень нравились. Дело было в том, что Варки считал обстоятельством второстепенным: в личных свойствах Никколо. Такой, каким он был, для своей среды он был непонятен и потому неприятен. Его не стесняясь ругали за глаза. Верный Биаджо не раз сообщал ему об этом с сокрушением сердечным\*\*\*. Что же делало его чужим среди своих?"

Итальянская буржуазия не приходила в смущение от сложных натур. Наоборот, сложные натуры в ее глазах приближались к тому идеалу, который не так давно формулировали по ее заказу гуманисты, — к идеалу широкой разностороннего человека, *uomo universale*. Но была некоторая особенная степень сложности, которую буржуазия переносила с трудом. Его не пугали ни сильные страсти, ни самая дикая распущенность, если их прикрывала красивая маска. Она прощала самую безнадежную моральную гниль, если при этом соблюдались какие-то необходимые условности. Гуманисты научились отлично приспособляться ко всем таким требованиям. За звонкие афоризмы, наполнявшие их диалоги о добродетели, им спускали все, что угодно. Макиавелли наука эта не далась. Он не приспособлялся и ничего в себе не приукрашивал.

Во всяком буржуазном обществе царит кодекс конвенционального лицемерия. Тому, кто его не преступает, заранее готова

---

\* Гвиччардини это немного даже обижало, особенно под конец. В одном из писем он просит Никколо прекратить пышное титулование, шутливо угрожая, что будет отвечать ему тем же. "Бросьте же титулы, — пишет он, — и мерьте мои темя, каких вы хотели бы для себя" (Lett. fam., 193, август 1525).

\*\* "Storia Fior". Ed. Le Monnier, 1888, т. I, с. 200, кн. IV, гл. 15.

\*\*\* Lett. fam., 55 и 79.

амнистия за всякие грехи. Макиавелли шагал по нему, не разбирая, а иной раз и с умыслом топтал его аккуратные предписания. Он был не такой, как все, и не подходил ни под какие шаблоны. Была в нем какая-то нарочитая, смущавшая самых близких прямолинейность, было ничем не прикрытое, рвавшееся наружу даже в самые тяжелые времена нежелание считаться с житейскими и гуманистическими мерками, были всегда готовые сарказмы на кончике языка, была раздражавшая всех угрюмость, манера хмуро называть вещи своими именами как раз тогда, когда это считалось особенно недопустимым. Когда "Мандрагора" появилась на сцене, все смеялись: не смеяться было бы признаком дурного тона. Но то, что лица "Мандрагоры" были изображены как типы, а сюжет был разработан так, что в нем, как в малой капле воды, было представлено глубочайшее моральное падение буржуазного общества, раздражало. Сатира была более злая, чем допускала лицемерная условность.

Если его осуждали за дурной характер и пробовали хулить за то, что он выходит из рамок, он всем назло делал вдвое, не боясь клепать на себя, и выдумывал себе несуществующие недостатки сверх имеющихся. Гвиччардини — правда, ему одному, потому что он был уверен, что будет понят им до конца, — Никколо признавался с некоторым задором: "Уже много времени я никогда не говорю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, а если мне случится иной раз сказать правду, я прячу ее под таким количеством лжи, что трудно бывает до нее доискаться"\*.

И эта бравада, по поводу которой Гвиччардини мог бы заметить, что она вполне подпадает под действие софизма об Эпимениде-критянине, и все остальные, которые так бесили его общество, имели источником своим полупренебрежительный, полупессимистический взгляд Макиавелли на ближнего своего. В последней, восьмой песне неоконченного "Золотого осла" он вкладывает в уста свиньи грозно хрюкающую филиппику против человека, в которой разоблачаются недостатки, свойственные его природе. И сатире "Осла" вторят общие положения больших трактатов: "люди злы и дают простор дурным качествам своей души всякий раз, когда для этого имеется у них легкая возможность"; "люди более склонны ко злу, чем к добру"; "о людях решительно можно утверждать, что они неблагодарны, непостоянны, полны притворства, бегут от опасностей, жадны к наживе"\*\*\*.

Люди не стоят того, чтобы быть с ними искренними. Люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды и огорчения. Люди

---

\* Lett. fam., 179.

\*\*\* "Discorsi", I, 3 и 9; "Principe", 17. Оговорка ("Discorsi", I, 27), что "люди чрезвычайно редко бывают или совсем дурными, или совсем хорошими" (по поводу Джан Паоло Бальони), имеет, как увидим ниже, особый смысл и не ограничивает основного суждения.

не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда им грозит несчастье. А если они провинились и заслуживают наказания, не стоит их жалеть. Когда Паоло Вителли, кондотьер на службе у Флоренции, руководивший осадой Пизы, стал вести себя подозрительно и в руки комиссаров республики попали уличающие его документы, Макиавелли был в числе тех, кто требовал его казни (1499), а когда она была совершена, громко ее оправдывал. Когда Арещо, летом 1501 года восставший и на некоторое время отложившийся от Флоренции, был приведен к покорности, Макиавелли в качестве секретаря Десяти писал комиссару с требованием выслать во Флоренцию главарей восстания: "Пусть их будет скорее двадцатью больше, чем одним меньше. И не задумывайся над тем, что опустеет город"\*.

Но когда он сам сделался игралищем судьбы, попал в тюрьму и "на плечах его остались следы шестикратной пытки веревкой", он призывал гром и молнию на головы всего остального человечества, лишь бы его оставили в покое. "Пусть несчастье постигнет других, только бы мне спасти свою шкуру. Пусть бросят врагам моим кого-нибудь на растерзание, только бы они перестали грызть меня"\*\*.

Он — отдельно. Он выше других.

Другие могут стать жертвой политического террора или судебной ошибки, он — нет. Мерки разные. Как могло такое пренебрежение не злить тех, кого оно поражало?

И они ему отплатили. В то время как целая куча людей, неизмеримо менее нужных, чем он, бездарные буквоеды, трухлявые насквозь, были окружены кольцом близких, обременены почестями и благами, Никколо прошел свой путь одинокой, безрадостной тенью, и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды, позволяла ему с огромной семьей на руках горько нуждаться и искать заработка в сомнительных подчас аферах\*\*\*.

### III

Как это ни странно, в эпоху такой неслыханной распущенности людям больше, чем что-нибудь, не нравились беспорядки интимной жизни Макиавелли. Варки — мы видели — на это определенно указывал. Гвиччардини дружески его за это журил. Правда, Никколо с некоторой, быть может, надрывной развяз-

\* Цит. у Villari, I, 377.

\*\* См. Villari, II, 204.

\*\*\* О том, как Макиавелли нуждался, мы знаем из писем его к племяннику Джованни Верначчи (Lett. fam., 160 и ряд следующих). Некоторый доход принес ли ему хлопоты в Риме по делам Донато дель Карно, о котором будет речь ниже (Lett. fam., 152, от Баттисты делла Палла). "Жизнь Каструччо", полная тенденциозных измышлений, была написана для оправдания претензий на господство в Лукке наследников Паоло Гуиниджи и едва ли не была ими оплачена. См. Winkler, Castruccio Castracani (1897), с. 2—3. Об этом см. ниже в примечаниях к переводу "Жизни Каструччо".

ностью не делал из этих вещей никакого секрета. А злились на него больше всего те, кто особенно усердно скрывал свои собственные делишки.

Переписка Макиавелли дает пеструю и красочную картину этой стороны его жизни. Когда он говорит о женщинах, чувствуется, что каждая самая мимолетная связь чем-то его мучит. А он все-таки продолжает самым неразборчивым образом бросаться в новые приключения. Имена женщин мелькают в письмах постоянно. Все они — невысокого полета. То некая Янна, то другая, которую мы знаем не по имени, а только по месту жительства\*, то старая прачка в Вероне, которую подсунули ему в темноте и которая при свете оказалась до такой степени омерзительной, что его вырвало\*\*. То куртизанка второй или третьей категории, Ричча, недостаточно к нему внимательная, то молоденькая девушка в деревне, в которую он пылко влюбился, но которая далеко не осталась его единственной утешительницей в изгнании\*\*\*. То, наконец, Барбера, куртизанка более высокого ранга, имевшая связи и обладавшая сценическими талантами; она играет в его пьесах; он устраивает ей гастроли в провинции; на старости лет ездит за ней, занятый по горло серьезнейшими делами, как молодой воздыхатель, и смертельно о ней тоскует, когда она уезжает.

А приятели вдобавок вкрапливают ему в письма — латинские по этому специальному случаю — намеки, которые заставляют думать о каких-то серьезных уклонах Никколо в этих делах\*\*\*\*. Возможно, конечно, что инсинуации "страдиотов" канцелярии — самое обыкновенное непристойное трепачество, всегда увлекавшее недоносков гуманизма. Канцелярия Дворца Синьории была ведь "вральней" (*il bugiale*) не хуже, чем ватиканская. Но переписка с Веттори свидетельствует, что Никколо умел смаковать, хотя тоже не без гримасы боли, рассказы, всего меньше добродетельные и доверху полные всякими уклонами\*\*\*\*\*.

---

\*"Scis quam dicam etc. Lungo Arno da le Grazie". Это та, которая, по словам друзей, ждет его "a ficha aperta" (Lett. fam., 13).

\*\*Lett. fam., 105. "Желудок, не будучи в состоянии вынести такой удар, содрогнулся и от сотрясения раскрылся" ("Lo stomacho per non poter sopportare tale offesa tucto si commesse et commosso oprò"). Описана женщина с таким зверским натурализмом, что тошно читать. Но нет оснований предполагать, как это делают биографы (Villari, II, 289; Tommasini, I, 484), что весь эпизод не более как чисто литературная выдумка: слишком много в письме неподдельной Макиавеллевой горечи.

\*\*\*Lett. fam., 150. О Ричче см. ниже.

\*\*\*\*Lett. fam., 16: "Non posse te nullo pacto in Galia nisi magno cum discrimine civersari, propterea quod istic pedicones et pathici vexantur lege acriter". (Ты ни за что не смог жить в Галлии, не подвергая себя большой опасности, ибо тут любители мальчиков и развратники сурово преследуются законом. — *Ред.*) От Агостино Веспуччи. Макиавелли был в это время во Франции.

\*\*\*\*\*В ближайшем два-три года после катастрофы, лишившей Никколо места в обществе, Франческо Веттори, дипломат и историк, был его главным корреспондентом. Большинство их писем посвящены обсуждению политических вопросов, прежде всего возраставшей с каждым годом опасности порабощения

Веттори жил барином в Риме. Дела у него были необременительные, денег достаточно и единственной серьезной заботой его было ублажать свою грешную плоть. Блудил он по-сановному: степенно, добросовестно, неторопливо. А когда в его безмятежное житье вторгались разные деликатные казусы, он повергал их на суждение Макиавелли. Например. В его доме — двое приживальщиков: один, Джулиано Бранкаччи, — большой поклонник женского пола, другой, Филиппо Казавеккиа, — совсем наоборот. Когда "оратора" посещает куртизанка, его знакомая, Филиппо ворчит, что это недостойно лица в его положении. Когда приходит — по делу, уверяет Веттори, — некий сер Сано, своеобразные вкусы которого составляют притчу во языцех в Риме, Флоренции и окрестностях, протесты Филиппо внезапно смолкают, но выходит из себя Джулиано и кричит, что Сано — uomo infame, что принимать его — позор. Веттори не знает, как ему быть\*. Макиавелли в письме, великолепном по силе иронии и по меткости "воображаемых портретов", подсказывает посланнику выход, а в одном из ответных — это чудесная маленькая новелла, от которой не отказались бы ни Фиренцуола, ни Банделло — сам рассказывает, как некий единомышленник сера Сано и Филиппо "охотился за птицами" во Флоренции в темную ночь, как, наохотившись всласть, пытался заставить расплатиться за свое невинное удовольствие приятеля, такого же убежденного "птицелова", и как на этом попался\*\*. А разве не новелла тоже — бытовая картинка, которая развертывается еще в двух письмах Веттори?\*\*\*

К "оратору" пришла в гости соседка, вдова, очень почтенная, с двадцатилетней дочерью, с четырнадцатилетним сыном и с братом, очевидно, в качестве телохранителя. Бранкаччи немедленно стал таять около девушки, Филиппо присоседился к мальчику и, тяжело дыша, повел с ним разговор об его ученье. Посланник беседовал с родительницей, одним глазом следя за Филиппо, другим за Джулиано. Потом пошли к столу, и неизвестно каким образом нашли бы примирение столь многочисленные противоречивые интересы, если бы не неожиданный приход других гостей. Через несколько дней добродетельная матрона привела дочку к Веттори уже без телохранителя и, уходя, забыла ее. Девушка оказалась не строптивой. "Оратор" так ею увлекся, что испугался сам: как бы страсть не захватила его серьезно. Потребовалась диверсия. Он вызвал к себе своего племянника Пьеро. "Прежде мальчик приходил ко мне ужинать, когда хотел, теперь не ходит. Еще можно было бы, кажется, потушить этот огонь: он

---

Италии чужеземцами. Для Макиавелли его письма служили этюдами к большим работам, а Веттори козырял идеями Никколо в Ватикане. Когда высокая политика надоедала, друзья писали о другом.

\* Lett. fam., 139.

\*\* Lett. fam., 144.

\*\*\* Lett. fam., 141 и 143.



не разгорелся настолько, чтобы такая вода не могла его залить". Огонь — девушка, вода — Пьеро.

В доме посланника явно впали в уклон даже стихии.

Сидя в деревне, Никколо с любопытством следил, как разворачиваются эти разносторонне — во многих смыслах — запутанные извивы. На фоне густых римских удвольствий его собственные похождения с бесхитростными и необученными деревенскими прелестницами представлялись ему, может быть, элементарными и убогими, но замысловатый переплет, в котором копошились римские приятели, все-таки должен был вызывать у него не одну мефистофельскую улыбку. Это видно по его ответным письмам. Он ничего не осуждает. Он только наблюдает. Как мудрец и как художник. Потому что человеческие документы этого рода его жадно интересуют. Веттори знал, что у Никколо встретит сочувствие и такое его сверхэпикурейское размышление: "Когда я отдаюсь мыслям, они часто нагоняют на меня меланхолию, а этого я терпеть не могу. Поневоле приходится думать о вещах приятных, а какая вещь может доставить большее удовольствие, когда думаешь о ней или делаешь ее, чем *il fottere*"\*.

Самое удивительное то, что наряду со всем этим Никколо был очень привязан к семье. По-настоящему, по-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от нее не отдалялся. Когда его дела шли плохо, его больше всего тяготило, что будет нуждаться его "команда" (*la brigata*). В письмах к детям, особенно более поздних, есть неподдельная теплота. Но Никколо не хочет давать ей воли: он не умеет быть нежным на словах. И мона Мариетта, жена его, по-видимому, эти вещи понимала хорошо. У нее было много такта, беспутного мужа своего она принимала каким он был, очень его любила и была превосходной матерью. Из их многочисленного потомства пятеро выросли и пережили отца. Умер Никколо, как добрый семьянин, на руках у жены и детей\*\*. И ни из чего не видно, чтобы свои внесемейные увлечения Макиавелли считал чем-то непозволительным. Для него это — вещи другого ряда, и только. Таких *distinguo*\*\*\* у него сколько угодно.

Он без всяких усилий переключал себя из одного настроения в другое. И не только когда дело касалось интимных отношений. В письмах первых, самых тяжелых лет после жизненного крушения 1512 года — целый калейдоскоп набросков, рисующих его срывы и взлеты.

"Томмазо сделался чудным, диким, раздражительным и скандальным до такой степени, что, когда вы вернетесь, вам будет казаться, что это другой человек. Я хочу рассказать вам, что у меня с ним вышло. На прошлой неделе он купил семь фунтов

\* Lett. fam., 158.

\*\* Свидетельство внука, Дж. Риччи (см. Tommasini, II, 904). Подлинность письма Пьеро Макиавелли, сообщающего о смерти отца (Lett. fam., 229), Томмазини оспаривает (II, 903 и след.).

\*\*\* Схоластическое разграничение, не очень убедительное объективно.

телятины и послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что он истратил чересчур много, и, желая сложить на кого-нибудь часть издержек, он пустился клянуть себе компаньонов на обед. Я пожалел его и пошел вместе с двумя другими, которых я же и сосватал. Когда обед кончился и стали рассчитываться, на долю каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне было только десять. Четыре я остался ему должен, и он каждый день их у меня требует. Еще вчера приставал он ко мне с этим на Ponte Vecchio... У Джулиано дель Гуанто умерла жена. Три или четыре дня он ходил, как оглушенный судак. Потом встряхнулся и теперь хочет непременно жениться снова. Все вечера мы просиживаем на завалинке у дома Каппони и обсуждаем предстоящий брак. Граф Орlando все еще сходит с ума по одном мальчике известного сорта, и к нему нельзя подступиться. Донато дель Корно открыл другую лавочку...”

”Когда я бываю во Флоренции, я делю свое время между лавкой Донато и Риччей. И кажется мне, что я стал в тягость обоим. Один зовет меня несчастьем своей лавочки (*imprascia-bottega*), другая — несчастьем своего дома (*imprascia-casa*). Но и у него, и у нее я слышу за человека, способного дать хороший совет, и до сих пор эта репутация настолько мне помогала, что Донато позволяет мне погреться у камелька, а Ричча дает иной раз, правда украдкой, поцеловать себя. Думаю, что эта милость продлится недолго, потому что и тут и там мне пришлось дать советы — и неудачно. Еще сегодня Ричча сказала мне, делая вид, что разговаривает со служанкой: ”Ах, эти умные люди, эти умные люди! Не знаю, что у них в голове! Кажется мне, что им все видится шиворот-навыворот”\*\*\*.

Ничего страшного, однако, не произошло. ”Наш Донато вместе с приятельницей, о которой я вам как-то писал, — единственные два прибежища для моего суденышка, которое из-за непрекращающихся бурь осталось без руля и без ветрил (*sanza timone et sanza vele*)”\*\*\*.

Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. У него было именище, называвшееся Альбергаччо, в Перкусине, неподалеку от Сан-Кашьяно, по дороге в Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.

”Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свой лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие-ни-

\* Lett. fam., 122, к Веттори.

\*\* Lett. fam., 142, к Веттори. Веттори в ответ утешает его: ”Ричча, конечно, может в сердцах ругнуть советы умных людей. Но не думаю, чтобы из-за этого она перестала вас любить и не открыла вам дверей, когда вы в них постучитесь” (Lett. fam., 143).

\*\*\* Lett. fam., 159, к Веттори.

будь нелады с соседями или между собой... Из лесу я иду и фонтану, а оттуда — на птичью ловлю\*. Под мышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов — Тибулл, Овидий, другие. Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, спрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей командой (*la brigata*, то есть семья) то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют. Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я заставаю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак\*\*. За игрой вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогается воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино\*\*\*, и крики наши слышны в Сан-Кашьяно. Так, спутавшись с этими гнидами (*pidocchi*), я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно. Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату (*scrittoio*). На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облакаюсь в одежды царственные и придворные (*reali e sigiali*). Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком а переносую в них\*\*\*\*.

Это замечательное письмо, которое наряду с последней главой "Il Principe" обошло все хрестоматии, дает ключ ко многому. "Пусть судьба истопчет меня — я посмотрю, не станет ли ей стыдно". Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников, — все в этом крике души. Жизнь была его, не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мефистофельского его смеха. Пусть! "Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он".

\* На этот раз птичья ловля — самая настоящая, не иносказательная.

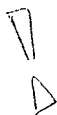
\*\* Крикка — карточная игра, трик-трак — игра на доске.

\*\*\* Мелкая монета.

\*\*\*\* Lett. fam., 137, к Веттори, 10 декабря 1513.

А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, "когда божественный глагол до слуха чуткого коснется"? Из грязной придорожной деревенской остерии, из москательной лавки Донато, из домика захудалой куртизанки способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться "беседой" с ними, парить в недостижимой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.

Вот эта способность творить и действовать, преодолевая постоянные внутренние боли, не давая жизненным невздам задушить силы духа, торжествуя над мутящим мозг пессимизмом, способность творить и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли к сонму великих.



#### IV

Общество, которое не хотело понимать Макиавелли и отвергало его, было общество Возрождения. Никколо был его родным детищем, но капризным и своенравным: свет и тени в нем были распределены по-другому, чем у огромного большинства.

Культура Возрождения — организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собою с резкой непримиримостью, но в конце концов как-то все-таки уживались вместе. Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотой в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждение мирских — все это переплеталось между собою и сливалось в видение необычайного блеска, который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял гордостью и высокомерным сознанием превосходства над другими народами.

Простейшими и самыми естественными плодами, которые произрастали в этой атмосфере, были неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов — в идейном обрамлении, как у Пьетро Аретино, или в полной обнаженности, как у большинства. У Никколо всего этого было не меньше, чем у любого из современников. Но судьба не дала развернуться его аппетитам. Его это очень сокрушало. В капитоло\* "О случае" он грустно поет о том, как Случай в виде женщины с копной волос спереди и с голым

---

\* Капитоло (capitolo) — стихотворение, обычно на дидактическую тему, написанное терцианами.

затылком промелькнул перед ним прежде, чем он успел его схватить, а в капитоло "О фортуне", написанном в пожилые годы, жалуется, что фортуна любит молодых и смелых, очевидно не решаясь причислить себя и ко второй категории. Приходилось мириться, что судьба, выбирая любимцев, обошла его. Его ждала "иных восторгов глубина".

У него было нечто, чего не было ни у кого из избалованных утехами жизни: огромный, острый, безгранично смелый ум. Уму Макиавелли была свойственна некоторая рационалистичность, подчас сухость, но критическая его сила была поразительна. Анализ Макиавелли не знал никаких преград, проникал до дна, доискивался до последних начал. Никто не умел с таким неподражаемым искусством изолировать вопрос и обнажать его имманентную сущность. Бесстрашие некоторых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает нервы буржуазным ученым.

Легкой и безболезненной жертвой анализа Макиавелли сделалась очень скоро вера. Никколо был настоящим атеистом и по духу, и по научному своему облику. Библия и отцы церкви были знакомы ему мало. Его начитанность была чисто мирская, а когда по ходу рассуждений ему приходилось касаться опасных вопросов, он, подобно Леонардо, прятал ироническую усмешку под гримасой благочестия\*. Неверие в то время отнюдь не было чем-нибудь революционным, особенно если оно не провозглашалось в кричащих лозунгах. Католическая реакция еще не пришла, а религиозного пафоса в кругах образованных людей давно уже не было. Придворные дамы, как Эмилия Пиа, умирали без исповеди, а пылкий республиканец Пьетро Паоло Босколи, беседуя перед казнью с друзьями и духовником, мучительно хотел умереть добрым христианином и умолял, чтобы у него "вынули из головы Брута": ему никак не удавалось настроить себя благочестиво. Но атеизм у всех оставался делом личной совести. Ум Макиавелли был неспособен остановиться на этом. У него сейчас же стройным рядом выстроились категории: личная вера; религия как общественное настроение, подлежащее учету и воздействию со стороны всякого политика; религия как сила, формирующая человеческую психологию; религиозная точка зрения, вторгающаяся в научное исследование; соприкосновение религии с моралью и их совместное пертурбирующее действие при научном анализе; церковь; духовенство.

Атеизм не нарушал канона Возрождения, ибо канон Возрождения признавал безграничную свободу за критикующим умом.

\* См., напр., "Il Principe", II: "Так как этими (церковными) княжествами управляют высшие силы, непостижимые для человеческого ума, то я не буду о них говорить. Они возвеличены и хранимы богом, и рассуждать о них может лишь человек самоуверенный и дерзкий". О крупнейшем из этих "хранимых богом" княжеств — о Папской области — Макиавелли "рассуждал" самым уничтожающим образом.

Но признавая законность неверия, канон на этом останавливался. Критический анализ христианской религии ставил точку где-то очень близко. Макиавелли с хмурой усмешкой смахнул эту точку и пошел дальше.

Прежде всего он сделал одно очень важное сопоставление. Личная вера — бессмыслица. Но пока на эту точку зрения станет большинство, пройдет много времени. Религия, как настроение широких народных масс, будет существовать еще долго, и политик должен уметь этим настроением пользоваться, как пользовались им римляне. Мало того: религиозность в народе нужно поддерживать, потому что народом религиозным легче управлять\*. Это рассуждение реального политика. Но нельзя закрывать глаза на то, что христианская религия, выдвигая на первый план заботу о делах потусторонних, полагая высшее благо в смирении и неприятии мира, заставляет никнуть дух, размягчает характер, принижает силу и энергию человека. Древние, наоборот, своей религией поднимали дух, прославляли силу, мужество, суровую непреклонность, и потому народы древности способны были свершить великое. Христианская религия ослабляет волеву и умственную активность в человеке и в народе, и потому находится в упадке любовь к свободе и республиканский дух\*\*. С этим надо бороться.

Вот цепь рассуждений, определяющих роль и значение христианской религии в общественной жизни. До них раньше Макиавелли не додумался никто, хотя все его выводы сделаны из посылок, давно усвоенных канонем Возрождения. Но Макиавелли и на этом не остановился. Когда ему пришлось ставить и разрешать вопросы политической теории, он должен был задуматься над тем, чем руководствоваться в анализе. До него самые блестящие образцы теоретических рассуждений в области политики были неразрывно связаны с моралью, и так как это были рассуждения не гуманистические, а схоластические, то и с религией. Гуманисты, поскольку в своих сочинениях они касались политических вопросов, делали иной раз робкие попытки поговорить о политике свободно, но жизнь не ставила им трагических вопросов, и у них все кончалось легкой игрою ума. Макиавелли понял, что, пока он не изолирует вопросов политики от вопросов морали и религии, до тех пор он будет беспомощно топтаться на месте и не скажет ничего нужного для жизни. А события были таковы, что необходимо было политические вопросы ставить и разрешать с величайшей, беспощадной прямоотой и смелостью: для этого надо было отбросить все, что мешало свободному анализу, в том числе религиозные и моральные соображения. И Макиавелли дерзнул. Именно за это его кляли больше всего и при жизни, и особенно после смерти.

С церковью и духовенством вообще было легче. Это была проторенная дорожка со времени первого "Новеллино". Но Ма-

\* "Discorsi", I, 12.

\*\* "Discorsi", II, 2.

киавелли не умел смеяться так, как смеялись новеллисты. Его смех был другой. В "Мандрагоре" церковь в лице монаха фра Тимотео разрушает крепкие моральные устои у людей, успокаивает сомнения, продиктованные чистой совестью, толкает к греху и удовлетворенно позвякивает потом тридцатой сребрениками, полученными за самое безбоязненное с ее собственной точки зрения дело. Это — не легкая насмешка. Это — свирепая, уничтожающая сатира. Макиавелли знает, что он хочет сказать. Пока церковь управляет совестью людей, не может быть здорового общества, ибо церковь благословит, если это будет ей выгодно, самую последнюю гнусность, самое вопиющее преступление. Совершенно так же, как не может быть в Италии здорового, то есть единого и свободного государства, пока в центре страны укрепились Папская область, которая в своих интересах идет наперекор национальным задачам страны. Тут полная параллель.

В вере, в религии, в церкви — главное зло. Чем сложнее становится жизнь, тем это зло больше. Потому что усложняющаяся жизнь — это новая жизнь, которая секуляризируется с каждым днем сильнее к великой невыгоде церкви. Церковь отстаивает свои позиции с непрерывно возрастающим озлоблением. И тем более непреклонно и непримиримо должна вестись борьба со старым, еще не изжитым наследием феодального мира. Вольтер скажет потом: "Раздавите гадину" (*Ecrasez l'infame*). Формула принадлежит ему, мысль — Макиавелли.

Доктрина Возрождения благодаря Макиавелли вбирала в себя под напором жизни новые элементы, все более решительные и боевые. В ней, как и в микеланджеловском искусстве, появлялась *terribilità*, нечто "грозное", что отпугивало более робких, но с точки зрения социальных и политических задач времени было самой естественной защитной реакцией, ибо в "Principe" и в аллегориях Сикстинского плафона трепещет в муке один и тот же дух. Страшно, но неизбежно. Жизнь — Голгофа. Ее отражение не может быть хороводом танцующих пугтов на светлом розовом фоне или беззаботной карнавальная песенкой. И важно в жизни то, что нужно. Распределяя ипостаси гуманистического канона в порядке убывающей политической, то есть единственно жизненной, важности, Макиавелли нашел, что ренессансный культ красоты — нечто совершенно бесполезное. Он знал, конечно, что идея прекрасного в мировоззрении эпохи играет огромную роль и является неотъемлемой частью культуры Возрождения. Но это его не останавливало. С точки зрения трагических "быть или не быть" это не нужно. Ни красота в природе, ни красота в искусстве. В писаниях Макиавелли нет ни одной строки, где бы чувствовалось понимание красот природы, лирическая настроенность, подъем. Никколо имел слабость считать себя поэтом\* и стихов написал достаточно. Но это — не

---

\* Он был очень обижен на Ариосто за то, что тот, перечисляя в "Orlando Furioso" крупнейших современных поэтов, не упомянул его имени, "отбросил его, как собаку". См. Lett. fam., 166, к Луиджи Аламани.

поэзия, а рифмованный фельетон: и стихи в комедиях, и "Десятилетия" ("Decennali"), и "Золотой осел" ("Asino d'oro"), и capitoli, и песни. Настоящий подъем, трепет подлинного чувства, пламенная лирика — политическая — у Макиавелли не в стихах.

С таким же равнодушием, как к природе, относился он и к искусству. В "Истории Флоренции" она не играет никакой роли. Даже рассказывая о Козимо и Лоренцо, он оставил совершенно в тени вопросы искусства. Имена Брунеллеско, Гиберти, Донателло, всей плеяды художников, работавших при Лоренцо, даже не упоминаются. В характеристике Лоренцо есть только одна фраза: "Он очень любил всякого художника, выдающегося в своей области"\* . А в "Arte della guerra" он говорит про Италию, что она "воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру"\*\*\*.

В идеологии Возрождения его интересует только индивидуалистическая доктрина, но в его руках она стала неузнаваема. У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова, и опять строятся категории: человек, люди; соединение людей, то есть общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; властитель и различные его типы; государство и различные его формы; государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация. Его интерес возрастает по мере того, как он двигается в этой цепи все дальше. Меньше всего интересует его отдельная личность. Зато никто до него не подвергал такому всеобъемлющему анализу человека "как существо общежительное". В миропонимании Возрождения Макиавелли — рубеж. Он первый стал изучать человека и человеческие отношения не с этической, а с социологической точки зрения, и это у него не случайные проблески, не единичные озарения, а выношенная до конца мысль, которой не хватало только систематического изложения и четкой терминологии, чтобы сразу войти в идейную сокровищницу человечества. А в идеологии Возрождения ломка этической установки и внесение социологической имело еще один колоссальный результат. От звена к звену, от силлогизма к силлогизму неотразимым напряжением логической мысли Макиавелли приходит к тому, что требует от него социальный заказ: к созданию политической теории Возрождения.

В сравнении с его конструкциями кажутся детским лепетом не только чисто этические этюды Петрарки и Салутати, но и сравнительно зрелые, тронутые и социологическим прозрением, и политическим анализом рассуждения Бруни, Поджо, Понтано. Между тем формально Макиавелли был вооружен для этой

\*"Istor. Flor.", VIII, 36; "Amava meravigliosamente qualunque era in una arte eccellente".

\*\*Кн. VII, в самом конце. См. Opere (1819), т. V, с. 420.



задачи гораздо хуже и не обладал такой колоссальной начитанностью в классиках, как крупнейшие представители гуманизма. Но он в ней и не нуждался: ему было достаточно начитанности в размерах, строго необходимых для проверки своей мысли. Он подходил к Ливию и Тациту, к Плутарху и Полибию совсем не так, как гуманисты. Их интерес к древним был научный. Практических целей они не преследовали. Они не "беседовали с классиками", не "спрашивали у них объяснения их действий", и те не "отвечали им благосклонно". Для Макиавелли классики только такой смысл и имели. Все, что в них было ему интересно, интересно было потому, что находило применение в жизни, в делах сегодняшнего дня. Античные историки и мыслители помогали ему понимать отношения, в которых жил он сам, которые затрагивали его, людей его группы, его родной город, родную его страну. Но никогда не полагался он на классиков всецело. Если они служили оселком, которым он проверял свои наблюдения и мысли, то их он тоже проверял собственным опытом и данными истории итальянских коммун. Наряду со Спартой, Афинами, Римом, Карфагеном он обращался к прошлому Болоньи, Перуджи, Сиены, Фазнцы и никогда не упускал из поля зрения Венецию и Флоренцию, Милан и Неаполь. Чтобы понять до конца, например, Цезаря Борджа, вскрыть то типическое и практически нужное, что в нем имеется, на него нужно предварительно накинуть римскую тогу. Простого наблюдения недостаточно, хотя бы оно было самое пристальное, хотя бы оно длилось месяцами. Сравните письма Легации в Имолу, записку о том, как герцог Валентино расправился с кондотьерами, и страницы, посвященные Цезарю в "Principe". Донесения Легации накаплиют наблюдения над живым человеком, ряд моментальных фотографий, скрупулезно точных, день за днем, с 7 октября по 21 января 1502 года\*. Записка химически "обрабатывает" герцога Валентино Ливием и Тацитом, и в результате этой "реакции" получается Цезарь Борджа — стилизованный, уже не во всем похожий на подлинного Цезаря Легаций. "Principe" подводит итоги; в нем герцог Валентино — отвлеченный, разложенный на ряд максимум практической политики: кто желает, может ими пользоваться. И когда угодно: сейчас, через сто лет, через пятьсот лет.

Без классиков построения Макиавелли остались бы не вполне законченными. Но классики для него материал подсобный. Макиавелли — не гуманист: в тревожное время, в которое ему пришлось жить, типичными гуманистами могли быть только бездарные и бездушные люди. Но он — подлинный человек Возрождения, а его политическая теория — подлинная доктрина Возрождения. В ней вековой опыт социальной ячейки Возрождения, итальянской коммуны, подвергнут обобщающему анализу, очищен от плевел церковной идеологии, проверен на классиках. И оплодотворен могучим порывом к действию, идеей *virtù*.

---

\* Год по флорентийскому календарю начинался не 1 января, а 25 марта.

Что такое Макиавеллева *virtù*? Это последнее слово ренессансного индивидуализма, венчание его теории с духом живого дела, прославление и апофеоз действенной энергии человека. *Virtù* — не "добродетель" Петрарки, почерпнувшего ее формулу у Цицерона, и не "добродетель" Бруни, взятая напрокат у стоиков, и даже не радостная стилизация здорового жизненного инстинкта, формулированная Валлою по эпикурейским образцам. Макиавеллева *virtù* — это воля, вооруженная умом, и ум, окрыленный волей, страстный зов к планомерному, сознательному, самому нужному делу — завет его времени будущему.

Идеология Возрождения — от начала до конца идеология переходного исторического периода, эпохи разложения феодального общества и возникновения общества буржуазного. И от начала до конца эту идеологию определяют интересы буржуазии, обороняющейся и наступающей, слабеющей и торжествующей, побеждающей и побеждаемой, — смотря по тому, как складывалась в коммунах социальная группировка и какая группа буржуазии давала тон.

Какую же группу буржуазии представляет Макиавелли? И как интересы группы, им представляемой, запечатлелись в его политической доктрине?

## V

Когда Макиавелли поступил на службу, уже были налицо признаки кризиса, который переживало итальянское народное хозяйство. Кончился подъем, под знаком которого Италия жила, несмотря на все потрясения, чуть ли не со времени первого крестового похода. Торговля и промышленность, на которых зиждилось хозяйственное благополучие Италии, начинали клониться к упадку, и люди прозорливые это чувствовали не со вчерашнего дня. Лоренцо Великолепный, глава крупнейшей банковской фирмы Италии, вложившей большие капиталы и в торговлю, и в промышленность, первый начал принимать меры, чтобы его банк не сделался жертвой кризиса. И эти меры производили, очевидно, настолько сильное впечатление, что и Гвиччардини, и Макиавелли, ближайшие после его смерти историки Флоренции тщательно их отмечают.

Гвиччардини говорит\*: "Так как в Лионе, в Милане, в Брюгге и в других городах, где были у него торговые агентуры и конторы, росли издержки на представительство и на дары, а прибыли падали, ибо делами управляли люди малоспособные... и отчеты сдавались плохо — сам Лоренцо не смыслил в торговле и не заботился о ней, — то дела пришли в такое расстройство, что он был накануне разорения... Убедившись в том, что торговля идет плохо, он стал скупать земли на 15 или 20 тысяч дукатов..."

\* "Storia Fior.". Op. ined., III, 87—88.

Макиавелли рисует дело так же, как и Гвиччардини\*.

"В делах торговых он (Лоренцо) был очень несчастлив, ибо из-за недобросовестности служащих, которые управляли его делами не как частные люди, а как владетельные особы, во многих местах он понес большие денежные потери... Поэтому, чтобы не испытывать больше судьбу на этом поприще, он, отказавшись от коммерческих предприятий (*mercantili industrie*), обратился к скупке земель, как к богатству более прочному и надежному".

В этих указаниях обращают на себя внимание две вещи. Прежде всего Лоренцо сознательно извлекает капиталы из торговли и промышленности и вкладывает их в землю, считая, что земельная рента вернее. И нужно заметить, что он не только скупает земли, но и всеми другими способами старается сосредоточить в своих руках как можно больше земельных владений, словно предчувствуя, что в недалеком будущем земля действительно станет более надежным богатством. Так, избрав для своего второго сына духовную карьеру (1483), Лоренцо воспользовался своим огромным влиянием на папу Иннокентия VIII и начал такую безудержную охоту за бенефициями для сына, что в его руках сосредоточились огромные церковные поместья в Италии и за Альпами. Распоряжение ими, юридически ограниченное определенными нормами, на деле было почти свободно, и касса медичейского банка получила очень неплохое подспорье\*\*.

То, что Лоренцо начал, следом за ним стали делать другие крупные капиталисты флорентийские: Каппони, Пуччи, Ручеллаи, Валори, Гвиччардини, Веттори и другие\*\*\*.

И одно то обстоятельство, что тяга капиталов к земле уже в 80-х годах XV века становилась явлением далеко не исключительным, заставляет с большим сомнением относиться ко второму единогласному указанию Гвиччардини и Макиавелли: что торговля и промышленность давали убытки потому, что служащие медичейские были людьми неспособными или недобросовестными. У Медичи, надо думать, всегда было достаточно служащих и неспособных и недобросовестных, а дела прежде шли отлично. Правда, после смерти Козимо служащие стали позволять себе не так строго подчиняться указаниям из Флоренции, и это приводило иногда к большим потерям\*\*\*\*. Но главная

\* "Istor. Fior.". Ed. Le Monnier, 1857, VIII, 36.

\*\* G. B. Piccoli, *La giovinezza di Leone X* (1928).

\*\*\* См. Anzilotti, *La crisi costituzionale della Repubblica Fiorentina* (1912), с. 8—9. Автор нашел обильные указания на скупку земель в деловых бумагах этих фирм, хранящихся во флорентийском архиве. Только нельзя, как это он делает, без оговорок утверждать, что "движение капиталов в деревню началось издавна" (он ссылается на книгу Родолико, посвященную концу XIV в.). Была большая разница между двумя моментами. Тогда покупали земли вследствие обилия доходов, теперь — чтобы спасти доходы, ибо в конце XIV в. был расцвет, в конце XV в. начинался упадок.

\*\*\*\* См. O. Meltzing, *Das Bankhaus der Medici und seine Vorläufer* (1906), с. 134—139.

причина была вовсе не в этом. Менялась мировая хозяйственная конъюнктура. Лоренцо это понял, ибо не прав Гвиччардини, что Лоренцо "не смыслил в торговле". Он уступал, конечно, в коммерческих способностях Козимо, но отнюдь не был плохим купцом.

Ему только не хватало специальной коммерческой подготовки и собственного опыта, потому что его готовили к политической карьере больше, чем к купеческой\*. Теперь, через четыреста с лишком лет, ход заключений банкира-правителя, прибегавшего для перестраховки своих доходов к скупке земель, для нас совершенно ясен.

В Европе назревали повороты, последствия которых нужно было учитывать самым серьезным образом. В Англии кончилась война Роз, которая проделала вследствие неплатежеспособности Эдуарда IV очень большую брешь в активе банка Медичи. Там появилась единая твердая власть. Она по-хозяйски стала на страже английской шерсти — продукта, без которого флорентийская суконная промышленность не могла существовать. Во Франции Людовик XI закончил собирание коронных ленов, и Анжуйские притязания на Неаполь, никогда не забывавшиеся, и притязания Орлеанского дома, связанные с правами Валентины Висконти на Милан, только теперь становились опасны, как скверная заноза, которая сначала не беспокоила, а потом прикинулась болеть. Пока Флоренция в союзе с Миланом и Венецией вела войну против папы Сикста IV и Неаполя — ее с необычайным терпением описал Макиавелли, — Лоренцо не раз угадывал хищную заинтересованность Людовика XI в итальянских делах\*\* и с тревогой обращал взоры на север. Куда направится боевая энергия неугомонившегося еще французского рыцарства теперь, когда прошла опасность со стороны Англии и кончились феодалные усобицы? А с другой стороны, теперь, когда в Англии и Франции наступило внутреннее успокоение, установилось политическое единство, появилась крепкая власть, будет ли там прищипка для работы итальянских капиталов, или им придется уступать поле молодым национальным капиталам, переживающим буйную эпопею первоначального накопления? Ничего радостного не виделось и со стороны Испании. Там Кастилия объединилась с Арагоном, у которого тоже традиционные притязания на итальянскую землю, на Неаполь и Сицилию. Правда, там завязалась смертельная борьба с маврами, но она имеет все шансы кончиться счастливо. Куда бросятся неисчерпанные силы новой Испании? А с Востока, где тридцать с лишним лет назад пал под ударами турок Константинополь, где войска и флот султана обирают венецианские владения на морях и закупорива-

\* См. O. Meltzing, там же, с. 122—123.

\*\* Со времени издания писем Людовика XI (Carauare, Vaesen et Mandrot, *Lettres de Louis XI*, 1883—1909, 11 томов; см. особенно том VII, страница 286 и следующие) у нас имеются документальные доказательства этого.

ют торговые пути, не грозят ли новые бури? А на Западе, где ищут доступа к левантским рынкам кругом света, если найдут, не будет ли Италии совсем плохо?

Лоренцо делал все, что мог, чтобы предотвратить опасность. Он был творцом системы равновесия в Италии, очень плохого, но единственно возможного в то время вида единения. Оно прекращало на более или менее длительный срок внутренние усобицы, но не гарантировало ни от чего. На политической почве добиться большего было нельзя, ибо у Венеции, у Милана, у курии, у Неаполя были свои интересы, как и у Флоренции, и ни одно из пяти государств не было достаточно слабо, чтобы другие могли общими силами заставить его покориться. Трудность чисто политического соглашения коренилась главным образом в том, что среди пяти крупных итальянских государств было одно, имевшее не только итальянский, но и международный характер, — Папская область. Губительная политическая роль Рима в Италии, раскрытая с такой сокрушающей убедительностью Макиавелли, становилась ясна уже и до него, и Лоренцо, конечно, приходилось задумываться над тем, какой оборот примут дела, если место "ставшего его глазами" Иннокентия VIII папский престол займет первосвященник более воинственный или более чадолюбивый, чем Сикст IV. И Италии повезло. После Иннокентия пришел сверхчадолюбивый Александр VI, а за ним через короткий промежуток — сверхвоинственный Юлий II; после Юлия надолго исчезли надежды на осуществление единства.

В непримиримости политических интересов было главное несчастье Италии. Она породила все ее национальные беды. Она мешала политическому объединению по примеру Франции и Испании. Она была причиной ее незащитности перед чужеземцами. И была неустранима, ибо в основе ее лежали чрезвычайно резкие экономические противоположности между отдельными ее частями. Типично промышленная, богатая капиталами Флоренция в кольце своего *contado* с цветущими земледельческими культурами, рядом — чресполосно-феодалная, полудикая Романья, яблоко раздора между курией и Венецией, закрепленная за Римом Юлием II и перманентно разоренная римская Кампанья, а дальше к югу — нищие горные скотоводческие районы Неаполитанского *Reame*. Венеция с крепкими отдельными отраслями индустрии и с огромной торговлей в большом стиле, по соседству — ломбардские города с падающей промышленностью, за ними — Генуя с падающей торговлей. Между крупными государствами — клинья мелких. Мантуя, Феррара, Урбино с сильными феодальными пережитками, с хозяйством преимущественно земледельческим, с мелкими предприятиями по добыче сырья, с торговыми монополиями казны и с военными предпринимательством (кондотьерская индустрия, если можно так выразиться), делающим хорошие дела; или Сиена, копировавшая в малом масштабе Флоренцию; или Лукка, хиревшая все больше; или Болонья, безуспешно пытавшаяся хозяйственно организовать Романью.

Пестрый конгломерат государств, среди которых и районы с типично активной экономической политикой, как Флоренция и особенно Венеция, и не менее крупные — с типично пассивной: Рим, ненасытная утроба-потребительница, и полуфеодальный Неаполь. Каждое из этих государств, больших и малых, гораздо теснее было связано со своими сырьевыми базами и с рынками сбыта вне Италии, чем одно с другим. Наоборот, друг с другом они чаще всего были конкурентами или очень несговорчивыми и не всегда добросовестными контрагентами.

Экономические противоположности были чрезвычайно уступчивы, так как в них кристаллизовались результаты очень раннего и буйного роста благосостояния, обострившего местные особенности. И самый гениальный политик не сумел бы в этот момент найти равнодействующую, которая сгладила бы эти противоречия. Лишь постепенно, веками, стали утрачивать они свою остроту, и между отдельными частями страны могло установиться такое хозяйственное сотрудничество, при котором политическое объединение сделалось возможно.

Когда Макиавелли поступил на службу (1498), уже исполнилось многое из того, что предвидел и чего боялся Лоренцо Медичи. Французское рыцарство прошло через всю Италию с Карлом VIII, ограбив ее, а теперь собирался завоевывать Милан преемник Карла, Людовик XII. В Англии купцы и банкиры итальянские терпели поношение и вытеснялись с острова с немалым ущербом. В Испании борьба с маврами была кончена, и Гонсальво Кордовский, *il gran capitano*, дал уже почувствовать силу своего меча неаполитанской земле. Турки настойчиво и методично продолжали свои завоевания. В поисках путей в Индию генуэзец Христофор Колумб нашел Америку, но его открытие принесло огромные выгоды Испании и до корня потрясло весь организм итальянской торговли. Ее приходилось свертывать все больше. Промышленность итальянских городов все с большим трудом находила сбыт для своих изделий. Падали доходы. Уменьшались богатства. И — что было страшнее всего — будущее не сулило никакого улучшения. Эпохе хозяйственного расцвета итальянской буржуазии приходил конец по-настоящему. Поднимали голову другие классы — землевладельческие, и уже начинали кое-где играть заметную роль.

Открывалась новая эра. Ее назовут потом эрой феодальной реакции. Потрясениями, которые она принесла Италии, страна расплачивалась за процветание предыдущих четырех веков. Европа, которую Италия эксплуатировала столько времени, дождалась наконец момента, когда страна величайших богатств оказалась перед нею беззащитной. Старые феодальные государства переживали подъем, Италия — уклон. За Альпами начиналась ликвидация феодальных отношений, сковывавших хозяйственный рост, Италию заливали волны нового феодального прилива.

Время было насыщено событиями грозными и важными и, как всякая переломная пора, давало неисчерпаемый материал для

наблюдения и анализа. Макиавелли стоял в самой гуще жизни и прекрасно понимал смысл происходившего. Он видел, что продвижение капиталов в деревню раскалывает буржуазию, лишает ее политического веса и, наоборот, увеличивает политический вес враждебных буржуазии феодальных классов. Он был флорентинец и знал, как опасна такая ситуация.

Чтобы понять ход его мыслей, нужно бросить взгляд на эволюцию общественных классов в родном его городе.

## VI

Медичи пришли к власти (1434), опираясь на мелкую буржуазию, на ремесленные цехи, в борьбе с представителями крупного капитала, к которым принадлежали сами. Противники Медичи, Альбици и их сторонники, представляли торгово-промышленный капитал. Им нужны были рынки сбыта. Они стремились к экспансии, вели завоевательную политику, истощали казну и не давали работы ремесленникам. Медичи представляли банковский капитал, в экспансии были заинтересованы мало, проводили политику бережливости и тратили огромные деньги на украшение города. Но ни Козимо, ни Пьеро, ни особенно Лоренцо никогда не отождествляли своих интересов с интересами ремесленного класса. Они были плотью от плоти и кровью от крови крупной буржуазии. Ремесленники нужны были им как опора, пока власть их не укрепилась окончательно. Когда Лоренцо почувствовал, что этот момент настал, политическая демагогия была выброшена вон, и он перестал скрывать свое настоящее лицо. Случилось это после заговора Пацци и окончания войны против Рима и Неаполя, в 1480 году. Именно в это время была создана твердая медичейской деспотии — Совет Семидесяти, орган, назначавший Синьорию и из своей среды выделявший комиссии с главнейшими правительственными функциями. Ввиду исключительной важности этой коллегии, состав ее должен был быть подобран особенно тщательно. И Лоренцо подобрал. В Совет Семидесяти вошли крупнейшие представители самой богатой буржуазии, как раз те, которые, подобно Лоренцо, имели большие вложения капиталов в землю. Их нужно было заинтересовать в сохранении власти Лоренцо и сделать, таким образом, друзьями династической политики Медичи. Это было достигнуто прежде всего податной системой. Налоги чрезвычайно заботливо обходили земельную ренту и обрушивались всей тяжестью на доходы с торговли и промышленности. Постоянная приобщенность к власти давала, кроме того, неисчислимые выгоды, а непрерывные продления полномочий Семидесяти создавали атмосферу большой уверенности. Вместе с Лоренцо правила верхушка крупной буржуазии, ее рантьерская группа\*. Его правление, пред-

\* См. А. Anzilotti, указ. соч., с. 32 и след.

ставлявшее собой организацию власти именно этой группы, было усовершенствованием принципов той самой олигархии, против которой так упорно боролись дед Лоренцо, Козимо, и прадед Джованни. И естественно, оно вызывало недовольство других кругов буржуазии, интересы которых беспощадно приносились в жертву. Это недовольство прорвалось наружу, когда после смерти Лоренцо власть перешла к его сыну. Предательство Пьеро, сдавшего в 1494 году флорентийские крепости французам, послужило предлогом. Медичи были изгнаны, причем даже члены Семидесяти не очень их защищали, надеясь без Медичи создать настоящую олигархию, при которой не приходилось бы львиную долю выгод отдавать синьору — правителю. Но этим надеждам не суждено было сбыться: другие группы буржуазии при поддержке ремесленников, цеховых и нецеховых, провели конституционную реформу. Основные ее линии сначала правильно наметил, потом безнадежно запутал Савонарола.

Этот гениальный монах был полной противоположностью Макиавелли, недаром он был совершенно не понят им. Там, где у одного было трезвое размышление, — у другого была интуиция, где у одного анализ — у другого религиозный пафос, где у одного продуманное знание — у другого видения. Макиавелли относился к народу без больших симпатий. Савонарола его трепетно любил. И в любви его к народу было что-то неизмеримо большее, чем простая гуманность или верность евангельскому слову о малых сих. Он разбирался в экономическом положении трудящихся и нападал на предпринимателей. В его проповедях мелькают зарницы — предвестницы далеких еще учений о праве на труд и о неоплаченном труде, хотя и не додуманные до конца и затуманенные религиозной фразеологией. Савонарола не сумел претворить их в жизнь и создать, как он хотел, условия человеческого существования для трудящихся, так беззастенливо поддерживавших его в первое время. Он не мог даже поднять вопроса о какой-либо форме их участия в правящем органе. Тем не менее политическая терминология того времени называла савонароловский и послесавонароловский режим демократией, ибо он осуществил господство popolo. А popolo в то время составляли полноправные граждане, *benefiziati*, которых на 90 000 жителей было всего около 3200 человек: купцов, мануфактуристов, ремесленников. Они имели право заседать в Большом Совете. При Медичи, до Савонаролы и после Содерини, количество полноправных граждан опускалось до нескольких сотен. Разница была существенная, и мы понимаем, что тогда господство верхних 3000 провозглашали демократией. Менее понятно, когда демократией называют его современные исследователи. Это был умеренно буржуазный режим, в котором власть принадлежала торгово-промышленным группам. Савонарола, опираясь на низы, сверг господство рантьебуржуазии. Чрезвычайно жесткое обложение крупной земельной ренты поражаало корни ее социальной мощи, в то время как налоги на доходы с торговли



и промышленности всячески шадилась. Вспыхнувшая на этой почве бешеная классовая борьба привела к тому, что торгово-промышленные группы отступились от Савонаролы и выдали его заклятым его врагам (1498), но режим его был сохранен этой ценой и позднее (1502) укреплен еще больше благодаря установлению пожизненного гонфалоньерата. Пьеро Содерини был выдвинут крупной рантьерской буржуазией, ибо был человеком их класса, но он обманул ее ожидания и ее путями не пошел. Он примкнул к большинству Большого Совета, стал во главе торгово-промышленной буржуазии и продолжал политику податного благоприятствования купцам, владельцам мануфактур и мастерских. Последние следы демократических чаяний Савонаролы испарились. Народ, *plebe*, по тогдашней терминологии, противопоставившей его *popolo*, остался при разбитом корыте. Зато торгово-промышленные классы организовались очень крепко. Содерини окружил себя и пополнил ряды ответственных служащих новыми людьми. К их числу примкнул и Никколо Макиавелли. Он не принадлежал ни к купцам, ни к промышленникам. Но участие в правительстве, новые связи, образовавшиеся вскоре, большая близость к Содерини определили его социально-политический облик. По происхождению он принадлежал к старой флорентийской буржуазии. Теперь он нашел себе более определенную ячейку.

Четырнадцать лет, проведенных им на службе, сроднили его с этим классом. Постоянная борьба, которую богачи, прежние сподвижники Лоренцо, частью изгнанные, частью обобранные, частью задавленные налогами, вели против режима пожизненного гонфалоньерата, приучили его смотреть на них как на врагов, а все накопившиеся признаки феодальной реакции привели его к выводу, что люди, владеющие землей, то есть связанные с феодальным прошлым Италии, являются противниками всякого организованного общественного порядка. И когда ему в деревенском уединении пришлось продумать свой опыт, он внес в "Discorsi" следующее замечательное размышление о дворянах (*gentiluomini*)\*: "Дворяне — это люди, которые живут от доходов со своих поместий в праздности и изобилии, нисколько не заботятся об обработке земли и не несут никакого труда, необходимого для существования. Эти люди вредны во всякой республике и во всяком городе. Но еще вреднее те, которые кроме упомянутого имущества владеют замками и имеют подданных, им повинующихся. Теми и другими полны Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. В таких странах никогда не существовало никакой республики и никакой политической жизни (*vivere politico*), ибо эта порода людей — заклятый враг всякой свободной гражданственности (*d'ogni*

\*"Discorsi", I, 55. Он повторил те же соображения, но в несколько ином плане в "Discorso sopra il riformar lo Stato in Firenze". См. об этом ниже.

civiltà\*)... Кто захочет создать республику там, где много дворян, должен предварительно истребить их всех, и кто захочет создать королевство или вообще единоличную власть там, где царит равенство, сможет сделать это, не иначе как взяв из среды равных большое количество людей честолюбивых и беспокойных и сделав их дворянами, притом не на словах только, а на деле, то есть одарив их замками и поместьями, дав им денежные пожалования и людей”.

И чтобы не оставалось сомнения, какой класс он противопоставляет дворянам, Макиавелли к общему рассуждению прибавляет несколько слов о Венеции. Венеция вовсе не опровергает положения, что дворяне не уживаются при республиканском строе, ибо ”дворяне в этой республике — дворяне больше на словах, чем на деле: у них нет больших доходов с поместий, а их крупные богатства зиждятся на торговле и состоят из движимости (*fondate in sulla mercanzia e cose mobili*); кроме того, никто из них не владеет замками и не имеет никакой вотчинной власти (*alcuna iurisdizione*) над людьми”\*\*.

Это противопоставление Венеции и тосканских республик как областей, где царит ”равенство” и где богатство ”зиждется на торговле”, тем частям Италии, где существование многочисленного дворянства создает условия, благоприятные для феодальной организации власти, формулирует самую острую тревогу Макиавелли. Его заботит, конечно, прежде всего Флоренция.

Соотношение общественных сил в Ломбардии, на юге и в Папской области было таково, что усиление феодальных влияний в это время уже не пугало руководящие общественные группы, а встречало с их стороны сочувствие. В Венеции напора феодальных сил не очень боялись, ибо правящая буржуазия не подвергалась такому расслоению, как во Флоренции, и потому силы экономического и политического сопротивления в республике не были подорваны. Во Флоренции буржуазия не только раздиралась чисто экономическими противоречиями. Обстоятельства, при которых произошло крушение режима пожизненного гонфалоньерата, показали, что самому ”равенству” в республике грозит величайшая опасность. Падение Содерини было результатом напора рантьерской крупной буржуазии, интересы которой попирались политикой Большого Совета. Но падению режима активно содействовали силы, планомерно насаждавшие в Италии феодальную реакцию: Прато пал под ударами испанцев. Между Испанией и Медичи, лидерами рантьерской буржуазии, установилась некая солидарность. А это, несомненно, служило признаком, что верхи буржуазии, пособники Медичи, захва-

\* *La civiltà* у историков и политических писателей XVI века всегда содержит в себе в той или иной мере представление о свободе.

\*\* Карл Маркс, который вообще высоко ценил Макиавелли, внимательно читал ”*Discorsi*” и делал из книги много выписок. Из этой главы он сделал целых три. См. об этом статью В. Максимовского в ”Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса”, кн. IV, 1929, с. 332--351.

тившие власть после переворота 1512 года, находятся если не целиком, то в значительной мере в лагере феодальной реакции\*. Укрепление и развитие этой тенденции грозило разрушить во Флоренции "равенство", то есть лишить группы торгово-промышленной буржуазии всякого участия в организации власти. Реставрация 1512 года захватила их врасплох. Сторонники Медичи сейчас же после победы торопились восстановить хозяйственную основу своего господства и отбирали прежние свои поместья у тех, кто их скупил. Тому классу, который Макиавелли считал носителем идеалов республиканской свободы и равенства, — торгово-промышленной буржуазии — грозил полный разгром.

С этими группами буржуазии Никколо связал свою судьбу. И все его мысли ближайшим образом были направлены на одно: спасти флорентийскую буржуазию, не вовлеченную в орбиту действия феодализирующих факторов, от ударов феодальной реакции.

На первый взгляд этому противоречит то, что Никколо очень скоро после переворота 1512 года стал заискивать у Медичи и проситься к ним на службу, что он посвящал им свои сочинения, а позднее принимал от них не только литературные, но и политические поручения. Объясняются эти вещи просто. Никколо никогда не предполагал, что, если Медичи возьмут его на службу, он сможет получить влиятельный пост, а литературные посвящения высоким особам были вполне в духе времени и ни к чему не обязывали. Записка о реформе государственного строя во Флоренции, которую он подал Льву X по инициативе кардинала Медичи в 1515 году\*\*, была попыткой убедить папу в необходимости дать больше доступа к власти торгово-промышленным группам, то есть полностью продолжала его всегдашнюю политическую линию. Что касается деятельности Никколо в 1526—1527 годах, то тут ему совсем не приходилось кривить душой и изменять своему классу, потому что политика Гвиччардини и папы в период Коньякской Лиги была — мы увидим ниже — его политикой. Дело шло о том, быть или не быть независимой Италии, а в этом вопросе его группа была заинтересована больше, чем другие. С другой стороны, спасти нужно было прежде всего ее, потому что Никколо лишь ее одну считал способной осуществить национальные задачи Италии. Но именно она не поняла, что побудило Макиавелли поступить в 1526 году на службу к Медичи, и после изгнания Медичи отлучила его от всякой политики.

При Содерини приходилось считаться главным образом с правой опасностью. Опасности слева торгово-промышленная буржуазия не ощущала сколько-нибудь остро. Низшие группы

---

\* В 1530 г., после падения Флоренции, комиссары медичейские в своих донесениях папе Клименту VII будут изображать победу над республикой как "торжество дворянства (nobilità) над народом". См. Anzilotti, назв. соч., с. 21.

\*\* "Discorso sopra il riformar lo Stato in Firenze".

ремесленников, как и рабочих, она вела за собой. Партия Савонаролы, i riagnoni, не чувствовали под собой такой крепкой почвы, как при жизни своего пророка, и не могли оспаривать у буржуазии руководства беднейшими классами, а так как экономическая конъюнктура была очень неблагоприятна им самим, то противиться буржуазии они были не в состоянии. Напора слева и борьбы с неимущими поэтому не было. И в актуальных публицистических выступлениях Никколо прежде всего в "Discorso sopra il riformar lo Stato", la plebe не играет никакой роли \*. В сущности, весь демократизм Макиавелли только в том и заключается, что он не призывает к борьбе с plebe. Но и защиты прав этого plebe нельзя найти у него нигде. Он за popolo, то есть за верхние три тысячи, которые ведут за собою, и не очень мягко, низшие классы. И едва ли мы ошибемся, если признаем, что с его точки зрения это — наиболее нормальное соотношение между popolo и plebe. Как он относится к такому режиму, где власть полностью принадлежит plebe, мы увидим из тона его повествования о чомпи в "Истории Флоренции". А рассуждения в "Discorsi", которые обычно приводятся в доказательство демократизма Макиавелли, его практическую позицию определяют в малой мере, если вообще определяют. Правда, у него говорится, что масса (la moltitudine) более умна и более постоянна, чем государь; это очень хорошее подтверждение его республиканизма, но недостаточное для доказательства его демократизма\*\*.

А все восхваления plebe, особенно в "Disc.", I, 6, относятся исключительно к римским условиям, то есть к таким, где существовала армия, составленная из этой самой plebe. Ради возможности иметь постоянные войсковые кадры, необходимые для завоевательных войн, приходится терпеть — только терпеть, tollerare — столкновения между "народом и сенатом", то есть давать "народу" некоторую свободу бороться за свои права. Значит, там, где "необходимость" не "толкает на завоевания", этого терпеть не нужно. Для Флоренции такой "необходимости" Макиавелли не видел. Он отлично понимал, что при тех обстоятельствах, в которых находилась Италия, поставленная лицом к лицу с сильными национальными государствами, ей не приходится говорить о "римском величии" (romana grandezza), хотя это, быть может, "путь чести" (parte più onorevole). Флоренция же не смела, конечно, и мечтать о каких-либо завоеваниях после того, как она четырнадцать лет покоряла Пизу и в конце концов вынуждена была купить ее у французов, а перед тем, тоже за деньги, переняла от французов взбунтовавшийся Ареццо. Во Флоренции не было причин давать волю низшим классам. На-

---

\* Там говорится (Ореге, изд. 1619 г., т. VI, с. 75) "о третьем и последнем классе людей, который охватывает всех граждан" ("terzo ed ultimo grado degli uomini, il quale e tutta universalità dei cittadini"), то есть о полноправном popolo, для которого нужно "открыть залу" Большого Совета.

\*\* "Discorsi", I, 58.

оборот, не очень давняя история очень красноречиво говорила, что в городе имеются предпосылки — их Рим не знал — для чрезвычайно опасного брожения социального характера — восстания рабочих против предпринимателей. Оно могло подорвать благосостояние города, лишить его богатства, то есть того оружия, которым при всяких столкновениях Флоренция оперировала с наибольшим успехом. Макиавелли и думал, что политикой сегодняшнего дня по отношению к низшим классам должна была быть та, которая проводилась во Флоренции и о которой в той же главе "Discorsi" говорилось так: "Правящие держали их в узде и не пользовались ими ни в каких делах, где бы они могли взять власть". И только потому, что Макиавелли не говорит прямо о необходимости борьбы с plebe, эта его точка зрения не так бросается в глаза. Едва ли все это достаточный аргумент в пользу его демократизма. Он был и остался до конца последовательнейшим идеологом торгово-промышленной буржуазии и демократом отнюдь не был.

За время своей службы и позднее, будучи и в центре политического штаба Флоренции, и вдали от дел, Никколо копил наблюдения из области партийной борьбы, и они постепенно складывались у него в обобщения, которые можно назвать социологическими, хотя и с оговорками, ибо они больше вскрывают физиологию политической борьбы, чем ее социальную сущность, и больше ее механику, чем диалектику. Они, в свою очередь, помогали ему найти политические конструкции, которые были ему нужны. Их он дал в больших трактатах. Мы рассмотрим сначала социологию, потом политическую теорию.

## VII

5 октября 1502 года Никколо получил приказ отправиться в Имолу к Цезарю Борджа с рядом поручений. Ему, как всегда, не хотелось ехать. Он только что женился. Человек, к которому его посылали, пользовался такой устрашающей славой, что бедному секретарю было заранее не по себе. Выгод от миссии он не предвидел никаких, хлопот — очень много. Но нужно было подчиняться. Никколо выехал, перечитывая свою инструкцию. Там, в конце, стояло такое предписание\*:"Когда тебе представится удобный случай, ты будешь от нашего имени ходатайствовать перед его светлостью о том, чтобы в принадлежащих ему областях и государствах была обеспечена охранной грамотой безопасность имущества наших купцов, едущих к Леванту и обратно. Так как это вещь очень важная и является, можно сказать, желудком нашей республики (lo stomacho di questa citta), то нужно приложить все старания и пустить в ход все усилия, чтобы результаты получились согласно нашему желанию".

\* Opere (1805), V, 191—192.

Макиавелли едва ли нужно было напоминать, что составляет — говоря словами Лассалья — "вопрос желудка" Magenfrage флорентийской коммуны. Он, конечно, и сам давно додумался до этой нехитрой мысли, иллюстрации которой он видел на каждом шагу.

Классовая борьба, которая кипела вокруг него, давно открыла Никколо основную причину социальных противоположностей. Если бы ему была известна современная терминология и если бы он излагал эти вопросы в привычной для нас системе, мы бы нашли в его сочинениях много хорошо знакомых социологических инструкций.

Прежде всего Макиавелли отлично знает, что самый могущественный стимул людских действий — интерес. В главе XIX "Principe" говорится: "До тех пор, пока у народа (*universalità degli uomini*) не отнимают ни имущества (*roba*), ни чести, он спокоен". Почти буквально повторяется эта мысль в "Discorsi", в главе о заговорах (III, 6): "Имущество и честь — две вещи, отнятие которых задевает людей больше, чем всякая другая обида". В обоих этих афоризмах "интерес" не отделяется от "чести", причем честь имеется в виду специальная. "Государя, — читаем мы в той же главе "Principe", — делают ненавистным больше всего, как я указывал, покушения на имущества и на женщин его подданных и насильственное их присвоение". А в главе об аграрных законах в Риме ("Discorsi", I, 37) говорится резко: "Из этого еще раз можно убедиться, насколько люди больше ценят имущество, чем почести". Честь и почести (*opone* и *opogi*), конечно, не одно и то же, но имущество в этой сентенции стоит уже определенно на первом месте. Та же мысль — в "Principe", 17: "Больше всего (государю) не следует покушаться на имущество других, ибо люди скорее забудут смерть отца, чем лишение имущества". Впервые, по-видимому, такая формула пришла в голову Макиавелли как практический аргумент в минуту, очень для него тяжелую: в 1512 году, когда падение Содерини уже совершилось, но он не был еще лишен своей должности, Никколо обратился к кардиналу Медичи, будущему Льву X, с письмом, в котором он пытался остудить реставрационный пыл новых хозяев Флоренции. Там говорится: "Уже назначены чиновники, которые должны разыскивать и возвращать имения Медичи. Эти имения находятся сейчас в руках людей, которые их приобрели и законным образом ими владеют. Отобрание их породит непримиримую ненависть, ибо люди больше сокрушаются о потере поместья, чем о смерти брата или отца"\*.

В трактатах эта формула воспроизводится в распространенном виде: не поместье только, а имущество вообще людям дороже всего на свете. Действия людей управляются интересом.

Из этого основного положения нетрудно было — жизнь подсказывала — вывести другое. Если имущество людям дороже

\* См. Villari, II, 185.

всего, то те, у кого его нет, естественно, стараются им обзавестись, а те, у кого оно есть, стараются его сохранить. Так как эти стремления непримиримы и так как стимулы их неустранимы, то неминуема борьба. "Масса (la moltitudine) скорее готова захватить чужое, чем беречь свое, и людьми больше двигает надежда на приобретение, чем страх потери, ибо потеря, если только она не близка, не верят, а на приобретение, хотя бы оно было далеко, надеются"\*.

"Людьми недостаточно вернуть свое: они хотят захватить чужое и отомстить\*\*.

Борьба, которая вспыхивает, естественно получает характер борьбы классов. Волнения, в которые она выливается, "чаще всего бывают вызваны имущими (chi possiede), ибо страх потери рождает в них те же побуждения, которыми полны стремящиеся к приобретению. Ведь людям кажется, что обладание тем, что у них есть, не обеспечено, если они не приобретают вновь и вновь. Кроме того, владеющие многим имеют больше возможностей и больше побуждений (moto), чтобы производить перевороты (alterazione). Вдобавок, их неблагоприятные (scorretti) и честолюбивые повадки (portamenti) зажигают в сердцах неимущих (chi non possiede) стремление обзавестись средствами либо для того, чтобы, отняв у богатых их достояние, отомстить им, либо чтобы самим приобрести к богатству и почестям, которыми другие пользовались на их взгляд неправильно"\*\*\*.

Трудно без четких социологических формулировок, время которых еще впереди, яснее выразить мысль, что в основе борьбы классов из-за власти ("почестей"), то есть политической борьбы, лежат мотивы экономические.

Классовые противоположности и классовая борьба, то, что Макиавелли обозначает словом *disunione*, являются душой истории. Ибо "в каждой республике существуют два различных устремления (*umori diversi*): одно — народное, другое — высших классов (*dei grandi*), и все законы, благоприятные свободе, порождены их борьбой (*disunione*), как нетрудно видеть на примере Рима"\*\*\*\*.

Возвращаясь к этой мысли в "Истории Флоренции" (VII, I), Макиавелли утверждает, что ни одна республика не может быть вполне единой внутренне и существовать без общественных группировок (*divisioni*). Эти группировки он считает явлением нормальным и при известных условиях благотворным и придает им огромное значение как историческому фактору. Мысль эта подчеркнута с самого начала, в предисловии к "Истории". Там, критикуя своих предшественников Бруни и Поджо, он говорит: "В описаниях войн... они очень старательны, но раздоры гражданские, внутренняя борьба (*civili discordie e intrinseche inimicizie*) и результаты, ими порожденные, частью

\* "Istor. Fior., IV, 18.

\*\* Там же, III, II.

\*\*\* "Discorsi", I, 5. Начало цитаты выписано Марксом. См. Максимовский, там же. Интересна мысль, что нападающей стороной в классовой борьбе являются не бедные, а богатые.

\*\*\*\* "Discorsi", I, 4. Место выписано Марксом. См. Максимовский, там же.

обойдены молчанием совершенно, частью изложены настолько коротко, что читатели не получают ни пользы, ни удовольствия”.

Вообще, вся “История Флоренции”, в сущности, является иллюстрацией *avant à lettre* к тезису “Коммунистического манифеста”: что история всего предшествующего общества есть история борьбы классов. Недаром Маркс назвал эту книгу “высоко мастерским произведением”\*.

Чтобы было ясно, с какой сокрушительной для своего времени отчетливостью представлял себе Макиавелли эти вещи, мы приведем замечательный отрывок из рассказа о восстании чомпи\*\*.

Он будет немного длинный, но он того стоит.

“Пока происходили эти события, возникло другое волнение, которое нанесло республике ущерб гораздо больший, чем первое. Поджоги и грабежи последних дней большей частью были делом рук городских низов (*infima plebe della città*). Когда главные раздоры утихли и улеглись, самые дерзкие из них стали бояться, что их постигнет кара за проступки, ими совершенные, и что они, как это часто бывает, будут покинуты теми, кто толкал их на злодеяния. К этому еще присоединялась ненависть, которую неимущие (*popolo minuto*) питали к богатым гражданам и законам цехов\*\*\*, ибо они находили, что заработная плата, которую они получают за свои труды, гораздо меньше, чем они по справедливости заслуживают... Те граждане, которые раньше принадлежали к гвельфам\*\*\*\* и из среды которых всегда выходили капитаны этой партии, покровительствовали членам старших цехов, а членов младших и их защитников\*\*\*\*\* преследовали. Вот почему возникли против них те волнения, о которых мы рассказали. При распределении граждан по цехам многие из тех профессий, в которых заняты неимущие и люди из городских низов, не получили собственной цеховой организации и были подчинены различным цехам, к которым эти классы по своим профессиям подходили. Следствием этого являлось, что, когда люди не были удовлетворены заработной платой или подвергались тем или иным притеснениям со стороны хозяев, им некуда было обратиться, кроме как к начальству того цеха, которому они были подвластны. И казалось им, что с его стороны им не оказывается справедливость, на которую они считали себя вправе рассчитывать. Из всех цехов имел и имеет больше всего подвластных цех суконщиков (*Lana*). Это самый могущественный и первый по влиянию между всеми. В его промышленных пред-

---

\* В письме к Энгельсу от 25 сентября 1857 г. Цитировано у Максимовского, там же, с. 332.

\*\* Восстание чомпи 1378 г. — первая в истории попытка рабочего класса захватить политическую власть. См. мое “Начало итальянского возрождения”. Отрывок взят из “Истории Флоренции”, III, 12—13.

\*\*\* Имеются в виду исключительно старшие цехи, широко пользующиеся в своих мануфактурах пролетарским трудом: *Lana*, *Calimala*, *Seta*.

\*\*\*\* Правящая политическая группировка.

\*\*\*\*\* Лидеров мелкой буржуазии: Медячи, Альберти, Дини, Скали и др.



приятнях находили и находят хлеб большая часть неимущих и людей из городских низов.

Таким образом, люди низших классов, подчиненные как цеху суконщиков, так и другим, по указанным причинам были полны недовольства. К этому присоединялся еще страх, порожденный поджогами и грабежами, ими учиненными. Поэтому они неоднократно собирались по ночам, обсуждали недавние происшествия и указывали друг другу на опасность, в какой они находятся. Один из наиболее смелых и бывалых, чтобы ободрить других, сказал следующее: "Если бы нам нужно было обсуждать вопрос, следует ли братья за оружие, жечь и грабить дома граждан, громить церкви\*, я примкнул бы к тем, кто полагал, что об этом нужно очень подумать, и, может быть, согласился бы, что спокойную бедность следует предпочесть опасной наживе. Но так как оружие пущено в ход и много дурного совершено, то, мне кажется, нужно говорить о том, как сделать, чтобы не складывать оружие и не быть в ответе за содеянное. Думаю, что, если никто не сумеет предложить выхода, его укажет нам сама необходимость. Вы видите, что весь город полон против нас злости и ненависти. Граждане сближаются между собой, и Синьория все время заодно с цеховыми властями. Будьте уверены, что нам расставлены ловушки и опасность угрожает нашим головам. Поэтому мы должны думать о двух вещах и поставить себе две цели: одна — это не быть в ответе за то, что мы совершили, другая — получить возможность жить более свободно и более обеспеченно, чем прежде. И нам следует, мне кажется, если мы хотим получить прощение за прежние грехи, натворить новых, удвоить зло, нами сделанное, умножить поджоги и грабежи и постараться во всем этом набрать как можно больше соучастников. Ибо, где грешат многие, никто не подвергается возмездию. Малые проступки влекут за собой наказание, большие — награду. Когда страдают многие, о мести думают единицы, ибо общие невзгоды переносятся с большим терпением, чем отдельные. Если мы умножим причиненное нами зло, мы легче добьемся прощения и найдем средства получить то, что мы хотим иметь для обеспечения нашей свободы. И мне кажется, что мы на пути к верному успеху, ибо те, которые могли бы нам помешать, разъединены и богаты. Их разъединенность даст нам победу, их богатства, когда станут нашими, помогут ее удержать. Не давайте затуманивать себе голову разговорами, которыми они хотят нас унижить, что в их жилах течет древняя кровь. Все люди одного происхождения и, значит, совершенно одинаковой древности, и природа создала их по одному образцу. Разденьте всех догола, и вы увидите, что все похоже друг на друга. Облачите нас в их одежды, а их в наши, разумеется, мы будем иметь вид знатных, а они — худородных. Ибо только бедность и богат-

---

\* В церкви некоторые из богатых людей сносили свое имущество. Когда народ об этом узнал, церкви подверглись разгрому.

ство создают неравенство между нами. Мне очень неприятно чувствовать, что многие из вас в глубине души раскаиваются в том, что они сделали, и не хотят принимать участия в таких же новых деяниях. И если это верно, то я скажу, что вы не те люди, которых я думал в вас найти. Вас не должны смущать ни совесть, ни бесчестие. Потому что победители, каким бы способом они ни победили, никогда не несут позора. И нечего обращать внимания на угрызения совести, ибо там, где приходится, как нам сейчас, бояться голода и тюрьмы, нет и не может быть места страху перед адом. А если вы вникнете в поступки людей, вы увидите, что все, которые достигли больших богатств и большой власти, добились этого либо вероломством, либо насилием и захваченное обманом или силою они, чтобы скрыть недостойные способы приобретения, лживо называют теперь заработанным. Те же, кто по малому разумению или по чрезмерной глупости избегают таких способов, все больше погружаются в порабощение и в нищету. Потому что верные рабы — всегда рабы, а хорошие люди — всегда бедны. От порабощения никогда не освобождается никто, кроме вероломных и дерзких, а от нищеты — никто, кроме воров и мошенников. Бог и природа поместили счастье людей у всех под руками, и оно легче достается грабежу, чем трудовой жизни, легче дурным поступкам, чем хорошим. Из этого вытекает, что люди пожирают друг друга, и маленькому человеку живется все хуже и хуже. Вот почему нужно пускать в ход силу, когда к этому представляется возможность, и никогда судьба не даст нам к этому большей возможности, чем сейчас, когда среди граждан царят раздоры, когда Синьория колеблется, а власти не знают, что делать. И пока они объединятся и соберутся с духом, ничего не стоит их раздавить. Тогда мы окажемся полными господами города и получим такую долю власти, что не только прежние проступки будут нам отпущены, но мы еще получим право и возможность грозить им новыми бедами. Я признаю, что этот путь — смелый и рискованный. Но там, где давит необходимость, — разумная дерзость есть благоразумие, и в великих делах мужественные люди никогда не считаются с опасностью. А те предприятия, которые начинаются с опасностей, кончаются торжеством, ибо никогда без опасности нельзя покончить с опасностью. Мне кажется к тому же, что в момент, когда готовятся тюрьмы, пытки и казни, страшнее ждать этих вещей, ничего не делая, чем пытаться их избежать. В первом случае беда придет наверняка, во втором — она сомнительна. Сколько раз приходилось мне слышать ваши жалобы на скупость ваших хозяев и на несправедливость цеховых властей. Теперь как раз настал момент не только освободиться от тех и от других, но и стать настолько выше их, что они будут бояться вас больше, чем вы их. Возможность для этого, которую нам предоставляет случай, улетает, и, когда она исчезнет, вы тщетно будете стараться поймать ее снова. Вы видите приготовления ваших противников. Предупредим же их намерения. Кто первый возьмет ору-

жие, несомненно, победит: враг будет сокрушен и торжество ваше будет полное. Многим достанется честь, всем — безопасность”.

Нетрудно видеть, что в этом отрывке воспроизводятся в более зрелой и законченной форме замечания, разбросанные в “Князе” и в “Рассуждениях о Тите Ливии”. И сколько боевых лозунгов, гремевших на всех аренах классовой борьбы вплоть до наших дней, нашли на этих удивительных страницах свое первое выражение!

## VIII

Культура Возрождения — культура итальянской коммуны. Мировоззрение Возрождения — мировоззрение, отвечающее нуждам коммуны. Оно эволюционировало, как эволюционировала коммуна. Оно становилось сложнее и разнообразнее, по мере того как разнообразнее и сложнее становились социальные группировки в коммуне.

Политическая мысль Возрождения — одна из граней его миросозерцания — отражает процесс усложнения социальных группировок в коммунах очень явственно. Коммуна — республика. Господствующая в ней группа — буржуазия, торговая и промышленная. Свобода хозяйственной деятельности — это то, чем буржуазия дорожит больше всего. Если чистая республиканская форма может обеспечить эту свободу, она сохраняется. Если не может, она уступает место тирании или, как гласила терминология, синьории, то есть опирающейся на буржуазные группы единоличной власти. Синьория может придать себе аппарат, привычный для монархии, то есть обзавестись титулом через императора или папу, двором, церемониалом, и может сохранить всю видимость республиканского строя, будучи в действительности властью вполне единоличной, — смотря по тому, насколько тут или там сильны социальные пережитки феодализма. Но одно обще всем синьориям: она обеспечивает буржуазным группам экономическую свободу. Политические идеи XV века, то есть преимущественно идеи гуманистов, не вскрывают истинной картины политических отношений, и если судить по ним, то будет казаться, что республиканская форма стоит так же неизбежно, как в разгар борьбы гвельфов и гибеллинов. Это значит, что буржуазии неугодно было, чтобы подчеркивалась утрата ею политической свободы. Тем не менее даже в политических высказываниях гуманистов можно уловить различные оттенки. Треченто во Флоренции провозглашает резко республиканскую и резко тираноборческую точку зрения. Боккаччо говорит о том, что “нет жертвы более угодной богу, чем кровь тирана”. Салутати пишет целый тираноборческий трактат. В XV веке, особенно после того как во Флоренции установилась синьория Медичи, флорентийские гуманисты смягчают свои тираноборческие высказывания,

но республиканская платформа остается у них незыблемой: первые Медичи очень любили, когда про их правление говорили, что оно республиканское. Поджо противопоставляет флорентийскую "свободу" тирании миланских Висконти и вступает в полемику с феррарским гуманистом Гуарино о сравнительных достоинствах Сципиона и Цезаря. Первого он защищает как последовательного республиканца. Поджо противопоставляет флорентийскую республику. Точка зрения Гуарино обратная. Он живет в Ферраре, а синьория д'Эсте одна из самых откровенных. Такие уклончивые, скользкие отражения политического бытия сделались невозможны, после того как во Флоренции отгремели классовые бои савонароловского четырехлетия и со всей определенностью обозначались классовые группировки сначала пожизненного гонфалоньерата, потом медичейской реставрации. Теперь политическая доктрина, которая берется оценивать положение, должна отличаться четкостью классовой точки зрения — это главное требование, к ней предъявляемое. Поэтому все, кто выдвигает ту или иную политическую доктрину, считают себя обязанными не скрывать своей классовой точки зрения; и Гвиччардини, и Веттори, и Джанотти, и Нерли, и остальные.

Но лишь один Макиавелли сумел придать своим высказываниям такую глубину, при всей их яркой злободневности и классовой определенности, что его теория не только сделалась политической доктриной Возрождения, но и положила начало политике как научной дисциплине.

Основные линии его теории даны в "Discorsi" и в "Principe", к которым примыкает "Arte delle guerra", а злободневные ее моменты со всей силой непосредственности вырисовываются в письмах к Веттори и в "Рассуждении о конституционной реформе во Флоренции".

Интересы буржуазии требуют, чтобы в городе, как Флоренция, благосостояние которого выросло на торговле и промышленности, была республика, а не монархия. Монархия (наследственная) — вообще форма "жалкая" (*trista*; "Discorsi", III, 8), и о ней Макиавелли не любит говорить. Но совершенно недостаточно сказать, что республика лучше монархии, ибо самое важное — организация республиканского управления, то есть в конечном счете распределение государственной власти между социальными группами. Нет необходимости излагать то, что у Макиавелли говорится о свободе и равенстве: это хорошо известно\*. Также хорошо известно, какие усилия должен был делать Макиавелли, чтобы обосновать и оправдать республиканскую точку зрения в "Истории Флоренции", посвященной Клименту VII Медичи. Гораздо важнее то, как он себе представляет социальную базу республики в таком городе, как Флоренция. Мы видели, как

---

\* На русском языке кроме общих курсов по истории политических учений можно указать хорошее изложение теории Макиавелли в статье В. Максимовского "Идея диктатуры у Макиавелли" ("Историк-марксист", т. 13, 1929).

он боится дворянства, то есть феодальных классов, и как мало у него симпатии к народным массам. В республике, которая хочет благоденствовать, дворянство нужно искоренять, а массы взять в руки. Сделать это должна буржуазия, не тронутая феодализирующими процессами, во Флоренции, следовательно, не рантьерская часть буржуазии, а торгово-промышленный класс. Он — настоящий хозяин политической сцены, ибо его активность поддерживает экономическое процветание государства. В записке о реформе конституции Никколо развивает эту точку зрения как программу сегодняшнего дня. Необходимо "открыть вновь залу Совета", то есть восстановить Большой Совет, основной орган савонароловско-содериньевской конституции\*, враждебный рантьерской буржуазии и очень ловко маневрировавший с массами. Так как реставрация Медичи в 1512 году была произведена рантьерскими группами, то откровенная защита интересов других групп перед папой Медичи с самого начала не могла рассчитывать на успех. Записке не было дано ходу, хотя династические интересы Медичи в ней довольно искусно — и не очень искренно — оградялись.

В 1512 году торгово-промышленная буржуазия во Флоренции была вытеснена со своей господствующей позиции и подверглась жесточайшему финансово-экономическому ущемлению. Этого мало. Не только во Флоренции, но и всюду в Италии, за исключением Венеции, феодализирующие процессы надвигались все ближе и давили на буржуазию, а в Венеции буржуазия страдала с каждым годом больше от неблагоприятной международно-хозяйственной конъюнктуры. Но и этого мало. Италию теснили враги, чужеземцы, отсталые экономически и поддержавшие в Италии феодальные и легко поддающиеся феодализации группы. Они сидели очень крепко на юге и почти не покидали севера.

Неаполь после Гарильяно (1503)\*\* даже перестал быть ареной военных действий. Там уже хозяйничал испанский вице-король. Тем беспощаднее бушевала военная непогода на севере. После Камбрейской Лиги и Аньяделло (1509) война там не прекращалась надолго, до самого Сакко 1527 года. Менялись лишь ее плацдармы и участники. Французы, испанцы, швейцарцы, немецкие ландскнехты — все побывали там, и мелкие династии не знали, чей сапог им целовать. Последовательно, кусок за куском разорялась итальянская земля. Чем дальше, тем становилось хуже. Создавалась угроза самостоятельному политическому бытию Италии, а с ней хозяйственной самостоятельности и политической свободе торгово-промышленной буржуазии. Феодальные и наполовину феодализованные группы севера и юга приветствовали чужеземное завоевание, то есть изменяли Италии. Только

---

\* См. Ореге (1819), т. VI, с. 75.

\*\* О войнах между французами и испанцами из-за Италии на итальянской почве и о Камбрейской Лиге, организованной папой Юлием II против Венеции, см. ниже в тексте "Князя" и особенно в комментариях к нему.

буржуазные, притом исключительно торгово-промышленные, группы, подчиняясь своей внутренней хозяйственной и классовой логике, не могли принять завоевание и изменить родине. Спасение родины совпадало с классовыми интересами буржуазии, то есть с классовой позицией Макиавелли.

Италия не могла обороняться. Почему? Этот вопрос задал себе Никколо. Мы знаем его ответ: во-первых, потому, что в Италии нет политического единства, а во-вторых, потому, что в Италии нет своей, не наемной, национальной армии. Что же было делать? Ответ опять-таки был беспощадно ясен: создать единство и создать армию. Для этого нужно было указать практические способы. Думая над ними, Макиавелли положил основание политической науке, подобно тому как Колумб, отыскивая пути в Индию, нашел Америку.

Поездки во Францию и в Германию вместе с опытом, полученным за время осады Пизы, проверенные на классиках и на истории итальянской коммуны в средние века, дали Макиавелли отправные точки зрения. Их он изложил раньше всего в виде беглых набросков в двух коротеньких очерках о Франции и Германии. В дальнейших думах и в больших трудах эти точки зрения созревали все больше и больше и сообщали его доктрине ее основные линии.

Собственная, не наемная, а национальная армия. Это заветная мысль Никколо. С первых своих шагов в должности секретаря Десяти, когда он стал присматриваться к операциям по осаде Пизы, он пришел к заключению, что наемные войска никуда не годятся, и начал энергичную агитацию за создание милиции. По его настоянию Содерини провел соответствующий закон, была назначена так называемая Ordinanza, душой которой сделался он сам; он стал набирать солдат. В организации милиции было допущено много промахов, но Макиавелли смотрел на них как на "детские болезни", и его не разочаровывали даже такие факты, как падение Прато (1512), гарнизон которого — цвет его милиции — позорно разбежался при первом натиске испанцев. В "Discorsi", в книге III, несколько глав посвящено военным вопросам. Целиком трактует о них большой диалог "Военное искусство", "Arte della guerra". В "Истории Флоренции", начиная с IV книги, все описания походов превращаются в сплошную филиппику против наемных войск, и Никколо не щадит красок, чтобы представить — иной раз сознательно преувеличивая — в смешном виде битвы кондотьерских отрядов. Огромное большинство анекдотов, характеризующих стратегию и тактику кондотьеров, идут от "Discorsi" и "Истории Флоренции". Никколо был уверен, что, если довести до конца дело реорганизации армии в Италии, изгнание "варваров" станет легким делом: слишком убедительны были доказательства, которые приносили в Италию французские, швейцарские и испанские войска, организованные именно так, как проповедовал в "Военном искусстве", слегка стилизуя по римским образцам современный опыт,

кондотьер Фабрицио Колонна, выразивший собственную точку зрения Макиавелли.

Но армия должна быть в надлежащих руках. Каких? После собирательной деятельности Юлия II Папская область усилилась настолько, что ни одна комбинация итальянских государств не могла ее игнорировать. И осуществить более или менее прочное единение Италии в борьбе с папой было теперь вещь совершенно невозможной. Никколо отлично помнил, что Папская область всегда была элементом разъединения и слабости Италии, и, чем она становилась сильнее, тем такое ее значение возрастало. Он прекрасно доказал это в "Discorsi"\* . Но было одно обстоятельство, в сущности совершенно случайное, которое давало надежду в данный момент воспользоваться именно тем, что всегда было элементом слабости Италии, и попытаться сделать это элементом силы. Начиная с 1513 года и до самой смерти Николло на папском престоле сидели сначала Лев X, а после годичного промежутка Климент VII, оба Медичи, то есть государи Флоренции. Папская область и Флоренция оказывались уже объединенными. Формально это была, конечно, личная уния, но фактически — и реальная. Задача, казалось, значительно облегчается. Как же нужно было вести объединение дальше? Для Макиавелли был ясен ответ и на этот вопрос: так как Цезарь Борджа в 1502 году, не думая ни о чем, не останавливаясь ни перед чем, объявляя, если нужно, преступление подвигом и вероломство добродетелью, веря, что все будут приветствовать как "belissimo inganno"\*\*, маневры даже худшие, чем ловушка в Синигалии. В "Discorsi" по этому поводу говорится (III, 41): "Когда речь идет о спасении родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно (pietoso) и что жестоко, что похвально и что позорно. Нужно забыть обо всем и действовать лишь так, чтобы было спасено ее существование и осталась неприкосновенна ее свобода". В "Principe" этот афоризм развернут на несколько глав, одни заглавия которых кричат о том, что Макиавелли "забыл обо всем" и помнит лишь о родине, которой грозит катастрофа. Критика именно этих глав "Principe" чаще всего превращалась в вой иступленных проклятий. Из старых мыслителей Гегель был в числе немногих, кто понял диалектическую закономерность тех способов борьбы за итальянское единство, которое

\*I, 12: "Никакая страна никогда не может быть единой и счастливой, если она не составляет единую республику или не повинует одному государю, как Франция или Испания, и причиной того, что Италия находится в ином положении, что она и не единая республика, и не управляется единым государем, — исключительно церковь. Ибо, получив светскую власть и обладая ею, она не сделалась настолько мощной и не обнаружила таких достоинств, чтобы оказаться в силах овладеть остальной Италией и господствовать над ней. А с другой стороны, она не сделалась настолько слабой, чтобы, когда перед нею вставала опасность потерять светскую власть, она не смогла призвать могущественного покровителя для защиты против того, кто в Италии сделался чересчур сильным".

\*\* "Прекраснейший обман" — слова Паоло Джовио.

рекомендовал Макиавелли. "Эту книгу ("Il Principe"), — говорит он, — часто отбрасывали с ужасом за то, что она полна максимами самой свирепой тирании. Но в высшем смысле необходимости государственных образований Макиавелли установил принципы, согласно которым должны были в условиях того времени создаваться государства\*\*.

Когда писался "Principe", для Макиавелли в анализе политики Цезаря Борджа был очень важен один момент. Цезарь был сыном папы: курия финансировала его завоевания и благословляла его аннексии. При Льве X и Клименте VII дело национального и политического обновления могло получить финансовую базу еще более солидную: соединенные средства курии и Флоренции. Поэтому "Principe", книга, где и теория принципата, и руководящие указания для "principe nuovo", спасителя Италии, и страстный призыв к изгнанию "варваров", должна была быть посвящена Джулиано Медичи, меньшому брату папы Льва, а когда он умер, была перепосвящена Лоренцо Младшему, племяннику Льва и Климента. Обойти Медичи было невозможно, и выбирать нужно было из таких Медичи, которые — выбор был небогат — были ближе к папам. Не Макиавелли был виноват, что перед ним оказались только эти два бездарных отпрыска славного дома, что именно в них ему нужно было вдохнуть свою virtù и их двинуть на политический и патриотический подвиг. Но хотя их имена связались не только с посвящением "Князя", а еще и с аллегориями Микеланджело в капелле Медичи, дело Италии от этого не выиграло. Лоренцо тоже вскоре умер, а когда в 1526 году понадобилось без всякой риторики обнажить меч и вести войска итальянские на врага, от старшей линии Медичи оставались только два малолетних бастарда. Макиавелли и тогда не бросил своей мысли. Он нашел еще одного Медичи, правда из младшей линии, но на этот раз зато такого, какой был нужен: "человека великих решений", pigliatore di gran partiti\*\* — Джованни, кондотьера, начальника "черного отряда". Но папа Медичи испугался кондотьера Медичи, и жезла командования Джованни не получил. А он был способен и бить врагов, не думая ни о чем, и забрать неограниченную власть для осуществления миссии единства, если бы папа не боялся оказать ему поддержку. Но Климент вовсе не хотел оказаться в положении Александра VI, которого Цезарь, родной сын, совершенно подчинил своей воле. Джованни был вылеплен из совершенно такого же теста. Как было вручить ему неограниченную власть?

Между тем для Макиавелли именно в неограниченной власти и было все дело. Создать новое государство, не располагая неограниченной властью, было невозможно. Почему?

Много раз было замечено, что Макиавелли в своих теоретических построениях и в их применении к жизни никогда не

\*\* "Philosophie der Geschichte", 505; IV, 2, 3 (Reclam).

\*\* Lett. fam., 204, к Гвиччардини. См. ниже.



останавливается на полдороге, как бы суровы ни оказались те выгоды, к которым приводит его логика. Он идет до конца, сокрушая все, как бы подхватывая доносившийся с севера боевой клич: "Напролом!", "Pergumpendum est!" — лозунг Ульриха фон-Гуттена.

Гуттен, младший брат по литературным борениям, во многом похож на Никколо. Но была между ними и очень большая разница. Гуттен был рыцарь и бросался вперед очертя голову, едва завидев врага. Политик он был плохой, потому что с рыцарской идеологией трудно было делать политику в момент распада феодального общества. Макиавелли феодальный строй ненавидел, рыцарскую идеологию презирал, был политиком до мозга костей и ковал доктрину по требованиям века. В основе его политической теории лежали идеи, о которых Гуттен не подозревал: представления о классовых группировках и о классовой борьбе. И он знал то, чего не знал Гуттен: что классовая борьба — борьба более ожесточенная, чем та, которая ведется сомкнутым строем в открытом поле или вокруг укрепленных стен. Ибо эта борьба не знает мира. Поэтому лозунги Макиавелли по существу еще более беспощадны и суровы, чем гуттеновское "Pergumpendum est". Поэтому ему не страшны никакие выводы, хотя бы они тонули в потоках крови. Непримиимость проводится у него до конца.

Чтобы не была отнята только что завоеванная свобода, необходимо, чтобы были "убиты сыновья Брута". Другими словами, если люди самые близкие, самые дорогие властям нового порядка, самые даровитые во всех отношениях и самые нужные угрожают свободе, они должны быть убиты. "Пьеро Содерини думал, что с помощью терпения и доброты ему удастся преодолеть стремление сыновей Брута вернуться под власть другого правительства, и ошибся"\*. Ибо, кто создает тиранию и "не убивает Брута" и кто создает свободное государство и "не убивает сыновей Брута", продержится недолго. Если свободное государство создается на феодальной почве, необходимо истребить дворянство поголовно\*\*. И вся свободная от моральных сдержек, безоглядная и твердая линия поведения, которая рекомендуется "новому государю"\*\*\*, в основе своей таит ту же предпосылку: сохранение государства.

Но если спасти родину от варваров должен государь с неограниченной властью, то как совместить с этим республиканские гимны, которыми полны "Discorsi"? На этом вопросе изощрали свое бессильное злорадство целые поколения лицемеров в разных рясах и в разных ливреях. Но противоречие между республикан-

\* "Discorsi", III, 3.

\*\* Там же, I, 55: "non la puo fare, se prima non li spegna tutti" ("нельзя этого сделать, если предварительно не истребить их всех").

\*\*\* "Principe", 18: "Новый государь не может придерживаться такого образа действий, который людям создает добрую славу, ибо для сохранения государства часто бывает необходимо действовать не так, как повелевают верность, милосердие, человечность, религия".

скими идеями "Discorsi" и программой "Principe" призрачное. Нечего говорить, что его не существует в исходной точке зрения Макиавелли, между его флорентийским республиканизмом, республиканизмом его более тесной родины и сознанием невозможности сильной республиканской власти в Италии, в его более широкой родине. Но противоречия нет и в построении. Власть "principe nuovo" — чрезвычайная и по существу временная. Макиавелли, конечно, не думал, что реальный "новый государь" сложит свои полномочия по истечении срока или окончив задачу, на него возложенную, как диктатор в древнем мире. Кругом себя он не видел Цинциннатов в сколько-нибудь утешительном количестве и легко представлял себе, что бы стало с тем, кто предложил бы такую вещь, например, его великолепному знакомцу, Цезарю Борджа. У Макиавелли идея чрезвычайности и временности власти "нового государя" осуществляется в том, что он после смерти не передает своих полномочий никому\*. Его диктатура — пожизненная. Основывается государство властью единоличной и неограниченной. Лишь в процессе организации выступает коллектив, и устанавливается республиканское управление. Так бывает и в спокойное время. А в момент, переживаемый Италией, в момент, когда она вступила в последний смертный бой за свое политическое бытие, коллективный образ действий при создании нового государства совершенно исключен. Создавать единство страны и в объединенной стране новую власть может только лицо единичное, "principe nuovo". Если он справится, после него народ может и в единой Италии заняться организацией свободного государства.

Великолепное видение, приводящее на память хорошо известную картину из героического эпоса. Лежит на земле богатырь, разрубленный злыми врагами на куски. Подходит волшебник с живой и мертвой водою. Поливает тело мертвой водою — оно срастается, поливает живой — богатырь поднимается, встряхнувшись, готовый на новые подвиги. То, что вставало в воображении Макиавелли, было той же картиной, но в политической стилизации. Прекрасное тело Италии разрублено на куски. Но к нему спешит он, новый Мерлин, с двумя кувшинами волшебной воды. Поливает сначала мертвой водою принципата — тело срастается. Италия становится едина. Поливает из другого кувшина живой водою свободы, и в ней загорается новая жизнь.

В других образах, но та же картина рождения из хаоса новой, единой, великой Италии была откровенной мечтою и носилась перед глазами Данте, Колы ди Риенцо, Петрарки. Планы Макиавелли остались такой же мечтой, хотя они были теоретически продуманы гораздо лучше и практически казались осуществимыми. Макиавелли вполне верил, когда бросал к ногам "нового государя" осанну итальянской свободе и итальянскому единству\*\*, что

\* "Discorsi", I, 6; "Discorso sopra il riformar..." etc.

\*\* "Principe", глава 26: "Мне трудно выразить, с какой любовью будет он (новый государь) принят во всех областях, которые натерпелись мук от этих

его рассуждения безошибочны и его страстный призыв неотразим. Он ошибался, и мы увидим почему. Но то, во что он верил, то, что он делал, чтобы претворить свою веру в жизнь, то, что он перестрадал из-за этого, поставило его в ряду пророков единства на одно из первых мест. Люди Risorgimento\*, настоящие кузнецы объединения, сколачивавшие из кусков тело единой и свободной родины, этого ему не забыли. И помнит, и будет помнить новая Италия. Это она поет у Джозуэ Кардуччи: "Я — Италия, великая и единая. И воспитал меня Никколо Макиавелли".

...Io sono  
Italia grande e una...  
E m'ha educata  
Niccolò Machiavelli...

Почему же в XVI веке не удалось то, что удалось в XIX?

## IX

В феврале 1525 года под Павией французы были разбиты войсками Карла V и король Франциск попал в плен. Перед Италией встала грозная перспектива, что север и юг ее окажутся в руках Испании. Стало ясно, что если такое положение удержится и будет санкционировано мирным договором, то все итальянские государства сделаются вассалами Карла. Было бы уже легче, если бы в Миланском герцогстве утвердились французы: оставалась бы надежда, что северные и южные "варвары" перегрызут друг другу горло. Но сейчас, после Павии, нужно было много усилий, чтобы побудить французов к действиям. Венеция, Флоренция, папа, особенно папа, были охвачены глужей тревогой. Все понимали, что нужно сделать все, чтобы не дать сомкнуться на горле Италии железным клещам. Но все колебались, и папа больше всех. Ибо именно теперь, когда спасение было в величайшей решительности, Климент не находил его в себе и, слушая советников, склонялся то к одному, то к другому мнению. Даже венецианские политики, всегда мудрые, как змий, мудрили чересчур и не действовали.

Только два человека оказались на высоте: Гвиччардини и Макиавелли.

Гвиччардини был в это время "президентом", то есть генерал-губернатором, Романьи и деятельно занимался водворением

---

чужеземных наводнений, с какой жадной мести, с какой упорной верой, с каким благоговением, с какими слезами! Какие двери закроются перед ним? Какой народ откажет ему в повиновении? Какая зависть ему воспротивится? Какой итальянец откажет ему в почитании? Всем смердит это варварское господство".

\*Risorgimento — политическое возрождение. Так принято называть эпоху активной борьбы против чужеземных династий, владевших на юге Неаполем, а на севере Ломбардией, Венецией и герцогствами, от первых вспышек карбонарства в 20-х гг. до объединения в 1870 г.

порядка в этой дикой папской провинции. Макиавелли, как всегда без денег, после долгой переписки с римскими приятелями, решил ехать к папе, чтобы добиться увеличения гонорара за "Историю", которую он только что кончил. Это было в мае 1525 года. Но, получив аудиенцию, Никколо, находившийся, как и все, под впечатлением маневров испанских войск, стал говорить папе, кардиналам и вообще влиятельным лицам в курии о необходимости принять меры защиты. И выдвинул два проекта: один об укреплении Флоренции, другой о создании милиции в Тоскане и Папской области. Его доводы были так убедительны, что папа отправил его со специальным бревом к Гвиччардини, чтобы узнать его мнение о возможности набора солдат в Романье. Гвиччардини в принципе очень одобрял идею Макиавелли, но находил ее неприменимой именно в Романье, где это представлялось ему опасным по разным причинам. Кроме того, он боялся, что для тех непосредственных целей, какие имел в виду Макиавелли, нельзя было успеть вооружить и обучить милицию. Никколо не настаивал. Кандидата в "principe nuovo" он в этот момент не видел, а оба его проекта в его глазах полный свой смысл получили бы лишь в том случае, если бы их осуществление было поручено именно "новому государю". Он уехал во Флоренцию и занялся другими делами.

Гвиччардини, для которого, наоборот, была важна не программа, а возможность использовать благоприятную ситуацию, продолжал действовать на папу и его советников, добиваясь разрыва с Испанией. Все складывалось счастливо для проектируемого им союза между Римом, Венецией, Флоренцией, швейцарцами, Францией и Англией. Папа постепенно давал себя убедить. С самого начала 1526 года Гвиччардини перебрался из Болоньи в Рим и фактически сосредоточил в своих руках все сложные переговоры о новой лиге. Когда 26 мая договор о лиге был подписан в Коньяке, во Франции, Климент назначил его своим наместником во всей Церковной области и при войске (luogotenente)\*. А 18 мая во Флоренции были назначены пять прокуроров по укреплениям, которые избрали канцлером и провектором своей коллегии Макиавелли. Это был поворотный момент в его жизни.

"Principe nuovo" по-прежнему не было видно, но опасность для Италии возрастала с каждым днем. Нужно было драться, не думая о программе, так, как когда-то Никколо писал в "Discorsi": забыв обо всем и думая только о спасении родины и ее свободы. Макиавелли не раздумывал. Политическая установка, вытекавшая из факта образования Коньякской Лиги, была его собственной установкой. К ней примкнул Гвиччардини, крупнейший иде-

---

\* Булла подписана 6 июня. Деятельность Гвиччардини в период подготовки и действия Коньякской Лиги очень хорошо освещена в книге А. Otetea, Guichardin, sa vie publique et sa pensée politique (1926), с. 137 и след. Текст буллы напечатан там же, с. 3335.

олог рантьерской группы, потянувший за собой папу. Лига была направлена против Испании, то есть той политической силы, которая — мы знаем — особенно энергично насаждала в Италии феодальную реакцию и была особенно опасна для торгово-промышленных групп. Лига, следовательно, знаменовала собой разрыв — он, правда, оказался временным — между Медичи и рантьерскими группами, с одной стороны, и силами феодальной реакции — с другой. Гвиччардини сделался главным агентом этой политики. Никколо бросился в нее беззаветно, со всей силой своего темперамента. Начался самый кипучий период деятельности обоих друзей. Правда, положение их было разное. Гвиччардини представлял собой папу, Макиавелли имел должность сравнительно скромную. Но настоящая *virtù* — деятельный энтузиазм, целеустремленная активность — была именно в нем. В нем словно воскресли лучшие представители римской доблести, Камиллы, Цинциннаты, Сципионы, герои его "Discorsi". И то, что в чрезмерно рассудительном папском наместнике загорались иной раз столь несвойственные ему искры подъема и воодушевления, объясняется, быть может, тем, что Никколо заражал друга сжигавшим его самого внутренним пламенем: они ведь находились в постоянных сношениях, то письменных, то личных \*. Для Никколо пришла пора вспомнить и о том, что он говорил когда-то в "Discorsi" (I, 26, 27): "Кто не хочет вступить на путь добра, должен пойти по пути зла. Но люди идут по каким-то средним дорожкам, самым вредным, потому что не умеют быть ни совсем хорошими, ни совсем дурными..." "Люди не умеют быть по-честному дурными или вполне (*perfettamente*) хорошими, и, так как в дурном есть доля величия и в какой-то мере оно благородно, они не умеют отдаться дурному". Эти смелые слова показывают, что, даже спокойно сидя в деревне, Макиавелли ставил общественные критерии выше личных, чуял боевую атмосферу и понимал законы борьбы. Когда речь идет о чем-то очень важном, прежде всего когда речь идет о родине, нужно иметь мужество пользоваться такими средствами, которые обыкновенно считаются дурными, если невозможно добиться цели путями, которые обыкновенно одобряются. И не ползти жалким ужом по безопасным средним тропинкам, на которых легче всего погубить великое дело. "Не бойся греха, если в грехе спасение" — таков смысл афоризмов Макиавелли. И недаром он сошелся в этом с другим борцом, суровым и непреклонным, который заклеил навеки людей средних тропинок, неспособных к добру,

---

\* Гвиччардини с легкой руки Эдгара Кине ("Révolutions de l'Italie" II, 146 sq.), смеявшего его с грязью, и Франческо Де Санктиса ("Nouvi Saggi", 201 sq.; "Storia della letter. ital." II 88 sq.), нарисовавшего такой яркий и такой отталкивающий его образ, пользуется в общем малыми симпатиями у историков вплоть до Томмазини. При оценке его деятельности в войне 1526—1527 гг. отрицательный взгляд на него особенно несправедлив, и поправки к нему А. Otetea (указ. соч., с. 212) заслуживают поэтому полного внимания.

бегущих зла, недостойных ни рая, ни ада: ведь это к ним относится приговор Данте Алигьери: "взгляни и пройди" — "guarda e passa"\*.

Теперь, когда Никколо был в центре такого дела, он готов был кинуть вызов всему с большим пылом, чем когда-нибудь, был готов с полной ответственностью идти "путем зла", лишь бы это принесло пользу родине. Но он переживал тяжелые муки, ибо не питал больших надежд на победу и задолго до подписания пакта о Лиге вкрапывал в свои письма к Гвиччардини пророчества о грядущих бедах. Он жил во Флоренции и видел, каково настроение. Люди торопились веселиться, карнавал проходил особенно шумно, и думать о войне не желал никто — это был один из видов оппозиции медичейскому режиму. Помимо прочего все трусили. "Такого страху насмотрелся я в гражданах и так мало в них желания сопротивляться тому, кто готовится проглотить их живьем, что..."\*\* Гвиччардини, который в это время гигантскими усилиями проводил свои планы, возмущали колебания папы. "Когда будет упущен удобный случай начать войну, мы все лучше узнаем, какие бедствия принесет нам мир", — писал он Макиавелли и признавался, что теряет ориентацию\*\*\*. Но не терял ориентацию Никколо. Он знает, что друг его ведет в Риме борьбу за смелые решения и шлет ему полные пригоршни аргументов, прокаленных на огне собственной страсти. Два исхода представлялись ему: или откупиться деньгами, или вооружиться. Первый не годится никуда, "потому что либо я совсем слепой, либо у нас возьмут сперва деньги, потом жизнь"... Что же делать? "Я думаю, что нужно вооружаться без малейшего промедления и не ждать, что решит Франция". В нем все кипит — от мыслей, от темперамента, от нетерпения. "Я скажу вам вещь, которая покажется вам безумной, предложу план, который вы найдете либо рискованным, либо смешным. Но времена таковы, что требуют решений смелых, необычайных, странных". И набрасывает схему действий: поставить Джованни Медичи, самого решительного кондотьера Италии, во главе войска, дать ему столько солдат, сколько нужно, показать врагам и союзникам, что Италия готова бороться. И тогда Испания с Францией подтянут свои хищные когти\*\*\*\*. Перед ним опять — силуэт "rincorre nuovo". Что скажет папа? Гвиччардини и Филиппо Строцци, которому Никколо писал в том же духе, читали его письма Клименту. Папе план показался чересчур смелым. Но два месяца спустя, когда было упущено столько времени и испанцы заняли часть миланской территории, Лига была образована и Джованни Медичи поставлен во главе папской пехоты, на

\* См. остроумные параллели между Макиавелли и Данте у F. Ercole, *La politica di Machiavelli*, 1926, с. 344—351.

\*\* Lett. fam., 200, 15 декабря 1525, к Гвиччардини.

\*\*\* "Ho perduto la bussola". Lett. fam., 201, 25 января 1526 (1525 флор. ст.).

\*\*\*\* Lett. fam., 204, 15 марта 1526. Это письмо Томмазини называет (II, 8, 9) "лебединой песней Макиавелли".

подчиненное место. Как нарочно, все делалось с опозданием и все наполовину.

Макиавелли занялся укреплением Флоренции. С ним был Пьетро Новарра, суровый воин и опытный инженер. Вдвоем они осмотрели все стены, все подступы к городу, и Новарра объявил, что берется сделать из Флоренции самую мощную крепость Италии. План был представлен папе с подробнейшими выкладками, финансовыми и техническими. Тем временем во Флоренцию пришла весть о бунте в войсках императора, и Никколо пишет Гвиччардини письмо, полное вдруг вспыхнувшего, словно ждавшего только повода оптимизма: "Все стали понимать, как легко выбросить из нашей страны этих разбойников (ribaldi). Ради бога, не упускайте случая... Вы знаете, сколько было потеряно возможностей. Не теряйте эту. Не думайте, что все делается само собою, не полагайтесь на фортуны и на время". И дальше торжественно, апокалиптическим тоном, по-латыни: "Освободите от вечной тревоги Италию, истребите этих свирепых зверей, в которых нет ничего человеческого, кроме лица и голоса"\*.

Но Климент продолжал колебаться, а Макиавеллев план укрепления Флоренции объявил чересчур дорогим. Никколо вышел из себя. В один день, 2 июня, он отправил Гвиччардини целых три письма. Видно, что он с величайшим трудом подбирает мягкие слова для почтительных возражений папе и едва сдерживается, чтобы не назвать его так, как он заслуживал: скрягой и глупцом. Все было напрасно, Флоренция осталась без укреплений, ибо денег Климент так и не дал.

Разбитый неудачей, предвидя худшее впереди, Никколо, однако, не падает духом. Отечество в опасности, и он должен отдать ему себя всего без остатка. Дел много. Нужно пробивать упрямство, тупость, самоуверенность, недалковидность тех, у кого власть. Он снова возвращается к мысли об организации милиции. Под Сиеной большой флорентийский наемный отряд был обращен в бегство кучкой дисциплинированного городского ополчения. Никколо пользуется этим случаем как аргументом. Но уже поздно. Враг приближается. Нужно думать, как спасти незащищенную Флоренцию. Ему приходит в голову смелый план. Быстро и вовремя осуществленный, он обещал верную удачу: вторжение в неаполитанскую территорию\*\*, чтобы обезоружить вице-короля вместе с дружественными ему Колонна, беспрестанно угрожавшими тылу союзников. Климент отверг и это предложение, за что и поплатился: кардинал Помпео Колонна, его соперник на конклаве, с помощью испанцев ворвался в Рим; солдаты ограбили Ватикан, а папа едва спасся в замке св. Ангела. Это было небольшой репетицией разгрома следующего года.

\* Lett. fam., 107, 17 мая 1526.

\*\* Письмо к Филиппо Строщи, излагающее этот план, до нас не дошло. См. Tommasini, II, 859.

На фронте дела тоже шли плохо, несмотря на все усилия Гвиччардини. Французская армия не появлялась. Английская диверсия в Испании была отложена. Швейцарские отряды были незначительны. Венецианские войска находились под командой Франческо Мариа делла Ровере, герцога Урбинского, самого безнадёжного и самого трусливого из итальянских кондотьеров. Папскими войсками командовал граф Рангоне, полное ничтожество. С Альфонсо д'Эсте папа, вопреки настояниям Гвиччардини, не сумел сговориться, а его тайная помощь спасла врагов. Когда ландскнехты Фрундсберга, двигаясь на соединение с Бурбоном, запутались в мантуанских болотах без пищи, без артиллерии, без военных припасов и их можно было взять голыми руками, Альфонсо послал им хлеба, снаряжение и часть феррарской артиллерии, лучшей в Европе. А его племянник, маркиз мантуанский Федерико Гонзага, предоставил в распоряжение ландскнехтов необходимые перевозочные средства. Ему хотелось угодить Бурбону, который доводился ему кузеном. Ровере и Рангоне прозвали все, хотя Гвиччардини умолял их атаковать немцев. Джованни Медичи, прямодушный и импульсивный, приходил в ярость. Он таскал за бороды мантуанских сановников, грозился вешать мантуанских придворных, а самого маркиза поносил при всей его челяди так, что тот жаловался папе. В конце концов выведенный из терпения, чувствуя, что кругом зреет измена, Джованни решил разорвать оковы и в декабре 1526 года ударил на Фрундсберга один. Попытка кончилась его гибелью: он был смертельно ранен ядром феррарского фальконета под Говерноло. Макиавелли не раз ездил к Гвиччардини в лагерь союзников и по его поручению ходил уговаривать генералов. Но ничто не могло побороть их трусливого упрямства. Становилось ясно, что проволокки не случайны, а намеренны и скрывают прямое предательство. Герцог Урбинский на эти дела смолоду был мастер.

Макиавелли должен быть и во Флоренции, и на фронте. Он разъезжает непрерывно, забыв годы, забыв болезни — у него камни, — забыв семью. Из лагеря он пишет во Флоренцию, в Рим к Веттори. Из Флоренции к Веттори и в лагерь к Гвиччардини. Слово его все едино. Оно, как звон набатного колокола, несется во все стороны. Бороться до конца и не думать о мире. Сокрушается он только об одном: что генералы не хотят драться и что папа против этого не протестует. Он знает, чего стоит имперская армия. Она хотя и многочисленна, но, "если встретит неразбегающегося неприятеля, не будет в состоянии овладеть даже пачкой". И снова припев, суровый и мужественный. Даже когда имперцы дойдут до Тосканы, "если вы не падете духом, вы можете спастись и, защищая Пизу, Пистойю, Прато и Флоренцию, добьетесь с ними соглашения, хотя и тяжелого, но во всяком случае не смертельного"\*.

\* Lett. fam., 223, 5 апреля 1527, к Веттори.



"Не падай духом!" Папа именно пал духом и окончательно потерял голову. Во Флоренции паника. Генералы Лиги изобрели новую тактику. Они следуют за неприятелем сзади, на почтительном расстоянии. Гвиччардини, оставшись один, не в силах защищать Романью и Тоскану. Макиавелли уже в Форли вместе с Гвиччардини. Бурбон смело идет вперед, зная, что враг далеко в тылу и не опасен. Он остановился на скрещении римской и флорентийской дорог. Макиавелли пишет в Рим, к Веттори, иступленное письмо, чтобы заставить папу выйти из апатии хотя бы в этот последний страшный момент. "Здесь решено, что, если Бурбон двинется, нужно думать исключительно о войне и чтобы ни один волос не помышлял о мире. Если не двинется, думать о мире и бросить всякие мысли о войне". Он хочет определенности, а не виляний, которые погубили дело. "Хотя и надвигается буря, но кораблю нужно плыть, и, решившись на войну, нужно отрезать все разговоры о мире. Необходимо, чтобы союзники шли вперед, не думая ни о чем. Потому что теперь уже нельзя ковылять (*claudicare*), а нужно действовать по-сумасшедшему (*farla all'impazzata*). Ибо отчаяние часто находит лекарство, которого не умеет отыскать свободный выбор". И дальше слова трогательные и мудрые, которых не стоили ни папа, ни бездарные хозяева Флоренции: "Я люблю мессера Франческо Гвиччардини, люблю свою родину больше, чем душу. И говорю вам то, что подсказывает мне опыт моих шестидесяти лет. Я думаю, что никогда не приходилось ломать голову над такой задачей, как сейчас, когда мир необходим, а с войной нельзя развязаться, да к тому же еще имея на руках государя, которого едва-едва может хватить для мира или только для войны"\* . Климента не хватало уже ни на что. Когда Никколо убедился, что ни у папы, ни у генералов не осталось ни искры мужества, он написал Веттори письмо, последнее дошедшее до нас, быть может самое трагическое, потому что оно — сплошной крик отчаяния. "Бога ради, так как соглашение невозможно — если оно действительно невозможно, — оборвите переговоры сейчас же, немедленно и сделайте письмами и доказательствами так, чтобы союзники нам помогли. Ибо если заключенное соглашение — верное для нас спасение, то одни переговоры, не доведенные до успешного конца, — верная гибель. И то, что соглашение необходимо, будет видно, когда оно не будет достигнуто, а если граф Гвидо это отрицает, то это потому, что он просто *sazzo*... Кто живет войною, как эти солдаты, будет дураком, если станет хвалить мир..."\*\*

Все было напрасно, ибо крепкое слово, которое Макиавелли на веки вечные выжег на безмозглом сиятельном лбу графа Гвидо Рангоне, было заслужено не им одним: оно столь же точно характеризовало и герцога Урбинского, и правителя Флоренции

\* Lett. fam., 225, 16 апреля 1527.

\*\* Lett. fam., 227, 18 апреля 1527.

кардинала Пассерини, и больше всех его святейшество папу Климента VII.

Войска Лиги не торопясь шли сзади армии Бурбона, а папа, беззащитный, дрожал от страха, сидя в Ватикане. 7 мая 1527 года тактика Франческо Мариа и графа Рангоне увенчалась блестящим успехом. Рим был взят одним ударом, и начался многодневный, неторопливый его разгром. Полководцам Лиги оставалось любоваться красивым заревом пожара Вечного города. Климент заперся в замке св. Ангела, а Бенвенуто Челлини, ставший главным папским пушкарем, ядрами весело отгонял от стен крепости осмелевших пьяных ландскнехтов. Гвиччардини истощил свои силы убеждения, доказывая всем, что атака на занятых грабежом ландскнехтов обещает верный успех; красноречие его пропало даром. Генералы не двинулись. Флоренция при вести о римской катастрофе восстала и прогнала Медичи еще раз.

Никколо, которого эти события застали на фронте, собрался домой. Делать было больше нечего. Сверхчеловеческое напряжение, в котором он находился столько времени, которое давало ему ощущение полной жизни и морального очищения, кончилось. Крылья были сломаны. Впереди не виделось ничего. Спутники слышали, как всю дорогу тяжело вздыхал он, погруженный в невеселые думы. Во Флоренции вместо признательности за то, что было настоящим героическим подвигом, его ожидал провал его кандидатуры на старое место секретаря Коллегии Десяти. Торгово-промышленные классы злились на него за то, что он поступил на службу к Медичи, и не сумели понять, что, защищая Италию от испанцев, он защищал от феодальной реакции итальянскую, и прежде всего флорентийскую буржуазию. Буржуазия, вернувшаяся к власти и восстановившая республику, отвергла величайшего идеолога. Это было последним ударом. Смерть пришла как извращение очень скоро.

Прошло три года, и сбылось все, что предвидел Макиавелли. Флорентийцам, которые не хотели драться в союзе с папой и Венецией против императора, пришлось драться одним против папы и императора. В 1527 году победа над Испанией могла быть сигналом к реформе в духе "Discorsi sopra il riformar lo Stato" и открыть для флорентийской буржуазии возможность хозяйственного подъема. В 1530 году поражение республики привело к усилению медичейского деспотизма, подчинило Флоренцию сначала разнузданному господству мулата Алессандро, потом методической тирании Козимо, великого герцога, сына Джованни, убитого в 1526 году. И Козимо, друг и союзник испанцев, активный насадитель феодальной реакции, действовал так, как говорится у Макиавелли в "Discorsi": он выбирал из представителей прежней буржуазии "людей честолюбивых и беспokoйных", давал им поместья, сажал на землю, заставлял переключать капиталы из промышленности и торговли в сельское хозяйство. Ибо ему нужен был между ним и народом класс, при помощи которого он мог осуществлять свое господство: в точности так,

как представлял себе дело Макиавелли в "Discorsi sopra il riformar lo Stato"\*.

Флорентийская буржуазия, как предсказывал Макиавелли, пала под ударами феодальной реакции, потому что итальянские государства, и сама Флоренция в том числе, в 1527 году не хотели "действовать по-сумасшедшему", чтобы изгнать "варваров" из Италии.

В 1530 году усилия Микеланджело, продолжавшего работу над укреплением Флоренции, там, где тупая скаредность Климента вырвала ее из рук Макиавелли, и героизм Франческо Ферручи, взявшегося за создание милиции согласно указаниям Макиавелли, опоздали ровно на три года.

## Х

Если сопоставить огненные афоризмы, "Principe", "Discorsi" и писем с тем, как Макиавелли действовал в год войны, он сразу предстанет перед нами другим человеком.

Он бросился в водоворот событий, связанных с войной, можно сказать, прямо с карнавала, едва успев сбросить с себя маскарадную мишуру и наскоро ликвидировав какие-то темные дрязги, о которых флорентийские сплетники писали в Модену Филиппо Нерли, бывшему там губернатором\*\*. Он сразу забыл обо всем: и о Барбере, и о планах постановки своих комедий в одном из городов Романьи. Он весь отдался делу, которое было — это вдруг стало для него ясно — делом всей его жизни. В нем он искал своего катарсиса, как герои греческих трагедий. С той только разницей, что трагедия была не вымышленная, а самая настоящая. Карающий рок в виде армии Бурбона с гулом и грохотом приближался к Флоренции и Риму более страшный, чем все Зевсовы перуны. Когда Никколо ознакомился с актерами этой творимой трагедии, с папой Климентом, с герцогом Франческо Мариа, с графом Рангоне, со всей папской челядью в красных и лиловых рясах, он увидел, что положиться можно только на двух людей: на Джованни Медичи и на Франческо Гвиччардини. А когда погиб начальник "черного отряда", он понял, что один Гвиччардини не может спасти положения. Если бы Макиавелли был прежним Никколо, он бы вернулся к Донато, к Барбере, к карнавалу, к хозяину остерии в Перкуссине, к замызган-

---

\* См. Ореге (1819), т. VI, с. 70: "Во Флоренции для установления единоличной власти... было бы необходимо создать значительное количество дворян (assai nobili) с замками и поместьями, которые могли бы вместе с государем силой оружия и с помощью своего сторонничества (aderenze loro) держать в подчинении город и всю территорию. Ибо государь один, лишенный поддержки дворянства, не в состоянии нести тяжесть управления монархией: необходимо, чтобы между ним и народом (l'universale) был промежуточный слой, который помогал бы ему над ним господствовать".

\*\* Письмо Нерли напечатано Villari, III, 430.

ным лесным и полевым нимфам Альбергаччо — куда угодно. Но Макиавелли был уже другой. Под угрозой была родина, и он не мог, не мог физически отстраниться от борьбы за нее, хотя знал, что она безнадежна. И кричал, что нужно действовать "по-сумасшедшему", и сам действовал по-сумасшедшему, убивая себя в бесплодных рывках и бесполозетных переговорах.

В истории редко можно встретить такую полную гармонию между словом и делом, какую являл в этот год Никколо. Он стал олицетворением *virtù* и навсегда остался для Италии — и не для одной Италии — учителем энергии, неумирающим примером того, как нужно и как можно действовать "по-сумасшедшему" в трагические моменты кризисов в государстве и у народа. Ибо у всякого народа и во всяком государстве бывают кризисы, когда только сумасшедшая энергия становится настоящим делом.

Энергия Макиавелли Италию не спасла. И не пришлось ему вложить в руки "*principio nuovo*" победный меч, повергающий в прах врагов итальянского единства. Теперь все кандидаты в *principi* были в лагере врагов единства, и само единство ушло в область несбыточной надолго мечты. Почему?

Потому ли только, что Климент был нерасчетливо скуп и по-глупому труслив, потому ли, что ему не хватало ни ума, ни энергии, чтобы справиться с положением? Потому ли только, что герцог Урбинский и Гвидо Рангоне почти явно изменяли, а во Флоренции кардинал Пассерини путался и не знал, что делать? Или были другие причины, более глубокие, которых ни Макиавелли, ни Гвиччардини, едва ли не самые острые умы во всей Италии, не видели?

Конечно, будь на месте Климента VII Юлий II, будь во главе венецианских войск не герцог Урбинский, а Бартоломео Альвини, будь во главе папской армии не Рангоне, а Джованни Медичи, Рим, быть может, не был бы взят. Но общего хода событий изменить было нельзя. Италия была обречена. Ее самостоятельное политическое бытие должно было надолго кончиться. Разница могла быть лишь в том, что в Милане сидели бы не испанские губернаторы, а французские. И причины этой неизбежной обреченности для Макиавелли и Гвиччардини были ясны лишь отчасти.

Макиавелли правильно указывал, что нужно для спасения Италии от "варваров". Единство и национальная армия. Единая Италия со своей армией, не зависящей от интересов отдельных тиранов, всяких д'Эсте, Гонзага, делла Ровере, подчиненной единой воле *principi*, была бы способна бороться с любой страной Европы как равная с равной. Ни то ни другое не оказалось возможно.

Во-первых, милиция. Когда Кине говорит\* о роли Макиавелли в 1526—1527 годах, ему приходит на память французская революция: и Дантон, и Сент-Жюст, и Карно, и четырнадцать

\* "Les revolutions d'Italie (1848)", т. II, гл. 4.

армий, и многое другое. Прекрасный повод для параллели. Почему французы могли выставить на фронт четырнадцать армий, а обширная Папская область и богатая Тоскана вместе не могли выставить даже одной? Гвиччардини, который знал свою Романию, совершенно определенно объявил, что вооружить население Романья — значит снарядить вспомогательный отряд для императора, потому что половина населения провинции будет больше слушаться императора, чем папу, своего государя. Макиавелли с ним не спорил. Объявить то, что французская революция называлась *la levee en masse*, в Тоскане было невозможно и по другой причине. Флоренция была полноправной госпожой, остальное население Тосканы было бесправно. Во Флоренции при Содерини всеми правами пользовались только 3000 человек, при Медичи — раз в десять меньше. Остальные города: Пиза, Ареццо, Прато, Пистойя, Эмпполи, Ливорно, — все другие, все сельское население прав не имели. Флорентийская буржуазия не желала делиться властью ни с кем, хотя знала очень хорошо, какое царит из-за этого недовольство в городах и в деревне. Пиза лишь недавно была покорена после четырнадцатилетней войны. Ареццо бунтовал и отпадал от Флоренции. В Пистойе и Прато происходили волнения. Деревня была беспокойна. Дать всему этому населению оружие не значило ли тоже подготовить подкрепление для императора или для французского короля? Опыт *Ordinanza* при Содерини, так позорно закончившийся в Прато, не давал больших поводов для оптимизма.

Макиавелли нигде в своих сочинениях не ставит вопроса, из-за чего армия сражается — не в каждом отдельном случае, а вообще. В "*Discorsi*" нет главы, посвященной анализу экономической основы римской военной мощи. В "*Arte della guerra*", в конце четвертой книги\*, речь идет о том, что должен делать полководец, чтобы заставить солдат идти в бой в том или другом сражении, и приводятся, в сущности, примеры, как генералы обманывали солдат или действовали на их суеверие, чтобы поднять у них дух. Под конец, однако, указывается, что лучшее средство пробудить в бойцах упорство — показать им воочию, что они перед альтернативой: победить или погибнуть. И говорится: "Это упорство возрастает вследствие веры в полководца и любви к нему и любви к родине... Любовь к родине — чувство прирожденное (*è causato dalla natura*)". Любовь к родине, следовательно, учитывается, и было бы странно, если бы она не учитывалась: древние историки ведь говорили о ней без конца. Но нет ни малейшей попытки ее проанализировать. Солдаты французской революции шли на врага ведь тоже побуждаемые патриотизмом, *l'amour sacré de la patrie*, но мы знаем, что такое патриотизм революционных солдат. Французская революция дала третьему сословию равноправие и избавила его от королевской опеки, освободила крестьян от крепостного права и дала им

---

\* Опере (1819), т. V, с. 308—309.

землю и волю. Там не думали, что патриотизм — чувство прирожденное, и патриотизм создавали. Солдаты революции дрались за то, чтобы у них не отняли даров революции. Даже в самой Флоренции XVI века в разные моменты граждане республики относились к войне по-разному. При Содерини они шли в милицию, но сражались плохо. В 1526—1527 годах они трусили и не пошевелились, а в 1530-м, в последней борьбе против папы и императора, бились героями, потому что в последней республике ожила частица демократической души Савонаролы, и к власти были приобщены более широкие круги, чем при Содерини.

Макиавелли, конечно, не мог знать ни про французскую революцию, ни про эпопею 1530 года. Но история итальянских коммун давала сколько угодно фактов, из которых при надлежащем анализе было нетрудно получить те же выводы. У Макиавелли их не оказалось, потому что его классовая настроенность затемнила столь ясный обычно его анализ.

Макиавелли не додумался до того, что патриотизм представляет собою тоже классовое чувство, что у разных групп населения одного и того же государства патриотизмы могут быть различны. Его классовая природа делала его патриотом флорентийским и общепитальянским, классовая природа романьольского крестьянина могла делать его патриотом и венецианским, и даже имперским, а классовая природа пизанского жителя могла делать и делала его патриотом французским. Экономика Италии по причинам, которые уже указывались, не могла еще создать единого патриотизма, подобно тому как сделала это экономика Франции, разумно направленная монтаньярским Конвентом, в 1793 году.

Макиавелли вводила в заблуждение его классовая идеология, идеология представителя торгово-промышленной буржуазии, и он был склонен своим настроениям придавать характер общий. Он не подумал, что сначала нужно устранить неравноправность во Флоренции и на ее территории и заинтересовать в победе над врагом все население. А если и подумал, то не решился этого сказать, потому что знал, как это будет встречено его собственной группой. Точно так же Жиронда не хотела дать крестьянам то, чего они требовали, и потому не могла по-настоящему организовать армию, пока была у власти.

И единству Италии мешала в конечном счете та же экономика. Если бы Венеция искренне, без страха пошла на союз с папой и Флоренцией в 1526 году, герцог Урбинский, ее кондотьер, не посмел бы держаться того образа действий, который привел Лигу к поражению. Но Венеция не могла не бояться Флоренции и особенно папы. То, что для Макиавелли, флорентийского буржуазного патриота, было спасением — вся программа "нового государя", — то для венецианского буржуазного патриота было катастрофой, ибо объединение Италии в условиях того момента означало для Венеции потерю самостоятельности и превращение из царицы Адриатики в провинциальный порт: меч "нового

государя”, разделавшись с мелкими, должен был обрушиться в первую голову на нее. Наконец, какими аргументами можно было заставить служить делу объединения этих мелких: Феррару, Мантую, Урбино, Сиену, Лукку и пр.? Ведь они должны были пасть первой его жертвой. Ведь недаром Альфонсо д'Эсте посылал пушки Фрундобергу, Франческо Мариа, шадил ландскнехтов, а Федерико Гонзага старался их выручить. Если бы экономика Италии была благоприятна объединению, она бы сломила и местные сепаратизмы, и династические интересы тиранов, как сломила их в XIX веке. В XVI веке она для этого не созрела.

Вот почему в тот момент “из пламя и света рожденное слово”, последняя глава “Principe”, “марсельеза XVI века”, повисла в воздухе без отклика.

Цель, которую ставил себе Макиавелли, которой он добивался со всей страстью, стремясь к которой он раскрыл такие сокровища воли, темперамента и энергии, достигнута не была.

Ренессанс завещал задачу политического возрождения Италии Risorgimento, а писал его завещание Никколо Макиавелли.

ФРАНЧЕСКО  
ГВИЧЧАРДИНИ\*  
1483—1540

"Гвиччардини — подлый негодяй", — сказал как-то Стендаль\*\* мимоходом, небрежно и беззаботно, как говорят, что снег белый, а трава зеленая. Эдгар Кине на пяти страницах "Итальянских революций" собрал против Гвиччардини столько обвинений и таких, что, если бы половина была правдою, ни один итальянец никогда не произносил бы его имени без гримасы отвращения. "Когда будет Италия, она золотыми буквами начертает имя этого чудесного гения на позорном столбе", — восклицал буйный друг тянувшейся к единству Италии\*\*\*.

Стендаль и Кине были друзьями "Молодой Италии", идейными союзниками итальянского Risorgimento. А оно, одушевленное идеями свободы и единства, ненавидело Гвиччардини так же сильно, как любило Макиавелли. Ведь Гвиччардини был противником единства, служил папе Клименту VII, Алессандро и Козимо Медичи и дезертировал из Флоренции, борющейся за свою свободу. Все эти факты расценивались как тяжчайшие преступления против Родины (люди Risorgimento любили писать это слово с заглавной буквы). Оценки Стендаля и Кине — отголоски оценок итальянских патриотов XIX века.

Человеку, которого преследовали такие приговоры, трудно было поправить свою репутацию. Восстановление ее далось нелегко. Стендаль и Кине едва ли знали из сочинений Гвиччардини что-либо, кроме "Истории Италии", хотя в разное время частично печатались его "Заметки политические и гражданские". Поэтому, когда появились десять томов "Неизданных сочинений", очень наспех, без серьезной научной подготовительной работы, в большом беспорядке напечатанных Джузеппе Канестрини\*\*\*\*, вопрос о пересмотре старых оценок встал сам собою. Но, во-первых, к этому времени были опубликованы свидетельства современников, часто враждебные Гвиччардини, а во-вторых,

---

\* Текст печатается по изданию Ф. Гвиччардини "Сочинения", Academia, М., 1934 г. (Ред.)

\*\* Guichardin est un vil coquin, — "Promenades dans Rome", II, 114 (1829).

\*\*\* "Les Révolutions d'Italie", II, 151. Писано в 1847 г., в экстазе революционных предчувствий.

\*\*\*\* "Opere inedite di Francesco Guicciardini, illustrate da G. Canestrini", 1857.



в первом же томе Канестрини появились полностью "Заметки", которые послужили новым поводом для нападок. На этот раз судьей Гвиччардини, строгим и красноречивым, выступил Франческо Де Санктис, влиятельнейший из историков итальянской литературы, страстный герольд ризорджиментных настроений. Он нарисовал\* такой отталкивающий его портрет, и притом с такой убедительностью, что его взгляд на Гвиччардини сделался на долгое время как бы обязательным. Отголоски его можно найти в таких сравнительно недавних работах, как монография о Макиавелли Оресте Томмазини.

Но трезвые слова о Гвиччардини начали прокладывать себе дорогу, как только объединение завершилось и его злободневные задачи перестали направлять критический анализ прошлого. И как бы для того, чтобы искупить несправедливые оценки Стендаля и Кине, первым спокойно, хотя и без большого сочувствия заговорил о Гвиччардини француз Эжен Бенуа\*\*, использовавший первые три тома публикаций Канестрини. А когда писания и действия Гвиччардини подверг объективному анализу в книге о Макиавелли крупнейший историк современной Италии Паскуале Виллари, ставший на защиту его не только как историка, но и как человека, в литературе о Гвиччардини наступил поворот. По следам Виллари пошли другие, а в самое последнее время, в связи с послевоенными фашистскими настроениями, прежнее отрицательное отношение начинает уступать место чуть ли не апологетическому, и если бы в наши дни кто-нибудь вздумал повторить отзыв Стендаля, его стали бы обвинять в кощунстве\*\*\*.

Чем объясняются такие огромные колебания в оценке человека и писателя?

Гвиччардини пишет — и действует — так, что не всегда легко добраться до настоящих его мыслей. Такова, как мы увидим, его натура. Поэтому словам — и делам — его нетрудно дать неправильное истолкование. Если не иметь твердого критерия для суждений и оценок, легко впасть в ошибку. Прежние безоговорочные обвинения и новейшие, порою восторженные апологии тем и грешат, что под ними обыкновенно нет твердой почвы.

Почву эту нужно искать в среде и в эпохе.

---

\* "Nuovi Saggi", 201, и потом в "Storia della letteratura italiana", II, 88.

\*\* "Guichardin, historien et homme d'Etat italien", 1882.

\*\*\* Из новейшей литературы можно назвать еще одну французскую работу Otetea, "Guichardini, sa vie publique et sa pensée politique" (1926) и ряд итальянских: Benassi "Rileggendo la storia d'Italia del Guicciardini" ("Nuova rivista storica", 1925, 5), A. Luzio, "La storia d'Italia del Guicciardini" ("Atti dell'Accademia delle Scienze", vol. 65, 1930), Treves, "Il realismo politico del Guicciardini" (1931, Francesco Ercole, "Da Carlo VIII a Carlo V" (1932).

Франческо был мальчиком\*, когда умер Лоренцо Медичи и кончились времена пышного, безмятежного благополучия Флоренции. Он едва вступал в юношеский возраст, когда на Площади Синьории сожгли недавнего властителя дум Джироламо Савонаролу. Блеск медичейского правления не мог запечатлеться в его душе. Напряженный, так трагически разрешившийся кризис аскетического народолюбия едва им чувствовался. Потом он уехал учиться. Когда вернулся, не гремели бои, не бушевала буря, потухли и праздничные огни, медичейские, и очистительные, савонароловские. Были будни.

Гвиччардини вышел совсем из другой среды, чем Макиавелли. Он никогда не знал нужды, которая была такой частой гостьей в разные периоды жизни его друга. Семья его пользовалась большим достатком. Отец принадлежал к числу образованнейших людей в городе и гордился дружбой с Марсилио Фичино. Глава платоновской Академии держал у купели Сан Джованни маленького Франческо. Был еще на заднем плане богатый и беспутный дядя епископ, которому очень хотелось вовлечь даровитого племянника в церковную карьеру. Образование юноша получил хорошее — и общее, гуманистическое, и специальное, юридическое. В жизнь вступил великолепно вооруженный, счастливо начал карьеру и, не достигнув законного тридцатилетнего возраста, был облечен почетным и ответственным званием посла Флорентийской республики при испанском дворе.

Это было в 1511 году. У него уже была написана "История Флоренции". В этой книге он понемногу нащупывал ту политическую почву, на которую вскоре должен был стать твердой ногой. Каковы его первые высказывания?

"История Флоренции" писалась (1508—1509), когда во главе республики с титулом пожизненного гонфалоньера стоял Пьеро Содерини, а власть принадлежала промышленным и торговым группам. К ним она перешла после того, как рушилась савонароловская "демократия", сменившая в 1494 году медичейскую тиранию. Обломки той социальной группы, которая поддерживала Медичи, рантье́рской буржуазии, извлекавшей свои доходы не только из торговли и промышленности, но в значительной мере и из земельной ренты, притаились и проявляли величайшую лояльность. Они лишились своих лидеров, казненных после неудачного заговора в пользу Медичи в 1497 году, и очень страдали от прогрессивного подоходного налога (*La decima scalata*, "ступенчатая десятая"), введенного в 1500 году. Чтобы поправить свои дела, именно они выдвинули в 1502 году кандидатуру Пьеро Содерини. Содерини были фабрикантами шелка, имели конторы в Лионе и Антверпене и принадлежали к числу самых богатых

\* Родился 6 марта 1483 г. и был, следовательно, на 14 лет моложе Макиавелли.

людей во Флоренции. Пьеро был близок к рантьерской группе, что и давало ей надежду приобщиться к власти после его избрания. Но Содерини делал карьеру при народном правлении, никогда не имел связей с Медичи и понимал, что уделить рантьерской группе значительное влияние — значит поставить Флоренцию под риск медичейской реставрации. Поэтому после своего избрания он круто порвал с рантьерской группой и честно отдал свои силы и способности — не очень блестящие — укреплению народного правления. В частности, финансовая политика осталась той же, какой была: ее основами продолжали быть бережливость, честная и выдержанная администрация по делам государственных долгов и налоговая политика, особенно тяжело давившая на земельных магнатов. Купеческая группа, интересам которой эта линия отвечала вполне, деятельно его поддерживала. Ремесленники и мелкие торговцы, поставлявшие Савонароле цвет его гвардии, *i riagnoni*, и следовавшие слепо за Франческо Валори, убитым в день ареста Савонаролы, набирали силы и соблюдали по отношению к Содерини доброжелательный нейтралитет. На чьей стороне были симпатии Гвиччардини?

Во Флоренции было явлением обычным, что члены одной и той же семьи в политических вопросах держались одинаковой ориентации на протяжении многих поколений. Объясняется это тем, что в деловой практике — в торговле, промышленности, банковом деле, земельном хозяйстве — из рода в род передавались и капиталы, и связи. Коммандитные товарищества, или товарищества на вере, широко эксплуатировавшие заграничную клиентуру, сплачивали членов семьи и привязывали их друг к другу крепкими узами крупных дивидендов. Держаться вместе, не распадаться, являть неразрывную группу, как сбитые в крепкую кучку многочисленные члены семьи Торнабуони на известной фреске Гирландайо, было удобно и, что важнее, выгодно. А так как в течение всего XV века благоприятная конъюнктура нарушалась редко и никаких больших потрясений ни республика, ни Италия не испытывали, то и политические настроения членов одной семьи менялись мало. Эти настроения закреплялись в партийных группировках, и стало некоторым образом традицией, что младшее поколение в партийных группировках шло за старшим.

Семья Гвиччардини не принадлежала к самым богатым во Флоренции, но уже издавна, с 80-х годов, когда Лоренцо Медичи стал вкладывать большие капиталы в землю, Гвиччардини вместе с некоторыми другими семьями последовали его примеру. Это была перестраховка в предвидении кризиса, предвестника приближавшейся феодальной реакции\*.

---

\* См. Anzilotti, "La crisi costituzionale della Repubblica", 8. Автор перечисляет фамилии, вложившие большие капиталы в землю: Каппони, Пуччи, Ручеллаи, Валори, Гвиччардини, Веттори, Пекори. Но едва ли это были единственные, потому что их он нашел, обследовав инвентари всего только двух крупных торговых фирм во флорентийском архиве.

Интересы семьи вложениями капиталов в землю определялись вполне, и ими же определялась ее партийная позиция. Гвиччардини был в числе тех семей, на которые опирался Лоренцо, которые он выдвигал и приобщал к власти. После изгнания Медичи Пьеро Гвиччардини, отец Франческо, остался сторонником Медичи, потому что так называемая демократическая фискальная политика была его по карману. Но он не был в числе активных медичистов, *palleschi*, которые шли за Бернардо дель Неро и за Лоренцо Торнабуони. Он группировал около себя умеренное их крыло. После того как Бернардо и Лоренцо погибли на плахе, Пьеро стал держаться выжидательной политики. Он был среди тех, кто выдвигал Пьеро Содерини, и почти совсем отошел от дел, когда Содерини обманул ожидания рантьерской группы. Однажды, правда, он попробовал подсказать Содерини шаг, который он — искренне или притворно — считал верной гарантией против Медичи: вернуть их во Флоренцию и поставить под неусыпный надзор как простых граждан. Это, по его мнению, должно было лишить их всякого политического веса в Италии и обезопасить от их происков Флоренцию. Содерини не поверил в спасительность этого рецепта и не принял его\*. Пьеро Гвиччардини продолжал после этого глухо будировать против правительства, резко отклоняя предлагавшиеся ему должности и почетные миссии, как бы выгодны они ни были.

Такова была политическая позиция семьи, когда Франческо в 1505 году вступил в жизнь. Занимаясь адвокатурой, он готовился к политической деятельности и энергично старался найти себе место в той политической системе, которая установилась во Флоренции. И первый, по-видимому, вопрос, который стал перед ним, был: насколько режим пожизненного гонфалоньерата — здоровый режим, а если он плох, то в чем его недостатки? С этим был тесно связан более узкий, но для него лично очень важный другой вопрос: должен ли он следовать той политической линии, которую представлял его отец, или нет? К 1509 году, когда он кончил свою "Историю Флоренции", Франческо кое-что себе уже уяснил.

## II

Прочность семейных политических традиций во Флоренции к этому времени сильно поколебалась. Основным условием этой прочности были, мы это знаем, стойкая экономическая конъюнктура и спокойная политическая ситуация. То и другое за пятнадцать лет очень изменилось. Внешняя политика давила на внутреннюю, обе вместе предъявляли большие требования к финансам республики, финансовые тяготы подрывали экономику, крупные фирмы теряли свою устойчивость, перспективы длительного,

---

\* F. Guicciardini, "Ricordi politici e civili", 334.

из поколения в поколение передававшегося благосостояния слабели все больше. Ведь неудачи под Пизой, из-за которых отрубили голову Паоло Вителли, были причиной введения *decima scalata*, а захват Ареццо отрядом Вителлоццо Вителли, заставивший обратиться за помощью к Людовику XII, сделал невозможным какое бы то ни было облегчение фискального гнета. Страдала же от него особенно сильно рантьерская крупная буржуазия, и семья Гвиччардини в том числе.

Франческо все это учитывал. Учитывал он и то, что дележ отцовского имущества, подвергшегося серьезному ущербу между ним и четырьмя братьями, едва ли сделает его богатым человеком, раз будет продолжаться покровительство торгово-промышленной группе и эксплуатация рантьерской. Эти соображения дали ему сознание внутренней свободы и некоторой эмансипации от родительского влияния. Он показал это женитьбой на дочери Аламанно Сальвиати, одного из решительнейших противников Содерини. Для него не было никакого сомнения, что Пьеро не одобрит этого шага. Но это его не остановило. На брак с Марией Сальвиати толкала его не пылкая страсть — он смолоду ничего не делал под влиянием страсти — и даже не материальные мотивы, потому что приданое было небольшое. Он просто прокладывал себе пути для самостоятельной карьеры, которая соответствовала бы существовавшим политическим условиям и которую не очень бы путали семейные традиции. Но, как всегда очень осторожный, Франческо не порывал с семьей и не думал ссориться с отцом, наоборот, был полон к нему любви и уважения.

"История Флоренции" отразила все эти колеблющиеся настроения. Книга не была, подобно написанной через пятнадцать с лишком лет "Истории Флоренции" Макиавелли, повествованием о судьбах его родного города от древнейших времен. Древнейшие времена Франческо не интересовали. Древнейшие времена не давали повода сделать предметом пристального обсуждения главную теоретическую и практическую контроверзу в политике сегодняшнего дня, то есть именно то, что интересовало Франческо. И он начал свою историю с восстания чомпи в 1378 году, то есть с кануна медичейского принципата. Это дало ему возможность сравнительно скоро добраться до тех времен, когда основная проблема могла быть поставлена на обсуждение.

Проблема эта заключалась в том, какому правлению быть во Флоренции: "народному", как при Савонароле и Содерини, или олигархически-оптиматскому, как при Медичи и сейчас же после изгнания Пьеро в 1494 году, до вмешательства Савонаролы. На языке того времени народное правление называлось *stato largo*, а олигархически-оптиматское — *stato ristretto* или просто *stretto*, то есть одно "широким", другое "узким" государственным порядком. Это было самое общее разграничение, которое никаких оттенков не предусматривало, отбрасывало самые необходимые критерии, разбивавшие на различные, очень резко расходящиеся виды как "широкое", так и "узкое" правление, но было очень

удобно в качестве политического лозунга. Гвиччардини хотел попробовать разобраться в проблеме, взвесить все "за" и все "против", не упуская из вида никаких оттенков. Именно анализ исторической эволюции флорентийской коммуны, достигшей полной политической зрелости, давал для такого рассмотрения необходимую почву. "Историю Флоренции" точнее нужно было бы озаглавить "История Флорентийской конституции".

В знаменитой главе XXV\* Гвиччардини останавливается на государственном устройстве Флоренции в момент, предшествовавший установлению пожизненного гонфалоньерата (1502), и вот каковы результаты его анализа. Там, говорит он, где нет доверия к гражданам мудрым и опытным (*savii ed esperti*) или, что то же, к первым гражданам (*primi cittadini*) и где дела вершатся людьми слабыми (*deboli*), худородными и неопытными (*di poca qualita ed esperientia*), там государство неминуемо будет обречено на гибель. Во Флоренции в это время наиболее мудрых (*savii*) и богатых (*ricchi*) граждан душили принудительными займами и оттесняли от всякого политического влияния, боясь, чтобы они не способствовали реставрации Медичи. Это приводило их в отчаяние, и они готовы были принять какой угодно режим, лишь бы их не разоряли. Свое отношение к существующему порядку "богатые", "мудрые", "первые" выражали тем, что отказывались принять почетные, но маловлиятельные миссии по внешним сношениям. Франческо перечисляет виднейших из "мудрых". Это Гвидантонио Веспуччи, Джованбаттиста Ридольфи, Пьеро Гвиччардини, Бернардо Ручеллаи. Последний, муж сестры Лоренцо Медичи, после смерти Бернардо дель Неро был главой непримиримых медичистов, "паллесков", и вскоре эмигрировал. Паллесками — кто больше, кто меньше — были и трое остальных и, как все паллески, особенно страдали от финансовой политики "широкого" режима. Но большинству граждан — конечно, полноправных — был мил тот строй, который "не делал различия между людьми и семьями"\*\*, и лишь финансовая депрессия (неуплата процентов по государственным займам), затруднявшая торговлю, и неудачи во внешних делах, временная потеря Ареццо и угрозы со стороны Цезаря Борджа заставили это большинство пойти на меру, которую они считали нарушением "широкого" режима: на создание должности пожизненного гонфалоньерата.

Рисуя этот строй, Франческо не скрывает своих симпатий к "мудрым", в числе которых был и его отец. Мотивов симпатии он не сообщает, но их нетрудно вычитать между строк — там, где он излагает основы новой конституции и с неодобрением говорит

\* "Opere inedite", III, 272.

\*\* Различия, разумеется, существовали, и очень большие, но равенство проводилось в конституция только среди полноправных, так называемых *benefiziati*, которых из девяноста тысяч человек насчитывалось три тысячи с небольшим. Эти цифры дают представление о "широте" и "демократизме" режима.

о ее чересчур "широком" характере. Он боится, что без ближайшего участия "мудрых" и "богатых" во Флоренции не установится крепкая и хорошо организованная власть. Рассказав затем об учреждении гонфалоньерата, об избрании Содерини, о надеждах, возлагавшихся на него "мудрыми", Гвиччардини меланхолически сообщает, что Содерини этих надежд не оправдал и не захотел приобщить к власти "лучших людей" (*uomini da bene*), боясь, что они будут стараться "сузить" социальную базу республики "restringere uno stato"\* . Политика Содерини не вызывает у Франческо никакого сочувствия, ибо она совершенно разоряет "лучших людей" и продолжает преграждать им доступ к активной, руководящей политической деятельности.

Кто эти "мудрые", "богатые", "лучшие" — совершенно ясно. Это — представители рангьерской группы. Франческо не формулировал еще для себя с полной ясностью, какую роль должны они играть в политической системе Флоренции. Но он вполне определенно считает, что оттеснение их неправильно, а разорение несправедливо. Голос класса уже говорит в нем, и уже шевелится эгоистическое опасение, что, если налоговая политика Содерини будет продолжаться, она нанесет ущерб его личному благосостоянию. Это чувствуется по тону, каким он критикует фискальную систему республики.

"История Флоренции" опубликована не была. Все, что в ней написано, Франческо писал для себя, чтобы дать себе ясный отчет в положении дел. Выступать открыто против Содерини он не собирался. Не в его характере было лезть на рожон. Наоборот, честолюбие, пробудившееся так же рано, как и политическая осторожность, заставляло его искать применения своим способностям при господстве того самого режима, который был так мало ему приятен. Когда в октябре 1511 года ему был предложен пост посла республики в Испании при Фердинанде Католике, Франческо его принял: нужно было думать о карьере и о заработке. Отец на этот раз не возражал.

### III

Миссия была трудная, и трудности обуславливались разными причинами. Прежде всего в 1511 году мощь Флоренции была далеко не та, что в 1492-м. Поход Карла VIII нанес ей такой удар, от которого она уже никогда не могла оправиться вполне. Она потеряла свои северные крепости, переданные Пьеро Медичи французам и обратно не полученные. Она потеряла Пизу, отложившуюся с помощью французов, защищавшуюся 14 лет с помощью Венеции и покоренную только после Аньяделло в 1509 году. Походы против Пизы поглощали много денег, и это отражалось не только на финансах, но и на всей экономике. А затем

\* "Opere inedite", III, 311.

от экспедиции Карла VIII осталась дружба с Францией, которая должна была стать для Флоренции губительной. Эта дружба и делала миссию всякого "оратора" Флоренции при Арагонском дворе такой деликатной.

Франция и Испания, начиная с того же похода Карла VIII, враждовали почти непрерывно. Карл ставил себе целью завоевание Неаполя, а завоевание Неаполя ставило под угрозу Сицилию, житницу Испании. С этим Испания примириться не могла. Она решила захватить Неаполь сама и с этих пор сделалась непременным членом всякой коалиции, направленной против Франции. Но это было не все. Так как Флорентийская республика вела дружбу с Францией, то Медичи искали поддержки у испанцев. Испанцы, чтобы обеспечить себе обладание югом, протягивали щупальца во все углы итальянской земли, слушали Медичи, шептались с Орсини, заигрывали с Колонна. Но думали по-настоящему только о Неаполе и Сицилии. Пока был жив папа Александр VI, испанец сам и насаждавший кучу испанских кардиналов\*, Испания могла рассчитывать на дружбу с Римом. Но когда в августе 1503 года Александр умер, а Цезарь Борджа, его сын, оказался тяжело больным, испанским дипломатам пришлось заботиться о создании там опоры. Это сделалось особенно важным, когда еще в том же году умер и Пий III и самым верным кандидатом на тиару оказался кардинал делла Ровере, у которого были какие-то никому не ясные связи с Францией. Испанцы стали спешно мирить Колонна с Орсини, роднею Медичи, добиваясь, чтобы они сообща помогали им против французов, и обещая за это после войны водворить Медичи во Флоренции\*\*. Это было в конце 1503 года.

Во Флоренции, конечно, знали, что симпатии Испании на стороне Медичи, а не на стороне республики. Хотя с 1503 года испанцы на юге добились своей цели и твердой ногой стояли в Неаполе, вражда с Францией не кончилась. Только яблоком раздора был уже Милан. И в момент, когда Гвичардини отправился в Испанию, решительное столкновение было совсем близко.

11 апреля 1512 года французы под Равенной наголову разбили соединенную армию папы, Испании и швейцарцев, но оказались совершенно неспособны использовать свою победу. Они не только не могли удержать за собой Ломбардию, но были совсем вытеснены из Италии. Швейцарцы завладели частью герцогства Миланского — Лугано и Локарно с тех пор так и остались в их руках, — а герцогом стал сын Моро, Массимилиано Сфорца, нарядная и безвольная марионетка в их крепких мужицких руках. Испанцы стали укрепляться в Тоскане и первым делом водворили во Флоренции Медичи, сокрушив одним ударом республику (сентябрь 1512).

---

\* На конклаве Пия III (1503) из тридцати восьми кардиналов испанцев было одиннадцать.

\*\* Guistinian, "Dispacci", II, 238.



Возможность этого переворота была ясна задолго до сентября испытанным политикам рантьерской группы, бойкотировавшим Содерини. Флоренция ведь оставалась верна союзу с Францией, и победа при Равенне вызвала в городе величайшее ликование. Тем более что кардинал Джованни Медичи, папский легат при союзном войске и самый опасный из всей семьи, попал в плен к французам. А 13 мая 1512 года Пьеро Гвиччардини писал Франческо в Испанию, что существование союза с Францией не должно мешать заключению такого же союза с Испанией\*. Это было через месяц после Равенны. Содерини, конечно, не мог решиться на такой шаг ввиду известных всем в Италии взаимных обязательств между испанцами и Медичи. Он оставался верен союзу с Францией и этим толкнул рантьерскую группу на активные действия. Она стала вести подкоп под республику с одной определенной целью — реставрации Медичи.

Франческо едва ли был посвящен в эти планы. И едва ли принимал участие в происках против республики. Но, сидя в Испании и не будучи обременен своей должностью, он очень серьезно думал над тем, как нужно реформировать флорентийскую конституцию, чтобы, не изменяя расстановки общественных сил, ею санкционированной, дать несколько больше простора тому классу, к которому принадлежал он сам. Такой компромисс был для него очень желателен теперь, когда интересы службы связали его с правящей группой, а интересы семьи не сделались и не могли сделаться для него окончательно безразличны. Обоснованию этого компромисса посвящено рассуждение, написанное в Испании, законченное в городке Логроньо 27 августа 1512 года и для краткости всюду называемое "Discorso Logroño"\*\*\*.

Основные мысли этого рассуждения таковы. Большой совет — правящий орган Флоренции, придававший ее конституции демократическую видимость, — должен быть сохранен. Должны быть сохранены также пожизненный гонфалоньерат и Синьория. Но права всех этих трех органов должны быть ограничены. А между синьорией и Большим советом должен быть создан новый орган, который Гвиччардини называет сначала "промежуточным советом", а потом просто сенатом\*\*\*. Сенат, в состав которого Синьория должна входить целиком, иногда вместе с другими собраниями, должен на будущее время решать некоторые из важнейших дел, принадлежащих теперь к компетенции Большого совета. В нем должны заседать люди "с головой

---

\* "Opere inedite", VI, 69.

\*\* Пометка Франческо в начале "Рассуждения" о том, что он закончил его, уже получив известие о реставрации Медичи, очевидно, сделана много позднее и является плодом запоминания. Медичи вступили во Флоренцию 16 сентября, а Гвиччардини в Испанию узнал об этом 25-го, то есть почти через месяц после того, как был кончен "Discorso". См. Barkhansen, "Guicciardinis politische Theorien" (1908), 24.

\*\*\* Consiglio di mezzo, che per lo avvenire chiameremo Senato ("Opere inedite", II, 296).

и с влиянием (che hanno cervello e reputazione)". Нетрудно понять, что это те самые uomini da bene, о которых речь шла в "Истории Флоренции" и которые как-то незаметно отождествлялись там с наиболее богатыми (i più ricchi). Компетенция сената вкупе с Синьорией должна быть очень велика. Все внесенные Синьорией законопроекты могут поступать в Большой совет только после одобрения их сенатом. Сенат — все время нераздельно с Синьорией — должен ведать внешними делами. Им же совместно должно принадлежать право распределения и раскладки налогов, ибо в Большом совете, которому это право принадлежало со времен Савонаролы, "бедных больше, чем богатых, и они распределяют налоги не сообразно имуществу каждого, а хотят, чтобы богатые платили все, а сами бы они даже и не чувствовали". "Это, — поучает Франческо, — несправедливо и невыгодно, ибо если богатые должны помогать государству, то нужно их беречь, потому что они краса и честь его и для того, чтобы они могли прийти ему на помощь и в другой раз"\*.

В "Discorso Loggogno" Гвиччардини сделал попытку построить такую конституцию для Флоренции, которая не только покончила бы с финансовым угнетением рантьеерской группы, но и вернула бы ей влияние. Здесь Франческо вступает за свой класс с большей решительностью, чем в "Истории Флоренции". Это понятно. События в Италии развертывались так, что он рассчитывал встретить у Содерини и его сторонников больше уступчивости. Недаром полное заглавие "Discorso" гласит: "О способах сохранить народное правление с Большим советом после того, как на Мантуанском сейме имперцами, испанцами и папой решено вернуть Медичи во Флоренцию". Мантуанский сейм, где было принято это постановление, происходил в августе. Месяц спустя слово стало делом. Медичи вернулись. "Народное" правление, Большой совет и пожизненный гонфалоньерат были ликвидированы. "Богатым" не приходилось больше плакать.

А так как взгляды молодого "оратора" республики в Испании новым хозяевам Флоренции были хорошо известны, то его карьера не потерпела никакого ущерба.

#### IV

Когда Франческо в 1513 году вернулся на родину, он, несмотря на свою молодость, был человеком вполне сложившимся и самостоятельным. Пьеро, его отец, умер во время его отсутствия, и, поделив наследство, каждый из пяти его сыновей получил движимостью и недвижимостью около четырех тысяч дукатов. "Народное" правление, несмотря на все налоговые меры, направленные против рантьееров, все-таки кое-что семейству Гвиччардини оставило. Франческо уже окончательно не нуждался ни в ка-

\* "Opere inedite", II, 279.

ком менторе. Пребывание при испанском дворе сформировало его вполне.

Едва ли человек с такими предрасположениями, как он, мог найти во всей Европе более подходящее место для обучения жизненной и политической мудрости, чем двор Фердинанда Католика, и лучшего профессора, чем арагонский король.

Среди крупных хищников, рыскавших по арене европейской политики в эпоху кровавых дебютов торгового капитала, Фердинанд Арагонский был самым ловким, самым беззастенчивым и самым удачливым. Богатый на выдумку, совершенно не обремененный совестью, настойчивый и упорный, он с редким совершенством владел искусством прельщения, умел внушать доверие, быть обходительным и обаятельным. И никто не мог похвалиться, что разгадал его мысли и его планы раньше, чем он их обнаружил. Кто только не становился жертвой его лукавства! Про Людовика XII, простодушного и тяжелодумного, Фердинанд сам говорил: я обманул его двенадцать раз. Но и Генрих VIII английский, совсем непростодушный и умевший думать, попался на его удочку. Итальянцев — князей, пап, кондотьеров, дипломатов — он ловил широкой сетью. Пока люди были ему нужны, он их держал около себя, ласкал и осыпал милостями. Когда они становились либо не очень нужны, либо слишком влиятельны, звезда их внезапно закатывалась. Так было с Колумбом, подарившим испанской короне полмира, с Гонсало Кордовским, создавшим военную мощь Испании, с кардиналом Хименесом, укрепившим ее внутренне. Привязанность, благодарность, великодушие, совесть, простой стыд не произрастали в груди Фердинанда — один сухой, точный расчет.

При таком государстве придворная атмосфера легко насыщается соответствующими настроениями. Франческо дышал ими долго. И восхищался. Через много лет все вспоминал он, с какой гениальной простотой "король дон Феррандо Арагонский, государь мудрый и славный", умел обманывать всех окружавших и как, несмотря на многократные обманы, умел при каждом новом заставлять себе верить\*. Философия притворства, которую Франческо будет развивать потом, изучена им при испанском дворе, как и многие другие родственные дисциплины. И были в нем самом задатки, заставлявшие его особенно интересоваться этими вещами. Они вполне созрели в Испании.

Франческо смолоду был человек очень рассудительный. Чувство редко выходило у него из подчинения разуму. Увлечение не было его стихией никогда. Воображение он крепко держал на привязи. Страсти над ним не властвовали. Для порывов чувствительности он был непроницаем. Один из немногих в то буйное и жаркое время он не навлек на себя обвинений в распутстве и взирал, не приходя в негодование, слегка посмеиваясь, как

\* "Ricordi politici e civili", 105 и 273.

мудрец, стоящий выше таких вещей, на грешки приятелей: Макиавелли, Веттори, Филиппо Строцци или брата Луиджи. Он был способен даже слегка содействовать Макиавелли в его ухаживаниях за Барберой, актрисой не очень строгих нравов. Ему был доступен иной раз и юмор. Тому же Макиавелли он охотно помогал дурачить карпийских монахов и с удовольствием читал отчеты своего друга о том, как попадались на его удочку жирные отцы доминиканцы. И сам умел, когда хотел, тонким юмором пропитывать письма.

Но это было не всегдашнее его лицо, а праздничное. Всегдашнее было другое. В нем сидело гордое сознание своих достоинств. Он не любил подпускать никого на близкое расстояние. Короткость претила его натуре. Он был почти со всеми важен и строг и находил, что так нужно. Рано попав в положение большого барина, он остался большим барином до конца. Ему нетрудно было настраивать себя внутренне соответствующим образом, потому что в нем была всегда жесткость и расчетливость холодная и спокойная. И когда расчет велел, он напускал на себя высокомерие и надменность, особенно на высоких административных должностях. Когда он был президентом, то есть генерал-губернатором Романьи с властью почти неограниченной, он действовал и говорил, как король. И это ему доставляло огромное удовлетворение, потому что честолюбие, мучившее его уже в молодые годы, превратилось в не утолимое ничем властолюбие. "Высокое положение в государстве, — говорит он, — связано, несомненно, с опасностями, неуверенностью, с тысячами мук и трудов. Но к нему стремятся иногда и чистые души потому, что в каждом живет стремление быть выше других людей, и особенно потому, что ничто другое не делает нас подобными богу"\*.

Честолюбие, мы видели, заставило его мириться с правительством Содерини. Честолюбие, мы увидим, быстро повернуло его лицом к Медичи и побудило добиваться при их содействии высокого положения в государстве, *la grandezza di stato*. И все-таки даже такое острое чувство, как честолюбие, не владело им целиком. Он позволял ему вести себя, когда находил это нужным и возможным, и никогда не ставил больших ставок, не стремился к своим честолюбивым замыслам во что бы то ни стало. Если он встречался с крупными препятствиями, хотя и одолимыми при большом напряжении, но трудными, он отступал. Идти напролом он не умел. Не победные порывы, а размеренные усилия были его орудием. Он скорее принимал жизнь, чем направлял ее. И легко примирялся с совершившимся, когда для изменения того, что произошло, требовались героические размахи — то, что он полупренебрежительно-полузавистливо называл безумием. Он был фаталист и "мудрец", не герой и не "безумец". Потом он найдет формулу своим фаталистическим

\* "Ricordi", 282.

настроениям: "Ни безумный, ни мудрый не могут противостоять тому, чему суждено быть"\*.

Такие, как он, не бывают творцами на широких путях истории. Они не создают ничего большого, хотя иногда и оставляют за собой глубокие борозды. И именно потому, что Гвиччардини не был ни творцом, ни героем, ни "безумцем", в его характере было много такого, что типично скорее для среднего, чем для крупного человека.

Господствующей его особенностью, его *faculté maîtresse*, была рассудительность, *la discrezione*. И он был прекрасно вооружен для тех умственных операций, которые совершаются с помощью рассудительности. Он был образован, превосходно знал классиков и умел извлекать из них практически нужное, был богат опытом, знал, как с толком копить его и не растрачивать. Так как рассудительность была его второй натурой, он терпеть не мог безрассудства и легкомыслия. "Не думаю, чтобы на свете было что-нибудь хуже легкомыслия. Легкомысленные люди способны на всякую затею, как бы дурна, опасна и гибельна ни была она. Поэтому берегитесь их как огня"\*\*. Рассудительностью обусловливалось в нем очень многое.

Неторопливый в действиях, осторожный в словах, Франческо был весь полон тонких изворотов. Он не любил высказываться без оговорок по сколько-нибудь серьезному вопросу и неспособен был принять сколько-нибудь важное решение, не оставив пути для отступления. У него были всегда припасены обходные мысли, хитроумные резервы, окольные тропинки. Понятиями он предпочитал оперировать не очень точными, а приблизительными, слова выбирал скользкие, не любил "крайностей", считая их порочными, избегал слова "никогда" как "выражения слишком решительного". И даже когда был уверен, что у него наготове лазейка, старался укрыть ее получше, сделать незаметной. А если обеспечил себе задний ход, силился сделать его еще более извечным. Когда ему нужно было что-нибудь утверждать, он охотнее говорил в форме двойного отрицания и еще усложнял свою фразу кучей условных предложений: прямота и категоричность в суждениях были ему ненавистны не меньше, чем народные волнения. Он очень любил риторически вывернуть то или иное положение, перебрать сначала все аргументы за, а потом столь же обстоятельно все, что против; это он очень охотно делал просто для себя и в письменной форме. Когда он писал, "он мучил свои писания поправками и поправками к поправкам, вставками, поправками и вставками ко вставкам"\*\*\* — все для того, чтобы нужная степень утверждения достигалась с наименьшей утвердительностью.

---

\* "Ricordi", 138.

\*\* "Ricordi", 167.

\*\*\* Компетентное замечание одного из потомков, хорошо изучившего рукопись Франческо в семейном архиве. См. "Ricordanze di F. Guicciardini pubblicate ed illustrate da Paolo Guicciardini" (1930—VII), 16.

Происходило все это вовсе не оттого, что у Франческо была туманная голова. Наоборот, голова была великолепная, одна из лучших, какие появились в Италии в то время, богатое хорошими головами. Он всегда отлично знал, чего хотел, и отлично умел сказать, что думал. Но в нем сидел прирожденный дипломат, считавший, что осторожность есть мать успеха. Он хотя и не догадался сказать, что язык дан человеку, чтобы скрывать мысли, но несомненно был в этом убежден. И он отнюдь не был лишен характера. Где находил нужным, он умел действовать с большой решительностью. В Романье с именитыми бандитами он не церемонился, а рубил им головы. Во время Коньякской Лиги трудно было развернуть большую энергию и настойчивость. Но у Франческо все такие действия были обдуманы до мельчайших деталей, прежде чем он к ним приступал, а пунктики отступления и объясняющие, оправдывающие, извиняющие мотивы были готовы в величайшем изобилии.

Франческо был политик-"мудрец", uomo savio. И в теории, и на практике. Так же как легкомыслия, терпеть не мог он общих суждений: общие суждения бывают ведь иной раз слишком радикальны и опасны. Все индивидуально: люди и факты. Ко всему и ко всем нужно подходить со своими мерками, без предвзятых положений, с ясной головой. Только этим путем возможно практическое, то есть единственно полезное и нужное познание. Не требуется никакой теории, потому что она ничего не дает и не имеет ничего общего с практикой: "Сколько есть людей, отлично все понимающих, которые либо забывают, либо не умеют превратить в дело то, что знают! Для таких ум их бесполезен. Это все равно что хранить клад в сундуке и обязаться никогда не вынимать его оттуда"\* . Только жизненный опыт, только практика оплодотворяют знания. А опыт учит тому, что никогда ни в частной жизни, ни в политике не следует ставить себе цели отвлеченно. Цели должны быть таковы, чтобы их осуществление не было невозможно. Они должны быть реальны. Только "безумцы" ставят себе цели нереальные. И если такие цели иной раз оказываются осуществимыми, то это результат либо случайности, либо слепого счастья. Когда сам Франческо ставил себе цели и добивался их осуществления, он шел к ним вполне практически, со всей энергией, на какую был способен, отбросив все соображения, не только мешающие, но просто бессильные помочь ему, выключив страсти и чувства, не смущаемый ни велениями морали, ни голосом совести, ни предписаниями религии. Хотя по постоянной своей привычке все время взвешивал все, тщательно осматривался по сторонам и оглядывался назад. Одно лишь волновало его в такие моменты: не допустить чего-нибудь такого, что набросит на него тень, ибо это внесет затруднение в его дела на будущее время. Моралью можно пренебрегать, но так, чтобы это не сделалось ясно для всех. Жить приходится среди

---

\* "Ricordi", 35.

людей, и мнения людей не безразличны практически. Хорошая слава помогает, дурная — мешает.

Гвиччардини был настоящим сыном Возрождения, но не героических его времен, а упадочных. Героические времена Возрождения были порой расцвета буржуазной культуры, ибо базой Возрождения был торговый капитал. Закат Возрождения был порой разложения буржуазной культуры и натиска на нее феодалской реакции. От встречи двух социальных течений поднялся и закружился в моральной атмосфере Италии некий вихрь, тлетворному влиянию которого поддавались иной раз даже лучшие натуры. Результатом его был аморализм, но иной, чем аморализм эпохи подъема, менее хищный, чем тот, и более пришибленный; он не чувствовался в народной гуще, в массах, которые меньше были задеты совершившейся сменой хозяйственной базы. Но верхи — буржуазия и цвет буржуазии, интеллигенция, — испытывали его действие очень долго. Это и есть то, что зовется обыкновенно упадком нравственности итальянского Возрождения и вызывает то сокрушенные, то возмущенные ламентации у историков. Гвиччардини попал в эту полосу. Большой ум и большое самообладание не сделали его такой легкой жертвой поветрия, как очень многих, но задет им был несомненно и он. Тактика сугубой осторожности стала руководящей линией его жизни, ослабевала, когда ему везло, укреплялась, когда ему приходилось плохо, учила его говорить два раза "нет" вместо однократного "да", обеспечивать себе безопасное отступление при всяком шаге, в уклончивости и проволочках искать поправок к гримасам фортуны.

С годами, особенно под конец, когда на него обрушилось так много бедствий, защитная реакция у него стала особенно резкой. Но характер его сложился вполне уже к моменту возвращения из Испании. Перед ним открывалось блестящее будущее. Он был молод, образован, знал свет, видел кругом влиятельную и богатую родню. И был богат сам. Отцовское наследство и испанские сбережения вполне его обеспечивали. Он был расчетлив, любил жизнь простую, не пышную, и, хотя семья все прибывала, разумное помещение денег и доходы с капитала обещали в будущем полное благополучие. А самое главное — отлично пошла карьера.

Едва Медичи утвердились во Флоренции, как Гвиччардини — несколько более поспешно, чем это подобало "мудрому" человеку, — вступил с ними в сношения. А когда несколько месяцев спустя Джованни Медичи, освобожденный из плена, превратился в папу Льва X, ухаживания Франческо за Медичи сделались еще более настойчивыми. Были, правда, вначале кое-какие легкие недоразумения с новым правителем Флоренции, Лоренцо Урбинским, но потом все потекло вполне гладко, как будто сама фортуна вела его под руку. В 1516 году Лев дал ему губернаторство в Модене, год спустя — и в Реджо, а в 1523 году — и в Парме.

Свое губернаторство он сохранил и при Адриане VI, хотя тот не любил слуг своего предшественника, особенно если они были флорентийцами. При Клименте VII, тоже Медичи, Гвиччардини будет сначала президентом Романьи, потом особоуполномоченным комиссаром папы при армии Коньякской Лиги. И будет еще играть роль во Флоренции после падения республики: при Алессандро и при вступлении во власть Козимо.

Политические взгляды Франческо к моменту возвращения из Испании тоже сложились вполне, "История Флоренции" и "Discorso Loggogno" тем и ценны, что из них мы узнаем не только существо его взглядов, но и классовую их подкладку.

Дальше это становится все более ясно.

## V

Реставрация Медичи перевернула во Флоренции все, и притом так, что по первоначально трудно было установить сколько-нибудь отчетливо новую руководящую классовую группировку. Своим возвращением Медичи были обязаны не перевороту внутри города, а испанским войскам. Во Флоренции ни одна группа в этот момент не поддержала их с оружием в руках. И они не чувствовали необходимости опереться на какие-нибудь общественные силы в городе: испанский отряд защищал их совершенно достаточно. Естественно, однако, что рантьерская буржуазия, та группа, которая была опорой Медичи до 1494 года, рассчитывала, что переворот принесет ей серьезные выгоды. Она многое перенесла при "народном" правлении и многим пожертвовала. Но Медичи и ей не очень доверяли. Они боялись, что в случае новых осложнений она их предаст так же, как и в 1494 году. Линия Медичи была ясна. Раз сила, которая их защищает, не контролируется внутри города никакой влиятельной группой, они не станут делиться властью ни с одной и будут править вполне самостоятельно, пока можно.

Потом это изменилось. Когда во главе флорентийского правительства окончательно стал Лоренцо Урбинский, сын Пьеро и внук Великолепного, а министром его в звании секретаря сделался Гери, все вошло в норму. Испанцы не могли вечно сидеть во Флоренции и ушли, а опору Лоренцо с Гери нашли опять-таки в верхушке крупной буржуазии. Но связь теперь намечалась иная, чем прежде. Лоренцо и Гери ставили себе определенную цель: установление *личного* правления, опирающегося на "правительственную партию". Другими словами, рантьерская группа уже будет лишена возможности диктовать власти свою волю, а во имя своих интересов, которые власть берет на охранять, должна подчиниться ей. Это прямой путь к принципату, который установится с Алессандро и утвердится окончательно с герцогом Козимо\*.

---

\* См. Anzilotti, указ. соч., с. 93.



Для Гвиччардини планы Лоренцо были, по-видимому, ясны, и он им не очень сочувствовал. Он хотел для своей группы не подчинения, а доли во власти. Как только, еще будучи в Испании, он получил из Флоренции сведения, приоткрывшие планы Медичи, — это было в октябре 1512 года — он написал еще одно "рассуждение", очень коротенькое и сильное. В нем он указывал, что во Флоренции все общественные группы, кроме рантьерской буржуазии, враждебны Медичи и те, чтобы удержать власть, должны неизбежно опереться именно на рантьерскую буржуазию и оплатить ее поддержку разными выгодами. Он говорит совершенно откровенно: раз у Медичи столько врагов, непримиримых и готовых подняться по первому поводу, они вынуждены поступать двояко — во-первых, сокрушать их и ослаблять экономически (*batterli e dimagrarli*), чтобы они вредили меньше, а во-вторых, противопоставить им значительное количество друзей, которых им нужно привязать к себе, влить в них мужество и дать им силу, "укрепив их экономически и обогатив"\*\*. А четыре года спустя (1516), когда замыслы Лоренцо и Гери уже были ясны даже для наиболее недалеконвидных, Франческо написал обстоятельное новое "рассуждение", в котором уговаривает Медичи не относиться с недоверием к рантьерской группе. И уже причисляет себя к этой группе\*\*. Его советы Медичи — сохранить конституционную видимость и не обессиливать город налогами — являются поэтому как бы программой его и его друзей.

Вся эта критика — "Рассуждения" писались им для себя и едва ли сделались известными Медичи — не помешала Франческо — мы это знаем — с 1516 года поступить на службу сначала к одному папе Медичи, потом к другому и служить им с перерывами почти восемнадцать лет. Политические его высказывания в том, что в них было наиболее существенным, за это время не изменились. Наиболее полно формулированы они в обширном диалоге "О форме правления во Флоренции"\*\*\*. Диалог написан во второй половине двадцатых годов, но до второго изгнания Медичи (мая 1527), вероятнее всего в 1526 и в самом начале 1527 года. В нем идут и теоретические споры о лучшей форме правления, и разговоры о том, какая форма наиболее подходит для Флоренции. Диалог приурочен к 1494 году, к моменту, когда Медичи только что были изгнаны в первый раз, и, следовательно, в идее наилучшая форма ищется для "народного" правления. Но так как диалог фактически написан при господстве Медичи, то речь идет о преобразовании такого строя, который откровенно

\*"Opere inedite", II, 323.

\*\*"Opere inedite", II, 333: "non hanno [Медичи] fede in noi nè credono, che noi gliamiamo. Questa opinione, è la morte nostra, perchè la non li lass a conferire non allargarsi, non si dimesticare con noi" (они (Медичи) не доверяют нам и не верят, что мы их любим. Такое мнение — наша смерть, ибо оно не позволяет ни советовать с нами, ни быть с нами откровенными, ни водить с нами дружбу. — *Ped.*).

\*\*\*"Del reggimento di Firenze libri due", "Opere inedite", II, 1—223.

превращался в принципат. Программа Гвиччардини теперь, когда столько было пережито и им лично, и Флоренцией и Италией, осталась та же, что и в 1512 году. Это программа преобразования государственного устройства Флоренции по венецианскому образцу. Большой совет, пожизненный гонфалоньерат, синьория, сенат продолжают оставаться главными основами государственного строя. Но разница между "Рассуждением в Логроньо" и "Диалогом" та, что теперь венецианские учреждения копируются с большей точностью. В частности, что особенно важно для раскрытия классовой точки зрения Франческо, сенат, учреждение, в котором должны заседать *uomini da bene*, получает такие же широкие полномочия, как венецианский совет прегадов, твердыня патрицианской власти. В 1512 году Франческо требовал, чтобы "народное" правление дало выход влиянию рантьерской группы. Перед двойной катастрофой Медичи в 1527 году он настаивал на том, чтобы влиянию той же группы был дан выход при медичейской тирании.

Что Гвиччардини думает именно о рантьерской группе, не подлежит никакому сомнению. Это совершенно ясно вытекает из одного места во втором испанском "Рассуждении" (октябрь 1512 года), на которое никто до сих пор не обращал внимания, ибо все интересовались не социальными, а политическими взглядами Франческо.

Мы знаем, что в этом "Рассуждении" он говорит о том, какие группы будут враждебны Медичи и на какие они могут опираться. Опираться — мы тоже знаем — он рекомендует им на свою группу, рантьерскую, а враждебно им, как он предполагает, будет *lo universale della citta*, то есть полноправные граждане, имевшие право заседать в Большом совете. Он перечисляет ряд причин такой враждебности, общих для всего *lo universale*. А потом указывает специальную причину для одной только группы, входящей в его состав. "Боятся, — говорит он, — больше всего владеющие капиталами и торгующие (*danarosi e mercatanti*), чтобы их не задавили налогами и не подвергли имущественному умалению"\* . Речь идет, разумеется, о торгово-промышленной буржуазии, которая при "народном" правлении ни большому налоговому ущемлению, ни другим экспериментам фискального характера, угнетавшим рантьерскую буржуазию, не подвергалась. Это — та группа, на которую опирался Пьеро Содерини и идеологом которой был Никколо Макиавелли\*\*. При "народном" правлении о ней волноваться не приходилось: ей принадлежала власть. При Медичи Гвиччардини ни одной минуты не думал сделать ее опорой власти, ибо определенно причислял ее к *lo universale*, враждебному Медичи.

Размышляя и "рассуждая" о реформах государственного устройства во Флоренции между 1512 и 1527 годами, Гвиччардини

\* "Opere inedite", II, 321.

\*\* См. мою статью "Никколо Макиавелли", предпосланную Собранию сочинений его, изд. Academia, 1934.

все пятнадцать лет думал об интересах того класса, к которому принадлежал. Венецианские образцы, вообще приобретающие в это время популярность среди политических мыслителей\*, помогли ему лишь оформить то, что подсказывалось этими интересами. Чтобы это стало совсем ясно, надо проследить, каково было его отношение к различным группам флорентийского общества.

## VI

Когда Гвиччардини в 1529 или 1530 году стал набрасывать свои "соображения" по поводу "Discorsi" Макиавелли, ему пришлось вернуться к вопросу о наилучшей форме правления, на котором он с такой обстоятельностью останавливался в "Диалоге". Как известно, Макиавелли высказывается за смешанную форму, в которую входят элементы и монархии, и аристократии, и демократии\*\*. Гвиччардини с ним согласен: "Несомненно, что правление, смешанное из трех форм — монархии, аристократии и демократии, — лучшее и более устойчивое, чем правление одной какой-нибудь формы из трех, особенно когда при смешении из каждой формы взято хорошее и отброшено дурное"\*\*\*. Что означает такое согласие и насколько оно показательное?

Оно ничего не означает и ни в какой мере не показательное. Все этого рода формальные рассуждения, отталкивающиеся от Аристотеля и иногда от Платона у гуманистов, от Фомы Аквинского у Савонаролы, повторяющиеся с незначительными разногласиями у Марсилио Фичино, у Бартоломмео Кавальканти, у Макиавелли, Гвиччардини, Джанотти, совершенно не отражают самого существенного во взглядах каждого. Ибо не дают представления о социальных предпосылках их теорий. А как только мы начинаем доискиваться до этих предпосылок, как только начнем вскрывать классовую сердцевину политических теорий, сходство во взглядах сейчас же кончается и становится ясно, что *il governo misto* — смешанное правление — не более как форма, условная дань рационалистическим конструкциям, ставшим некоторым образом обязательными. Какие же классовые предпосылки лежат под подлинными политическими взглядами Гвиччардини?

Прежде всего в сочинениях Франческо, в обеих "Историях", в "Диалоге", в многочисленных рассуждениях и "заметках", в горах писем мы нигде не найдем резких выпадов против дворянства, против феодального класса, против землевладения как политической организации — таких, например, как у Макиавелли в "Рассуждениях на Тита Ливия" и в "Рассуждении о ре-

\* См. G. Toffanin, "Machiavelli e il Tacitismo" (1920), 4 и сл.

\*\* См. "Discorsi", I, 2.

\*\*\* Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli sopra la prima deca di Tito Livio", "Opere inedite", I, 5.

форме государственного строя Флоренции". У Макиавелли зато мы нигде не найдем резких выпадов против "народа" (il popolo), и даже его отрицательному отношению к низшим классам (la plebe) приходится подыскивать доказательства. Для него опасность всегда справа. Для Гвиччардини она всегда слева. Вот как обстоит дело с народом у Гвиччардини: "Не без причины толпу сравнивают с волнами морскими, которые, смотря по тому, куда дует ветер, несутся то туда, то сюда, без всякого правила, без всякой устойчивости... Нельзя отрицать, что народ сам по себе — ковчег невежества и путаницы..."\*. И дальше: "Сказать *народ* — значит поистине назвать бешеное животное (animale pazzo), полное тысячи заблуждений, тысячи путаниц, лишенное вкуса, привязанности, устойчивости". Или — для разнообразия: "Сказать *народ* — поистине значит сказать *бешеный*. Ибо это чудовище, полное путаницы и заблуждений, а его пустые мнения так же далеки от истины, как, по Птоломею, Испания от Индии" (140 и 345)\*\*. Это далеко не одна теория. Гвиччардини не просто не любит народ. Он относится к нему с резким раздражением и страхом. Народ — классовый враг. Классовый враг в обличье непонятной стихийной силы. Это главное. Оттого Гвиччардини так резко разошелся с Макиавелли в оценке социальной борьбы — борьбы между высшими и низшими классами (divisioni). Спор между ними идет о борьбе патрициев и плебеев в Древнем Риме, которую Макиавелли считает благотворным фактором истории. Гвиччардини, возражая Макиавелли, все время думает не только о Риме, и даже думает преимущественно не о Риме. Это видно по тому, что дважды на странице он повторяет одну и ту же мысль, которая, очевидно, заботит его больше всего: что в другой республике, "менее доблестной" (manco virtuosa), или "во многих других городах-государствах" (città) социальная борьба — факт еще более губительный (dannosa), чем в Риме. А общая его оценка социальной борьбы выражена в таких словах: "Хвалить социальную борьбу то же, что хвалить болезнь у недужного из-за хороших качеств лекарства, данного ему". Так как "менее доблестная республика" как две капли воды похожа на Флоренцию, а во Флоренции социальная борьба — борьба низов против богатых и против него самого, то психологические предпосылки всего рассуждения становятся совершенно понятны\*\*\*.

Страх перед народом Гвиччардини прячет под высокомерным аристократическим презрением к "черни". В этом отношении он очень похож на графа Кастильоне. У обоих это — чисто классовое чувство, обострившееся в атмосфере социальной борьбы. Достаточно познакомиться с письмами Гвиччардини, написан-

\* "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Op. inedite", I, 53.

\*\* Цифра в скобках при цитате здесь и впредь означает порядковый номер "Ricordi politici e civili" в "Opere inedite" т. I, в переводе настоящего издания.

\*\*\* См. "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Opere inedite", I, 12, passim.

ными после сдачи Флоренции в 1530 году, чтобы это стало ясно как день. Когда республика была побеждена и Франческо не приходилось уже опасаться ничего, он в письмах перестал скрывать свое настроение. Народ там называется *questiribaldi* — разбойниками — и удостаивается многих, столь же сердитых эпитетов\*. А о том, как он относился к живым представителям народа в спокойное время, может дать представление следующий факт, который рассказывает он сам со спокойной совестью, вполне безмятежно. Один из его слуг умер от чумы в его вилле. Комнату продезинфицировали по всем правилам тогдашней санитарии. Но когда Гвиччардини понадобилось переехать с семьей в эту виллу, он для большей уверенности приказал поселить в подозрительном помещении одну за другой три смены людей\*\*. Эксперимент прошел благополучно, но Франческо получил возможность продемонстрировать свое отношение к малым сим. Не умерли — хорошо, умерли бы — тоже не беда. Какие-то простые люди!

В выборе между аристократическим и демократическим правлением Гвиччардини не колеблется ни одной минуты. "Если бы было необходимо водворить в каком-нибудь государстве-городе (*in una città*) правление чисто аристократическое (*di nobili*) или правление народное (*di plebe*), я бы думал, что мы меньше ошибемся, если выберем аристократическое. Ибо так как ему свойственно большее благоразумие и больше высоких качеств, то можно надеяться, что будет создана какая-нибудь приемлемая форма. Наоборот, с народом, который полон невежества и путаницы и многих дурных свойств, только и можно ожидать, что он приведет все к потрясению и гибели"\*\*\*. Поддерживать свободу (*sostenere la liberta della città*) способен только богатый народ, потому что если народ беден, как, по мнению Франческо, во Флоренции, то каждый будет стремиться разбогатеть и не будет думать ни о славе, ни о чести государства (241). Нет ничего странного, что Гвиччардини самым беспомощным образом останавливается перед успехами народного правления. Если что-нибудь "народу" удастся, особенно если ему что-нибудь удастся там, где он принял счастливое решение вопреки воле высших классов, это повергает Франческо в великое изумление. Например, продолжительное сопротивление флорентийского народа подавляющим силам императора и папы в 1529 и 1530 годах (1 и 136).

Способы управления "народом", которые рекомендует Гвиччардини, те же, что и рекомендуемые Макиавелли. "Кто хочет в настоящее время управлять владениями и государством, должен, где можно, проявлять сострадательность и доброту. А там,

\* См. особенно в письмах к Ланфредини, цитированных в большом количестве *Otetea*, указ. соч., с. 277 и др. Подлинника у меня в руках не было.

\*\* "Opere inedite", IX, 124, 127—128, 132.

\*\*\* "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Opere inedite", I, 15.

где нельзя поступать по-другому, необходимо прибегать к мерам жестоким и бессовестным (*necessario che usi la crudelta e la rosa conscienza*)... Ибо невозможно руководить правительством и государством, желая оставаться при существующих ныне способах, сообразуясь с предписаниями христианской веры... Поэтому, когда я советовал предавать смерти или держать в заключении пизанцев, я говорил не по-христиански, но зато говорил согласно духу и обычаям государства (*seconda la ragione e usodegli Stati*)\*. Эти правила подходят к любому "смешанному правлению".

Макиавелли боится землевладельческих классов и феодального дворянства и не боится народа. Гвиччардини наоборот. Поэтому в "смешанном правлении" у первого Большой совет, включающий в себя народ и облагающий почти непосильным налогом земельную ренту, пользуется суверенными правами, а у второго в таком же "смешанном правлении" он лишен права вести внешнюю политику и раскладывать налоги, а рядом с ним существует сенат, твердыня рантьеров, орган настоящей власти.

Причина различия взглядов ясна. Макиавелли представляет интересы торгово-промышленной буржуазии, которая страдает от надвигающейся все грознее феодальной реакции. Гвиччардини представляет интересы рантьерской группы, которой нужен такой порядок, где землевладение пользуется большими политическими преимуществами перед торговлей и промышленностью.

Та же разница во взглядах обоих на общетальянские вопросы. Макиавелли — страстный пророк единства Италии. Он не представляет себе для нее счастливого будущего без объединения. Италия должна быть единым национальным государством с единой государственной властью, как Испания или Франция. Гвиччардини согласен с Макиавелли в том, что папа и его государство являются причиной, что Италия не стала единой. Но прибавляет: "Я не знаю, однако, было ли отсутствие единства счастьем или несчастьем для нашей страны... ибо, если Италия, разбитая на многие государства, в разные времена перенесла столько бедствий, сколько не перенесла бы, будучи единой, зато все это время она имела на своей территории столько цветущих городов, сколько, будучи единой, не могла бы иметь. Мне поэтому кажется, что единство было бы для нее скорее несчастьем, чем счастьем... Притом судьба ли Италии такова, или ее жители слишком обильно наделены умом и способностями, — никогда не было легко подчинить ее единой власти, даже когда и не было церкви. Наоборот, она всегда стремилась к свободе"\*\*\*.

Гвиччардини страстно хотел, чтобы были изгнаны из Италии "варвары", терзавшие ее с двух концов. Недаром он был, можно

\* Диалог "Del reggimento di Firenze", "Opere inedite", II, 210—211.

\*\* "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Opere inedite", I, 27—28. Я сгладил, чтобы не пришлось долго комментировать, разграничение между монархией и республикой, проводимое здесь Гвиччардини и не имеющее значения для его основной мысли.

сказать, создателем и главным деятелем Коньякской Лиги\*. И недаром самым пламенным его сотрудником по работе в Лиге был Макиавелли. Оба они одинаково ненавидели "варваров" и одинаково искренне и горячо жаждали очищения от них итальянской земли\*\*. Но Макиавелли считал освобождение от чужеземцев лишь первой стадией, за которой должно было последовать объединение. (А Гвиччардини думал только о том, что после освобождения от чужеземного ига каждое итальянское государство заживет по-прежнему полной жизнью при прочном равновесии сил и в глубоком мире, как при Лоренцо Медичи. Франческо не мог подняться до общеталианского патриотизма, который был второй душой Никколо. Он любил свою родную Флоренцию, любил флорентийский строй со "смешанным правлением", но при неперменном условии господства *uomini da bene*. И больше ему ничего не было нужно. Он боялся единства потому, что в единой Италии Флоренция утратила бы свой суверенитет, а ее свобода и ее "смешанное правление" при этих условиях перестали бы быть для него привычной рамкой для политической деятельности. Притом неизвестно было, что станет с земельной рентой при единстве. Наоборот, для торговли и промышленности ломка княжеских торговых монополий в Ферраре, Мантуе, Неаполе и снятие таможенных барьеров между итальянскими государствами были насущно необходимы. Они дали бы ей возможность подняться вновь и включиться при несравненно более благоприятных условиях, чем раньше, в общеевропейскую хозяйственную жизнь. Это понимала торгово-промышленная группа во Флоренции, и этого добивался Макиавелли.

## VII

В конце концов со своей классовой политической идеологией Франческо оказался в тупике. Надеться на то, что Италия избавится от чужеземного ярма после крушения Коньякской Лиги, было уже нельзя. Нельзя было, следовательно, думать, что Флоренция, как государство самостоятельное, займет место в системе внутрииталианского политического равновесия. А после вторичного изгнания Медичи из Флоренции (1527) и в самой Флоренции нельзя было ожидать установления такого порядка, при котором рантьерская группа могла бы быть приобщена к власти и не страдала бы от фискального угнетения. Ибо если удержится "народное" правление, уже при Никколо Каппони более радикальное, чем при Содерини, а со сменой Каппони лидером демократов Франческо Кардуччи оставившее за собою

---

\* Лига, образовавшаяся по инициативе папы из Венеции, Флоренции, Франции, Швейцарии и Англии, против Испании (1526—1527).

\*\* О деятельности Гвиччардини в Коньякской Лиге см. упомянутую мою статью о Макиавелли.

и савонароловские масштабы, то рантьерская группа будет задушена налогами и принудительными займами. Если же, что было более вероятно, республика будет уничтожена, то власть попадет в руки Медичи при таких условиях, при которых ни о каком "смешанном правлении" невозможно будет мечтать: установится принципат. Как несладок был для рантьеров демократический режим, особенно для тех, кто был близок к Медичи, Франческо испробовал на своей шкуре уже в 1527 году. А как несладок будет для нее медичейский деспотизм, ему предстояло убедиться несколько позднее. В 1527—1530 годах, до сдачи Флоренции, он подводил грустные итоги и суммировал столь же грустные предвидения. Результаты этой работы раскрываются в его замечательных "Ricordi politici e civili", которые сравнивали, и не совсем без основания, с "Il Principe" Макиавелли, несмотря на огромные различия между двумя книгами.

"Ricordi" Гвиччардини — высшее выражение разочарования, охватившего флорентийскую крупную буржуазию под градом тех ударов, которые на нее обрушились. Эти четыре сотни коротеньких "заметок", с которыми читатель ниже познакомится полностью, распадаются, грубо говоря, на две группы. Одна — размышления о том, почему в области политики все пошло прахом и нет выхода из тисков, один конец которых представляет "бессмысленную" демократию, а другой — мрачную и беспросветную тиранию. Вторая — размышления о том, как устроить свое существование и как наладить свой образ действий отдельному человеку в эту тяжелую годину.

Мысли первой группы знакомы нам по другим сочинениям Франческо. Он перебирает их снова, то детализирует, то придает им характер более общий, независимый от флорентийских его планов и ограняет стилистически, готовясь рассыпать их, как цветы по просторному полю, по страницам зреющей в его мыслях "Истории Италии". Здесь мы не будем говорить о них. Тем более внимательно необходимо остановиться на заметках, относящихся к категории civili — гражданских, — определяющих поведение отдельного человека как члена общественного коллектива. Основная мысль этой группы такова: так как политическая обстановка представляет трудности совершенно исключительные, то нужно стараться выйти из них с наименьшим уроном. Какой должен царить при этом категорический императив?

Однажды кардинал Гаспаро Контарини, один из немногих чистых людей в курии, напомнил Клименту VII об обязанностях главы христианства. Выслушав его, папа сказал: "Вы правы... Но я вижу, мир пришел в такое состояние, что, кто более лукав (astuto) и более изворотливо (con maggior trama) обделывает свои дела, того больше хвалят, считают более достойным человеком (più valente uomo) и больше прославляют, а кто поступает наоборот, про того говорят, что хотя он человек хороший, а цена ему грош (non val niente)\*.

\* См. De Leva, "Storia documentata di Carlo V", II, 505.



”Мир пришел в такое состояние...” Это оправдывает все, и папа, признанный высший судья в вопросах совести, самым недвусмысленным образом заявляет, что тот, кто хочет жить по евангельским заветам, — круглый дурак... Категорические императивы — тоже порождение социальных условий.

Когда линия индивидуального поведения и, больше того, кодекс личной морали устанавливаются в ситуации почти катастрофической, альтруистические мотивы безмолвствуют: люди думают о собственном спасении. А Франческо кончал ”Заметки” под грохот пушек, паливших по Флоренции, в зареве пожаров, пожиривших села и города ее окрестностей.

То, что формулировать линию индивидуального поведения взялся Франческо, было совершенно естественно. Упрекать его за это — значит не понимать ни политики эпохи, ни ее культуры. Требовалось соединение нескольких данных в одном человеке, чтобы задача эта могла быть выполнена. Нужно было, во-первых, чтобы это был человек богатый, принадлежащий к верхушке буржуазии и в данный момент особенно сильно ущемленный материально. Нужно было, во-вторых, чтобы это был политик, и теоретически и практически способный оценить и общепитальянскую, и флорентийскую государственную конъюнктуру. В-третьих, нужно было, чтобы это был яркий и последовательный представитель Возрождения, плоть от плоти его культуры. И нужно было, наконец, чтобы это был мыслитель смелый, способный не утраститься собственными выводами и не отступить перед ними. Гвиччардини удовлетворял всем этим условиям. И едва ли даже в той плеяде людей, которые блистали вместе с ним в первых рядах итальянской интеллигенции, был другой, в ком эти условия соединялись бы с такой полнотой. То, что Гвиччардини сказал в ”Ricordi”, должно было быть сказано. Без этого культура Возрождения не договорила бы своего последнего слова.

Непосредственно перед ним очередной идеологический этап был формулирован Макиавелли. Но Макиавелли выдвигал свои положения при конъюнктуре, безнадежность которой еще не стала ясна для всех. В частности, для Макиавелли, в котором были неисчерпаемые залежи веры в итальянский народ и в его энергию, конъюнктура была далеко не безнадежной. Он уповал на силу сопротивления итальянской буржуазии, подстрекаемой своим интересом, и на то, что в итальянцах воскреснет боевая доблесть Древнего Рима. Поэтому вопросы реформы общества и государства играли для него первенствующую роль. Поэтому в его руках доктрина Возрождения неуклонно эволюционировала в одном направлении: от индивидуального к социальному и от этики к социологии\*.

Гвиччардини знает все то, что знает Макиавелли, к чему Макиавелли пришел в процессе построения своей политической

---

\* См. упомянутую выше мою статью о Макиавелли.

теории. Он повторяет социологические формулы Макиавелли как нечто давно известное и не вызывающее споров. Он прекрасно знает, что людьми в их поступках больше всего двигает интерес, *l'appetito della goba*, и что это неизбежно в классово-расчлененном, "испорченном" обществе (363). Ему прекрасно известно, что люди больше подчиняются интересу, чем долгу (351), что личные мотивы (*il particolare mio*) заставляют менять заветнейшие убеждения (28), что самые горячие партизаны свободы "бросаются на почтовых" в олигархическое государство, если будут надеяться, что там ждет их лучшее, ибо "почти все без исключения действуют под влиянием интереса (*interesse suo*)" (328). Тот же интерес толкает на воровство служащих, так как "деньги годятся на все, а в современном обществе богатого чтут больше, чем порядочного" (204). Деньги царят не только в частной жизни, но и в политике, где они решают все: уверял же Франческо папу Климента в 1529 году, что Флоренция недолго выдержит осаду "вследствие недостатка денег"\*.

Так обстоит дело теперь; так было всегда. Общественные группировки уже в Древнем Риме происходили не только на почве сословной борьбы, а и потому еще, что низшие классы (*la gente bassa*) поднимались против более богатых и более сильных (*più ricchi e più potenti*)\*\*.

Из этого следует как нечто подразумевающееся само собой, что государство основывается путем насилия (317), а управляется в интересах господствующей группы\*\*\*. Гвиччардини многое еще мог бы сказать по вопросам государственного устройства и управления, по вопросам внутренней жизни государства, социальной борьбы и классовых группировок. Он все знает. Но *теперь* ему этого не хочется. У него нет того увлечения этими проблемами, которое водило его пером в "Истории Флоренции" и в "Discorso Logrogno" и так его одушевляло сравнительно еще недавно, при писании "Диалога". Теперь для таких рассуждений он не видит практической цели. Он вернется к ним в последний раз после взятия Флоренции и окончательного восстановления медичейской деспотии в 1530 году, потому что от него будут требовать соображений по этому поводу и для него самого политические вопросы сделаются вновь вопросами самыми жизненными. Во время осады они не были для него интересны. Во время осады разочарование и пессимизм дошли в нем до высших пределов, и он весь целиком отдался обсуждению вопросов лич-

---

\* В письме к Занге, одному из папских приближенных, от 30 сентября 1529 г. См. Agostino Rossi, "F. Guicciardini e il governo Fiorentino", т. I, append, III, 288.

\*\* "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Opere inedite", I, 16—17.

\*\*\* "Giustizia fussi ineguale in favore di quella parte che aveva in mano tutta la autorità", "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Opere inedite", I, 16. Ср. также "Discorso Logrogno", "Opere inedite", II, 267. "Государство и власть не что иное, как насилие над подданными, у некоторых прикрытое кое-какой видимостью (*qualche titolo*) честности".

ного поведения. Ясно, что размышления его, вращающиеся в этом кругу, оказались пропитаны эгоизмом и практицизмом, сложились в целую систему мелкой и скрупулезной философии самосохранения.

Когда такой первоклассный ум, как Гвиччардини, берется за эти задачи, он говорит вещи незаурядные. По "Ricordi" рассыпано столько перлов наблюдательности и пронизательности, как редко в другой книге афоризмов. Эпиктет и Марк Аврелий, Ларошфуко и Вовенарг кажутся пресными и лишенными остроты по сравнению с Гвиччардини. И разве один только Ницше со своей критикой морали альтруизма, хотя проведенной совсем на других началах, не побледнеет с ним рядом. Формулировки Гвиччардини по прямоте и откровенности нередко граничат с бессовестностью, и современного читателя они иной раз будут коробить: он очень часто будет по-настоящему злиться, путаясь в извилистых аргументациях Гвиччардини и безуспешно порою отыскивая в них начала и концы. Эти вещи бросаются в глаза, и было бы смешно их скрывать. Но после всего, что сказано, едва ли нужно повторять еще раз, что они легко находят свое объяснение.

У Гвиччардини доктрина Возрождения развивается с тенденцией, прямо противоположной тенденции Макиавелли. И мы знаем почему. Главные сочинения Макиавелли написаны до переломного момента, а главные сочинения Гвиччардини — после. Когда безнадежность, подобно густому липкому туману, стала обволакивать все с конца 1526 года, Макиавелли не писал уже ничего, кроме писем. А Гвиччардини писал много. Быть может, вера Макиавелли в свой класс и в его способность справиться с трудностями положения помогла бы ему удержаться и дальше на его точке зрения. До конца своей жизни он на ней удержался. Основная тенденция Макиавелли — от личного к общественному и от этики к социологии и политике — не была сломана. А у Гвиччардини она пошла по-другому: от общественного к личному, от политики и социологии к этике. Больше того, от этики философской к обывательской морали. И если когда-нибудь обывательская мораль облакалась в гениальные формулы, то это именно в "Ricordi" Франческо Гвиччардини.

Так, принадлежность к двум разным группам буржуазного общества, хотя и близким, но в обстановке того времени не находившим примирения, сделала то, что два гениальнейших политических мыслителя Италии, тесно связанных личной дружбой и одно время даже общей работой, оказались представителями противоположных доктрин, каждая из которых знаменует этап в эволюции культуры Возрождения.

Каково же содержание доктрины Гвиччардини?

Человеку приходится иметь дело с себе подобными. Поэтому прежде всего надо установить каждому для себя, что такое люди и как к ним относиться\*.

Гвиччардини уверяет, что люди более склонны к добру, чем к злу, и что, если кто-нибудь обнаруживает "от природы" противоположную склонность, тот — "не человек, а зверь или чудовище", ибо ему не хватает того, что "свойственно природе всех людей" (135).

Это очень оптимистическое положение прямо противоположно основной психологической посылке Макиавелли. Выражает ли оно подлинное убеждение Франческо? Едва ли. Оно принадлежит к числу ходячих формул буржуазной житейской морали, всеми повторяемых, никем не чувствуемых. Оно было настолько распространено, что Франческо Берни внес его в число тех морализирующих заставок, которыми он любил начинать каждую новую песнь переделанного им "Влюбленного Роланда". В первой октаве XIV песни мы находим такие стихи:

...Ogni uomo e inclinato a ben volere  
Ed a far bene all'altro; e se fa male,  
Esce dal proprio corso naturale\*\*.

Афоризм этот никак не гармонирует с остальными "Ricordi". И никак не вяжется с духом пессимизма, который пропитывает "Ricordi" насквозь. Мыслей, ему противоречащих и его ограничивающих, так много, что от него в конце концов ничего не остается. Прежде всего в одном месте говорится прямо, что "люди большей частью либо неразумны, либо злы..." (19), а в другом — что "дурных людей больше, чем хороших" (201). Достаточно этих двух афоризмов, чтобы лишить смысла основное положение\*\*\*. И есть целый ряд оговорок, сводящих его на

\* Чтобы читатель имел некоторые ориентировочные указания относительно различных частей "Ricordi", нужно помнить, что из 403 "Заметок" раньше всего, до 1525 года, записаны те, которые идут под номерами 222—393. Следующими, после апреля 1527 года, записаны номера 394—403. А те, которые печатаются первыми, то есть номера 1—221, записаны позже всех, 1529—1530 годах, во время осады Флоренции и частью, возможно, переработаны после 1530 года. Читатель увидит, что некоторые мысли повторяются дважды не только по содержанию, но и по форме — признак, что Гвиччардини придавал им большое значение и снова к ним возвращался.

\*\* "В каждом человеке внедрена склонность любить другого и делать ему добро; если же он делает зло, то изменяет своей природе". И едва ли Берни заимствовал эту мысль у Гвиччардини или Гвиччардини у Берни. "Влюбленный Роланд" Берни был окончен в 1531 году, а 135-й ricordo принадлежит к числу тех, которые написаны около 1530 года и не были опубликованы. Просто это были очень распространенные прописные мысли.

\*\*\* Хотя Geffroy в известной статье о Гвиччардини ("Etudes italiennes", 1898, с. 186—187) помещает его среди небольшого количества "очень благородных выражений, идущих от величия души и от голоса совести", Франческо, вероятно, усмехнулся бы, услышав такой отзыв.

нет едва ли не окончательно (134 и 225). Но едва ли Франческо серьезно думал, что оно чему-нибудь помогает, потому что все его практические советы составлены в расчете на то, что придется иметь дело с людьми либо просто дурными, либо в лучшем случае с недостаточно хорошими (265 и 24). Эти мысли мы встречаем не только в "Ricordi". "Люди больше любят самих себя, чем других"\*". "Никакая дружба в наши дни не стоит ничего, если она не сопровождается выгодой: где нет выгоды, нельзя придавать дружбе никакой веры"\*\*\*. Друзей, конечно, надо ценить, но почему? Потому, что они могут пригодиться. "Друзья помогают, а враги вредят тогда и там, где меньше всего ожидаешь" (14). Точка зрения — чисто утилитарная. Гуманисты XV века, которые, рассуждая о дружбе, повторяли положения Цицеронова "Лелия", восстали бы против тезисов Гвиччардини самым решительным образом. Они писали свои латинские трактаты в спокойные времена, и им не приходилось бороться за существование в таких исключительно тяжелых условиях, как людям, пережившим разгром Рима и осаду Флоренции.

Тем не менее интеллигентские традиции заставляли, говоря о человеке, помнить веления гуманистического канона. Франческо не мог от них уклониться. Но он повторяет гуманистические славословия индивидууму как-то удивительно нехотя, без малейшего подъема и всегда с оговорочками. "Ошибается тот, кто говорит, что образование портит человеческие головы. Может быть, это и верно, если у кого голова слабая. Но если образование встречает хорошую голову, человек становится совершенным. Ибо хорошие природные качества, соединенные с хорошими приобретенными, создают благороднейшее целое" (313). И нужно ценить не только образование, но в конце концов и светский лоск. "Светский лоск и умение делать все как следует дают достоинство и хорошую репутацию даже одаренным людям, и можно сказать, что, если у кого этого нет, тому не хватает чего-то. Не говорю уже о том, что изобилие светских способностей открывает путь к милостям государей, кладет иногда начало и становится причиной большой пользы и возвышения. Ибо свет и государи теперь не таковы, какими они должны быть, а таковы, какими мы их видим" (179). Балдессар Кастильоне подписался бы под основной мыслью целиком, но, как истый придворный, с негодованием отверг бы заключительный афоризм и протестовал бы против утилитарной тенденции всего рассуждения. А для Гвиччардини в ней было главное. Польза на первом месте. Из этого вытекает все.

Одно из основных жизненных правил его — быть начеку, всегда с трезвой головой, всегда готовым все взвесить обстоятельно, со всех сторон, и не раз и не два; никогда не забывать ни одной предосторожности. И прежде всего обдумывать как следу-

\* "Discorso ottavo" (1531), "Opere inedite", II, 364.

\*\* "Discorso ottobre 1512", "Opere inedite", II, 323.

ет свои решения: "Чем больше и лучше думаешь о чем-нибудь, тем лучше понимаешь это и делаешь" (83). Вот этому искусству лучше думать Франческо и хочет научить тех, для кого он набрасывает свои заметки. Наука тяжелая и путаная. Пусть кто-нибудь прочтет *ricordo* 156 и попробует проделать умственную процедуру, в нем изложенную!

Чтобы не ошибиться при обдумывании, не нужно обладать большим умом. Нужно только уметь рассуждать: хорошее суждение поэтому нужно ценить больше, чем хороший ум (232), а ум серьезный и зрелый — больше, чем живой и острый (403). Вот на этот ум — серьезный, но не живой, зрелый, но не острый — и на способность рассуждать возлагается задача: все взвешивать, все принимать во внимание и — надо думать — не приходить в смущение, читая его длинные рацеи.

Франческо не жалеет советов, чтобы помочь человеку, лишенному острого и живого ума, но готовому думать и рассуждать сколько угодно. "В важных вопросах нельзя судить правильно, если не знать хорошо всех подробностей, ибо часто незначительное обстоятельство меняет все дело, но я нередко видел, что иной судит правильно, будучи знаком только с общим положением, а зная все частности, судит хуже. Ибо кто не обладает умом очень совершенным и вполне свободным от страстей, узнав много подробностей, легко путается и ошибается" (393). Особенно трудно судить о будущем (304, 23 и 318). Для правильного предвидения нужны особые качества. "Прошлое светит будущему, ибо мир был всегда одинаков. Все, что есть и будет, было в другие времена; одни и те же факты возвращаются, только под другими именами и иначе окрашенные. Но узнает их не всякий, а лишь тот, кто обладает мудростью, кто прилежно наблюдает их и изучает" (336).

Гвиччардини вполне отчетливо формулировал здесь не только социологическую проблему, но и социологический закон. Настолько отчетливо, что хочется задать себе вопрос, не были ли известны Вико\* Гвиччардиниевы "*Ricordi*". Ведь вся теория круговорота, "*corsi e ricorsi*" в зародыше скрыта в афоризме: "Одни и те же факты возвращаются, только под другими именами и иначе окрашенные". Правда, рядом с этим афоризмом мы находим у Гвиччардини и другой, в котором он, по-видимому, намекает на учение Макиавелли: "Как сильно ошибаются те, кто на каждом слове ссылается на римлян. Нужно иметь государство, находящееся в таких условиях, как Рим, и уже потом устанавливать правление по римскому образцу. Хотеть следовать примеру римлян при различии условий — то же, что требовать, чтобы осел мог бежать со скоростью коня" (110). Как будто Макиавел-

---

\* Вико, несомненно, знал большую "Историю Италии" Гвиччардини; он называл его "безусловно первым историком из пишущих на итальянском языке" ("*italicae linguae historicus omnium facile primus*"). См. "*De mente heroica*", цит. у Treves, "*Il realismo politico di F. Guicciardini*" (1931), 122.

ли учил кого-нибудь слепо подражать римским государственным порядкам, а не доказывал, анализируя римские отношения, что "факты возвращаются, но только под другими именами и иначе окрашенные". Он был лишь более последователен в своем социологизме, чем Гвиччардини, и не сбивался, как он, на каждом шагу в практицизм и вульгарный утилитаризм.

Что интересует Франческо, когда он возвращается к вопросу о предвидении? Прежде всего как предохранить себя от ошибок (81). Но трудности предвидения не должны приводить в отчаяние и заставлять "отдаваться на волю судьбы, подобно животному: наоборот, надо работать головой, как подобает человеку" (382). И здесь, как во многих других вопросах, Гвиччардини быстро покинул научную почву и сполз на гладкую дорожку дешевой обывательской морали. На ней он чувствует себя особенно легко и уверенно и не скрывает этого. Знать и действовать — вещи разные. Знать всегда полезно, а действовать следует смотря по обстоятельствам, то есть как нужно и как выгодно (322). Больше, чем изучать, нужно думать. Глупо поступают те, кто тратит на чтение книг время, которое могло бы быть использовано для обдумывания. "Чтение утомляет и духовно и физически; оно похоже скорее на труд чернорабочего, чем ученого" (208). Что же раскрывается перед человеком, когда он много думает? Разные вещи: во-первых, очень важное наблюдение об относительности всего.

"Ни одна вещь не благоустроена так, чтобы ее не сопровождало некоторое неустройство. Ни одна вещь не бывает так плоха, чтобы в ней не было чего-нибудь хорошего, и ни одна вещь — так хороша, чтобы в ней не было чего-нибудь плохого". Такова посылка, в бесчисленных отрицаниях которой ум, если он не очень "серьезный и зрелый", разберется тоже не без труда (213). Но этим не исчерпывается теория относительности Гвиччардини. Помнить о том, что все относительно, нужно всегда. "Большая ошибка — говорить о чем-нибудь без разбора и без оговорок, *indistintamente e assolutamente*, так сказать, по правилам. Все заключает в себе различия и исключения, так как разнообразны обстоятельства, которые нельзя мерить одной меркой. А различия и исключения не описаны в книгах. Нужно, чтобы им научил опыт" (6). Опыт в глазах Гвиччардини является, по-видимому, главным руководителем в дебрях относительности, и он не раз возвращается к этой мысли. "Пусть верят молодые, что опыт учит многому, и в хороших головах больше, чем в плохих" (292). "Невозможно, хотя бы и с самыми совершенными природными задатками, понимать хорошо и разбираться в известных подробностях без помощи опыта, который один этому учит" (293). А пока не научил опыт, не нужно ослеплять себя излишним оптимизмом. "Лучше надеяться мало, чем много, ибо чрезмерная надежда отнимает усердие и приносит больше огорчений, когда желаемое не осуществляется" (299). Другое правило, столь же необходимое в жизни, подсказывается поговоркой: нужно

пользоваться выгодами времени (79 и 298). Это значит, что, если тебе представляется случай, которого ты ждал и желал, не теряй его: действуй быстро и решительно. А когда случай трудный и решение для тебя тягостно, оттягивай как можно больше, потому что время будет работать за тебя (54). Но раз решение принято, сколько бы времени на него ни ушло — обсуждать лучше долго, чем мало, — действовать нужно тоже быстро и энергично (191). И раз вы начали дело, недостаточно дать ему движение, а нужно упорно вести его до самого конца, ибо по своей природе всякое дело трудно (192).

В жизни важно выбирать момент. "Те же вещи, если их предпринять вовремя, легко удаются и осуществляются как бы сами собою, а если предпринять их раньше времени, не только не удаются в тот момент, но затрудняют часто их осуществление в момент надлежащий. Поэтому не бросайтесь в дело очертя голову, не ускоряйте его, ждите, пока оно созреет и дойдет до своего срока" (78 и 339). Не следует пренебрегать незначительными фактами. "Малые, едва заметные начала часто являются причинами и больших катастроф, и большого благополучия. Поэтому признак величайшего благоразумия — заранее замечать и взвешивать каждое событие, хотя бы и самое малое" (82).

К поучениям этого рода надо отнести и несколько запутанных моральных афоризмов, целиком или отчасти скрывающих свой практический нормативный характер под отвлеченной формулой. Вот несколько образцов: "Не следует ставить себе в похвалу, когда делаешь или не делаешь что-нибудь, что, будучи сделано не так или не сделано совсем, вызвало бы порицание" (350). Та же мысль, выраженная несколько по-иному: "Многое, что делается, вызывает у людей порицание или похвалу, а заслуживало бы противоположного суждения, когда бы было известно, что бы вышло, если бы это было сделано наоборот или не сделано вовсе" (284).

Эти очень извилистые рассуждения с многоэтажными отрицаниями, из которых в окончательном итоге никак не может получиться утверждения, с избытком условных предложений, ограничивающих основные мысли, служат переходом к серии других, где Гвиччардини поучает, как обставлять себя в жизни, чтобы не быть застигнутым врасплох. Сначала он напоминает о некоторых правилах, элементарных и нейтральных. Не нужно доверять письмам опасные сообщения (193). Не нужно без нужды говорить плохо о других (7 и 310), а уж если без этого нельзя обойтись, то пусть сказанное задевает только одного, потому что "великое безумие, желая оскорбить одного, обидеть многих" (8). Если же ты не желаешь, чтобы о чем-нибудь знали, то не говори этого совсем никому, ибо "люди болтают по разным побуждениям: кто для выгоды, кто просто зря, чтобы показать, что он что-то знает" (49), и хотя облегчить душу (*sfogarsi*), поделившись с кем-нибудь горем или радостью, иной раз и приятно, но вредно. Умнее, хотя и трудно, воздержаться от этого (272).



Дальше начинается менее нейтральное и более острое. В тех же целях осторожности бывает полезно притворство, "хотя оно вызывает презрение и ненависть" (267). Если у тебя просят чего-нибудь, не отказывай прямо, а отделивайся ничего не значащими словами, потому что прямой отказ вызывает неудовольствие, а обстоятельность часто поможет потом уклониться от исполнения просьбы (36). "Очень полезно умело показать, что то, что ты делаешь в своих интересах, делается во имя общественного блага" (142). А иногда просто нужно лгать: "Отрицай, если не хочешь, чтобы что-нибудь знали, и утверждай, если хочешь, чтобы чему-нибудь верили, ибо, хотя за обратное будет говорить многое и оно будет почти несомненно, все-таки смелое отрицание или утверждение часто склонит на твою сторону слушающего" (37). Польза притворства или обмана еще больше, если у человека репутация правдивого (104 и 267), но, если даже он известен как притворщик, ему все-таки нередко верят: верили же величайшему на свете обманщику Фердинанду Католику (105). В частности, не следует показывать, что ты на кого-нибудь в претензии, потому что в будущем этот человек может тебе пригодиться, а если он будет знать, что ты что-то против него имеешь, с него ничего не возьмешь (113). Особенно глупо выражать негодование против таких людей, которым по высокому их положению невозможно отомстить. Тут нужно "притворяться и терпеть" (249). Если приходится действовать на высоких постах, нужно "скрывать все неприятное, раздувать все благоприятное". Это, конечно, своего рода надувательство (*ciurmeria*), но оно необходимо: образ действия стоящих еще выше больше зависит от их мнения о людях, чем от дела (86).

Если моральный кодекс Гвиччардини оказался недалек от того, чтобы превратиться в катехизис лицемерия, не его вина. Вина в социальной обстановке и его классовом положении в ней. Вспомним еще раз слова Климента VII: "Мир пришел в такое состояние, что..." Для Гвиччардини и тех, кого он представляет, по-другому нельзя. Нужно думать о себе. Жизнь таит в себе трудности и опасности огромные. Кризис давит на все и истощает все ресурсы. И самое главное: нет защиты. Нужно защищаться самому. Этому должно служить все: напряжение всех ресурсов ума и рассудительности, анализ моральных лабиринтов, способность не теряться никогда, не обольщаться и не ослепляться ничем, разбираться в настоящем, искать просветов в тумане будущего и, если без этого нельзя, твердо занять позицию по ту сторону добра и зла.

## IX

Особую группу изречений составляют мысли, посвященные вопросам хозяйственным. Они говорят больше всего о бережливости — "один дукат в кошельке делает тебе больше чести, чем

десять, из него истраченных” (45 и 386), об экономии, о необходимости соразмерять расходы с доходами. “Не трать за счет будущих доходов, потому что они нередко оказываются меньше, чем ты думал, или их не оказывается совсем. А расходы, наоборот, всегда увеличиваются. В этом заключается ошибка, из-за которой разоряются многие купцы”: они входят в долги, а потом, когда дела пойдут не так хорошо, запутываются (55 и 278). Тот, кто зарабатывает, конечно, может тратить больше, чем тот, кто не зарабатывает. Но тратить широко, полагаясь на заработки и не составив себе раньше хорошего капитала, — безумие, ибо заработки могут кончиться в любой момент (385). Вообще экономия вовсе не в том, чтобы воздерживаться от трат, а в том, чтобы тратить с толком (56 и 384).

Все это — мелкие советы и советики, которых сколько угодно в старых купеческих записных тетрадах, i *zibaldoni*, и которым уже за сто лет до Гвиччардини Леон Баттиста Альберти придал классическую форму в “Трактате о семье”.

В XVI веке последняя лавочница во Флоренции знала такие правила назубок. Почему Франческо вздумалось записывать именно их, когда из своего хозяйственного опыта он мог поделиться чем-нибудь гораздо более интересным? С недавних пор мы можем говорить об этом с полной уверенностью, ибо в 1930 году один из его потомков, Паоло Гвиччардини, издал хранившиеся в семейном архиве “Воспоминания” (“*Ricordanze*”), посвященные различным эпизодам деловой жизни Франческо\*. Записи эти сделаны во второй половине 1527 года, во время вынужденного бездействия в деревенской тиши. Они дают нам полное представление о денежных делах Франческо.

Гвиччардини были членами Шелкового цеха (*seta*)\*\* и имели мануфактуру (*la bottega*), передававшуюся из рода в род. Франческо уже в 1506 году внес в это дело из приданого жены 600 дукатов. В 1513 году умер его отец, оставив, как мы знаем, каждому из пяти сыновей по четыре тысячи дукатов движимостью и недвижимостью. Франческо достались, между прочим, два имени. Он вступил — уже лично — в круг флорентийской рантьерской буржуазии. Год спустя он вложил в новое шелковое дело две тысячи четыреста дукатов, частью из отцовского наследства, частью из экономий, сделанных в Испании. В 1516 году эта компания, в которой участвовали все его братья, была преобразована, и пай Франческо увеличился до трех тысяч дукатов.

В 1518 году он купил за девятьсот дукатов новое имение у Галилео Галилеи, деда великого ученого, в 1519 году вложил тысячу флоринов в товарищество, ведущее дела во Фландрии, в 1520 году купил за пятьсот шестьдесят дукатов еще одно

---

\*“*Ricordanze inedite di F. Guicciardini pubblicate ed illustrate da Paolo Guicciardini*”, 1930, VIII.

\*\*Сам Франческо был членом цеха Калимала, древнейшего и самого важного из семи старших.

имение, и в том же году, после преобразования шелкового дела, пай его в нем вырос до трех тысяч пятисот дукатов. В 1519 году он одолжил тысячу флоринов жениным братьям, Сальвиати, в 1522 году за две тысячи восемьсот дукатов купил четвертое имение, Финоккиетто, которое потом описывал Макиавелли в известном письме к нему, а год спустя приобрел пятое имение, Поджо, в Поппиано за тысячу восемьсот дукатов. В 1524 году он вложил еще в одно предприятие во Фландрии полторы тысячи дукатов, и в том же году его вклад в шелковое дело, которое вел его брат Джироламо, дошел до девяти тысяч девятисот тридцати шести дукатов. В 1527 году он купил еще два имения — одно Арчетри, в Санта Маргарита а Монтичи, за три тысячи сто дукатов, славное вдвойне тем, что там в 1530 году была ставка принца Оранского, и тем, что позднее там была написана "История Италии", и другое, маленькое, счетом седьмое, Пулика в Муджелло, за четыреста дукатов. Все это, не считая огромного количества серебра, подробно описанного тарелка за тарелкой в "Воспоминаниях", и всякой другой драгоценной движимости\*.

Все эти крупные вложения в землю, все вклады в торговые и промышленные предприятия Гвиччардини мог делать только благодаря большим окладам, получаемым в качестве губернатора Пармы, Реджо и Модены, потом президента Романьи и папского уполномоченного при армии Коньякской Лиги\*\*. Потом на покупку земель стали обращаться, по-видимому, и доходы с предприятий. А когда подросли дочери, — у Франческо, страстно желавшего иметь сына, были одни дочери, числом восемь, из которых четыре выросли и были выданы замуж, — Гвиччардини для каждой приготовил приданое, которое безболезненно могло быть извлечено из находившихся в обороте капиталов.

Таким образом, хотя Франческо сам не вел ни торговых дел, ни хозяйства на земле, деньги свои пристраивать он умел совсем неплохо. А трое из его братьев были настоящими и удачливыми кушачами. Правда, 3 февраля 1523 года Франческо сделал следующую запись: "До сегодняшнего дня во многих делах мне очень везло, но никогда не везло в делах коммерческих" (360), но эту жалобу нужно, очевидно, понимать так, что папская служба и земля давали ему больше, чем вклады в торговые и промышленные предприятия. И совершенно ясно, что, если бы он хотел давать настоящие хозяйственные наставления деловым людям, ему ничего не стоило придумать советы, слегка поднимающиеся

---

\* Все имения были у него конфискованы народным правительством в 1529 году, но возвращены после окончательной реставрации Медичи.

\*\* Когда он был вызван Климентом VII в Рим, чтобы принять на себя руководство иностранной политикой курии (1526), он оставил своим заместителем брата Якопо с условием, что тот из жалованья и доходов будет платить ему две тысячи дукатов в год, а все, что окажется сверх четырех тысяч, будет делиться пополам. Первый год дал каждому по две тысячи сто двадцать флоринов. См. "Ricordanze", 32, с. 35.

над старушечьей хозяйственной мудростью, учившей не зарываться в расходах. А братья его Луиджи и Джироламо — настоящие дельцы, — вероятно, нашли бы чересчур наивными и такие экономические максимы, как выпад против торговых монополий в Ферраре (316) и совет вкладывать капиталы в такие дела, за которыми еще не установилась репутация прибыльных и где, следовательно, меньше конкуренции (178).

Франческо, когда было нужно, умел с полной ясностью и исчерпывающей убедительностью дать анализ чрезвычайно сложного хозяйственного положения Флоренции после падения республики, очень отчетливо раскрыть связь промышленности и торговли с финансами\*. Способность дать такой анализ доказывает одно: что Франческо совершенно свободно разбирался в самых трудных вопросах экономики, а в "Ricordi" не касался их умышленно. Если бы Зомбарт в своем исследовании о происхождении и росте "буржуазного духа" имел перед глазами высказывания Гвиччардини, они позволили бы ему обогатить книгу материалом чрезвычайно красноречивым\*\*.

Все дело в том, что в "Ricordi" Франческо вовсе не хотел учить настоящих деловых людей, а давал, как всегда, практические советы, преследующие моральную цель: бережливость лучше защищает человека в жизни, чем расточительность, так же как и умнее избегать конкуренции\*\*\*. Бережливость также помогает не захлебнуться в смутное время, когда "мир пришел в такое состояние...", как и жизненный опыт, как и хорошее суждение, как и умнее предвидеть, как и искусство вовремя солгать или одурачить наивного человека (*uomini grossi*, 36). Вообще, чтобы не захлебнуться, годится все. Ни к чему только широкие душевные жесты, порывы великодушия, зовы благородства, идеалистические взлеты. Это пусть остается безумцам, то есть идеалистам.

Конечно, иной раз случается, что "безумцы" "свершают деяния более крупные", чем люди "умные", но это только потому, что они больше доверяются счастью, чем разуму, а счастье иной раз может наделать невероятно много. Например, в 1529 году "умные во Флоренции склонились бы перед грозой, а безумцы, желая, рассудку вопреки, устоять перед нею, свершили до сих пор\*\*\*\* то, что никто не считал бы наш город способным" (136). Франческо констатирует эти вещи с удивлением, считает их иррациональными и отнюдь не рекомендует сделать методы действия "безумных" максимой всеобщего поведения: не как Макиавелли в 1527 году. Гвиччардини стоит за контроль холодного рассудка над всем, и над "безумием" в особенности.

\* В письмах 1530 и 1531 годов к Ланфредини, см. Otetea, указ. соч., с. 281—282.

\*\* См. "Der Bourgeois", 137 и сл.

\*\*\* Протесты против монополий Альфонсо д'Эсте объясняются, по-видимому, тем, что Гвиччардини со времен Коньякской Лиги ненавидел герцога злой ненавистью и не упускал случая обвинить его в тирании.

\*\*\*\* Писалось, когда исход осады был еще неизвестен.

Благородные слова и благородные мысли хороши только тогда, когда они ни к чему не обязывают. Как только они начинают обуславливать какое-нибудь действие, благородство сейчас же призывается к порядку, а власть переходит к эгоизму и к философии мелких дел. Вот, например, размышление, в котором эта борьба идеализма с практицизмом разыгрывается, можно сказать, на глазах у читателя. "Кто наделен умом более положительным, тому, несомненно, больше везет, и живет он дольше, и в известном смысле более счастлив, чем тот, кто наделен умом возвышенным, ибо благородный ум чаще всего мучит и терзает своего обладателя. Зато один ближе к грубому животному, чем к человеку, а другой поднимается над человеческим уровнем и приближается к небесным созданиям" (337 и 60).

У Франческо, который вспомнил тут, вероятно, известное рассуждение "О достоинстве человека" Пико делла Мирандола, очень мало веры в то, что кто-нибудь захочет "приблизиться к небесным созданиям", подвергаться за это "мукам и терзаниям", терпеть горе от ума. Не для возвышенных натур его поучения, а для тех, кто предпочитает быть счастливым и жить без мук долго и хорошо. Да и сам он едва ли выбрал бы жизненную долю "ума возвышенного". Он не может уклониться от его апологии: этого требует ренессансный канон, как требует признания человеческой природы, склонной к добру. У Франческо не хватает смелости Макиавелли, который не боится ломать канон. Но, восхваляя человека идеализованного, крестник Марсилио Фичино, мистика и идеалиста, практически считается только с человеком реальным.

Эту двойственность, которая так понятна в эпитафиях Возрождения, нужно всегда иметь в виду. Иначе трудно понять Гвиччардини\*. Мы будем встречаться с нею всякий раз, когда ему придется высказываться по аналогичным вопросам. Мы видели ее образцы и раньше: когда рядом с признанием человеческой природы, склонной к добру, встретили совершенно противоположные положения и рядом с высокой отвлеченной оценкой дружбы — вполне утилитарную ее переоценку. И видели, что для практических выводов посылками служат не отвлеченные декларации в духе требований канона, а все то, что им противоречит и их ограничивает. Вот еще примеры того же ряда. Честь. Деликатный сюжет, в котором Гвиччардини всегда проявляет большую щепетильность. Но мысли его текут и в нем извилисто. "Кто высоко ценит честь, тому все удастся, потому что такой человек ставит ни во что труды, опасности, деньги. Я испытал

\* Я боюсь, что ее упустил из виду Франческо Эрколе в своей последней книге "Da Carlo VIII a Carlo V" (1932), в которой он дал очень интересную, но спорную сравнительную характеристику Макиавелли и Гвиччардини. См. с. 303—309.

это на себе и потому могу говорить и писать: мертвы и пусты деяния людей, лишённые этого пламенного побуждения" (118). И еще: "Нельзя осуждать честолюбие и нельзя порицать честолюбивого человека, который ищет славы средствами честными и почетными. Именно такие люди творят дела великие и громкие. В ком нет этого стремления, тот — человек холодный, наклонный больше к покою, чем к деятельности" (32). Это — теоретическая декларация, составленная по канону и согласно канону идеализирующая человеческую природу. Но она так и остается декларацией, ибо пребывает вне действия катехизиса практического поведения, который составляет сущность "Ricordi", и во всяком случае противоречит тем размышлениям, которые практическим умам отдают предпочтение перед возвышенными. К этой декларации имеется непосредственная утилитарная поправка (15 и 16): всякий стремится к величию и к почестям, ибо все хорошее, что с ними связано, бросается в глаза и привлекает, а труды, опасности, неприятности, неизбежно их сопровождающие, остаются скрытыми; если бы и они были столь же явны, стимулы честолюбия безмолвствовали бы, за исключением одного: "Чем больше люди окружены почетом, уважением и обожанием, тем больше они приближаются к богу и становятся на него похожи. А кто не захочет быть подобным богу?" Тут две мысли: заключение — дань неизбежному канону в духе крестного, Марсилио, и начало — осторожное одергивание человека, преисполненного честолюбивыми стремлениями, и толкание его к тому "покою", который только что осуждался. Совсем плохо приходилось "чести", когда она в пылу классовой борьбы попадалась под ноги проповеднику истин по идеалистическим канонам. В 1531 году в одном из рассуждений он говорит о том, как выйти из финансового кризиса, и между другими возможностями предлагает объявить мораторий по старым долгам всех категорий. Он, конечно, знает, что это разорит многих мелких держателей государственных бумаг, и поэтому сухо прибавляет: "А о том, честно это или нет, я предоставлю судить другим"\*.

Та же половинчатость в вопросе о патриотизме. Весь "Диалог" полон патриотическими изъяснениями. А вот что говорится в "Ricordi" (189): "Все города, государства и королевства смертны... Поэтому гражданин, присутствующий при гибели своего отечества, должен жалеть не столько о его несчастье и называть его злополучным, сколько о своем собственном. Потому что с отечеством случилось лишь неизбежное, а беда постигла того, кому пришлось родиться во время такого несчастья". Лоренцо Валла за сто лет до Франческо говорил — и это было вполне в духе эвдемонистического индивидуализма, составлявшего сущность его доктрины: глупо умирать за родину, ибо если ты умер, то умерла и родина. Доктрина Валлы мало влияла на канон

\* "Discorso ottavo", "Opere inedite", II, 365.

Возрождения. Но Гвиччардини многим ей обязан, хотя берет от нее только выводы, а не обоснование.

И в вопросе о религии Франческо высказывается по-разному, смотря по обстоятельствам. Канон в этом вопросе скорее поощрял критику и свободный анализ, но Гвиччардини с 1516 года служил папам, а служба папам была несоместима с резко вольнодумными мыслями. По существу, Гвиччардини, конечно, был к религии равнодушен: слишком холодный и острый был у него ум, чтобы с ним могла совмещаться настоящая религиозность. Но высказывать это равнодушие ему было нельзя. Когда он высказывался, он говорил другое. "Я не хочу отступать от христианской веры и от божественного культа, наоборот, я готов укреплять его и усиливать, отменяя лишнее, удерживая нужное и побуждая умы хорошенько осмыслить, с чем нужно считаться и что можно смело отбросить" (254). Это — идеология чистой воды, а тут же рядом политика, в основном — мысль Макиавелли: "Никогда не боритесь с религией и вообще с тем, чему приписывается божественное происхождение, ибо все эти вещи слишком сильно укоренены в умах глушцов" (253). Сопоставляя эти два изречения, естественно прийти к выводу, что умеренно скептический конец первого афоризма — дань канону, его начало — подачка "положительным умам", которые, поскольку дело касается религии, в другом афоризме без всяких церемоний обозваны дураками. Скептическая линия в оценке религии укрепляется, когда Франческо приходится говорить о чудесах. "Во всякое время чудесами люди считали вещи, которые даже близки к чудесам не были. Свои чудеса были у всякой религии. Это совершенно несомненно. Поэтому чудеса являются слабым доказательством истинности одной веры больше, чем другой. Чудеса, быть может, свидетельствуют о могуществе бога, но столько же языческого, сколько христианского. И, может быть, не будет грехом сказать, что чудеса, как и пророчества, — тайны природы, смысл которых непостижим для человеческого ума" (123). Если святой или святая помогают людям, как думают, дождем или хорошей погодой, то оказывается, что разные святые действуют одинаково, и значит это, что божья милость помогает всем. "А быть может, эти вещи больше коренятся в человеческих мнениях, чем в том, что происходит в действительности" (124). Все время скептицизм борется с обывательским легковерием, и ни на минуту не чувствуется, что в пишущем говорит что-то большее, чем равнодушие.

Равнодушие Франческо к религии кончилось, когда она из вопроса личной совести превращалась в объект политики. Тут интерес к религии и вере сразу поднимался. В дни осады Флоренции, в полуизгнании на своей вилле, Франческо размышлял о том, что помогает его согражданам держаться против соединенной армии папы и императора целых семь месяцев, когда "никто бы не поверил, что они продержатся семь дней". Он задавал себе вопрос, не следует ли приписать это вере в пророчес-

тва Савонаролы, и задумывался о том, что такое вера. И вот какое чеканное ее определение вышло из-под его пера: "Вера — не что иное, как твердое и почти уверенное упование на что-то такое, что для разума непостижимо, а если и постижимо, то упование с большей решительностью, чем в том убеждают разумные доводы. Поэтому тот, кто верит, становится упорен в том, во что верит, и идет по своему пути бесстрашно и решительно, презирая трудности и опасности, готовый терпеть последние крайности" (1). Эта формула далась Франческо потому, что он задумался, как политик и человек действия, о причинах успешной обороны Флоренции. Ибо если вера — такое могучее орудие, если она может перевернуть психику целого народа, то политик не имеет права ею не интересоваться. Совершенно так же, как не имеет права не считаться с тем, что "слишком сильно укоренено в умах глупцов". Франческо лишней раз мог убедиться в том, насколько был прав Макиавелли, посвятивший вопросам веры и религии — рассматриваемым именно социологически, не психологически — столько глав в "Discorsi". Продолжая свои размышления о религии, Франческо прямо присоединяется к одному из выводов Макиавелли, не называя его: что религия (разумеется, конечно, христианская, потому что о языческой религии Макиавелли говорил совсем другое) портит мир, ибо "размягчает дух, ввергает людей в тысячи заблуждений и отвлекает их от многих задач благородных и мужественных" (254).

Передвижение религии в область кругозора политики ставит под анализ вопросы о церкви и духовенстве. Тут Гвиччардини высказывается более определенно, а иногда, против обыкновения, и совсем определенно. Естественно, что папа и Рим попадают ему под перо первыми: они и в жизни были ему близки. Он ведь служил им много лет. "Нельзя наговорить о римской курии столько дурного, чтобы она не заслуживала еще больше. Это позор, это образец всех пороков и всякой скверны на свете"\*.

"Три вещи хотел бы я видеть, раньше чем умру, но боюсь, что, если даже проживу еще долго, не увижу ни одной: благоустроенную республику в нашем городе, Италию, освобожденную от всех варваров, и мир, избавленный от тирании этих преступных попов" (236). "Не знаю, кому больше, чем мне, противны властолюбие, жадность и изнеженная жизнь духовенства... Тем не менее высокое положение, занимаемое мною при нескольких папах, заставляло меня любить по личным моим мотивам (*per il particolare mio*) их величие. Не будь этого, я бы любил Мартина Лютера, как самого себя, — не для того, чтобы отказаться от предписаний христианской религии так, как она понимается и истолковывается всеми, а для того, чтобы видеть эту шайку преступников водворенной в должные границы, то есть чтобы им пришлось или очиститься от пороков, или лишиться власти" (28 и 346). Словом, даже здесь, в высказываниях уже не мыслителя,

\* "Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli", "Opere inedite", I, 26—27.



а политика, та же двойственность. Разум говорит одно и повторяет то, что велит канон Возрождения. Интерес толкает на другое. Ибо ни разу в жизни Гвиччардини не выступил против поповской шайки, которая — он это знал так же хорошо, как Макиавелли, — мешала и созданию благоустроенной республики во Флоренции, и изгнанию "варваров" из Италии. Наоборот, он служил этой шайке не за страх, а за совесть. Потому что интерес, связывавший Франческо с Римом и папами, был не только личный, но и классовый. Он был функцией факта более общего, отголоском резкого упадка флорентийской крупной буржуазии за 1526—1530 годы.

Закат флорентийской буржуазии начался с Коньякской Лиги. Расходы на войну поглотили около восьмисот тысяч дукатов. Климент выжал их из города. Приблизительно столько же погибло у флорентийцев в товарах, имуществе и наличными при разгроме Рима 7 мая 1527 года\*. Над Флоренцией разразился хозяйственный кризис, и такой, что справиться с ним казалось невозможным. Вихрь, закруживший все, распатывавший все устои, достиг высшего напряжения. И не только во Флоренции. Кроме Венеции, где буржуазия устояла, хотя и сильно потрепанная, всюду в Италии она билась в агонии. Именно кризис питал безнадежное настроение, порождал пессимизм и моральный скептицизм. Рушились старые кумиры. Гуманистический канон потерял весь смысл. Все, что прежде казалось незыблемо, потрясало в жесточайших судорогах.

Гвиччардини все это изобразил. Быть может, он исходил из той точки зрения, которую формулировал, говоря о старых историках. Он ведь упрекал их в том, что они не записывали многое, что при жизни было всем известно, и именно потому не записывали, что это было всем известно. А отдаленные потомки из-за этого не знают иной раз очень важных вещей, которые могли бы знать, если бы историки записывали все (143). "Ricordi" — история того, как пала морально флорентийская крупная буржуазия. И не только флорентийская. "Ricordi" в течение XVI века переиздавались несколько раз — очень плохо, но переиздавались. Их читали и ими восторгались. Они получили название *augei avvertimenti*, золотых поручений. Значит, следовать им считалось не только полезным или удобным, но и достойным. И хотя Гвиччардини не был уверен, что всю глубину мысли, которую он вложил в "Ricordi", сумеет оценить любой читатель, — читали их наперебой. Что это значит?

Это значит, что философия беспринципности и эгоизма продолжала долго еще царить над умами и сопровождала все углублявшийся упадок буржуазии в эпоху феодальной реакции. Людям нашего поколения нетрудно понять, почему это происходило. Стоит только припомнить многочисленные факты, ежедневно регистрируемые газетами в наши дни. Разве не свидетельствуют они о страшных опустошениях в области интеллектуальных и моральных ценностей, произведенных великим экономическим кри-

\* См. Otetea, 259.

зисом, в тисках которого бьется буржуазия всего капиталистического мира? Одинаковые факты дают одинаковый результат. Нынешний мировой кризис гораздо глубже, ибо источник его — временная победа реакционных сил, как во Флоренции, а внутренний процесс, диалектически приводящий к разложению капиталистической строй, и, конечно, по сравнению с нынешним мировым кризисом капитализма то, что переживала перед 1530 годом Флоренция, было ничтожно. Но ведь тогда все масштабы были неизмеримо меньше. Флорентийская буржуазия задыхалась и, задыхаясь, деградировала во всех отношениях. Гвиччардини имел смелость воздвигнуть памятник ее деградации.

## XI

Правила Франческо сложились у него в настоящую защитную философию, за параграфами которой "умный" человек, казалось, может сидеть и чувствовать себя в такой же безопасности, как Альфонсо д'Эсте за бастионами и окопами своей Феррары. Но так только казалось. Франческо, очевидно, все-таки чего-то не додумал. Потому что его собственная карьера, карьера самого профессора житейской мудрости, все-таки была разбита. Ни в республике, ни в монархии, ее сменившей, не нашлось места мессеру Франческо Гвиччардини, самому умному из итальянских политиков. Как это случилось?

Когда Гвиччардини приехал во Флоренцию после разгрома Рима и распада Коньякской Лиги, новые хозяева города встретили его с недоверием. Он был близким человеком папы Климента и последовательным *pallasco*. И не скрывал своих антипатий к демократическому, по-тогдашнему, образу правления. Однако до тех пор, пока во главе правления стоял личный друг и единомышленник Франческо, оппортунист Никколо Каппони, его не очень беспокоили. Правда, радикалы *agghiati* не оставляли его в покое, но покровительство гонфалоньера оберегало его в достаточной мере. Оно не спасло его, конечно, от денежных тягот. Как очень богатый человек и сторонник Медичи, он попал под основательный финансовый пресс, притом в числе первых. В июне 1527 года его в принудительном порядке заставили подписаться на заем в сумме тысячи пятисот дукатов. В октябре он вынужден был повторить этот взнос и боялся, что в третий раз придется уплатить столько же в мае 1528 года. Свободных денег у него после всех этих платежей не оказалось, и он должен был прибегнуть к кредиту. Этого мало: на него возвели обвинение чисто демагогическое — в растрате и в поощрении солдатского грабежа — и всячески тормозили ему попытки устроиться на службу республике\*. Естественно, что при таких условиях он

\* См. А. Rossi, указ. соч., I, 67—68, 82—86, 90—94, и Cecil Roth, "L'ultima Repubblica Fiorentina" (1929), 100—101 и 136.

старался не мозолить глаза радикалам и все почти время между июнем 1527 и сентябрем 1529 года предпочитал жить не во Флоренции, а в своей вилле Финокьетто; лишь изредка, иной раз даже тайком, наезжал в город по приглашению Каппони. В деревне он, как Макиавелли, после отставки занимался писанием. "Замечания на Макиавелли", "Ricordanze" и значительная часть "Ricordi" появились там. Но какую-то политическую роль он все-таки играл. Каппони очень прислушивался к его мнению, а мнение его было, как мы знаем, неизменно. Он хотел, чтобы во Флоренции власть принадлежала людям его группы. К этому клонились его советы. Было ли это возможно при тех условиях, в которых находилась Флоренция? Теперь мы видим очень хорошо, что мысль эта представляла чистейшую утопию. Но Гвиччардини не терял надежды, пока гонфалоньером был Каппони, и, по-видимому, не вел никаких политических интриг, клонившихся к реставрации Медичи\*.

По мере того, однако, как усиливалось влияние радикалов, положение Каппони становилось все более шатким. Его политическая программа, воспроизводившая программу Гвиччардини, не составляла тайны ни для кого и подвергалась с каждым днем все более резким нападкам со стороны радикалов. А когда гонфалоньер был уличен в тайных сношениях с Климентом, его положению был нанесен окончательный удар: 16 апреля 1529 года Каппони был низложен и заменен одним из вождей *agghiati*, Франческо Кардуччи. Это изменило и позицию Гвиччардини. Он понял, что при новом режиме ему не приходится ждать ничего хорошего. Наоборот, реставрация обещала вернуть ему его положение, и, быть может, с лихвою. Тут он мог потерять все, там — все выиграть. Выбор был нетруден, и Франческо вместе с целым рядом своих друзей, Роберто Аччайоли, Франческо Веттори, Бяччо Валори, Алессандро Пацци, Паллой Ручеллаи, в разное время покинули Флоренцию, к стенам которой уже подступал враг, и присоединились к папе. В это время (сентябрь — октябрь 1529 года) Климент переехал из Рима в Болонью, где он должен был короновать императорской короной Карла V. Гвиччардини снова, как во времена Коньякской Лиги, стал ему близок. Естественно, флорентийское правительство призвало его к ответу. Франческо попробовал по своему обыкновению пустить в ход проволокки, написал длинное письмо (декабрь 1529 года) в ответ на первый вызов, но уже в марте следующего года после повторного вызова был объявлен государственным изменником (*rubello*) и имущество его конфисковано без остатка\*\*. Это была самая nastоящая катастрофа. Франческо сделался нищим и должен был обратиться к папе с просьбой дать ему какую-нибудь службу. Теперь он вынужден был добиваться активно, всеми силами,

\* См. А. Rossi, указ. соч., I, 99 и сл.

\*\* См. С. Roth, указ. соч., с. 348, где приводится текст постановления, оставшийся неизвестным Агостино Росси.

чтобы республика во Флоренции была сокрушена. Если бы она победила, ему пришлось бы сызнова начинать борьбу если не за существование, то за достаток. А это было уже не так легко, как в молодые годы. Связь его с Медичи, в частности с Климентом, стала поэтому еще теснее. Все его надежды были в лагере армии, обложившей Флоренцию. Едва ли он повторил бы теперь с чистым сердцем свои три заветных желания\*: видеть благоустроенную республику во Флоренции, видеть Италию освобожденной от "варваров" и видеть мир свободным от тирании преступных попов. Ибо он боролся против своей родины, хотевшей создать у себя благоустроенную республику, помогал, чем мог, и желал победы "варварам", блокировавшим Флоренцию, и с упоением целовал святейшую туфлю атамана "преступной" поповской шайки. Зато вполне оправдывался на нем самом другой его афоризм: что интерес сильнее долга.

Судьба уберегла Франческо от дальнейших потрясений. Флоренция сдалась, подавленная превосходными силами врага, измученная голодом и чумой, преданная своим главнокомандующим (август 1530). Республика была ликвидирована. Климент вновь вступил во владение городом и областью, эмигранты вернулись, белый террор разнуждался, как обычно при реставрациях, и результатом всего для Гвиччардини было то, что он снова стал богат и славен.

С первых же дней реставрации он вместе с Франческо Веттори и Роберто Аччиайоли помогал папскому комиссару Баччо Валори восстанавливать в городе порядок и старый строй. Оказавшись снова на высоком посту, имея возможность влиять на характер будущей конституции, Франческо вернулся к своей заветной мысли: дать Флоренции такое "смешанное правление", при котором власть принадлежала бы рантьерской группе. Интерес к политике пробудился снова, как в дни "Discorso Logrogno", и к Клименту, торопившему его, летели один за другим его проекты\*\*. Франческо было известно желание папы: чтобы Алессандро Медичи, который официально считался его племянником, сыном Лоренцо Урбинского, а на самом деле, быть может, был его сыном, принадлежала абсолютная власть. Но он старался доказать Клименту, что для этого еще не пришло время. Он боялся, как и все флорентийские богачи, бывшие ярыми паллесками и эмигрантами при республике, что доля рантьерской группы во власти будет очень невелика, если Алессандро получит принципат. В записках Франческо старался втолковать папе свою точку зрения.

В чем же его взгляды, высказываемые теперь, отличались от тех, которые были изложены в "Discorso Logrogno" и в "Диалоге"? Ведь между теми и другими была попея осады Флоренции

---

\* Они были сформулированы в числе наиболее ранних между 1525 и 1527 годами.

\*\* Это — четыре "Рассуждения", от седьмого до десятого, последние в томе II "Opere inedite".

и радикальнейших по тому времени политических и социальных опытов республики. Отличия большие, хотя классовое существо взглядов Гвиччардини осталось то же. Господствовать должна его группа, но уже без всякого содействия со стороны lo universale, которому в прежних проектах оставался, хотя и с ограниченными правами, Большой совет. Теперь Гвиччардини говорит прямо и резко: "Правление должно быть таково, чтобы должности и выгоды (opogi e utili) распределялись между друзьями, а тем, кто не сочувствует, хватит, что их не будут теснить несправедливо" (II, 363). Мало того: если бы не необходимость сохранять lo universale, чтобы не оставить город без промыслов и без доходов, стоило бы взгреть его как следует (batterlo gagliardamente, II, 363). Народу нужно предоставить возможность заниматься делами, но давать это нужно ровно столько, чтобы в городе не прекратилась хозяйственная жизнь (II, 371). Устанавливать неограниченную власть в данный момент не следует. Ее время придет через пятьдесят или сто лет. Теперь такая крутая перемена может вызвать панику, а паника парализует хозяйственную предприимчивость (segna la industria), ибо не нравится никому. Осуществлять эту перемену нужно постепенно, а не сразу (II, 373—374). Итак, "самое важное — создать партию, сторонничество людей лучших и наиболее достойных, которые таковыми считаются и таковыми являются, чтобы все говорили: партия Медичи — это знать (la nobilita — дворянство), противоположная правлению толпы и черни" (II, 375).

Что народ еще раз удостоился презрительной клички, неудивительно, — у Гвиччардини никогда не бывало по-другому. Удивительно — и симптоматично, — что, протестуя против немедленного учреждения неограниченной власти во Флоренции, он ту группу, которая будет поддерживать Медичи, называет знатью или дворянством, то есть предвидит уже, что землевладение в новых условиях установившейся феодальной реакции будет главной основой медичейского принципата. Это именно то, чего так опасался Макиавелли.

Климент, как и следовало ожидать, не внял голосу Гвиччардини. Пока город "оздоравлился" путем террора, он предоставлял своим друзьям, бывшим эмигрантам, полную свободу. Он не имел ничего против того, чтобы ужас кровавого усмирения, казней, изгнаний, конфискаций пал на Баччо Валори, решительного и буйного, но недалекого человека, и на тех, кто разделял его власть. Сам он умывал руки с иезуитскими гримасами и со словами смирения.

Рантьерская группа приняла на себя горькую ответственность за террор, поссорившую ее надолго с остальной частью буржуазии; но, когда она потребовала за это расплаты в виде доли во власти и в ее выгодах, Климент все с теми же иезуитскими ужимками и лицемерными словами дал им понять, что это невозможно и что его решение создать во Флоренции принципат неизменно. Кое-что он готов был дать каждому из руководящих

деятели реставрации, но — индивидуально. Считаться с ними как с политической группой, стоявшей на пути его заветных планов, он не желал ни в каком случае. Настал ведь момент, когда он должен был если не для себя, то для своей династии вкусить плоды бесконечных унижений, бед и несчастий, которые он пережил. Как мог он позволить, чтобы какая-нибудь группа вырвала у него из рук эти плоды?

Он рассудил верно, что если уступить крупной буржуазии, то будет упущен момент, наиболее подходящий для установления принципата. Папа знал не хуже Гвиччардини, что когда обстоятельства благоприятствуют чему-нибудь, то медлить не следует, а нужно действовать круто и решительно. И понимал, что даже крупная буржуазия, не говоря уже о других группах флорентийского общества, сопротивляться ему не в состоянии. Обуславливалось это, конечно, тем, что Флоренция осталась совершенно без денежных ресурсов, и сам Франческо в письмах к Ланфредини раскрыл этот факт с непреерекаемой убедительностью.

Мы видели, какие потери понесла флорентийская буржуазия в дни Коньякской Лиги и при разгроме Рима. Осада стоила еще дороже, ибо, если даже не считать разрушений, произведенных самими гражданами в окрестностях города и имевших стратегические цели, и не принимать во внимание колоссальных прямых расходов на жалованье войскам (оно во время блокады тратилось почти целиком в городе), осада нанесла смертельный удар самому основному источнику флорентийского богатства — крупной промышленности. Пока она оставалась в неприкосновенности, пока не были уничтожены орудия производства, город мог быстро оправиться от любых денежных потерь. После осады это уже стало невозможным. Флоренция обеднела, а бедная Флоренция не могла сопротивляться наступлению принципата и защищать республиканский строй. Самые убедительные доводы Гвиччардини в глазах папы были не более как беллетристской, интересной, но бессильной. Республика была осуждена, и самостоятельная политическая роль крупной буржуазии во Флоренции была кончена.

Когда это выяснилось окончательно, Франческо нечего стало делать во Флоренции. В июне 1531 года он отправился папским вице-легатом в Болонью: нужно было немного поправить расстроенные дела, *opogi e utili* становились недоступны\*. В Болонье он оставался до смерти Климента (сентябрь 1534). За это время герцог Алессандро осуществил программу папы. Преобразование государственного строя Флоренции в направлении от коммуны к бюрократическому принципату, начатое при Лоренцо Урбинском Горо Гери, продолжалось с возростающей энергией. Рантьерской буржуазии приходилось мириться с тем, что уже нет у правительства "друзей" и "несочувствующих", что *opogi e utili* не идут в дележку "друзьям", что на долю остальных приходится

\* См. А. Rossi, указ. соч., I, 257 и 269—275.

кое-что побольше, чем свобода от несправедливых — только несправедливых — утеснений. При помощи нового чиновничества — идея Горо Гери — секретарей и аудиторов — власть добилась, что судопроизводство перестало быть откровенно партийным и появилась некоторая более беспристрастная линия в обложении. Чиновничество в отличие от прежнего не было связано с общественными группами и целиком зависело от герцога\*. Лоренцо в 1516 году еще нуждался в поддержке рантьерской буржуазии для осуществления своих планов. Алессандро обходился без нее.

Преемник Климента, Павел III Фарнезе, не был другом Гвиччардини; он дал ему понять, что курия не нуждается больше в его услугах. Франческо пришлось покинуть Болонью с некоторым скандалом. То, что он нашел во Флоренции, было совсем не похоже на то, что он проектировал в записках 1531 года. Наоборот, это было как раз то, против чего он предостерегал Климента. Но не в его правилах было протестовать и противодействовать. Он примирился, стал помогать Алессандро, получил ряд должностей — доходных, но не влиятельных. И писал друзьям: "Меня удовлетворит всякая (форма правления), лишь бы она обеспечивала власть и величие Медичи. Многие из нас отныне зависят от них в такой мере, что было бы безумием, если бы кто не сумел воспользоваться этим счастьем"\*\*\*.

Алессандро ценил Гвиччардини как человека больших способностей и очень сговорчивого. Он осыпал его ласковыми словами и в самый трудный момент своей карьеры, когда ему пришлось оправдываться перед императором в обвинениях, выдвинутых против него эмигрантами — в Неаполе, в январе 1536 года, — он поручил написать свою защиту именно ему, и Франческо написал умно и убедительно, как умел он один. Эмигранты тяжбу проиграли, и едва ли не в этом была главная причина ненависти, преследовавшей Гвиччардини в писаниях современников. Ибо защита Алессандро толковалась, как защита тирании и как новая измена родине.

Франческо понимал, что милости Алессандро — уже не прежние милости, которые добывались политической борьбой и победой партий, а самые настоящие подачки государя придворному. Это сознание должно было быть ему очень тягостно. Поэтому, когда год с небольшим спустя после неаполитанского судьбища Алессандро пал под кинжалом Лоренцино Медичи, Франческо, как и его друзья, воспрянул духом и решил, что можно еще повернуть конституционную эволюцию Флоренции на старые пути. Ему принадлежала мысль предложить наследие Алессандро юному Козимо Медичи, сыну Джованни, старого соратника времен Коньякской Лиги. И на определенных условиях. Мысль была правильная. Ситуация ведь в 1537 году была совершенно

\* См. Anzilotti, указ. соч., с. 122—125.

\*\* К Лавфредия, цит. у Rossi, II, 40.

иная, чем в 1530 году. Не было папы Медичи; воля которого решала тогда все. У Козимо не было никаких прав, ибо у Алессандро был прямой наследник. Все говорило за то, что он должен был принять предлагавшуюся ему избирательную капитуляцию. И Козимо принял: ведь престол свалился ему с неба. Он обещал все, чего от него требовали, лишь бы получить власть. Он не настаивал на герцогском титуле, которого не хотели ему давать. Он соглашался вернуть эмигрантов, в которых Гвиччардини правильно ожидал встретить поддержку своим конституционным замыслам. Он не противился удержанию во власти Флоренции крепостей, которые, согласно тайному договору между Карлом V и Алессандро, должны были быть переданы Испании в случае смерти герцога. Он даже готов был жениться на одной из многочисленных дочерей Гвиччардини. А когда власть оказалась в его руках, Козимо одним ловким ходом опрокинул всю хитроумную махинацию умнейшего из итальянских политиков. Он целиком оперся на императора, который тоже целиком стал на его сторону, так как видел в затеях старых политиков тенденцию ослабить зависимость от него Флоренции.

Картина мгновенно переменялась. Крепости остались в руках у испанцев. Эмигрантам было отказано в амнистии, а когда они попытались вернуться силой, их отряд был уничтожен при Монтемурло. Кто не погиб, был взят в плен; несколько дней спустя были обезглавлены Баччо Валори, организатор белого террора в 1530 году, с сыном и тремя друзьями, а позднее умер в тюрьме Филиппо Строцци, и едва ли собственной смертью. Герцогский титул Козимо получил. Конституционные ограничения так и не вошли в жизнь.

Одним из результатов этого поворота было то, что Гвиччардини попал в полную немилость. Не только не было уже вопроса, что Козимо женится на его дочери, но положение создалось такое, что самое пребывание во Флоренции стало для Гвиччардини нестерпимо. Он уехал в деревню, в свою виллу в Арчетри, и там почти безвыездно провел последние три года своей жизни. В мае 1540 года он умер, причем подозревали отравление.

## ХII

Нетрудно представить себе, в каком состоянии провел Франческо эти последние годы. Политические идеалы его рушились. Мечты разлетелись. Больше уже не за что было ухватиться. Ни во Флоренции, ни в Риме и нигде вообще в Италии места в общественной работе для него не было. Он был выбит из жизни, и на этот раз окончательно. Теперь было гораздо хуже, чем в 1529 году. Правда, теперь он был обеспеченным человеком, но обеспеченность была единственным из благ, которое ему удалось спасти. И оно казалось ничтожным по сравнению с тем, что было утрачено.



Франческо весь ушел в работу. Он думал о прошлом, о прожитой жизни, о первых успехах, о дворе Фердинанда Католика, о пышном генерал-губернаторстве в Романьи, о Коньякской Лиге, которую он создавал, о походах и о друзьях, с которыми вместе дрался за свободу и независимость Италии: о Джованни Медичи, погибшем в бою, о Никколо Макиавелли, который умел зажигать его своим внутренним пламенем и своей энергией. Их было так немного, друзей. И никого не осталось. Не у кого было зачерпнуть немного бодрости и хоть каплю веры в будущее. Все было темно, кругом и впереди. И Франческо работал. Он писал "Историю Италии". Когда Монтень познакомился с этой огромной книгой, он записал свое впечатление\*: "Говоря о стольких людях и о стольких действиях, о стольких движениях и решениях (*conseils*), он (Гвиччардини) ни одного не относит на долю добродетели, веры и совести, как будто эти вещи исчезли со света. И как бы ни казались сами по себе прекрасны некоторые действия, причины их он ищет в какой-нибудь порочной случайности или в каком-нибудь утилитарном соображении. Невозможно представить себе, чтобы среди бесконечного количества поступков, которые он судит, не нашлось ни одного, в основе которого лежало бы хорошее побуждение (*la raison*). Никакое нравственное разложение не может охватить людей так безраздельно, чтобы хоть кто-нибудь не спасся от заразы. Все это заставляет меня думать, что в нем был какой-то изъян в его собственном вкусе (*guil y aye un peu du vice de son goust*) и что, быть может, он судил о других по самому себе".

Франческо был человеком вполне нормальным, и о других он не судил по себе: такой чести он человечеству не оказывал. Он просто был весь охвачен пессимизмом, самым мрачным и беспросветным. Только теперь по-настоящему переживал он горе от ума. Люди, не обладавшие его огромным умом, жили и не приходили в отчаяние, а он, который всю жизнь был уверен, что со своими правилами он пристанет к счастливому берегу, он, который так верил в силу рассудка, в чудеса жизненного опыта, в практичность, тонкость, уловчивость, такое потерпел крушение!

"История Италии" была мезьей родине, его отвергшей, судьбе, ему изменившей, счастьем, от него отвернувшимся. В годы невольного сидения в Финокьетто в 1529 году, когда он писал последние свои "Ricordi", он не потерял еще всех надежд, что-то еще светилось впереди. Теперь все погасло. И когда пессимистические мысли "Ricordi" стали распределяться по страницам "Истории Италии", ему уже казалось, что в них чересчур много идеализма и веры в людей. Поэтому если извлечь из "Истории" все моральные афоризмы и вытянуть их в ряд, как в "Ricordi", то такое их дополненное издание будет еще более мрачным, чем то, которое мы знаем.

Пессимизм и ощущение безнадежности, в котором умер Франческо, были уделом не его одного. Они были уделом всей

---

\* Essays, II, 10.

крупной итальянской буржуазии. Как был выбит из жизни Франческо, так была выбита она вся. Она, создавшая цветущие коммуны в Средние века, накопившая столько богатств, подарившая миру и человечеству неисчислимые сокровища культуры и творчества в эпоху Возрождения, осталась не у дел и лишь в Венеции продолжала существовать приобретенным раньше. Феодальная реакция задушила ее, нанесла ей удар, от которого она так и не оправилась. Ибо там, где она сумела сохранить часть своих прежних капиталов, она должна была — Гвиччардини сказал это, мы знаем — превратиться в знать, то есть в *сословие*, прикованное короткой цепью к трону государя, лишенное свободы жить, богатеть и биться за право политического властвования, которая принадлежала ей до тех пор.

Гвиччардини был самым блестящим ее представителем. Оттого так тяжело переживал он ее конец. И его собственное жизненное крушение было окутано в его глазах такой черной безнадежностью оттого, что он сознавал его как эпизод крушения всего своего класса.

Только этим и можно объяснить те особенности "Истории Италии", которые так беспощадно верно отметил Монтень.

## ВАЗАРИ И ИТАЛИЯ\*

### I

В своей автобиографии\*\* Вазари рассказывает, как возникла мысль о его книге. Рассказ очень известный. Его приводят и историки искусствоведения, и историки литературы\*\*\*, каждый со своими комментариями: "В это время\*\*\*\* я проводил вечера после окончания работ у достославного кардинала Фарнезе, присутствуя при его ужине. Там в эти часы всегда собирались, чтобы занимать его своими блестящими и серьезными беседами, Мольца, Аннибале Каро, мессер Гандольфо, Клаудио Толомеи, мессер Ромоло Амазео, епископ Джовио и многие другие литераторы и светские люди, которыми всегда полон двор этого вельможи. В один из вечеров разговор между прочим зашел о музее Джовио и об изображениях знаменитых людей, которые он собирал в нем и поместил в превосходном порядке, с очень красивыми надписями при каждом. Беседа, как всегда бывает, переходила от одного предмета к другому, и монсиньор Джовио сказал, что ему всегда хотелось и хочется сейчас присоединить к музею и к своей книге "Похвальных слов"\*\*\*\*\* сочинение, в котором шла бы речь о людях, знаменитых в изобразительном искусстве (*arte del disegno*) от Чимабуэ до наших дней. Распространяясь на эту тему, он обнаружил большие знания и высказал правильные суждения, касающиеся наших искусств. Правда, его взгляды охватывали вопрос только в общих чертах и не углублялись в тонкости. Часто, говоря о художниках, он путал имена, прозвища, места рождения, работы и передавал факты не в полном соответствии с действительностью, а, так сказать, приблизительно. Когда Джовио кончил, кардинал сказал, обращаясь ко мне: "Что скажете вы по этому поводу, Джорджо? Не правда ли, что это будет великолепное произведение, над которым стоит потрудиться?" — "Конечно, *monsignor illustrissimo*, — ответил я, — если

\* Текст печатается по изданию Дж. Вазари "Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих", Academia, М.; Л., 1933. (Ред.)

\*\* "Descrizione delle opere di Giorgio Vasari", гл. 38.

\*\*\* Wolfgang Kallab, Vassarstudien (1908), 143 sq.; F. Flamini, Il Cinquecento (1902), 347—348.

\*\*\*\* Вазари относит эпизод к 1546 г., когда он расписывал в Риме Palazzo Cancellaria.

\*\*\*\*\* Elogie Паоло Джовио -- собрание коротеньких характеристик знаменитых людей. Первоначально были написаны в виде объяснений к портретам, собранным в его музее.

кто-нибудь из художников поможет Джовио разобраться в фактах (*mettere cose a'luoghi loro*) и изложит все так, как это происходило в действительности. Говорю я это потому, что в своей прекрасной речи я многое спутал и сказал не так, как нужно". — "Значит, — ответил кардинал, которого поддержали Джовио, Каро, Толомеи и другие, — значит, вы могли бы дать ему план и общий очерк (*un sunto et una ordinata notizia*) истории всех художников и их произведений в хронологическом порядке. Таким путем и вы также окажете эту большую услугу вашему искусству". Хотя я и знал, что эта задача была выше моих сил, тем не менее очень охотно обещал сделать все, поскольку мог. И я начал разыскивать заметки и записи (*ricordi e scritti*) по этим вопросам, которые с юных лет я набрасывал как для собственного развлечения, так и из чувства почитания памяти наших художников, всякое сведение о которых мне было чрезвычайно дорого. Я собрал все, что казалось мне нужным, и отнес к Джовио, а он, похвалив меня за труды, сказал мне: "Милый Джорджо, мне хочется, чтобы эту работу взяли на себя вы. Я вижу, что вы великолепно сумеете довести ее до конца. Мне она не по душе, потому что я не умею распознавать манеру разных художников и не знаю многих частностей, которые хорошо знакомы вам. А без такой подготовленности самое большее, что я могу сделать, это дать книжку наподобие Плиниевой. Сделайте так, как я говорю вам, Вазари. Я вижу, что вы сумеете справиться великолепно: ведь какой прекрасный очерк вы дали мне в вашем изложении". И так как Джовио все-таки казалось, что я колебался, он заставил Каро, Мольцу\*, Толомеи и других моих друзей просить меня об этом. В конце концов я решился и приступил к работе с намерением по окончании ее дать кому-нибудь из них, чтобы она была просмотрена, исправлена и издана под чьим-нибудь другим, не моим, именем".

Таков рассказ. Он переносит нас в самую гущу той атмосферы, в которой родилась мысль о книге Вазари, и дает целый ряд точек опоры для объяснения того, почему они родились.

Люди, которые собирались под гостеприимным кровом кардинала Алессандро Фарнезе — его характерное красивое лицо мы знаем по нескольким портретам Тициана, — принадлежали к сливкам итальянской интеллигенции того времени. Франческо Мариа Мольца — один из самых изящных поэтов и новеллистов XVI века. Аннибале Каро — переводчик "Дафниса и Хлои", блестящий стилист, лучший мастер итальянской эпистолографии. Клаудио Толомео — филолог, грамматик и критик, неустанно работавший над усовершенствованием итальянского языка. Ромоло Амазео — гуманист, знаменитый латинский оратор, про-

---

\*Кстати, умерший в 1544 г., что заставляет отнести рассказ Вазари к 1543 г. или принять гипотезу, что если дело было действительно в 1546 г., то Вазари по ошибке включил в число собеседников Мольцу, фигура которого связана была для него неразрывно с обществом кардинала Фарнезе.

фессор в Болонье. "Мессер Гандольфо" — по всей вероятности, поэт Гандольфо Поррино — друг Мольцы, закончивший начатую им поэму "Ninfa Tiberina", секретарь и пылкий поклонник прекрасной Джулии Гонзага\*. Наконец, Паоло Джовио, епископ Ночеры — самый славный из членов этой славной компании, врач и филолог, историк и публицист. Что ни имя, то фигура.

Почему в этой компании возникла мысль о написании истории искусства Италии и почему Джовио, который никому ничего даром не отдавал, отдал осуществление этого замысла Вазари?\*\*\*

## II

После насыщенных грозой и бурей трагических первых десятилетий XVI века Италия переживала период мрачного покоя. Север и юг были в руках чужеземцев. Папы в Риме после Sacco 1527 года отказались от самостоятельной политики и усердно пользовались оставшейся у них огромной властью для укрепления распатанной в самых основах католической церкви. Флоренция, истощившая свои силы в титанической борьбе 1530 года была придушена деспотизмом Козимо Медичи. Венеция, надломленная, почти отрезанная от итальянских интересов, но далеко не сокрушенная, залечивала раны и собирала силы для борьбы с турками.

Время было такое, что напрашивалось само собой подведение итогов. Думающие люди явственно ощущали, что пройдены какие-то грани и что надолго удержится тот печальный status quo, в котором прозябала Италия.

Расцвет историографии был откликом этих ощущений. История — так, как она тогда писалась, — представляла собой один из литературных приемов подведения итогов. Кроме того, историзм вообще становился чрезвычайно популярным способом отношения к действительности, потому что означал бегство от всякого рода прямых оценок настоящего момента и от опасных прямых высказываний. Наконец, при некотором специфическом отношении исторические сочинения могли принести и большие выгоды.

Из всех современных итальянских историков Джовио понимал эти вещи едва ли не лучше всех. Различные их стороны были для него одинаково ясны. Присущее ему острое публицистическое чутье подсказывало ему своевременность подведения итогов, а хищные инстинкты толкали к истории и к биографии как к источнику наживы. Подобно Аретино, Джовио извлекал доход

\* О нем см. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, v. VII. 1135.

\*\* Джовио действительно начал писать свои этюды о художниках. Его наброски сохранились и напечатаны Тирабоски в приложении к Storia della letteratura italiana.

из своих писаний, заставляя заинтересованных платить. Особенно любил он форму биографии, ибо при биографической форме заинтересованность была максимальная. Кроме своей большой истории. Джовио написал ряд отдельных жизнеописаний пап и государей и две серии похвальных слов: полководцев и писателей. Похвальные слова художников должны были составить третью серию. У Джовио был стройный план.

Компания палаццо Фарнезе, прекрасно разбиравшаяся в этих вопросах, горячо приветствовала идею Джовио, идею подведения итогов в области искусства. Стоило натолкнуть людей на мысль, и всем стало ясно, что история художников *da Cimabue in qua* стоит в порядке дня. Чем это объясняется?

Искусство оставалось единственной крупной областью, в которой подведение итогов не только не было осуществлено, но не было даже начато. Это должно было казаться тогда зияющим пробелом, ибо роль искусства в итальянской культуре XVI века была совершенно исключительна.

Быть может, еще только в древней Элладе искусство пропитывало культуру в такой же мере, как в Италии времен Возрождения\*. Так в XVIII веке пропитывала культуру философия, в XIX — наука, в наше время — техника. Все классы общества были одинаково охвачены художественными увлечениями. Все люди, от рабочего до государя, были одинаково доступны прельщениям искусства. Мысль и творчество, политика и классовая борьба, хозяйство и повседневная жизнь, война и дипломатия — все окрашивалось красками искусства. Художественные критерии вторгались всюду веско, порой с решающей силой.

Верный вкус в вопросах изящного становится второй натурой каждого. Всякий, интеллигент или ремесленник, брался быть в этих делах судьей. И недаром. Нация получала непрерывные уроки художественного воспитания, жила в густой атмосфере красоты и привыкала прикладывать мерку красоты ко всему, что ее окружало.

Наряду с бытом, где обстановка, утварь, оружие, ткани, убранство, праздники, торжества, процессии, представления носили на себе печать огромного художественного вкуса, область слова — живого и писаного — больше всего подчинялась художественным критериям. Это одинаково касалось и ученого сочинения, и дидактического трактата, и философского рассуждения. Это налагало отпечаток и на убогие куплеты сказителей (*cantastorie*) с городских площадей, и на октавы Ариосто, на проповеди самых захудалых монахов и на лощеные речи "ораторов" — дипломатов, на сочинения Макиавелли, Бембо, Кастильоне и на художественную новеллу Фиренцуолы. Интеллигенция поэтому воспринимала это основное художественное устремление века как нечто здоровое и необходимое, как нечто такое, что само собой подразумевается.

\* Cp. по этому поводу J. A. Symonds, *Renaissance in Itali*, v. III, *The fine arts*, 1—4; H. Thode, *Michelangelo*, v. II, 18—19.

Но начинала бросаться в глаза наиболее чутким и обратная сторона. Красота царила, все собой проникала, благоговейно культивировалась, а страна гибла. Не существовало ли между этими двумя фактами какой-либо связи? И не было ли в гегемонии красоты фатального преувеличения? Не действовали ли эстетические критерии — иногда, а может быть, и часто — в ущерб другим?

Когда у кардинала Фарнезе шла беседа, увековеченная Вазари, об этом еще не думали, но через сто лет или чуть позже кое-кому станут видны губительные плоды, взращенные культурой красоты, сомнение начнет закрадываться в умы и Винченцо Филикайя бросит своей родине страстную жалобу:

Italia, Italia! O tu, cui feò la sorte  
Dono infelice di bellezza, ond'hai  
Funesta dote d'infiniti guai,  
Che in fronte scritti per gran doglia porte.  
Deh, fossi tu men bella o almen piu forte!..\*

Во времена Вазари никто не считал красоту "злополучным даром или роковым приданным бесконечных бед". И варваром был бы провозглашен всякий, кто бы пожелал Италии быть "менее прекрасной", хотя бы даже ценой того, чтобы она стала "более сильной". Наоборот, гегемония искусства ощущалась как счастье, как источник многогранных наслаждений, как титул на национальную славу, единственный, который устоял в тяжелых потрясениях.

В компании кардинала Фарнезе эти настроения разделялись всеми, и потому так остро сознавалась необходимость восстановить в систематическом виде историю создателей этой основной особенности итальянской культуры, художников. У людей было такое ощущение, что, если теперь, в пору подведения итогов, этого сделано не будет, итальянская интеллигенция окажется в положении не помнящей родства. И то, что ощущалось компанией кардинала Фарнезе, ощущалось всей интеллигенцией Италии. Иначе был бы непонятен успех Вазариевых "Vite". Джовио, у которого в этих делах образовалось большое чутье, понял это первый и своим почином дал толчок Вазари. А единодушное одобрение, которое встретила инициатива Джовио, было самым настоящим "социальным заказом", который давала Вазари итальянская интеллигенция. Не будь его, ricordi e scritti Джорджо могли бы до конца его жизни пролежать у него под спудом.

Но, принимая заказ, Вазари совершенно изменил первоначальную программу Джовио. Джовио думал о серии похвальных

---

\* Италия, Италия! О ты,  
Кому судьба жестокая послала  
Дар губительной чудесной красоты  
И на челе проклятья начертала!  
О если бы красотой не так блистала,  
Но более сильна была бы ты! (Перевод М. Рудневич. --- Ред.)

слов и уступал ее Вазари по целому ряду причин. Он был стар. Ему не хотелось снова затевать всю трудную подготовительную работу. И он не рассчитывал заработать хорошо: с художников многого не возьмешь.

Вазари с самого начала отверг форму похвальных слов. Он сразу поставил себе определенную задачу. Он будет писать как художник: о художниках и для художников. Он будет говорить все, что вызывается необходимостью. Если бы Вазари знал современную терминологию, он, вероятно, сказал бы о посвящении Козимо, предпосланном первому изданию, что он будет руководствоваться научными задачами.

Это была уже его собственная постановка вопроса. При ее помощи он надеялся лучше всего выполнить миссию, на него возложенную. И если итальянская интеллигенция в лице друзей из палаццо Фарнезе давала ему заказ, то та же итальянская интеллигенция в лице других друзей, во главе которых стоял монах Винченцо Боргини, ученый и стилист, помогала ему этот заказ выполнить. Они собирали материалы, приводили его в порядок, составляли указатели, оглавления, предисловия. Словом, всячески облегчали Вазари его непосредственную задачу.

Благодаря всем этим обстоятельствам, ободравшим его и содействовавшим ему, Вазари создал классическую книгу.

### III

Момент, когда Вазари взялся за "Vite" вплотную, был чрезвычайно благоприятен для его работы. Еще пятьдесят лет, и ни один человек не был бы в состоянии ее исполнить. Ибо к концу XVI века окончательно установилась та точка зрения, которая в середине его только начинала складываться и которая означала одновременно разрыв с историзмом вообще и разрыв с прошлым всех искусств. К концу XVI века искусство Рафаэля, Тициана и особенно Макиавелли почиталось последним словом, упразднившим все, что ему предшествовало. Искусство Кватроченто превращалось в нечто чрезвычайно неинтересное и объявлялось лишенным всякой художественной ценности. При господстве такой точки зрения история искусства в Италии "от Чимабуэ", конечно, становится невозможной, и если фактически в XVII веке мы встречаем отдельные попытки этого рода, то ни одна из них не имела того широко объемлющего характера, который отличает книгу Вазари.

Молодость Вазари прошла в такое время, когда искусство Кватроченто еще очень ценили. Еще ощущалась связь между современным искусством и искусством предыдущего века. Леонардо, один из признанных всеми классиков и отцов современной "манеры", через Вероккио, своего учителя, если можно так выразиться, держал связь с Кватроченто. А купол Брунеллеско, статуи Донателло в Соборе и в нишах Or San Michele языком



живого камня говорили о том, чем было Кватроченто для современного искусства. А потом, разве не называл Микеланджело Гибртинских дверей баптистерия "воротами рая", разве не говорил он, что нельзя сделать купола лучше, чем сделал его Брунеллеско? А в области живописи — разве Мазаччиевы фрески в Салтине не продолжали быть азбукой "новой манеры" для всех живописцев и разве не на них учился тот же Микеланджело, получивший в капелле Бранкаччи изуродовавший его удар от Торриджани?

Все эти вещи для сечентистов будут пустым звуком. Но во время Вазари они были живой, хотя и анекдотической в некоторой мере хроникой, выхваченной из анналов искусства и полной значения. Привести отдельные эти анекдоты, известные всем, но несистематизированные факты в порядок, выяснить действительное чередование школ и манер, действительную хронологическую последовательность произведений искусства, ускользавшую с годами все больше, — вот в чем была задача.

Мы не знаем, что заключалось в набросках Вазари, к которым он обратился, чтобы помочь Джовио. Но, несомненно, там было многое, что уясняло ему значение предшествующего века и отчасти Треченто. Недаром он собирал эти "заметки" не только "для собственного развлечения", но и "из чувства почитания памяти наших художников". И было там материала настолько достаточно, что в короткое сравнительно время, будучи перегружен живописными работами, он создал свою книгу. Идея книги Вазари не только носилась в воздухе, но и лежала в его черновиках.

Больше всего облегчало Вазари его работу то, что у него было несколько готовых общих точек зрения, из которых при всей их элементарности сложился все-таки остов книги. Без них факты, в ней собранные, должны были безнадежно рассыпаться. Эти общие точки зрения были различного характера: теоретические и исторические. Теоретические содержатся в *Proemio*, то есть в вступительном слове ко всей книге, где речь идет о сравнительных преимуществах живописи и скульптуры, и в *Introduzione*, то есть во введении, где сообщается ряд технических и стилистических сведений по всем трем видам изобразительных искусств. Историческая схема Вазари изложена главным образом в *Proemio* к каждой из трех частей книги. Вот эта историческая схема гораздо больше, чем теоретические взгляды о сущности архитектуры, скульптуры или живописи, помогла Вазари сколотить так сравнительно скоро и так стройно здание "Vite". Откуда Вазари их взял и в чем они заключаются?

Среди источников первого издания "Vite" центральное место занимают "Воспоминания" (*Commentarii*) Лоренцо Гибртинского, знаменитого скульптора, биография Брунеллеско, автором которой признается теперь Туччо Манетти, и, быть может, записки Доменико Гирландайо\*, ныне утерянные.

---

\* См. о них подробно у Kallab, указ. соч., 148 и след. Каллаб первый выставил то положение (с. 408), что "die Idee der Entwicklung ist nicht etwa

Эти источники снабдили Вазари не только фактами, но и основными линиями его исторической схемы. Вазари, таким образом, тут неоригинален. Не он придумал свою схему. Он нашел ее в более или менее готовом виде. Но он придал стройный эволюционный характер представлению о развитии итальянского искусства, которое важно не только с искусствоведческой точки зрения, то и с общекультурной.

Древнее искусство (*l'arte antica*) погибло. От него остались одни обломки, которые пережили варварскую, "готическую" эпоху. После долгого промежутка в Италии, в Тоскане, возникло новое искусство, которому научили итальянцев "греки", то есть византийцы. Их манера была грубая и неуклюжая (*rozza, goffa*). Эта старая (*vecchia*) манера, которая началась с Чимабуэ, постепенно совершенствовалась в руках лучших мастеров Кватроченто и приближалась к новой (*moderna*). Окончательно восторжествовала новая манера вместе с Леонардо и достигла высшего совершенства у Рафаэля и особенно у Микеланджело. В Proemio к первой части, где речь идет об искусстве древних, о его упадке и о первых начатках искусства итальянского, в последней, 18 главе Вазари говорит, что этот обзор он дает для пользы художников (*mosso dal beneficio ed utile comune degli artefici nostri*), чтобы они, видя, как искусство дошло до вершины развития (*alla somma altezza*) и потом низверглось в бездну (*precipitasse in rovina estrema*), легче могли познать постепенный ход его возрождения (*il progresso della sua rinascita*). Proemio ко второй части, где речь идет целиком об итальянском искусстве, начинается с замечания, что искусство прошло три стадии "от своего возрождения до нашего времени" (*dalla rinascita di questi arti sino al secolo che noi viviamo*): несовершенную, совершенствующуюся и совершенную. О скульптуре первой стадии тут же говорится, что в первый период возрождения (*in quella prima eta della sua rinascita*) она имела некоторые достоинства, но и большие недостатки.

В этих определениях впервые в литературе появляется понятие Возрождения\* в том смысле, в каком оно потом нашло признание в науке. А из сопоставления приведенных мест обеих частей видно, что Вазари колебался в понимании слова *rinascita*. В одном случае он говорит о "возрождении", как об определенном моменте ("от возрождения искусств до нашего времени"), а в двух других — как об определенной эпохе ("ход возрождения" и "первый период возрождения"). Второе словопользование, очевидно, то, которое ему ближе, ибо оно прекрасно суммирует всю его концепцию эволюции итальянского искусства. Это именно "Возрождение", длительный процесс совершенствования, распадающийся на периоды и кульминирующий в творчестве "божественного" Микеланджело. Это представление, как указано, не

---

Ergebniss des ganzen Werkes, sondern dessen Voraussetzung" ("идея развития представляет не итог всего труда, а лишь его предпосылку". — *Ред.*)

\* Ad. Philippi, *Der Begriff der Renaissance* (1912), с. 54—55.

было результатом фактического анализа. Оно было привнесено в работу раньше, чем Вазари приступил к писанию книги. Но мысль занимала его и после того, как вышло первое издание 1550 года, ибо в издании 1568 года Проетти подверглись редакционным переделкам, не меняющим, правда, ничего в основном, но вносящим большую четкость во всю конструкцию. Вазари придавал очень большое значение своему эволюционному построению\*.

Представление об эволюции итальянского искусства эпохи Возрождения интересно не только с точки зрения истории искусствоведения, но и с точки зрения некоторых культурных течений и социальных отношений середины XVI века. Ибо только такой анализ выяснит вполне, в чем типичность книги для эпохи, в которую Вазари жил, и почему она появилась именно тогда\*\*.

Схема Вазари — оптимистическая. Основная ее мысль в том, что итальянское искусство от Чимабуэ до Микеланджело совершенствуется. Критерии этой эволюции у Вазари различные. С точки зрения искусствоведения важны прежде всего те из них, которые говорят о техническом совершенствовании от *maniera vecchia* до *maniera moderna*. Вазари и самого эти вещи интересуют больше всего, если не исключительно. Но незаметно для себя отдельными мелкими штрихами, вскользь брошенными замечаниями Вазари очень явственно сообщает своему читателю и другой свой критерий, не художественно-технический, а культурный и даже политический. И в противоположность первому второй получает более четкую формулировку во втором издании, главным образом в тех биографиях, которые вошли во второе издание впервые\*\*\*

Это понятно. За восемнадцать лет, протекших между двумя изданиями, и судьба и мировоззрение Вазари коренным образом изменились. В 1550 году положение Вазари было еще не особенно устойчиво. В 1568 году оно было вполне прочно и базировалось на его службе Козимо Медичи, великому герцогу Тосканы. Это сейчас же и сказалось.

Схема чисто стилистического совершенствования у Вазари незаметно связалась с другой, основная мысль которой такова. Искусство совершенствуется тем больше, чем больше оно находит знающих и обладающих вкусом покровителей. А настоящими меценатами могут быть только государи. Искусству и художникам лучше там, где есть государь, чем там, где его нет,

\* См. Philippi, указ. соч. 55, где сопоставлен текст обоих изданий.

\*\* Искусствоведческий и общефилософский анализ схемы Вазари дан в книге Jul. Schlosser, Die Kunstliteratur (1924), в которой Вазари посвящен целый отдел.

\*\*\* В первом издании Вазари дал только одну биографию живого художника — Микеланджело, ибо он для него был очень важен, как высшее выражение и артистического галанта, и тех приемов, к которым, как к вершине, пришло искусство. В издании 1568 года вошло не только много биографий художников, успевших умереть за 18 лет, протекших со времени первого (1550), но и ряд биографий живых художников. Эти последние Вазари озаглавливал обыкновенно не "Vita", а "Descrizione delle opere di...". Таковы биографии Приматиччо, Тициана, Якопо Сансовино и многих других.

а есть какой-то правящий орган, состоящий из многих лиц, из которых каждое ценит вещь по-своему и не очень тонко. Эта мысль нигде не формулирована Вазари в этих именно выражениях, и нигде оба критерия постепенного прогресса искусства не приведены в связь именно таким образом. Но что у Вазари эта связь, быть может, в виде неясно продуманной, но хорошо прочувствованной мысли была все время, особенно при подготовке второго издания, не подлежит никакому сомнению.

Если бы не трудно, если бы у нас было больше места и если бы это не было скучно, подобрать целый ряд цитат из "Vite", которые могли бы обильно иллюстрировать это наблюдение. Ограничимся несколькими примерами.

Прежде всего Вазари всегда хочется сопоставить деяния Козимо с фактами времен республики, чтобы лишний раз пропеть хвалу своему герцогу, хотя бы вне сферы вопросов искусства. Так, в автобиографии (гл. 52), говоря о сюжетах своих картин в большой зале Palazzo Vecchio, он рассказывает, как он написал там, "с одной стороны, начало и конец войны с Пизой, а с другой — точно так же начало и конец войны с Сиеной. Одна из них была народным правительством проведена и выиграна в четырнадцать лет, другая — герцогом в четырнадцать месяцев". Это — легкий штришок, мимоходом, совсем ненужный для изложения, но для Вазари необходимый.

"Народное правительство", особенно режим враждебного Медичи Содерини, нужно было по политическим мотивам дискредитировать при всяком удобном или даже — как в этом эпизоде — неудобном случае. Это герцогу было приятно. А если можно было уличить то же "народное правительство" или какой-нибудь его орган в безвкусице художественном или в каких-нибудь некрасивых поступках с художниками, Вазари всегда был готов. В биографии скульптора Джованфранческо Рустичи рассказывается, как он по заказу консулов Мерканции во Флоренции\*, в период господства республики, сделал три статуи для флорентийского баптистерия. Из-за цены уже после того, как работа была сдана, между консулами и Рустичи возникли жестокие пререкания. Как это часто бывало, художника жестоко обсчитали купцы, которые ничего в искусстве не понимали. И Джованфранческо, "видя такое вероломство, совсем в отчаянии удалился с твердым решением никогда больше не работать для должностных лиц (*per magistrati*) и вообще там, где он должен был зависеть более чем от одного гражданина или другого единичного лица (*piu che da un cittadino o altr'uomo solo*)". Вазари передает этот эпизод с величайшим сочувствием, восхваляя Рустичи гораздо больше, чем эти три статуи заслуживают. А в биографии Франческо Сальвиати, большого своего приятеля и очень

---

\* По-видимому, это было в 1511 году, то есть до падения пожизненного gonfalonьерата. См. примечание Миланези к "Vita di G. F. Rustici". Вазари слегка запутался здесь в хронологии.

неровного художника, сообщив о том, что он умер преждевременно, и заметив при этом, как бы в объяснение малых сравнительно его успехов, что Сальвиати был *sarցicioso*, Вазари прибавляет: "Если бы он нашел государя, который понял бы его характер и дал ему возможность работать согласно его изменчивым настроениям, он бы сделал вещи замечательные". Комментарием к этим немногим строкам служат постоянные, надоедливые панегирики герцогу Козимо и в автобиографии, и во всех местах "Vite", где Вазари приходится о нем упоминать\*. А наряду с восхвалением Козимо идут славословия пап, с которыми приходилось иметь дело художникам, его современникам и ему самому, и прославление всех Медичи, предков Козимо.

Для художников, которые находились в зависимости от заказов флорентийского двора, эта точка зрения, очевидно, становилась обязательной. Недаром и Бенвенуто Челлини в "Трактате о ювелирном искусстве", напечатанном во Флоренции в один год со вторым изданием Вазари\*\*, очень ясно дал понять, что художник только тогда может творить успешно, если ему случится найти щедрого и понимающего мецената в лице государя. И перечисляет: при Козимо Старшем работали Брунеллеско, Донателло, Гиберти, при Лоренцо — начал Микеланджело, при папе Юлии — Браманте и т. д.

Когда художественно-техническая схема эволюции искусства сплелась у Вазари с другой схемой, она сразу обнаружила его общественную физиономию. Стоит сопоставить его оптимистическое настроение с совершенно противоположным настроением историков-политиков, начиная от Макиавелли, и это станет ясным\*\*\*. Все они глубокие пессимисты. Они, особенно позднейшие, прекрасно чувствуют глубокий политический и бытовой упадок той эпохи, в которую им довелось жить. Они знают, что в прежние времена, в золотой век республиканской свободы внутри отдельных государств и национальной независимости Италии, людям жилось совсем по-другому. В них не умерло достоинство. Ими не помыкал никто. Была борьба классов, сословий, партий. Но люди боролись как равные. А теперь равенство было в одном — в порабощении. Деспотизм задавил все. Италия стонала в цепях, и в цепях стонали внутри итальянских государств итальянские граждане. Разница была лишь в том, что в Неаполе и Ломбардии цепи были чужеземные, а в Тоскане и в Папской области — свои, родные.

---

\* При этом для большей убедительности он вкладывает хвалебные тирады по адресу Козимо в уста наиболее авторитетных представителей искусства, в том числе и самого авторитетного, Микеланджело. Правда, Микеланджело уже в это время умер и не мог опровергнуть ни приписываемого ему заявления, ни вообще всего того, что Вазари сочинил в его биографии для восславления Козимо.

\*\* "Trattato dell' Orificeria", изд. 1857 г., с. 83. Вазари, вероятно, не знал этого сочинения до выхода в свет второго издания "Vite". Челлини не принадлежал к его друзьям и едва ли давал ему свои сочинения в рукописи, как другие.

\*\*\* Каллаб ("Vasaristudien", 407) первый сделал это наблюдение, подхваченное потом Шлоссером ("Kunstliteratur", 277). Но ни тот ни другой не вывели из него всех заключений.

Этот контраст между былой свободой и настоящим рабством\* бросался в глаза каждому, кто умел наблюдать хотя бы элементарно, но не все ощущали его как регресс и не у всех он вызывал пессимистические настроения. Историки были почти сплошь представители буржуазии, класса, который терял больше всех вследствие совершившихся перемен. Не менялось дело и тогда, когда они находились на службе у новой власти, как Гвиччардини, служивший папе Клименту VII, первому яркому представителю реакции на престоле св. Петра, и флорентийским деспотам Алессандро и Козимо Медичи. Они в конце концов получили возможность прояснить свое классовое сознание — ибо деспотизм обрушивался и на них — и найти правильные критерии\*\*. Новые порядки знаменовали собой тройную реакцию: экономическую, которая подрывала основы хозяйственной деятельности буржуазии, ибо означала возврат к преобладанию землевладения; политическую, которая отнимала у нее власть, и культурную, которая подчиняла творчество и идеологию церковной и полицейской феруле. Приспосабливаться к новым условиям для буржуазии и буржуазной интеллигенции было чрезвычайно трудно, ибо новый порядок отвергал сотрудничество буржуазии и строил опору для своего господства на сотрудничестве с другими классами.

Каким же образом оказалась возможной оптимистическая схема Вазари, в которой художественно-технические критерии переплетались так тесно с политическими мотивами? Ведь Вазари вышел из рядов буржуазии. Каким образом Вазари мог в условиях феодальной реакции повторить схему Гиберти, который писал свои "Воспоминания" при полном торжестве буржуазного республиканского строя и для которого венцом художественной эволюции были достижения искусства, так гармонизовавшие именно с республиканским строем, из республиканского строя вырвавшие?

#### IV

Вазари принадлежал к мелкобуржуазной семье из Кортонны, перебравшейся в начале XV века в Ареццо. Его прадед Лаццаро, биографию которого Джорджо включил в "Vite", был седельщиком (*sellaio di cavalli*). Джорджо превратил его в художника, приписал ему ряд картин и вообще наговорил про него целую кучу небывлиц. Родственники Лаццаро были горшечники (*vasai* или *vasari*, откуда и прозвище). Все они были люди со вкусом и старались придать продуктам своего ремесла художественную отделку. Джорджо вышел настоящим художником. В семье был

\* Особняком стояла только Венеция.

\*\* Об интеллигенции в XVI веке см. вводный очерк к моей книге "Очерки итальянского Возрождения" (1929), с. 10—11.

достаток, хотя избытка не было никогда, а в ранней юности Джорджо, когда умер его отец, была довольно долго и тяжелая нужда. Но Джорджо, как немногие из детей даже богатых буржуазных семей, успел получить хорошее гуманистическое образование, что очень помогло ему в жизни.

Вазари далеко не сразу стал на ноги. Начало его жизненного пути не было усыпано розами. Попробовал он и "чужого хлеба" и "чужих лестниц", но он относился и к тому и к другому не по-дантовски: без надрыва, спокойно и безмятежно. Сегодня нет ни крова, ни ложа. Пустое! Будет завтра. В один из таких незадачливых моментов Вазари попал к Бенвенуто Челлини и позднее сделался жертвой его язвительного пера. Бенвенуто таких случаев не упускал, а в момент, когда он писал свои мемуары, Вазари был богат и знатен, ему же отнюдь не друг. набросок карикатурный и злой, но очень живописный и в главном правдоподобный:

"Я дал ему приют в Риме, где он жил на мой счет. А он поставил у меня в доме все вверх дном. В это время он болел сухим лишаем, покрывшим стружьями его руки, которые он постоянно расчесывал. Спал он на одной постели с моим подмастерьем, славным парнем по имени Мано, и однажды ночью своими паршивыми пальцами, на которых вдобавок он никогда не стриг ногтей, разодрал ему ногу, думая, что чешет свою. Мано собирался уйти от меня, а его хотел убить во что бы ни стало. Я их помирил. А потом устроил названного Джорджо к кардиналу Медичи и все время ему помогал"\*.

Этот рассказ может относиться только к декабрю 1531 года, когда Вазари приехал в Рим, снабженный из Флоренции рекомендациями к Ипполито Медичи, и в то короткое время, пока ему не удалось устроиться во дворце кардинала, очевидно, "ставил вверх дном" дом Бенвенуто\*\*. Но кардинал вскоре уехал на войну с турками, и божья жизнь началась снова. Потом Вазари стал близок ко двору герцога Алессандро Медичи, но после его убийства (январь 1537 года) опять остался ни при чем, и опять возобновилась погоня за фортуной.

Для Вазари, как артиста и как будущего историка искусства, эта полоса трудовой жизни была очень полезна. Он работал не покладая рук и, работая, учился. Исполняя заказы, он объездил всю Италию, познакомился со всеми почти крупнейшими произведениями искусства Треченто и Кватроченто и почувствовал свою связь с той культурой, которая кристаллизовалась в живописи, в ваянии и архитектуре этих двух веков. А когда он стал писать книгу, это помогло ему найти настоящую перспективу, для очень многих из его современников становившуюся уже чрезвычайно смутной.

В момент убийства Алессандро Вазари было 25 лет.

\* Cellini, Vita, I, 86.

\*\* См. Kallab, op. cit. 48. Regesten zur Biographie Vasaris, N 26.

Таково было скромное начало карьеры будущего важного придворного, рыцаря (*cavaliere*) св. Петра, то есть пожалованного дворянина, богатого помещика и домовладельца. Вазари достиг этого положения упорным трудом — ибо трудоспособности и технической сноровки у него было больше, чем таланта, — умением приспособляться и ладить с властью имущими, искательством, лестью. Вазари знал своего клиента и умел ему угождать. Ему не хватало уверенности в себе, которая дает право навязывать свои художественные замыслы заказчику, кто бы он ни был. В нем не было ни гордого духа, ни достоинства артиста. Его спина гнулась легко, и он не задавал себе неудобных вопросов, кто такие те, кому он служит. От них на него сыпались почести и дукаты. Этого ему было достаточно. И, как все люди этого сорта, Вазари терпеть не мог художников, которые держали себя независимо, вроде того же Челлини\*, или которые без большого труда достигали высшего мастерства. Таким "гулякой праздным" был в глазах Вазари Содома, которого он поносит в его биографии как человека и как художника, а в пику ему всячески восхваляет его соперника, своего приятеля Беккафуми, самую большую посредственность из всех, кого знала сиенская школа в XVI веке.

При таких свойствах характера Вазари легко дал себя освоить той культуре, которая расцвела при тосканском дворе в правление Алессандро и Козимо. До 1553 года он странствовал по Италии, постепенно накапливая капитал и славу. С 1553 года он поступил на службу к Козимо. Что он нашел во Флоренции?

Почти четверть века прошло с тех пор, как пала после героической борьбы последняя флорентийская республика. За это время изменились все основы жизни. Лучшие люди прежнего режима погибли либо в период недолгой агонии 1530 года, как Франческо Ферруччи, либо сделалась жертвой лютой мести и свирепой подозрительности Козимо. Вместе с Элеонорой Толедо, дочерью неаполитанского вице-короля, во Флоренцию пришли в большом количестве испанцы. Они заняли придворные должности, они стали задавать тон высшим слоям новой знати.

---

\* Нужно сказать, однако, что их дурные отношения в жизни мало отразились на том, что Вазари о Челлини писал. В очерке "Degli academici del disegno" он очень хвалит "Персея", но прибавляет о его авторе: "Il quale e stato in tutte le sue cose animoso, fiero, vivace, prontissimo e terribilissimo, e persona, che ha saputo pur troppo dire il fatto suo con i principi, non meno che le mani e l'ingegno adoperare nelle cose dell'arti" ("Который во всех своих делах гордый, смелый, быстрый, крайне живой и неистовый человек, даже слишком хорошо умевший говорить правду в глаза сильному миру сего и с таким же успехом, каким он умел в искусстве пользоваться своими руками и своим талантом". — *Ped.*) В биографии Баччо Бандинелли, злейшего врага Бенвенуто, рассказывая о распри обоих художников, Вазари явно стоит на стороне первого. Зато в групповой биографии Валерио Вичентино и других он вполне отдает должное медалям Бенвенуто. Челлини причислен там к тем "che hanno paragonato e passato gli antichi". ("Кто сравнивался с древними и превзошел их". — *Ped.*) Может быть, это объясняется тем, что в момент выхода второго издания "Vite" Челлини был жив и Вазари знал, что человек он сердитый.



Они привили постепенно свои нравы, свой угрюмый характер, свою нелюдимость, тупость, жестокость верхушке тосканского общества. Они, наконец, помогли Козимо подвести новый фундамент под социальный строй герцогства.

Феодальная реакция в Италии началась, в сущности, с первого десятилетия XVI века, когда торговля и отчасти промышленность Ломбардии и Тосканы были разрушены войнами. Потом она все крепла, ибо упадок торговли и промышленности продолжался в темпе, все более усиливающимся. Венеция, которая боролась с этим общеитальянским бедствием, в конце концов оказалась бессильна. К местным хозяйственным причинам присоединились стимулы извне, уже чисто политические, Испания создавала себе поддержку в лице крупных землевладельцев и старалась насадить крупное землевладение в Италии всюду, где для этого были хоть какие-нибудь предпосылки и где у нее было для этого достаточно влияния. В Тоскане влияния у нее было достаточно, но предпосылки приходилось создавать: слишком крепки были индустриальные традиции и слишком в загоне до этого времени было землевладение. Для этого был придуман способ достаточно простой — создание майоратов. Италия раньше не знала или почти не знала принципа единонаследия. Свобода завещания была полная, и земли могли делиться по числу наследников. Козимо под влиянием испанцев не только покровительствует землевладению, не только заставляет представителей семей прежних фабрикантов вкладывать капиталы в землю, но и нарочито поощряет образование майоратов. Ему это было выгодно потому, что за разрешение превратить имение в майорат казна взимала крупную пошлину, а дворянам тоже было не безвыгодно, ибо делало более устойчивым благосостояние всего рода за счет младших сыновей, интересами которых жертвовала без больших угрызений совести. Учреждение майората сопровождалось восстановлением давно отмененных феодальных и помещичьих прав. Вытесняя в деревню капиталы, вложенные в торговлю и промышленность, Козимо захватил торговлю в свои руки, превратил ее в монополию казны и в источник очень больших доходов. Недаром он считался самым богатым государем в Европе.

Часть богатств он тратил на украшение своей столицы, особенно своих дворцов. Тратил скупно, обсчитывая художников, елико возможно. Но Козимо хотел, чтобы все считали его настоящим Медичи не только по крови, но и по вкусам, а так как среди традиций медичейского господства меценатство слыло во всем мире лучшим титулом на славу, Козимо просто не мог от него уклониться. И давал работу художникам. При нем дарили Флоренции лучшее, на что они были способны, такие живописцы, как Понтормо и Бронзино, такие скульпторы, как Амманато и Челлини. Вазари в этой компании, куда входили и артисты более мелкого калибра — Триболо, Бандинелли, — был фигурой едва ли не самой выдающейся в последние двадцать лет правления

Козимо. Он работал и как архитектор, и как живописец. Он выстроил дворец Уффици с чудесной лоджией, выходящей на Арно. Он перестроил внутри Palazzo Vecchio и отделал Palazzo Pitti. Он соединил дворцы Уффици и Питти галереями, проходящей через Ponte Vecchio. Он расписал огромными фресками в духе господствовавшего тогда маньеризма большие залы Palazzo Vecchio и разбросал по городским церквам свои картины на священные сюжеты. Зато, находясь в непосредственной близости от Козимо, он больше других подвергся влиянию новой культуры, которую тот насаждал в своей столице, и особенно при дворе.

Козимо не был лишен дарований. Он был умен, энергичен, обладал чудовищной работоспособностью и большим дипломатическим талантом. Нелегко было создать при стольких подводных камнях, в окружении врагов и друзей, которые были опаснее, чем враги, жизнеспособное государство. Козимо его создал, но какой ценой!

Современники оставили нам целую серию мрачных рассказов о кровавых эпизодах в семье Козимо\*. Многие в этих рассказах выдуманно, но несомненно одно. Во Флоренции и при дворе царил такая атмосфера, которая делала правдоподобными самые невероятные слухи. Достаточно было взглянуть на Козимо, на его тусклые, тяжелые, фальшивые глаза, на его толстую шею, на жесткие линии его рта, чтобы поверить, что от этого человека можно ждать всего. Характер Козимо соединял в себе все элементы, из которых складывается облик тирана. От своего отца, последнего рыцаря Италии Джованни delle Bande Nere, он не унаследовал ничего, кроме непреклонной суровости. От бабки, знаменитой Катарины Сфорца, до него не дошла ни одна крупинка ее героической души. Мать, Мария Сальвиати, которая помогала мужу набирать армии и была добрым гением его солдат, не передала ему ни искорки той огромной любви к людям, которой было полно ее сердце. Деспот и палач по натуре, он отличался от своего предшественника, метиса Алессандро, только тем, что не был так дико развратен, как тот. Его жена, Элеонора Толедо, прекрасное лицо которой увековечено на портретах Бронзино,

---

\* Их подробный пересказ любители страшных историй найдут в книге Edgcumbe Staley "The tragedies of Medici". Критика автору чужда совершенно. Он писал (даты не имеет, но книга напечатана не раньше 1907 года) после выхода итальянской монографии Saltini, *Tragedie mediche domestiche* (1898), где все современные рассказы и сплетни подвергнуты научной критике. Стэли, вероятно, чтобы не терять эффектных моментов, очень мало воспользовался отрезвляющими выводами Сальтини. Любопытно, что в одном из таких мрачных эпизодов легенда заставляет быть невольным участником и Вазари: будто однажды, когда Вазари с высокого помоста, не видный снизу, расписывал плафон одной из зал Palazzo Vecchio, Козимо пытался изнасиловать свою дочь Изабеллу, спавшую на кушетке, и, когда, грубо разбуженная, принцесса закричала, Козимо сообразил, что Вазари мог быть наверху, и взбежал по лесенке на помост с обнаженным кинжалом, чтобы убить свидетеля собственной гнусности. Вазари спасся будто бы только тем, что притворился погруженным в глубокий сон.

была типичная испанка: богомольная, надутая, ревнивая, жадная, она спекулировала наперерыв со своим мужем под эгидой казенной монополии и налагала испанскую печать на весь придворный уклад. Трудно было представить себе что-нибудь более безрадостное, более мрачное, более тоскливое, чем двор Козимо и Элеоноры.

При Козимо Старшем в просторном доме на Via Larga царил хороший буржуазный уклад. Художники и гуманисты приходили к Козимо как к себе домой и чувствовали себя с ним совсем просто. А когда Козимо приезжал к себе на виллу в Кареджи, оставив заботы о банке и о городе во Флоренции, там атмосфера становилась еще более интимной. При Лоренцо Великолепном стало пышнее в том же палаццо, выстроенном Микелоццо, но продолжало быть почти так же просто. Лоренцо сам был художник и любил общество людей с творческими замыслами. Полициано у него был свой человек, Боттичелли, который не утратил еще своего веселого характера и радостного всегда настроения, не стеснялся нисколько, а Луиджи Пульчи бесцеремонно лез со своими народными словечками и народными песенками, когда хотел. Лоренцо и мать его, Лукреция Торнабуони, умели ценить искусство и литературу, не жертвовали этикету дружбой и добрыми отношениями.

При Козимо, великом герцоге, о таких отношениях страшно было даже подумать. Испанская важность, испанская напыщенность, деревянный, холодный этикет съедали без остатка добрые отношения. При Козимо у художника, поэта, мыслителя, ученого не было, как при первых Медичи, ценителя-друга, понимающего и чуткого. При Козимо был государь-заказчик и слуга — исполнитель заказа. От других слуг он отличался только тем, что обладал талантом. Если слуга умел угождать, его одаривали как художника, и далеко не очень щедро. И, одаривая, его ассимилировали, превращали в человека, душевно не отличающегося от толпы испанской и испанизированной придворной челяди. Вазари испытал это на себе в полной мере. Правда, он не ощущал от этого никаких неудобств. Такова была его натура. Микеланджело невозможно было втянуть в эту удушливую обстановку, а Бенвенуто искренно в ней страдал.

## V

Шлоссер делает попытку определить социальное лицо Вазари в следующих словах\*: "Мы неоднократно указывали, как тесно связан Вазари со своей эпохой. Подобно тому как флорентийскому *nobile* Русичи деятельность художника казалась разрывом с сословием, Вазари — по своему происхождению и жизненным взглядам настоящий буржуа — держится крепко традиций своей

\* Kunstliteratur, 292.

касты. В биографии Альфонсо Ломбарди, которого обвиняли в барских замашках (*signogiler Neigungen*), он говорит без обиняков, что такой образ жизни (*Lebensführung*) художнику не подходит... Это вообще для него типично. Хотя и придворный, он своим положением больше напоминает художника, чем *valet de chambre* монархических дворов. Вазари держится корнями (*wurzelt*) в мелкобуржуазной среде. Правда, и медичейский двор сохранял кое в чем буржуазный отпечаток..."

В чем заключалось это *etwas burgeoises Gepräge* медичейского двора, сказать трудно. Разве только в скаредности и в спекулятивных увлечениях, да еще в том, что двор был молодой, несовершеннолетний и не имел еще строгой и стройной организации старых дворов\*. Ошибочность этого положения совершенно ясна. Гораздо сложнее с социальным обликом Вазари. Тут требуется более обстоятельный анализ, чтобы восстановить истинное положение дела.

Прежде всего, что говорится в цитированном месте из биографии Ломбарди? Там нет ни слова об "образе жизни", а идет речь о простой страсти к богатым украшениям и мишуре. Это Вазари осуждает как нечто недостойное художника, "стремящегося к славе". Но он не осуждает барского образа жизни. По образу жизни сам Вазари был отнюдь не буржуа, а именно важный барин. Он держался корнями в мелкобуржуазной среде, пока не обрел прочного положения у Козимо в годы богемных скитаний, в пору, когда складывались его историко-художественные схемы. Эти мелкобуржуазные корни оборвались, когда он почувствовал себя прочно у Козимо. Он очень быстро поддался влиянию медичейского двора, и не только в бытовом своем укладе, но и в социальном.

Экономическая политика Козимо имела в виду двойную цель: создать ему политическую опору в землевладельческом классе и образовать социальные кадры, из которых можно было бы черпать людей для пополнения придворного штата. Козимо всех

---

\* См. *Alf. Reumont, Gesch. Toscanas* (1878). B. I. 254—256. "Die bürgerliche Haltung welche bei Lorenzo il Magnifico gewährt hatte, war bei ihm (Cosimo) verschwunden. Er war Fürst, die anderen waren Untertanen".

\*\* "Vita di Alfonso Ferrarese": "V'sò sempre di portare alle braccia, al collo e ne'vetimenti ornamenti d'oro ed altre frascherie, che lo dimostravano piu tosto uomo di corte, lascivo e vano, che artefice desideroso di gloria. E nel vero, quanto risplendono cotali ornamenti in coloro ai quelli per ricchezze, stati e nobilità di sangue non disconvengono, fanto sono degni di biasimi negli artefici ed altre persone, che non deono, che per uno rispetto e chi per un altro agguagliarsi agli uomini richissimi" (Он имел обыкновение носить на руках и на шее, а также на одежде золотые украшения и другие безделушки, благодаря чему походил более на сластолюбивого и пустого придворного, чем на стремящегося к славе художника. И, сказать по правде, насколько сверкают украшения подобного рода на тех, кому они идут по их состоянию, положению и благородству крови, настолько достойны они порицания на художниках и других лицах, которым неприлично по тем или иным соображениям уподобляться очень богатым людям. — *Ред.*) Это вообще один из излюбленных мотивов Вазари. Почти буквально теми же словами порицает он такие наклонности, напр., у Содомы.

толкал на путь деревенского хозяйствования, Вазари в том числе. А с Вазари это было тем более нетрудно, что у него уже и раньше определялись подходящие наклонности. Время было такое: феодалная реакция царила почти полвека. Помещичье хозяйство если и не всегда приносило доходы, то гарантировало тех, у кого были поместья, от последствий кризисов и перебоев в снабжении предметами первой необходимости.

А Вазари свое имение Фрассинето в Вальдикиане купил еще до поступления на службу к Козимо, в 1548 или 1549 году. Об этом говорится в автобиографии: "В это время я написал портрет Луиджи Гвиччардини, брата мессера Франческо, автора "Истории", ибо названный мессер Луиджи был дорогим моим другом и убедил меня, из любви ко мне, будучи комиссаром Ареццо, купить очень большое имение (*una grandissima tenuta di terre*) под названием Фрассинето в Вальдикиане, которое сделалось спасением и величайшим благом моего дома и будет таковым для моих наследников, если, как я надеюсь, они сами не навредят себе в чем-нибудь".

Каждую осень Вазари любил съездить в Ареццо посмотреть, что делается у него в поместьях. Оттуда он писал довольные письма друзьям. В сентябре 1560 года он сообщает своему другу и постоянному корреспонденту, Винченцо Боргини, что осматривал свои виноградники и остался их состоянием вполне удовлетворен\*. А через десять лет, в декабре 1570 года, он пишет тому же Боргини уже совсем жаргоном крупного помещика: "Я приказал, чтобы обработка земли в моих имениях Сан Поло, Капуччоло и Фрассинето к моему приезду была закончена, как равно и пограничная стена во Фрассинето... и чтобы все шло там своим порядком. Виды на будущее хороши, как вы в свое время узнаете. И если к моему приезду, как я надеюсь и верю, все окажется законченным успешно, то можно будет жить, философствовать и спокойно наслаждаться последними годами этой моей спокойной и полной трудов жизни"\*\*\*.

Как силен был в Вазари инстинкт помещика, следящего прежде всего за тем, чтобы имение было хорошо снабжено и благоустроено, ставящего интересы имения выше интересов лиц, хотя бы и близких ему, видно из тех забот, которые сквозят в его завещании, составленном в 1568 году\*\*\*. Там в пункте 21 предписывается, чтобы живой инвентарь (*cavallini, mulini, vacche, buoi, pecore, capre, porci, asini*), который находится во Фрассинето и в других имениях, был оставлен в руках крестьян, которые работают при имении, и чтобы "не уменьшалось их количество, а скорее увеличивалось, так как я хочу, чтобы означенные животные служили

\* См. "Opere di G. Vasari" (ed G. Milanese; ult. ediz.), v. VIII, 337.

\*\* "Opere", VIII, 453.

\*\*\* См. Gaye. Carteggio inedito d'artisti (1840), т. II, с. 512. Это завещание отменяло два других — от 1558 и 1560 гг. Позднее, когда Вазари потерял надежду иметь детей, он дополнил его еще. См. Rob. Carden, The life of G. Vasari (1910), 333.

пользе имений, а не выгоде других”\*. Вазари очень любил свои имения, и самым большим его огорчением было то, что он не мог посвящать им столько времени, сколько ему хотелось. И однажды в письме к епископу Аретинскому Минербетти в ноябре 1553 года, обещая ему скоро приехать и намекая на бывший недавно разлив Кьяны, в шутивно-лирическом тоне расписывает, как соскучились без него и Сан Поло и Фрассинето и как, устав звать его к себе каждодневно, они выражают всячески свою тоску, а Фрассинето даже бросается в объятия ”матери Кьяны”\*\*\*.

Вазари был действительно недалеко от того, чтобы верить, что это так и было, хотя, нужно сказать, хозяйство в его имениях велось без него не бог весть как хорошо. В 1568 году он ”приехал в Ареццо на непродолжительный отдых, частью для перемены воздуха, частью чтобы побыть в роли сельского помещика: объезжать свои поля, осматривать табуны и скот. В имении — *in villegiatura* — он нашел, что все по-прежнему в полном беспорядке, что сельскохозяйственные рабочие мало о чем заботятся, кроме своей заработной платы, и меньше всего об его интересах. И отдых, который он себе обещал, был нарушен сознанием необходимости переделать все хозяйство в имениях”\*\*\*\*.

Похож ли этот рачительный, хотя и не очень удачливый, помещик на изображенного Шлоссером ”буржуа, который блюдет традиции своей касты” и который ”держится корнями в мелкобуржуазной среде”? Едва ли. Когда Макиавелли поселился в своем имении в Сан-Кашьяно, он хозяйством не занимался. Он там делил время между писанием книг и игрой в кости со случайными посетителями придорожной таверны. Потому что Макиавелли действительно держался корнями в буржуазной среде, а Вазари от своей среды оторвался.

Что заставило Вазари так стремиться быть помещиком? Едва ли большая выгода помещения капиталов в землю. В это время выгодно было хозяйство на крупных земельных комплексах, а не на небольших имениях. Пошлины и всякого рода регламентации в интересах казны были так тяжелы, что только оперирование большими массами товарного зерна или вообще каких-либо сельскохозяйственных продуктов могло выдержать эти фискальные поборы. Торговля между отдельными провинциями Тосканы, торговля между городом и селом затруднялась таможенными заставами. Частным лицам запрещалось продавать зерно кому бы то ни было, кроме правительственных комиссаров. Вазари эти радости должен был испытать на своем хребте. В его переписке, дошедшей до нас, сохранились два письма

---

\* Это распоряжение, конечно, не определяет отношения Вазари к трудящимся. Оно было, поскольку можно судить по отдельным замечаниям, напр. по тону рассказа о забастовке строительных рабочих во время кладки купола Брунеллеско, не слишком приятным. Сочувствия в нем борьба рабочих не вызвала ни в какой мере.

\*\* ”Opere, VIII, 312—313.

\*\*\* Rod. Carden, там же, с. 143.

к Бартоломео Кончини, в которых речь идет о запасах зерна в Фрассинето и об обязательной сдаче его продовольственным комиссарам, причем дело не обходилось без затруднений\*. Вазари не мог не понимать этих вещей. И если он все-таки стремился покупать имения и еще в 1569 году, то есть когда у него было их несколько, запрашивал у герцога поместье Монтуги в Вальдарно и уверял, что он без него никак не может обойтись\*\*, то этому должны были быть причины и порядка не хозяйственного. И они, несомненно, были.

Как все люди с маленькой душой, Вазари был необычайно тщеславен. Меру его самомнения мы знаем и из посвящения ко второму изданию "Vite", и особенно из многих писем последних годов его жизни\*\*\*. Из тщеславия, из желания не отстать от других в ближайшем окружении герцога, из желания разыграть большого барина, достойного быть ближним придворным Козимо, Вазари тянулся изо всех сил и копил имения. А когда он еще сделался cavaliere, он почувствовал, что цель его жизни достигнута. Он был целиком человеком герцога Козимо, его верным слугой, его поклонником, его панегиристом. На его схеме это отражалось очень ярко.

Прежде всего тосканское искусство, в котором блистает "божественный" Микеланджело, окруженный созвездием крупнейших современных художников, дало лучшее и самое совершенное из того, чего достигло итальянское искусство. Это одно было положение Вазари. Для того чтобы оно казалось правдоподобным, пришлось в "Vite" отправить на задворки Джорджоне и Тициана и вообще оставить в тени венецианскую школу, Рафаэля сделать несколькими головами ниже Микеланджело и смазать измелъчание и упадок искусства еще при жизни того же Микеланджело. А для того чтобы герцог Козимо предстал в глазах современников и потомства в ореоле отца-покровителя тосканского искусства, Вазари стал усердным коммивояжером между Козимо и Микеланджело. Неудобно ведь было, что краса и гордость тосканской школы не желал с самого момента падения флорентийской республики ступить на поработленную теперь почву родного города, свободу которого он геройски защищал в 1530 году. Но как ни соблазняли великого старика герцог и его юркий агент, он так и не соблазнился. Зато, когда Микеланджело

---

\* См. "Орег", VIII, 320 и 323. У Вазари было разрешение оставить для себя некоторое количество зерна, но комиссары с этим разрешением, по-видимому, не хотели считаться. Письма относятся к январю и к июлю 1556 г. Бартоломео Кончини был у Козимо чем-то вроде министра иностранных дел, но занимался и другими делами. Ему, между прочим, принадлежат искажения в первом печатном (сокращенном) издании "Истории" Гвиччардини 1561 г. Он был дедом Кончино Кончини, игравшего такую крупную роль в первые годы царствования Людовика XIII во Франции. См. о нем Reutont, Gesch. Toscanas, B. I, 105.

\*\* Эта история подробно рассказана у R. Carden, The life of G. Vasari, 280 sqq.

\*\*\* Посвящение тому же Козимо при первом издании написано совсем в других, очень скромных тонах.

умер, Козимо и Вазари — с согласия покладистых родственников — воровским образом, под видом тюка с товаром (*come fusse alcuna mercanzia*, как говорит сам Вазари), увезли из Рима его тело и с величайшей помпой похоронили во флорентийском Пантеоне, *Santa Croce*. При этом опять-таки Вазари был антрепренером всей церемонии\*.

Микеланджело своим упорством немного испортил Вазари полновесность положения: что если тосканская школа первая в Италии, то это потому, что в Тоскане правит Козимо Медичи, потомок целого поколения меценатов и сам лучший меценат между всеми. Этого положения нельзя было формулировать такими словами, и оно осталось неформулированным. Но оно было глубочайшим убеждением Вазари и сплелось со схемой стилистической эволюции итальянского искусства от *maniera vecchia* к *maniera moderna*.

Чтобы создать такую схему, нужен был, во-первых, представитель тосканского искусства, сотворивший кумира из Микеланджело, во-вторых, придворный, близкий к Козимо как к меценату, в-третьих, человек, классовым образом принадлежащий к той новой культуре, которая пришла на смену культуре буржуазной и которую вколачивал в тосканскую почву Козимо. В Вазари соединялись все эти три лица.

Конечно, в истории отношений между художниками и властью наступит момент, когда близкий ко двору артист будет придворным в большей мере, чем художником, в большей мере, чем был Вазари, будет придворным прежде всего и превыше всего. Этот момент еще придет, и в Италии на таких ролях станут фигурировать очень крупные артисты, например Лоренцо Бернини. В других государствах в эпоху расцвета абсолютистской культуры такое соотношение между художниками и государями будет единственно возможным.

Вазари стоит в начале этой эволюции. Он уже придворный и по социальному статусу своему уже подтянулся к тогдашнему уровню. Но он еще не такой придворный, как Бернини, не в такой мере *valet de chambre*, в какой, быть может, ему хотелось бы. Это потому, что он попал ко двору вполне сложившимся, зрелым художником и пожилым человеком после долгих лет богемного и полубогемного существования, и потому еще, что самый двор герцога Козимо был молодым двором, не имел ни прочных традиций, ни застывшего старого церемониала, ни матерых церемониймейстеров: он не был способен наложить твердые штампы на вольнолюбивую артистическую братию и перевоспитать ее окончательно.

Беглый, но очень живой силуэт Вазари-придворного набросан в мемуарах Бенвенуто Челлини там, где рассказывается о кон-

---

\* Недаром конец биографии Микеланджело у Вазари — во втором издании, конечно, — занят подробнейшим и скучнейшим описанием его похорон во Флоренции. Вазари бил неутомимо в одну точку: ему нужно было подчеркнуть хоть этим способом принадлежность Микеланджело *герцогской* Флоренции.



курсе на статую Нептуна (II, 101): "...Герцог вышел из дворца, и Джорджето-живописец повел его в помещение Амманато", чтобы показать ему модель, изготовленную этим соперником Челлини. "И хотя названный Джорджето пытался заморочить его своей болтовней, герцог качал головой" и послал узнать, нельзя ли взглянуть на модель Бенвенуто. Именно вот такой Джорджето или Джорджето в уменьшительном, не то ласковом, не то пренебрежительном; на Руси бы сказали "Егорушка", а может быть, и "Егорка"! Он умеет хорошо заговаривать зубы и обдирать свои делишки, но его слушают не очень и часто отмахиваются от него небрежным и нетерпеливым жестом. Это не то что какой-нибудь важный и чопорный испанский гранд, который ведет свой род от Сида, снисходит до придворной должности при молодом дворе и умеет оградить свое достоинство\*.

Будучи придворным, Вазари не мог совсем отделаться от тех настроений, в которых он подготовлял и даже писал первое издание "Vite". В нем еще были живы впечатления от "Комментариев" Гиберти, проникнутых таким живым и бодрым чувством республиканского свободолюбия. Он не мог отбросить совсем те общественные настроения, а далеко лишь не одни художественные критерии, которые заставляли его смолоду, когда он был еще вольной птицей и не был обременен поместьями и домами, восторгаться искусством Треченто и Кватроченто. И художника он ценил, совершенно не считаясь с социальным его положением, а исключительно исходя из критериев искусства. Крестьянский сын Джотто и патриций Микеланджело — для него одинаково артисты, создававшие великие произведения. С такими только критериями он и считается\*\*. Если бы "Vite" стали составляться после 1553 года — момент поступления на службу к Козимо, — они могли бы под влиянием его новых общественных настроений, обусловленных новым хозяйственным статусом, получить совсем иной вид. И если бы это было так, еще книга могла положить начало отрицанию ценности искусства Кватроченто, характерному для следующего века.

---

\* Очень ядовитое замечание о Вазари мы находим в письме того же Бенвенуто к секретарю Флорентийской академии, написанном в 1664 г. Письмо относится к церемониалу похорон Микеланджело, художественное оформление которых было поручено комиссии из четырех флорентийских художников, в том числе Челлини и Вазари. Бенвенуто предлагает свой проект и прибавляет: "Прошу не сообщать этого каприза моей фантазии никому из художников и менее, чем кому-либо, синьору Джорджо Вазари, нашему сотоварищу, у которого такой богатый и редкий ум, что я боюсь, как бы мои проекты не смущали его чудных мыслей, что было бы бесконечно жалко" (Переписка Микеланджело Буонаротти. Спб., 1914. С. 234).

\*\* А между тем нельзя сказать, чтобы другого рода критерии совершенно еще безмолвствовали. Кондвини ("Vita di Michelangelo", гл. 67) уже отмечает любопытный факт, которым Вазари совершенно не интересуется: "Как и древние, он (Микеланджело) искал случая обучать людей знатного рода, предпочитая их плебейам".

Этого, к счастью, не случилось, потому что Вазари не мог выкинуть из песни своей жизни мотивы, одушевлявшие его молодость. Второе издание книги, которое испытало на себе все то, что Вазари впитал в виде настроений за время службы, поэтому не такое цельное, как первое. Но и только. Книги оно не испортило.

## VI

С конца XVI века литература и искусство поступают всюду в Европе на службу к монархическим дворам. Таково было требование момента. Абсолютная монархия справилась с феодалской и буржуазной оппозицией, выкинувшей знамя религиозного разногласия, и на некоторое время почилла на лаврах. И притянула к себе представителей литературы и искусства.

Средние десятилетия XVI века в Италии — время, когда в среде работников умственного труда и художественного творчества идут еще колебания. Старые традиции умерли еще не для всех. Былая слава итальянских республик еще будит свободолюбивые чувства. Еще стоит на лагуне Адриатическая республика, выдержавшая столько ударов, и ведет Европу против наступающих турецких полчищ: славная гибель Маркантонио Брагадина в Фамагусте случилась в один год с победой Себастьяно Веньера при Лепанто (1571). Знамя св. Марка для многих наполняет кровью и плотью видения и призраки былой свободы. И хотя в Венеции нет настоящей свободы для всех классов, но достаточно того, что крылатый лев красуется на *республиканском* знамени, когда кругом преследуется самое название республики, чтобы деспотизм, давящий в Италии все, казался особенно невыносимым.

Среди интеллигенции таково было настроение большинства историков. По крайней мере, об их настроении сохранились документальные данные в виде их сочинений. Если люди не были классовым образом связаны с новыми порядками или были связаны слабо и если они брались за перо, чтобы говорить о судьбах Италии, они неизбежно представляли себе процесс эволюции Италии за последние сто лет, процесс гибели республиканской свободы как процесс глубочайшего упадка. Все схемы этого рода были пропитаны тяжелым пессимизмом\*.

В этом отношении большинство равнялось по Гвиччардини и еще больше по Макиавелли, пессимистический пафос которого действовал особенно заразительно. Но даже позиция автора *Principi e Istorie* казалась для флорентийских республиканцев, изнывавших в эмиграции, чересчур благоприятной для Медичи, сокрушивших флорентийскую республику. Их точку зрения взял-

---

\* См. об историках XVI века Lupo Gentile, *Storia della storiografia Fiorentina* (1905); Ed. Fueter, *Gesch. d. neuen Historiographie* (1911).

ся защищать разысканный ими в годы изгнания венецианский гуманист Джанмикеле Бруто, который написал латинскую "Историю Флоренции", являющуюся, в сущности, историей постепенного разрушения флорентийской свободы домом Медичи. В этих же тонах написана история тоже находившегося в эмиграции Якопо Нарди, который был заклятым врагом Медичи.

Но даже у историков, которые были сторонниками Медичи, прорываются при всем их сочувствии к новым порядкам такие мотивы, которые говорят о большой внутренней борьбе. Бернардо Сеньи, который твердо заявляет, что монархическая форма является единственной гарантией, все-таки заставляет звучать какие-то моральные нотки, в которых нетрудно услышать осуждение методам этой монархии. Якопо Питти берется защищать народную партию против обвинений Гвиччардини и нападает на республиканцев-оптимистов, которые были главными врагами Медичи, а его изложение нечувствительно превращается в апологию народного правительства. Даже Филиппо Нерли, тесно связанный со всей семьей Медичи и почти официальный историограф Козимо, определенно проводит мысль, что монархическая форма нужна Флоренции лишь как гарантия против демократии: демократию Нерли не любит потому, что она держала его очень долго в тюрьме как заклятого *palleco*. Нет ничего удивительного, что самый выдающийся из тосканских историков этого времени, Бенедетто Варки, вызванный Козимо из эмиграции и облеченный миссией написать историю медичейского господства, написал ее, невзирая ни на что, так, что Козимо не позволил напечатать его книгу.

Прославление безусловное и безоговорочное звучит только у таких историков, как Джовио. Этот знает, за что он берет деньги, и ни над чем не задумывается, хотя видит все несколько не хуже любого из перечисленных выше. Недаром конец жизни старый епископ провел под крылом у Козимо и умер во Флоренции, по горло сытый пенсиями.

Среди ученой интеллигенции, словом, пессимизм все еще является в той или иной мере господствующим настроением. Она не могла сразу помириться с новыми порядками, потому что классовым образом была либо слишком связана со старым, либо недостаточно крепко с новым. Но социальные мотивы у нее легко принимают вид политических или моральных аргументов. Когда окрепнет ее связь с новым, она придет к тому же, к чему раньше пришел Джовио, и сядет на ступенях трона. Но это еще только будет. Чтобы ускорить этот процесс, монархия принимает свои меры и восстанавливает университеты. Ученую интеллигенцию легче всего собрать и пригреть, когда имеется центр. Козимо восстановил Пизанский университет и энергично поддерживал Флорентийский.

Легче и быстрее проходила смена вех у поэтов. Они сравнительно хорошо чувствуют себя при дворах непосредственно или в литературных академиях всякого рода, что почти одно и то

же. Ариосто, позднее Тассо подают пример. Лишь немногие независимые люди, вроде Джанджорджо Триссино, собирают вокруг себя в своих виллах единомышленников и ведут с ними беседы. Но такие виллы — немногочисленные островки.

Художники колеблются меньше других. На них спрос еще есть, ибо новая монархия хочет быть нарядной. Им некогда тешить себя идеализмом. Им нужна работа, а работа только при дворах. Они и идут ко дворам. Вазари один из тех, кто делает это с наиболее решительным и наиболее развязным видом. Вазари не смущает даже то, что его кумир, который не сделался кумиром настолько, чтобы стать его совестью, — Микеланджело — стоял в центре этой карьерной свистопляски, презирая ее, как новый Фарината в раскаленной могиле деспотизма и мракобесия, Вазари отлично грелся у того огня, который казался адским пламенем Микеланджело.

Но именно эти качества Вазари помогли ему создать книгу, которая останется красноречивым памятником его времени, помимо того, что она стала первой и классической историей искусства.

В средние десятилетия XVI века, когда победа и политической и культурной реакции была уже закреплена совершенно твердо, но когда протесты против этой победы в душах лучших людей еще не были сломлены, Вазари показал, какими формулами можно довольно красиво оправдывать эту реакцию. "Vite" и вся обстановка, в которой книга возникла и в которой она переделывалась для нового издания, рисуют настроение и в лагере тех, кто примирялся и приспособлялся, и в стане тех, которые, не будучи уже в состоянии активно бороться, угрюмо молчали и гордо страдали.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

### Дживелегов — историк итальянского Возрождения

Алексей Карпович Дживелегов (1875—1952) был сторонником социологического метода в гуманитарном знании, причем в форме достаточно жесткой, чтобы не сказать прямолинейной. Согласно этому методу, определяющим началом в любом феномене духовной культуры признается его мировоззренческое наполнение, которое строго соотносится с классовой позицией мыслителя и художника и через нее с материальной основой истории, с динамикой производственных отношений. Привлекательной стороной такого подхода к истории является его универсальная объяснительная сила: нет ни одного явления духовной жизни, в основе которого не лежал бы материальный фактор, нет, соответственно, и разрывов в цепи причин и следствий. Достижение столь непротиворечивого результата невозможно, однако, без потерь — в первую очередь, без существенного ограничения инициативы у субъектов истории; в особенности страдает суверенитет культуры. У личности есть еще некоторая возможность маневра между враждебными идеологиями, но культура превращается, как правило, в зеркально точное и зеркально пассивное отражение социальных интересов и идеологических пристрастий. Культурная деятельность предстает огрубленной и упрощенной: в этом, быть может, основная причина небольшого читательского интереса ко многим произведениям, созданным в рамках социологического метода, и к их авторам, среди которых были ученые незаурядных дарований.

И вот перед нами книга избранных трудов представителя социологического метода — в чем здесь дело, что в них еще живет и способно вызвать интерес сейчас? Может быть, Дживелегов причастен к социологическому объяснению культуры лишь косвенно? Нет, он представляет этот метод убежденно и последовательно, он один из его "классиков". Среди русских ученых-гуманитариев немало было таких, которые приняли марксистскую фразеологию под давлением

обстоятельств, освоили ее, как осваивают новый язык, ибо какое-либо высказывание на прежнем языке постепенно стало попросту невозможным. Дживелегов к их числу не принадлежал, он, скорее, ближе к таким лидерам марксистского литературоведения первых послереволюционных лет, как А. В. Луначарский, П. И. Сакулин, В. М. Фриче и отчасти П. С. Коган, убеждения которых сложились еще до революции и им не пришлось ничего в них менять и перестраивать. Уже в самой ранней из посвященных Италии монографий Дживелегова, вышедшей в свет в конце первого десятилетия нашего века, в "Начале итальянского Возрождения", марксистская или очень близкая к ней методологическая установка дает о себе знать на каждом шагу. Возрождение как "культурный переворот, стоящий в тесной связи с переворотом хозяйственным", — от этого тезиса путь к официальному социологизму двадцатых и тридцатых годов идет прямой и гладкий, без насильственной ломки взглядов. С Фриче и значительно менее ярким Коганом у Дживелегова, кстати сказать, есть кое-что общее помимо взглядов — в жизненных обстоятельствах, повлиявших на их становление. Все они учились на историко-филологическом факультете Московского университета в одно примерно время (учителями Дживелегова были видные историки П. Г. Виноградов и В. И. Герье, а окончил он университет в 1897 г.), и Коган и Дживелегов по окончании учебы были оставлены при университете для подготовки к профессуре, оба решением Министерства народного просвещения были из списка оставляемых при университете исключены, и причиной в обоих случаях послужило их "инородчество". Дживелегов родился в армянской семье, его имя по крещению — Алексанос; его отец, Карапет Алексанян, из мещан, пробовал выбиться в купцы, быстро разорился и до конца жизни служил на табачной фабрике, последние годы — ее уполномоченным в Москве. С этнической родиной у Дживелегова были тесные связи всю жизнь: от начального воспитания и обучения — первой его школой была армянская семинария в родном городе, в Нахичевани-на-Дону, — до зрелых лет, когда он регулярно читал лекции в Театральном институте Армении и был избран членом-корреспондентом Армянской академии наук. Он много писал об Армении: особенно много в начале века, но последняя крупная его работа, "Армения и Турция", относится к 1946 г. Оба, возвращаясь к сопоставлению Дживелегова и Когана, не оставили научной деятельности и к профессорству в итоге пришли, но путь к нему оказался вынуж-

денно непрямым, а научная деятельность, вытесненная за рамки respectable университетской среды, тесно переплелась с публицистикой, в том числе политической.

Тут, правда, начинаются и существенные различия: Дживелегов, при всей своей уже явно обозначившейся склонности к материализму в исторической науке, в актуальной политике, к которой он в первые полтора десятилетия века был причастен как член партии кадетов, как земский деятель и как активно практикующий публицист, чрезмерной левизной не отличался. Именно в качестве публициста он подвергался в эти годы даже судебному преследованию (в 1907 г. он был привлечен к суду по обвинению в возбуждении вражды к дворянскому сословию, основанием для чего послужила его статья в "Рязанском вестнике", и приговорен к месячному тюремному заключению), но, разумеется, этот эпизод лишь подтверждает умеренность его политической позиции. Вовлеченность Дживелегова в политическую деятельность постепенно нарастает: с 1916 г. член ЦК кадетов, в августе 1917 г. участвует в Московском государственном совещании, в октябре входит, представляя свою партию, в предпарламент (для характеристики его взглядов в этот период стоит упомянуть, что на расширенном заседании ЦК кадетов 11—12 августа 1917 г. он резко выступил против меморандума Корнилова и протестовал против окончательного разрыва с социалистическими партиями). После Октября от политики полностью отходит.

Необходимо подчеркнуть, что идеологическая воинственность ни тогда, ни позже Дживелегову не была свойственна, о чем свидетельствуют и его труды (читавшиеся в двадцатые—тридцатые годы совершенно иначе, чем сейчас: читателям тех лет бросалось в глаза не сходство с Фриче и Коганом, а отличие от них, понятное и сейчас, но тогда казавшееся разительным), и его поведение, и даже круг общения. В первые послереволюционные годы мы встречаем его имя среди активных сотрудников такого своеобразного учреждения, как "Studio italiano", целью которого было распространение в России знаний об Италии и итальянской культуре — среди его товарищей по этому делу весь цвет тогдашней московской интеллигенции. И вряд ли простой любезностью было обращение "дорогой моему сердцу maestro", адресованное ему в одном из писем 1946 г. таким безупречным в нравственном отношении и не склонным ни к лести, ни к преувеличениям человеком, как М. Л. Лозинский (их общение, и эпистолярное, и личное, началось во время работы над

изданием автобиографии Челлини и стало особенно активным, когда Лозинский приступил к переводу "Божественной комедии" Данте).

В обращении Лозинского слышится и дружеская приязнь, надо полагать искренняя, и уважение, вне всякого сомнения, неподдельное. Уважение вызывает специалист, ученый, у которого даже Лозинский с его безукоризненной историко-культурной эрудицией находил чему поучиться. Ученым Дживелегов, действительно, был выдающимся — по любым меркам, в том числе и по строгой мере русской дореволюционной академической науки, ученым с огромным и постоянно расширяющимся диапазоном знаний и возможностей. Первая его публикация относится еще к студенческим годам ("Вико и его система философии истории", 1896), первая монография ("Городская община в средние века", 1901) — к годам, которые еще вполне можно назвать юношескими. Она не долго оставалась единственной, за ней последовали все новые и новые: "Средневековый город в Западной Европе" (1903), "Торговля на Западе в средние века" (1904), "История современной Германии" (ч. I, 1906; ч. II, 1908), "Начало итальянского Возрождения" (1908), "Александр I и Наполеон" (1915), "Вольные города в Европе" (1919), "Крестьянские движения на Западе" (1920), "Армия Великой французской революции и ее вожди" (1923), "Очерки итальянского Возрождения" (1929), "Данте" (1933, второе, значительно переработанное издание — 1946), "Леонардо" (1935 и еще два издания), "Микельанджело" (1939 и 1957), "Итальянская народная комедия" (1954 и 1962).

Дживелегов много писал для энциклопедических изданий, и для Брокгауза, и для Граната, сотрудничество с которым продолжалось с 1898 по 1939 г. (в последние годы в качестве ответственного редактора и председателя правления), причем некоторые статьи Дживелегова в Гранате также фактически являются компактными монографиями (например, очерки истории Германии, Италии, Венеции, Рима в послеполитическую эпоху, Милана, Флоренции, королевства обеих Сицилий). Так же по сути монографическими исследованиями являются многие его вступительные статьи к томам издательства "Academia": Мазуччо, Челлини, Вазари, Поджо Браччолини, Макиавелли, Гвиччардини, Фиренцуола, Боккаччо, Леонардо, Гольдони, д'Адзельо, Гверацци, Полициано, Манцони — это если ограничиться только итальянской классикой. А ведь было еще участие в коллективных трудах, публикации в научной периодике, многочисленные переводы,



публицистика. Была еще преподавательская работа: началась она в 1915 г. с Народного университета в Нижнем Новгороде и университета Шанявского, продолжилась затем в Московском университете (с 1919 до 1924 г., до упразднения кафедры новой истории), в Институте театрального искусства (с 1932), в Институте красной профессуры (с 1933), в ИФЛИ (с 1936). Была, наконец, работа научного администратора, отнимавшая немало времени и сил (в 1945 г., к примеру, Дживелегов заведовал одновременно кафедрой в ГИТИСе и отделами в Институте мировой литературы и Институте истории искусств).

При всем разнообразии научных интересов Дживелегова три предмета явным образом главенствуют над остальными. Это средневековый город, это классический европейский театр и это, наконец, культура Италии (роль, менее значительная, принадлежит истории Германии и истории Великой французской революции). В исследованиях, посвященных средневековому городу, с которых Дживелегов начинал, он — историк, стоящий на уровне науки своего времени (он был одним из немногих отечественных историков, чьи труды получили известность на Западе), но не более того. Медиевистика с тех пор сделала огромный шаг вперед; были и в начале века медиевисты, в том числе русские (например, П. М. Бицилли), угадавшие, в каком направлении их наука двинется дальше, — они интересны и сейчас. Дживелегов не относится к их числу и как историк средневекового города забыт. В прошлое отошли и его театроведческие труды: Дживелегов был непременным участником почти всех историй западноевропейского театра, созданных в советское время, к театру относился со страстью (говорил, что учился в университете на Моховой, а воспитывался в университете на Театральной площади — в Малом театре), имел прочные связи с театральной средой, выпестовал за долгие годы преподавания в ГИТИСе несколько поколений театроведов (в числе его учеников можно указать, к примеру, на Г. Н. Бояджиева), но время, на которое в основном падает его театроведческая деятельность (сороковые — пятидесятые годы) было уж слишком неблагоприятным для подцензурной научной работы и сильно на ней сказалось. Идеология, и уже не молодая и дерзкая, а догматизированная, погубила эти труды, отмерив им собственный жизненный срок — быть может, только книга о комедии масок, которую Дживелегов не успел ни окончательно подготовить к печати, ни увидеть напечатанной, бесполезна сейчас богатством

фактического материала и удобной его группировкой. Но в целом тот поворот к принципиальному коллективизму научной деятельности, происходивший в советской академической науке с начала сороковых годов и в котором Дживелегов активно участвовал прежде всего в качестве театроведа (хотя не только), оказался для него роковым, ибо слишком очевидно противоречил его артистической натуре и ярко индивидуальному исследовательскому стилю.

Вершина Дживелегова как ученого — итальянистика, и достиг он ее в тридцатые годы. Подступы были и раньше: первая же его публикация, как мы помним, посвящена Джамбаттиста Вико, потом "Началом итальянского Возрождения" Дживелегов как бы подвел итог серии своих медиевистских работ (сразу же, впрочем, заявив, что не претендует в этой книге на оригинальность), но итальянистика настоящая и, так сказать, всепоглощающая началась с "Очерков итальянского Возрождения", с 1929 г. В течение следующего десятилетия Дживелегов не только выступил с тремя монографиями о трех крупнейших деятелях итальянской культуры, но и возглавил беспрецедентную по интенсивности и широте акцию по ознакомлению русской культуры с культурой итальянской — в качестве редактора, переводчика, комментатора, автора вступительных статей. Путь его к итальянистике был таким долгим, почти три десятилетия, потому что предполагал не просто овладение новой темой (осуществленное Дживелеговым с поистине универсальной широтой), но и овладение новой гуманитарной профессией. Оставаясь исследователем средневекового города, Дживелегов интересовался в основном общественными установлениями и хозяйственным укладом; обратившись к Италии, прежних интересов не утратил, но прибавил к ним новые — искусство и литературу в первую очередь. Ни искусствоведом, ни литературоведом при этом он не стал: занимаясь поэтами, не писал о поэтике, занимаясь живописцами — о стиле. Его привлекала та область, куда все виды духовной деятельности входят на равных правах, утрачивая различия своих языков и создавая общее смысловое пространство, — одним словом, область культуры. Понятие "культурология" в то время еще не возникло: когда в 1936 г. Дживелегову присваивали (без защиты диссертации) степень доктора наук, то для описания его специальности было использовано такое незначившееся ни в каких аттестационных номенклатурах определение, как "западноевропейская художественная культура". Культурологом до оформления

этой дисциплины он по сути дела и был, вернее, сделался, предвосхитив тот путь, который уже в более близкое к нам время прошли такие ученые, как Л. М. Баткин и А. Я. Гуревич.

Культурную деятельность Дживелегов жестко связывал с хозяйственной, культуру Возрождения, которой в качестве италяниста по преимуществу и занимался, — соответственно с эпохой становления капитализма, с экономикой свободного города (коммуны) и с классовыми интересами буржуазии. Главный же интерес буржуазии состоял в свободе хозяйствования, в преодолении всех тех препон, которые ставил перед производством и торговлей феодальный уклад; заинтересована она была, следовательно, и в свободе вообще, в свободе человеческой — в свободной рабочей силе, прежде всего, и уже опосредованно — в свободе чувства, духа и разума. Тем самым основным и высшим смыслом того культурного переворота, которым явилось Возрождение, было, по Дживелегову, освобождение личности и возникновение понятия об ее абсолютном суверенитете. Так понимали Возрождение в его время многие: соотнесение ренессансной культуры с эволюцией раннекапиталистических отношений в городской экономике было, в частности, общим местом советской исторической науки и лишь в сравнительно недавнее время подверглось критическому пересмотру.

Указывать в трудах Дживелегова на те и общие, и частные положения, которые развитием науки бесповоротно отменены, — дело неблагодарное и пустое. Чем Дживелегов как ученый совершенно не отличался, так это даром научного предвидения. Уже в начале века немало было людей, понимавших художественную самоценность доренессансной живописи, — Дживелегов в первой своей посвященной Возрождению монографии вслед за Вазари уверенно утверждает, что "византийская манера сковывала руку художника", и критикует Джотто, ибо у него "дома такие, что люди в них не влезут". Представление о художественной самоценности барокко к концу двадцатых годов также не было чем-то неслыханным — во второй книге о Возрождении Дживелегов неодобрительно оценивает челлиниевского "Персея" в связи с его "неестественностью". "Воздух барокко сделал свое дело". Или такой, еще более маргинальный пример. В статье о Поджо Дживелегов очень резко отзывается о гуманистическом диалоге с точки зрения его формы: не только называет ее неуклюжей и беспомощной, но и квалифицирует сам диалог

как жанр "принципиально беспринципный". "Беспринципность" его в том, что авторы диалогов думают одно, а пишут другое — иногда из лицемерия, иногда из страха. У диалогов XV в., действительно, есть такое свойство — многообразие идейных позиций, из которого невозможно извлечь главную, авторскую. Подмечено очень верно, но дальше Дживелегов пошел по линии оценки и оценил это свойство отрицательно. Однако, возможно, была и другая линия — линия интерпретации, следуя которой современный исследователь сформулировал совсем иной взгляд на весь комплекс ренессансной культуры (известная концепция Л. М. Баткина о принципиальной диалогичности всего итальянского Возрождения).

Повторяю, перечислять все, что у Дживелегова с нынешней точки зрения воспринимается как анахронизм, и невозможно, и бессмысленно — в конце концов стремительное устаревание вообще свойственно гуманитарной науке, за очень редкими исключениями. Но хотя бы несколько слов об его общей концепции ренессансной культуры сказать все же нужно — потому что с ее последовательной реализацией связаны лучшие достижения Дживелегова.

Взгляд на Возрождение как на время "открытия мира и человека", как на эпоху, чье главное содержание составляет самоопределение личности, утвердился в европейской науке еще со времен Мишле и Буркхардта и разделялся подавляющим большинством исследователей. Не все, однако, были готовы проводить этот взгляд до конца, до крайних пределов. Одно дело индивидуализм, смягченный и укрощенный эстетикой, выраженный в поэтическом слове или в скульптурном образе, и совсем другое — индивидуализм хищный и грубый, вскормленный жадной властью, почестей, богатства и наслаждений. Связать два эти проявления индивидуализма в искусстве и в жизни, представить один почвой и обратной стороной другого решались не многие. Среди тех, кто не отступил перед выводами, следующими из такой простой логически и трудной во всех других отношениях операции, был, например, А. Ф. Лосев; для него и Чезаре Борджа, жестокий тиран, хладнокровный убийца, чудовище разврата и вероломства, и мадонны Рафаэля, четыре века исправно служившие европейской культуре символом высшей красоты и высшей духовности, на равных правах участвуют в создании того, что он называет "эстетикой Возрождения". Готов был принять такой взгляд и все выводы из него и Дживелегов, и для него мир ренессансной действительности (а этот мир, как он пишет в "Очерках", зол, жесток, развратен,

беспринципен) и мир ренессансной культуры едины в своей сути. И для него "простейшими плодами" культуры Возрождения были "неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов" ("Никколо Макиавелли"). Для обоих жестокие и грубые черты действительности проступают в прекрасном лице культуры: хищной улыбкой Джоконды у Лосева, эгоизмом и аморализмом у героев Дживелегова. Разница между ними не в концепции, не в выводах из нее, а в их общей оценке: если для Лосева ренессансный индивидуализм — непростительное зло, ибо прокладывает путь к современной культуре, поставившей в центр самодовлеющую эгоистическую личность и забывшую думать о каких-либо трансцендентных и внеличных началах, то для Дживелегова тот же индивидуализм — зло неизбежное и необходимое, даже не совсем зло, ибо движет вперед исторический прогресс.

Здесь не место вступать с этой концепцией в полемику, отметим лишь, что на ее логические пределы указал сам Дживелегов, опять же благодаря своей последовательности и умению не отступать перед выводами. Если суть и смысл Возрождения — индивидуализм, то все, что таковому противоречит или с ним не согласуется, Возрождению не причастно. Вот простейший силлогизм, которому Дживелегов неукоснительно следует — столь неукоснительно, что среди культурных явлений, посторонних Возрождению, оказывается и то, которое дало ему имя: возрождение классической древности и гуманизм. Эту мысль Дживелегов заявляет уже в "Начале итальянского Возрождения" ("Гуманизм мог стать господствующим в общественном сознании фактом, когда Возрождение сделало все свои главные завоевания... Для Возрождения древность не была необходимым условием"). Этой же мысли он твердо держался и в дальнейшем: Поджо Браччолини "всегда отправляется от живого, от современного... Древность важна и нужна только потому, что древние думали о том же, о чем думаем теперь и мы, и могут помочь нам найти необходимую формулу"; для Макиавелли классики имели также только "практический" смысл, он не гуманист, "в тревожное время, в которое ему пришлось жить, типичными гуманистами могли быть только бездарные и бездушные люди. Но он — подлинный человек Возрождения". И так далее, в примерах недостатка нет. Следующим естественным шагом в этом направлении мог бы стать отказ рассматривать в качестве фактов ренессансной культуры те высшие ее художественные проявления, которые

являются ее каноном и создают ее канон, — возникает впечатление, что исследователю мешает объявить истинным Возрождением барочный отход от канона и барочную поэтику вкуса только его еще более сильное, чем преклонение перед логикой, отвращение к любому "нереализму". Но привычных опор и границ Возрождение в такой интерпретации лишается. Уходят на второй план или вовсе в тень Петрарка, Боккаччо, Рафаэль, на авансцену выдвигаются бунтари и ниспровергатели — Макиавелли и Аретино (который "поднял бунт против школы во имя жизни"), Леонардо (который "упорно думал об одном: что идут времена, которые нужно встречать во всеоружии науки, а не только в украшениях искусства") и Микеланджело. Границы Возрождения определяются в соответствии с границами свободы, отмеренными историей для первого этапа развития торгового и промышленного капитала: начальная граница отодвигается к Данте, конечная — к Макиавелли, последнему апостолу флорентийской демократии, и только Венеция еще некоторое время сохраняет верность Возрождению, устояв под натиском феодальной реакции.

Возрождение тем самым оказывается без своего лица и устоявшегося места в истории; любопытно, что и Лосев сдвинул начало этой эпохи глубоко в классическое средневековье, записав по ведомству Ренессанса чуть ли не все явления и имена, встречающиеся в промежутке между XII и XVII вв. В таком итоге нет ничего случайного: для европейской истории второго тысячелетия нашей эры рост индивидуального сознания и вообще индивидуального начала является неоспоримым и во многом решающим фактором культурной жизни, затрагивающим всех ее участников, — его действие сказывается и на святом, и на гуманисте, и неудивительно, что Игнатий Лойола не похож ни на Франциска, ни на Доминика. И этот же итог лучше всех других аргументов доказывает, что индивидуализм не является необходимым и достаточным признаком Возрождения, что недопустимо отсекал от Возрождения его родовую характеристику. Возрождение без возрождения древности попросту исчезает и растворяется без следа в потоке истории. Что же остается? Остается хроника побед и поражений итальянской буржуазии, написанная ярко, слов нет, но современный читатель, получивший стойкую прививку против всякого социологизма, проходит мимо нее с полным равнодушием. И остаются люди — мыслители, художники и поэты, жившие в эти столь бурные, столь страшные и прекрасные века.

Да, концепция Дживелегова уязвима, но это в конце концов судьба всех концепций, главное же, что в строгом с ней соответствии он пишет историю своей любимой эпохи как галерею портретов ее творцов, ее героев и жертв. И портреты эти великолепны: не со всем, что Дживелегов говорит о своих героях, можно согласиться, но сказанное им продолжает быть убедительным в силу того, как это сказано, в силу безупречной интеллектуальной пластики.

Мы начали этот краткий очерк с вопроса, чем Дживелегов может быть интересен сейчас. Читатель, заглянувший в послесловие, уже прочитав хотя бы часть лежащей перед ним книги, знает ответ: Дживелегов интересен сейчас и будет интересен долго, потому что его Кастильоне и Аретино, его Макиавелли и Гвиччардини навсегда врезаются в память. Хотелось бы убедить читателя лишь в одном: не нужно думать, что все объясняется незаурядным литературным талантом автора — это талант ученого дает о себе знать, это мысль, продуманная до конца, получает как самую щедрую компенсацию — продление своей жизни.

*М. Л. Андреев*

## Содержание

ПОДЖО БРАЧЧОЛИНИ И ЕГО "ФАЦЕТИИ" . . .	3
ЛЕОНАРДО И ВОЗРОЖДЕНИЕ . . . . .	31
ОЧЕРКИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ . . .	56
Интеллигенция в Италии XVI в. . . . .	—
Бальдессар Кастильоне . . . . .	64
Пьетро Аретино . . . . .	103
Бенвенуто Челлини . . . . .	149
АНЬОЛО ФИРЕНЦУОЛА . . . . .	193
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ . . . . .	205
ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ . . . . .	263
ВАЗАРИ И ИТАЛИЯ . . . . .	314
Послесловие (М. Л. Андреев) . . . . .	340



ISBN 5-300-02000-8



9 785300 020008